

ISSN 0132-0637

Октябрь

10

1989



ОКТЯБРЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

10

1989

ОКТЯБРЬ

МОСКВА. ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»

В Н О М Е Р Е:

Анатолий АНАНЬЕВ.
По течению или наперекор? Думая о времени и о себе **3**

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Виктор ПОТАНИН.
Облака бывают белые, синие, черные. Письма для сына. **11**

Виктор СОСНОРА.
Семь стихотворений. **58**

Дмитрий ВОЛКОГОНОВ.
Триумф и трагедия. Политический портрет И. В. Сталина.
Окончание **61**

Игорь КОХАНОВСКИЙ.	149
Ностальгия. Стихи	
Инна ГОФФ.	151
На белом фоне	

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Р. ТИМЕНЧИК.	182
Неизвестное стихотворение Анны Ахматовой	

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Г. БЕЛАЯ.	185
Третья жизнь Исаака Бабеля	
Отклик	198

ПО СТРАНИЦАМ КНИГ И ЖУРНАЛОВ

Вячеслав КУРИЦЫН. Сила объектива. * Вл. ВОРОНОВ.	203
Заботы наши тяжкие	

П о т е ч е н и ю и л и н а п е р е к о р ?

ДУМАЯ О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ

К размышлениям, о которых пойдет здесь речь, побудили меня читательские письма, пришедшие (и все еще продолжающие поступать мне) на статью «Смотреть людям в глаза», опубликованную 15 июня этого года в газете «Правда». Собственно, это была не статья, а подготовленное и не оглашенное на Съезде народных депутатов выступление, в котором я затронул в основном три жизненно важных и, на мой взгляд, остающихся основополагающими на сегодняшний день вопроса: о монопольной власти партии (имея в виду сталинизм, годы застоя и последствия их, далеко и далеко еще не преодоленные нами), о передаче всей полноты власти Советам на всех уровнях (что, собственно, и нашло затем отражение в главном документе Съезда), и о крестьянстве и земле, которая должна быть безвозмездно передана тем, кто будет обрабатывать ее, — на вечное пользование, без права продажи, но с правом наследования. Я также высказал соображение о том, чтобы провести посписочную (разумеется, в областях, районах, где сохранились еще документы тех давних времен) реабилитацию раскулаченных крестьянских семей, имея в виду то обстоятельство, что мы хорошо знаем теперь, какими методами проводилось это страшное, не поддающееся здравому пониманию раскрестьянивание России. Оставляя в стороне, кто и для чего проводил это раскрестьянивание, я хотел лишь заострить внимание на том, что тяжесть от тех пережитых страшных лет, от совершенной тогда несправедливости угнетающим грузом лежит на душе у народа, сковывает его инициативу и вызывает неуверенность и недоверие к жизни. Происходит это часто бессознательно, лишь по предчувствию страха (словно обвал или оползень, постоянно нависающие над селением и грозящие вот-вот смести его), и если, отказавшись хоть на миг от статистики цифровой, мы смогли бы обратиться к статистике нравственной, то я не знаю, с каким количеством нулей получилась бы цифра потерь от охвативших наше общество, как болезнь, безразличия, апатии, неуверенности и недоверия к жизни вообще. Реабилитация раскулаченных крестьянских семей (а мы знаем по нашим сегодняшним меркам, что это было за «богатство» у тех так называемых «кулаков» и что трудом на земле в «рокфеллеры» не выйдешь), причем посписочная, решительно и на государственном уровне, а также заявление, закрепленное статьей Конституции, что подобное у нас в стране никогда не может повториться, сняли бы эту угнетающую тяжесть с народа и помогли бы ему вновь осознать свою силу и место в сообществе целого, единого, разделенного лишь профессиональной принадлежностью труда. Хотя, может быть, и вскользь, но я говорил и о правовой основе крестьянского двора как первоячейки государственного организма жизни (исключая при этом слово «частник»), включая пенсионное и прочее обеспечение, и о той помощи и льготах в течение первых лет становления крестьянского хозяйства, какие следует предоставить сегодня деревне, о переориентации промышленности на выпуск более качественной и действительно нужной сегодня крестьянину техники и, конечно же, о том, чтобы продукцией, полученной в результате своего труда на земле, распоряжался производитель, а не посредник между этим производителем и государством, которому важно только отчитаться, дабы должностной стул, кормящий его и приносящий ему достаток и блага, не уплыл из-под него.

Все это вопросы неотложной важности, корневые, хотя я понимаю, что есть множество и других, тоже неотложных и корневых, но ведь всего не охватишь, ибо до дилетантизма, как и до смешного, один шаг. Демократические законы, как непререкаемый атрибут власти, принадлежность земли крестьянам и свободно-предпринимательский труд на ней (тут еще и уклад жизни, и от свободно-предпринимательского труда, как от отправной точки, начнут складываться и все другие институты государственного организма связей и управления) — не только я, но и многие, и многие сегодня сознают, что, лишь начав продвигаться

в этом направлении, мы сможем выйти из предкризисного, как характеризуют некоторые, а вернее, кризисного, как утверждают другие экономисты и философы, к чьему мнению я более склонен присоединиться, состояния нашей судорожно пытающейся выбраться на простор экономики.

Как видите, я и теперь говорю без нажима и резкости, хотя действительное положение дел в стране таково (если учесть, что к несовершенству механизма управления хозяйством, механики планирования, к социальной и нравственной неустойчивости жизнь повседневно подбрасывает нам еще и узел национальных проблем), что, может, и в самом деле пришла пора ударить в набатный колокол, чтобы соборным словом и делом народа положить предел сползанию страны в стихию отупелой отсталости, коррупции, воровства и пьянства. Говорят, что Съезд народных депутатов и явился в какой-то мере таким набатным колоколом. Но вернусь к первоначальным своим рассуждениям. Они, повторяю, не были ни резкими, ни безоговорочными по содержанию, так как я глубоко убежден, что в наше демократическое время, время поисков, гласности и правды, никому не дано выступать с истиной в последней инстанции. Самомнение — это более, чем порок; это путь к диктаторству, насилию личности над личностями (ведь в споре, как мне кажется, не рождается, а, скорее, убивается истина, потому что неискренность и ложь всегда агрессивны).

Если колхозы не накормили страну, то есть если жизнь подтвердила несостоятельность этой формы хозяйствования (как лучшей и единственной), когда на словах все принадлежит всем, а на деле никому и никто ни за что не отвечает и ни за что не радеет, то почему бы не дать возможность проявить себя другим формам работы на земле? Пусть не спор с хватанием друг друга за горло и непременным удушением, а жизнь в спокойном и разумном своем течении ответит, что может прижиться, а что нет, то есть что — истина, а что лишь утопическая (и противостественная потребностям и духу человека) схема, пусть даже выношенная и выстраданная в кабинетной тиши тем или иным известным ученым. Но вместо этого разумного подхода, когда бы последнее слово — что принять и что отвергнуть — оставалось за жизнью, мы с удивительной последовательностью продолжаем (и в одиночку, и еще решительнее — группами) навязывать обществу свое и только свое мнение и отвергать другое — на том одном лишь основании, что оно именно другое и не подходит под привычный и примелькавшийся шаблон. В сущности, это же отголосок сталинизма, в который впадают сии ретивые полемисты и защитники истины — своей. Да-да, того самого сталинизма, когда всех нас приучали двигаться лишь по одному натянутому канату, по струне, концы которых и начинались, и заканчивались в сознании или, точнее сказать, в предвидениях «отца народов». Вот эту-то нетерпимость, этот именно рудимент сталинизма (да и застоя, если хотите, когда тоже все должно было быть созвучно одной, радужно издававшей свои звуки кремлевской струне), я почувствовал в большинстве читательских писем, обращенных и ко мне, и к редакции.

Речь идет не только о возражениях, иногда гневных, даже угрожающих (при защите мундира можно, видимо, не гнушаться никакими приемами), но и похвала, о той безоговорочной и, я бы сказал, бездумной легкости, с какой воспринимается некоторыми все альтернативное — и нашему прошлому, и настоящему, — лишь бы это выдвигаемое было именно альтернативным и резким. Хотя мне и не хотелось прибегать к цитированию писем (их много, и лишь перечень фамилий приславших их мог бы занять довольно значительное место), все-таки сошлюсь на те, в которых, на мой взгляд, наиболее полярно и непримиримо высказываются суждения по поднимаемым вопросам. «С возмущением и негодованием прочитал в «Правде» «Смотреть людям в глаза», — пишет Г. Л. Павлов из Харькова. — Что значит, после 1917 года народ получил не власть Советов, а монопольную власть партии, и что она давила на общественную жизнь? Что это, заблуждение или подлость члена партии?!» И далее бросается такой упрек: «Это вы, кулацкие отпрыски, ждете, это вам нужна реабилитация, врагам народа, таким, как Волкогонов, Дудинцев, Афанасьев, Нагибин, Белов, Евтушенко». А вот что пишет М. Омаров из совхоза «Кубанский» Краснодарского края: «Под каждым словом могу подписаться. Крестьяне устали батрачить под игом бюрократической машины, каковыми в настоящее время являются сельскохозяйственные предприятия». Вот мнение Г. Н. Гороховой из поселка Новый Московской области: «Полностью с ним (автором, имеется в виду) согласна, поддерживаю и желаю, чтобы другие здравомыслящие коммунисты поддержали тоже». И далее: «Если бы все, что написано в статье, воплотилось в жизнь, то действительно было бы не стыдно смотреть людям в глаза». «Вся статья пронизана нападками на партию», — возмущается Л. Я. Голотов из Эстонии. «В статье есть мысль об исторической ответственности перед народом руководителей всех рангов и положений за состояние страны. А почему только руководителей? — обращается с вопросом М. М. Котлова из Липецка. — А где же был народ? Где были мы все?» «В действительности рядовой член партии не имеет никакой власти, практически не может влиять на состав партийных органов и на проводимую ими политику», — решительно заявляет И. Костович из Днепропетровска. «Как хорошо вы знаете крестьянина, его душу», — пишет Л. Д. Сумцова из села Алексеевка Харьковской области. «Мы

строи социалистическое общество, а он (т. е. Ананьев) призывает раздать землю крестьянам, сделать единоличные хозяйства, раздробить страну, каждый должен копаться в своем клочке земли», — вот так осуждающе смотрит и оценивает мою позицию Н. М. Боровицкая из Краснодара. И еще, еще — сотни подобных, противоречащих друг другу высказываний, иногда более, иногда менее острых и категоричных, и вряд ли есть необходимость продолжать приводить их. В конце концов дело не в количестве высказываний, а в сути противоречий, изложенных в них, и в этом плане столь глубокая поляризация мнений, должная, казалось бы, радовать нас (ведь все мы ныне — за плюрализм!), приводит, однако, меня к совершенно иному и тревожному выводу. Я вижу, что за этим стоит глубокая разобщенность народа; разобщенность, которую можно проследить и по вертикали, и по горизонтали. И в основе этой разобщенности прежде всего лежит не социальное различие между теми или иными слоями населения (хотя, разумеется, есть и это, и по социальной неоднородности мы вряд ли сегодня далеко отстоим от западных держав), не очевидная приверженность к сталинизму или отрицание его, или, если уточненной — принадлежность к поклонникам и противникам Нины Андреевой, доводы которой имеют и свою подоплеку, и своих «потребителей»: в конце концов патриотизм — слово действенное, и почему бы не приспособить его к своим нуждам и в «скрытой теплоте» его (да простит мне могучий Толстой, что занимающую это прекрасное высказывание и употребляю в несвойственном для него сочетании) не погреться десяток-другой лет в застойном благоденствии. Разобщенность нельзя свести и к принятию или непринятию теми или иными людьми перестройки, потому что мы все сегодня за нее, хотя каждый понимает ее по-своему и ждет от нее то, что желательней и ближе ему. И по вертикали, и по горизонтали, как я уже сказал, разобщенность носит более серьезный характер, ибо она основана на том или ином восприятии и понимании основ жизни, на степени понимания и признания общечеловеческих норм бытия, по которым или, точнее, на базе которых только и могут быть выработаны приемлемые для всех демократические законы, то есть та власть — законов, а не лиц, — которая сможет наконец оградить наше общество от произвола и обеспечить ему стабильное развитие.

Конечно, я понимаю, что меня вновь и уже за эти высказывания могут подвергнуть всеоглушающей критике (хотя, видимо, найдутся и сторонники); но я ведь ни на чем не настаиваю, а лишь выношу на обсуждение один из возможных вариантов вывода страны из нынешней тупиковой ситуации. Нам нужно взаимопонимание, нужно доверие, на основе которого началось бы сплочение сил, и чтобы достичь этого сплочения, нужно — и незамедлительно! — начать широкий общественный диалог. Что упрекать просвещение, которое не только не научило нас думать по-государственному, но даже просто элементарной самостоятельности, и сетовать на дезинформированность, приведшую нас к тому, что мы разучились отличать ценности мнимые от ценностей истинных; сколько ни перетрясай старую одежду, новый костюм из нее не сошьешь, и не лучше ли, отложив обиды и неурядицы на полку истории, взяться всем народом на основе примирения, то есть широкого общественного диалога сил за обновление всех сторон нашей жизни. Ведь не можем же мы оставить детям и внукам страну с этим тяжелейшим экономическим, политическим, национальным недугом, в какой она на наших глазах и при нашем молчаливом согласии (и участии!) была свергнута.

Есть множество причин, от которых зависит формирование взглядов того или иного человека, но мне хотелось бы остановиться лишь на двух, может быть, самых важных и основополагающих: опыте жизни, который у каждого из нас свой, и знаниях общих законов бытия, насколько (и в каком объеме) они усвоены или не усвоены нами. Конечно, лучший вариант, когда первое и второе предстает в сбалансированности и не преобладает, не довлеет одно над другим, но, как известно, идеального в природе нет. Народ, выражая свою волю, в большинстве своем обычно опирается на опыт жизни, и как бы ни считался укороченным или ополовиненным подобный взгляд, но в чем, в чем, а в реалистичности ему не откажешь. И с этой точки зрения каждое написанное читателями письмо — это не просто позиция, основанная на личном опыте, она заключает в себе правду, с которой нельзя не считаться. Те, кто раскулачивал, их дети и внуки — это одна позиция; те, кого раскулачивали, их дети и внуки — позиция другая и тоже понятная. Раскулачивавшие (я имею в виду прежде всего тех, кто руководил этими противозаконными, насильственными действиями, внося в списки для раскулачивания — в угоду установкам, разнарядкам и требованиям — не просто мироедов, а всех, кто умел и любил трудиться, умел и любил хозяйствовать) — они не могут признать и не признают свои действия неправомерными, у них и теперь есть на все свои доводы, и, чтобы защитить честь мундира, они готовы вновь бросить на закланье целый народ, его интересы жизни, забыв о такой простой истине, что не дележом награбленного, а трудом, причем свободным и разумным, достигаются и поддерживаются стабильность и благополучие как в отдельных семьях, так и во всем народе. А те, кто был согнан с земли, их дети, внуки — этот потенциальный хлебобор, подвергшийся столь глубокому социальному и нравственному травмированию, — разве может он без признания

нанесенных ему обид и хотя бы морального возмещения их возвратиться в село, на землю? И далее: у тех, кто вошел в колхоз и с верой в светлое будущее до конца отдавал силы этому коллективному (со столь печальным результатом!) труду, — по опыту их жизни у них сложилось свое понимание справедливости и свой взгляд на действительное положение вещей: отправившись на восход, к солнцу, но придя в сырые и мрачные сумерки, они, в сущности, оказались в том страшном положении, когда, увидев ошибку, человек в конце жизни уже не может исправить ее; в подобной ситуации люди непременно ищут утешение, и вместо того, чтобы признать хотя и горькую, но все же правду (на что, разумеется, нужно определенное мужество), стараются найти оправдание в том, что не они исторически выбрали не то направление, а скорее всего, светило взошло не с той стороны, с которой надо было бы взойти ему. Так что же удивляться, что не только среди руководства сельским хозяйством, то есть не только среди председательского корпуса — этой достаточно поднаторевшей в делах номенклатуры, для которой хозяйственный интерес всегда стоял и будет стоять над укладом жизни народа, — но и среди рядовых людей есть немало сторонников колхозного труда и быта. Да, в колхозе как плохая ни трудись, а голодным не оставят, — вот психология, которую можно назвать более чем нахлебнической. Но (для данного текста) дело не в психологии; это вопрос другой, и его следует разбирать отдельно. Я же говорю лишь о факте, что в разобщенности взглядов есть и такой, и его наличие нельзя не учитывать в общей связке проблем. Еще более усложненный, думаю, взгляд на жизнь у деревенских людей, покинувших родные места и в поисках лучшего подавшихся в областные города и столицы.

Но вернусь все же к деревне. Те, кто выколачивал из колхозов все, что только можно было выколотить из них (теперь, правда, находят этому оправдание, хотя, если посмотреть углубленно, так ли уж убедительны они?), вся эта огромная армия уполномоченных всех степеней и рангов — они и сегодня готовы вновь с криком и потрясением мандатов двинуться в деревню; они искренне убеждены (опять-таки судя по письмам), что беды, происходящие в сельском хозяйстве, заключены лишь в том, что упала дисциплина в народе; а чтобы поднять дисциплину, требуется лишь одно — твердая рука, то есть безоговорочный и полный возврат к осужденному ныне командно-бюрократическому методу руководства. Привыкшие командовать, а вернее, лишь повторять (дружным и мощным хором своих голосов) снисходившие к ним команды, деятели эти не могут даже помыслить, чтобы какой-либо иной могла быть жизнь на селе, да и не только на селе, и чтобы люди трудились не из-под палки, как рабы на плантациях, но из той простой потребности благосостояния семьи и общества, которая лишь в сочетании с личной заинтересованностью порождает инициативу и желание к труду. Дисциплина по заинтересованности — это совсем иная дисциплина, чем из-под палки, и ничто не может заменить личной заинтересованности в хозяйственном отношении к делу.

Разумеется, примерами, взятыми лишь из деревенской жизни, далеко не исчерпывается проблема нашей нынешней — по взглядам на жизнь и понимание справедливости — разобщенности. Руководители хозяйств, требующие новых и новых капиталовложений в деревню, заверяют, что только этими мерами, не раз уже, кстати, применявшимися у нас, можно добиться подъема в сельском хозяйстве. Что ж возражать, вкладывать в сельское хозяйство нужно, и вкладывать основательно, но возможно ли принятием только этих финансовых мер добиться обещанных результатов, и не обходим ли мы тут другую и более важную проблему? Да и откуда при нынешнем состоянии экономики взять необходимые средства? А древние философы говорили, что, когда нечего дать людям, дайте им землю и волю. Но если бы мы смогли сегодня закупить даже зарубежную, то есть высокопроизводительную технику, то гарантированы ли (при нынешнем ведении дел), что не увидим ее через год-два разбросанной по обочинам и ржавоющей, до которой нет никому и никакого дела? Там, где наше, там нет своего, за что болела бы душа у каждого отдельно взятого человека. К сожалению, логика многих стала таковой: «Что мне — больше всех, что ли, надо? Свое отрубил, а там хоть трава не расти». Загнал плуг не на ту глубину, повыворотил глину, испортил пахотный слой — ах, сойдет, все одно, голодным не оставят; рассеял из кузова зерно по дороге — а а, черт с ним, гудом больше, пудом меньше, не в свой же закром, да все равно на зернопункте тонны гниют и так далее, и т. п., и пр., и пр., с чем настолько свыклось наше личное и общественное сознание, что мы уже и в самом деле не можем себе представить, как по-иному трудиться и жить. Все это высказанное — не просто недостатки и пороки, как бы их ни называть, общественными или личными; все это, к сожалению, стало для многих и многих состоянием жизни, если хотите, жизненной платформой, приводящей ныне общество к глубокой и тяжелой (и не только в социальном плане) разобщенности. И самое страшное в этой разобщенности, это то, что каждая прослойка людей полагает, что является держательницей истины, и всеми средствами и силами старается не просто навязать, но утвердить как единственно возможный и приемлемый свой вариант жизни. На тех, кто мыслит иначе, устраиваются гонения; и если в прошлом эти гонения заканчивались Колымой, то теперь па-

раличами и инфарктами, и опять-таки — на виду у общественности и в согласии (молчаливом) с ней. Мы говорим о демократизме, но прибегаем к насилию; выступаем за плюрализм, а стараемся навязать лишь то, что унифицировало бы или, как под гребенку, подстригло общество. Да сможем ли мы с подобной агрессивной нетерпимостью прийти хоть когда-нибудь к правовому демократическому государству, в котором тот, кто хочет трудиться коллективно, то есть в колхозе (или что-либо подобное), может свободно избрать этот вариант жизни для себя и не навязывать его другим, а тот, кто хочет иным трудом, скажем, фермерским, проявить себя, тоже будет огражден в своих правах и возможностях. Это же следует отнести и к промышленности, и к науке, и к культуре — ко всем иным областям жизни и деятельности человека, потому что ведь жизнь каждому из нас дается один раз, а не дважды, не трижды, и на пороге третьего тысячелетия просто нелепо, глупо, преступно не понимать этого.

В стране у нас сегодня создалось и действует столько формальных и неформальных объединений и групп, что трудно разобравшись, большинство ли пытаются продиктовать волю меньшинству или, напротив, меньшинство большинство; но ясно одно, что при такой разобщенности взглядов на жизнь (и, добавим, требований от жизни) вряд ли можно обойтись без широчайшего общественного диалога. Например, нужно ли примыкать к Западу и хоть что-либо заимствовать из его всестороннего и богатого опыта, или, боясь оказаться придатком того чужого будто бы нам мира, продолжать жить так, как живем, простаивая в очередях, враждая, портя характер народа и растрачивая тот социальный и нравственный капитал, который столь бережно собирался для нас предшествовавшими поколениями? Да и что понимать под словом «придасток»? Попробовать посоревноваться с другими народами, посостязаться в конкурентоспособности наших товаров и обрести таким образом свое место в мировом сообществе или продолжать отгораживаться от всех и вся, уповая на некую мифическую, как некоторые толкуют ее, самобытность, которая, дескать, придет время, даст знать о себе, и мы поучим еще другие народы, как жить им. Да неужели ничему так и не научил нас опыт железного занавеса? Ведь путь отчуждения — это путь к национальному одиночеству, и раздувание страха перед Западом — не есть ли это прежде всего подыгрывание ему, работа на его интересы, интересы тех, кому хотелось бы видеть нашу страну в вечных раздорах и бедствиях? Наверное, в своих суждениях я тоже (по определенным вопросам) скорее исхожу из опыта жизни, чем от профессиональных познаний, и специалисты — каждый в своей области — скажут свое определяющее слово; но ведь и опыт жизни, как отмечалось, — дело далеко не последнее в понимании и оценке тех или иных событий. Многие наши ошибки, может быть, как раз и происходили оттого, что в ущерб опыту мы опирались на некую казавшуюся незыблемой фундаментальность. Но одно дело — вообразить идеал, и совсем другое, когда идеал этот, дающий осечки в конкретном применении, продолжает считаться единственным и незаменимым. А говорю я это к тому, что и в общественных наших науках, как и в установках на будущее, царит все та же разобщенность мнений, та же путаница (даже иногда просто в понятиях), требующая незамедлительного и широкого общественного диалога. Пусть я не знаток истории, не знаток всех перипетий и тонкостей революционных лет, когда замышлялось и становилось наше государство, но из всех доступных на сегодняшний день источников о том периоде ясно, что революция совершалась не просто для абстрактного обновления жизни и уж не ради некоего мирового, что ли, эксперимента над народом (сама мысль о подобном представляется мне чудовищной!), — нет, цель была иной и до простого ясной: улучшить жизнь людей, дать им свободно вздохнуть и потрудиться на родной земле. Я спрашиваю себя сейчас: осуществлена ли эта главная цель или нет? Я спрашиваю себя: для чего нужно было, уничтожая самодержавие и освобождаясь от рабства, заодно бездумно ломать устоявшийся уклад жизни простых людей, их традиции, культуру труда и быта?

Нам не надо подсказывать, кого мы должны славить за «достижения» — партию; но с кого же, как не с партии, которая вела нас многие годы «от победы к победе», с кого же еще, как не с нее, мы должны спросить сегодня за ошибки и за экспериментаторства времен сталинизма и застоя, которые привели народ и страну к столь тяжким социальным и нравственным бедам?

Когда машина не заводится, следует, видимо, заглянуть в мотор и там искать неисправности, а не кидаться протирать стекла. К чести нынешнего руководства партией, оно открыто заявило о прежних ошибках, просчетах в деятельности партии и осудило волюнтаризм и командно-административный метод; но достаточно ли для глубокого понимания вопроса этих общих оценок, и правомерно ли (как делают это иные читатели в письмах) осуждать сегодня тех, кто хотел бы углубленнее — во имя общих наших интересов — посмотреть на дело? Бояться критики — это значит бояться правды. А правда между тем такова, что и сегодня без согласия с партийными органами, без их санкционирования не решается почти ничего (особенно на периферии), ни одного, иногда пустячного дела. Я понимаю и понимаю так, что основатели партии создавали ее для революции и защиты интересов народа; но отойдя (в известный и осужденный нами период истории) от

своей главной роли, она, партия, из защитницы интересов народа превратилась в защитницу интересов власти, потеснив на всех уровнях Советы, вернее, почти полностью взяв их деятельность под свой непосредственный контроль. Под контроль были взяты и наука, и культура, и другие организации и учреждения государственной и общественной жизни. Там, в партии, знали все; тут, в народе, должны были только исполнять, всякий живой голос правды заглушался, и мы знаем, как и чем оборачивалось это для человека. Разве это не беспредельная, не монополярная власть? И о каких «нападаках» на партию можно тут говорить, когда речь идет об исследовании вопроса, о деятельности (известных лиц и их подпевал), из которой мы все — и члены партии, и беспартийные — должны вынести соответствующий урок, чтобы не допустить повторения подобного.

Существует понятие «пирамида власти». В данном разбираемом случае, мне кажется, оно применимо и к партии. И мне, как и многим, наверное, хотелось бы понять, из чего складывалась, да и во многом складывается сейчас эта пирамида, и над чем — в кадровых делах — следовало бы всем нам поразмышлять. Когда говорят о кадровых военных, это и понятно, и объяснимо; но когда говорят о кадровых партийцах, тут возникает сомнение: а правильно ли, что в руководящих партийных органах (если учесть безраздельную власть ее над всем и вся) сидят именно кадровые партийцы? И что кроется за этим понятием — кадровые? Из вожжа октябрят в вожжаки комсомольские — школы, вуза, района, области, республики, Союза; а из комсомола, как правило, на партийную работу. Подобные кадры, какую бы переподготовку они ни проходили, остаются лишь вышколенными с точки зрения партийных (и, впрочем, во многом закостенелых) форм работы, но отдаленными от реальностей жизни и глухими к заботам и нуждам простых людей. Мне могут возразить, что не все так. Согласен, не все так, есть и прекрасные исключения; но исключения лишь подтверждают правило, и приток в партийные органы, особенно в руководство этими органами, людей из гущи жизни и на сегодня остается непропорционально, мизерно мал. Я думаю, что это одна из важнейших причин нынешней оторванности многих партийных деятелей от народа. Вопрос острый? Да, острый и требующий решения. На смену безраздельной власти партии (повторяю, особенно это касается дел на местах) должна прийти не на словах, а по сути — единая и полноправная власть Советов. Но в Советях — главенствующую роль должны играть не лица, а Законы, одинаково обязательные для всех и оберегающие права каждого, так как в этом и только в этом, повторяю, состоит весь смысл и значение того правового государства, которое мы взяли (или берем) построить.

Думаю, что здесь нет нужды давать оценку прошедшим Съезду народных депутатов и сессии Верховного Совета СССР. Заседания транслировались по телевидению, и в прессе появилось достаточно высказываний — и положительных, и отрицательных — о первых шагах нашей советской парламентской деятельности. Но все же и мне хотя бы коротко, в двух словах, хотелось затронуть некоторые аспекты работы и взаимодействия новых народных органов власти, и прежде всего касающиеся статуса главы государства и его взаимоотношений со Съездом народных депутатов и Верховным Советом. То положение, какое установилось сейчас (разумеется, в соответствии с ныне действующей Конституцией), на мой взгляд, имеет ряд недостатков и требует совершенствования, и поскольку комиссия по подготовке новой Конституции страны только еще начала свою работу, то, мне кажется, самое время сейчас обратиться к ней с предложениями. Глава государства не может называться Председателем Верховного Совета СССР, ибо высшим органом власти у нас признан Съезд народных депутатов. Но этот-то высший орган власти в данном варианте оказывается без главы. Разговор как будто бы носит формальный характер, но, если вдуматься (и если учесть, что всякое должностное наименование должно соответствовать ясному и однозначному толкованию в народе), то окажется, что не столь уж и формальный, сколько по существу. Глава государства должен возглавлять Съезд народных депутатов (так как избирается на Съезде прямым и тайным голосованием) и именоваться Президентом страны. Съезд же образует постоянно действующий, но не Верховный, не поставленный над собой, а подчиненный орган, состоящий из двух палат — Совета Союза и Совета Национальностей. Члены палат избираются и ротируются Съездом. Заседания палат — и отдельные, и совместные — ведутся председателями или заместителями председателей этих органов, и тогда Президенту страны не нужно будет постоянно присутствовать на заседаниях палат и вести их, и у него появится больше времени и возможности сосредоточить свою деятельность на управлении государством. Какие бы и по чьей бы инициативе не принимались законы на сессиях палат, они непременно должны утверждаться (либо не утверждаться) Президентом страны и Съездом. В таком случае возникает как бы второй контроль и над деятельностью Президента, и над деятельностью постоянно действующего парламента. Любой закон, принятый на заседаниях палат, может вызвать возражение у Президента и отправлен им на повторное слушание равно как и закон, предложенный Президентом, может быть отклонен решением палат. Арбитром же в подобных спорных ситуациях может и должен быть только Съезд народных депутатов. Повторяю, нам необходимо иметь на государствен-

ном уровне альтернативные мнения, ибо речь идет о законах, которые будут определять нашу жизнь, и законы эти должны быть всесторонне обдуманными и взвешенными. При нынешнем же положении, когда нагружается (в государственном организме жизни) лишь одна чаша весов, то и стрелка всегда будет отклонена в одну сторону, либо левую, либо правую, смотря по эмоциональному в данную минуту настрою депутатов. Разумеется, высказанное мной всего лишь предложение; видимо, будут выдвинуты другие и, может быть, более совершенные, но одно бесспорно: глава государства, которому надо управлять страной (да к тому же и партией), должен прежде всего иметь на это время, а не подменять спикеров палат и должен (в рамках закона) энергичнее проявлять и свою инициативу, и свои права, предоставленные ему волей народа. Таково мое мнение, и я, естественно, собираюсь выступить с ним на предстоящих сессии Верховного Совета и Съезде народных депутатов.

Другим важным делом является принятие законов о земле, землепользовании и о собственности. Собственность и отношение человека к ней всегда рождала и будет рождать (по естественному закону природы, который ни приказами, ни вычеркиванием из списка действующих, ни умолчанием о нем, как это долгое время делали мы, нельзя отменить) инициативу к труду и деятельности, и если уж до конца быть правдивыми и честными перед собой и историей, то следует признать, что, не обладая собственностью, человек не может осуществить себя, реализовать в полной мере свои творческие, созидательные, истинно человеческие способности и потребности, и в этом смысле можно сказать даже так: всему прекрасному и могучему, сотворенному в мире, люди обязаны этой основанной на притягательной силе собственности неисчерпаемой энергии человека. Хорошо, что теперь и мы начинаем признавать это и понимать, что закон о собственности самым теснейшим образом должен быть увязан с законом о земле и землепользовании. Принятые в единстве и согласии, они, эти законы, смогут определять не только состояние и развитие сельского хозяйства, но и экономики страны в целом как на ближайшие десятилетия, так и на всю обозримую перспективу будущего. Но все же о законе о земле и землепользовании надо поговорить отдельно и начать с того, что для деревни нашей главное сегодня не поиск организационных форм, то есть не сами формы труда, о которых мы так много и на всех уровнях толкуем и думаем (формы могут сложиться сами в согласии со свободным трудом и выбором), а крестьянский вопрос, социально-нравственная удовлетворенность жизнью деревенского человека, его культура труда, быта, традиционный уклад жизни, привычки и пр., и пр., что испокон (и в согласии с климатическими условиями и национальной самобытностью) складывалось для него. Говоря иначе, мы должны выдвинуть на передний план человека со всеми его нуждами и потребностями, и тогда тот самый воз — сельское хозяйство, который приходится сегодня постоянно подмазывать и подталкивать, сдвинется, наконец, с места и начнет набирать скорость. Нет и не может быть (на долгосрочной основе) передовой промышленности без крепкого, здорового сельского хозяйства, как нет и не может быть свободной интеллигенции, когда не свободен народ.

Что же я предлагаю? Я предлагаю принять Декрет о земле, предварив им закон о земле и землепользовании. В коротких и четких параграфах надо изложить народу главное направление в нашей аграрной политике, чтобы Декрет был прост, ясен и понятен каждому: что государство предлагает и гарантирует крестьянину и чего ждет и готово спросить с него. Декрет можно изложить в такой форме: государство безвозмездно передает землю в вечное пользование тем, кто пожелает обрабатывать ее (без права продажи, но с правом наследования), но вместе с тем и устанавливает предельный минимум выработки с нее; государство гарантирует равноправное развитие всех видов и форм хозяйствования на земле (разумеется, по свободному выбору их) и признает крестьянский двор, подворье или ферму как первоячейку государственного организма жизни в деревне со всеми вытекающими отсюда юридическими правами; государство устанавливает (исходя из плодородия почв, то есть по регионам) постоянный налог или ренту на землю, которая может выплачиваться как натурой, так и деньгами, и дает твердую гарантию, что распорядителем полученного продукта будет производитель и только он, и никто и никогда не посмеет посягнуть на это его право. Следует прояснить и положение о государственном заказе, включить и вопросы финансирования, то есть получения кредитов, и техническое, и прочее обеспечение — дело не в количестве параграфов и пунктов. Еще раз повторяю, что Декрет должен быть четким, ясным, доходчивым и чтобы в нем было заключено и прямое обращение к крестьянству, и гарантия на свободный труд, и свободный выбор формы труда на земле. Только таким решительным словом и, главное, делом, которое должно последовать за словом (Декретом или Законом), можно сегодня вернуть инициативу и доверие изрядно поиссякшему по деревням страны хлеборобу.

Завершить эти короткие размышления мне хотелось бы вопросом, может быть, звучащим упрощенно и риторически: беспокойство, поиск и движение вперед, к общему благу или приверженность к догмам, консерватизм и успокоен-

ность? Чего мы хотим, каковы (в этом плане) истинные устремления общества? И в зависимости от выбора — за обломовщину ли мы (хотя и в этой пошехонской старине, в этой русской стихии, высвеченной в свое время Гончаровым, заключено, по мнению новейших наших критиков, немало привлекательного — для дворян, добавим, чтобы не нарушить истины, то бишь для командно-бюрократического, по нынешним временам, корпуса) или за изменения и прогресс — сообразуются наши суждения и действия. Относительно себя скажу сразу: обломовщина, тем более в ее осовремененном варианте, — это не для меня; и, думаю, не для народа, что подтверждается всем нарастающим ходом перестройки. Кстати, замечу, что, когда принимался закон о хозрасчете для прибалтийских республик, мне было обидно и больно за нашу Россию, которая оказалась далеко не в первых рядах по освоению новых форм и методов хозяйствования. Республика просто-напросто оказалась не подготовленной к реальным потребностям дня, хотя, казалось, мы только и делали, что твердили о перестройке и боролись — криком с трибун — за нее. И неподготовленность наша, наша нерешительность в делах прежде всего сказались на состоянии деревни. Я понимаю, что повторяюсь, но не могу не сказать отдельно о России, и ее сеятелях, защитниках и кормильцах, ныне рассеянных — кто где! — по неуютному лику державы. Бездорожье, тысячи сгинувших деревень (сгинувших крестьянских подворий с их традиционным укладом жизни), миллионы заросших и списанных за непригодностью пахотных угодий, — да неужели все это проходит мимо нашего сознания, а если проходит, то чем объяснить или оправдать столь пагубную нашу заторможенность в понимании крестьянской проблемы, столь очевидную узколобость, иначе не назовешь (хотя кому-то и может показаться нетактичным), когда вместо того, чтобы кардинально и с учетом мирового опыта приступить к решению дел, мы вновь и в который раз принимаемся лишь подлачивать то, что не прижилось в народе, не оправдало и не может (по ряду известных причин) оправдать себя. Пустые прилавки — так не может продолжаться дальше. И всякое кивание Ивана на Петра, а Петра на Ивана сегодня уже не имеет и не может иметь смысла. Когда горит дом, надо не стоять и переругиваться, кому бежать за шлангом, кому за ведром, а приступить к делу. Но, странно, именно на тех, кто хоть как-то стремится сегодня приступить к делу, то есть выдвигает предложения, способные оздоровить экономику и жизнь (как, например, предложения межрегиональной группы народных депутатов), — именно на них обрушивается гнев приверженцев современной (говоря образно и мягко) обломовщины. И, не успев даже проклюнуться, ростки нового, прогрессивного, в сущности, губятся на корню. Некоторым нынешним разного рода деятелям от обломовщины (в современном именно толковании ее) хотелось бы даже вновь видеть русский народ в черных косынках и домотканых одеждах и чтобы от каждого пахло ладаном. Случайно ли это? Нет, не случайно. Обломовщина и прежде не являлась на пустом месте, из ничего или только лишь из дурного, ленивого характера, что ли. В этом явлении я вижу две основополагающие причины. Одна из них — сохранение своих «благоприобретенных» (за счет чужого труда) социальных почестей и привилегий, позволяющих помыкать народом и не замечать его нужд, и вторая — «величайшая» и закатенная уже как будто, консервативность мышления, «величайший» и успевший уже пропитать все поры нашего государственного организма жизни тот плакатный патриотизм, за которым давно не стоит ничего, кроме самих этих плакатов и лозунгов. Консерватизм мышления к тому же — это один из первейших тормозов перестройки. Но если бы носители его выступали открыто, прямолинейно, однозначно, было бы проще: все у всех на виду и всем понятно, но у них есть свое защитное средство, свой наращивавшийся с годами опыт — говорить от имени народа и действовать от него, и если что и может сегодня противостоять их изворотливости и лжи, то лишь гласность, демократия и правда, лишь не утопическое, а реалистическое видение и понимание прошлого, настоящего и будущего.

28 августа 1989 г.

Облака бывают белые, синие, черные

ПИСЬМА ДЛЯ СЫНА

О прощаньях и встречах

Эти страницы писались у моря, под шум осенних дождей и вздохи при-
боя. Наверное, потому в них нет ясного плана—какие же планы
у моря! Там все стихийно, как волны. И наши чувства, и даже надежды.
Впрочем, надежд было мало—я приехал к морю с тяжелой болезнью
и, чтоб совсем не отчаяться, начал писать. Но это были не рассказы, не
повесть, а письма. Обыкновенные письма моему пятилетнему сыну, кото-
рый, конечно, не знал еще ни единой буквы. Да что из того, что не
знал! Покупаем же мы своим ребятишкам одежду на вырост, да и время-
то летит, как самые быстрые кони. Не успеешь оглянуться, как сын ока-
жется в старших классах. Вот тогда и прочтет по-настоящему эти стра-
нички. Как хочется верить в это, надеяться. Это самое большое желание...

Везет меня скорый поезд Новосибирск—Адлер. В нашем Кургане он
стоял двенадцать минут, но мне и этого было много — хотелось быстрее
уехать, исчезнуть, надоели все утешения. И вот желание сбылось: за ва-
гонным окном уже проплывали низенькие строения, железнодорожные скла-
ды и крытые платформы, потом начались длинные пригороды—дачки
и огороды, высокие крыши. И то ли от недавних прощаний, то ли от этого
печального зеленого цвета у меня разболелось сердце. Оно часто у ме-
ня болело, но тогда кольнуло так, что я схватился за стенку. И сразу—
страшно, тоскливо и нет дыхания. Вот тебе—«как на крыльях приле-
тишь», «в твои-то годы какие болезни». Но скоро эти мысли перебили
другие: и куда ж ты, глупый, собрался?

Луна нахально заглядывала в окно, узколицая, желтоглазая и как
будто что-то знала и понимала. И чтоб не видеть ее, я закрыл глаза. Но
лунный свет проникал сквозь веки и мешал думать, уйти в себя. Чтоб не
мучиться, я приподнял подушку повыше и огляделся. Внизу, на нижней
полке, сидели двое—старые люди, муж и жена. Я это понял по их разго-
вору. И на другой полке, напротив, тоже сидела старушка в серой пуховой
шали. Она все время поводила плечами, как будто мерзла, а может, чем-
то была недовольна.

Ночь, луна, пустая степь за Уралом. И по этой степи бежит наш
поезд, грохочут вагоны. Я лежал тихо, спокойно, и сердце не болело, ждал
прихода сна, даже закрыл глаза. И чтоб покрепче заснуть, натянул одеяло
на голову и стал вспоминать о сыне. А потом тихо-тихо, как шаги по глу-
бокому снегу, стали возвращаться надежды. Это похоже на волны, на шум
дальних сосен. Но где же ветер? И только подумал, так сразу запахло
польнкой, березовыми дровами и еще чем-то далеким, неясным, как шорох
тумана. И мне снова легко—стихло сердце, будто никогда не болело. Точ-
но, все болезни я сам придумал, надевал на себя, как чужие одежды.
И вот сейчас я бросил эти тряпки, освободился, потому и легко мне, сво-
бодно. Внизу, в купе, чаевничали. Я свесил голову, старик посмотрел
с осуждением. Я улыбнулся—старик сразу оттаял:

— Садись за компанию.

— Спасибо, я немного посплю.

— Как хошь. Два раза не приглашаю. — И он обиженно поджал губы.

— Да вы не сердитесь, — начал я почему-то оправдываться, но он остановил меня жестом — поднял руку и опустил.

— А чё сердиться, мы человеки не злые. — И посмотрел вприщур на соседку. — А теперь-то куда собралась? Наше дело с тобой на печке давить тараканов, а ты куда-то с узлами?

— К сыну, милые, к сыну. Он у меня на юг переехал. Сколько не отпустила, но раз собрался — не свяжешь... Там и жена у него, там и работа. Он у меня учитель. И своих деток трое. Так што богаты. И меня к себе звали, я сноху не похаю. Еду вот, а сама боюся... Честно слово — боюся. Не пустая ж к ним еду. — Она подняла голову и покосилась на мою полку. Я зажмурил глаза, но все слышу, конечно. Сейчас жду, что старик будет расспрашивать. Так и есть:

— Поди, наследство везешь?

— Угадал. — Она хохотнула, и старик тоже фыркнул, потом прикрыл рот ладонью. Они сидели рядком, как куры на седале. Старик был посредине. Воцарилось молчание. Но ненадолго. Старик снова спросил:

— И крупно наследство?

— Я не меряла. А тебе, видно, не терпится, надо узнать?.. — Она головой покачала. — Как и мы все любопытные, ясное море.

— Да ладно уж, не рассказывай! — рассердилась вдруг жена старика. — Несильно и просим...

— Почему? У меня нет секретов, все наследство при мне. А че везу? А везу я, милые мои, всяки бумаги, да фотокарточки, да кое-че из одежды...

— Каки бумаги?! — изумился старик.

— Да так — всего помаленьку. А само главное — письма мужевы с фронта и мои письма — ему, да, да... Я ведь писала ему, да не отправляла. После похоронки дело-то было — тогда и писала...

— Бывает. Всяко бывает, — согласился старик. — Чудят люди по-разному, и никому не прикажешь.

— Э-э, не то говоришь, — усмехнулась старуха, — я не чудила и ума не теряла, просто похоронке этой не верила — нет, ни за что. И писала ему как живому, давала отчеты. И про сына, и про себя маленько рассказывала, и про соседей... Кто помер, да кто женился, да всяко разное, да, да. Я же грамотна была, разбиралася. Писала. И стопочкой складывала. Думаю, вернется и прочитает про наше житье-бытье. А похоронка че? Бумажка — не больше. Так што я ждала всю войну, да, да... А жили-то — господи-и! Ни одеть, ни обуть, и на столе крапивно похлебка, а ничего. Други люди, вон которые не выдержали, а я ничего. Это потому, что письма писала, отвлекала себя... — Она затихла, к чему-то прислушалась. Наверно, колеса ее пугали, забирали внимание. Старик тоже замолчал, только носом посапывал. И жена его не шевелилась, как будто уснула. А я снова начал смотреть в окно. Луны уже не было, наверно, скрылась за тучами.

— Давайте-ко спать. А завтра встанем поране, чайку закажем. Люблю, понимаешь, чай... — Старик хмыкнул и выключил свет. Купе сделалось голубое, чудесное... Как хорошо! Как легко, непривычно... Свет над мной качался, переливался, играла голубизна...

А поезд все шел, и стучали колеса, и раскачивался вагон, и летело пространство. Оно было живое — я слышал, — я мог даже потрогать руками эти равнины. Да что потрогать — я слышал даже их дыханье, их звуки, и если бы не колеса... Но все равно они меня уже не пугали, я знал, что мне делать. Буду жить у моря, лечиться, а по ночам буду писать сыну письма. Большие, длинные письма-отчеты: и о своей жизни, и о прошлом и настоящем, и о родных и близких, и о тех, кого уже нет на земле и никогда не будет... И о мечтах своих, о надеждах, о прощаньях и встречах, ведь у нас с сыном все еще впереди...

Я буду писать их и складывать стопкой. А потом их накопится много-много — целая книга... А затем пройдет еще лет десять — пятнадцать — и мой сын их прочтает! И я тоже доживу до этой минуты. Я доживу...

Письмо первое — о школьных тетрадках...

Дорогой Федор! Я решил — начинаю свои отчеты. Разве отчеты? Какое тяжелое слово! Я бы с удовольствием заменил его на другое. Но только зачем?

Да, я очень волнуюсь, переживаю — даже буквы выходят косые, неровные и рука, как чужая. Но некому жаловаться — никто не просил ведь, а я решил. И только об одном моя дума — поймешь ли меня, мой сын, или осудишь?.. Ведь я хочу рассказать тебе о самом близком, родном, неизбежном. В моих письмах будет много горя, печали, а молодые такое не любят. Им подавай праздник, бесконечную весну, ожидание. Счастливое ожидание. А в жизни-то, Федор, совсем по-другому. И надо будет привыкать и к долгим зимам, и трескучим морозам, и к таким же долгим, невыносимым печалям. А радость, а ожидание? Но порой и ждать человеку совсем нечего — все прошло уже, миновало и остается только одно — умереть... Но хватит, наверное, о печальном. Да и будут, обязательно будут в моих письмах и праздники, и надежда. Все мы живем надеждой. Иногда даже смутной, неясной, похожей вон на то облачко у самого горизонта. Ты смотришь туда и все-таки не уверен — то ли есть оно, то ли отнесло уже ветром. Но все равно тебе хорошо. А почему — сам не знаешь. Да и зачем те вопросы? Вот и я сейчас размышляю. Представил, как однажды ты возьмешь в руки эти странички, а потом откроешь и прочитаешь. И пусть это случится раньше — в самом начале твоей дороги. Но если б знал ты, как я волнуюсь! А отступать уже некуда, я сам сделал выбор, решил. И вот уже беру весло, сажусь в свою лодку и отталкиваюсь от берега. Только рядом со мной не река, а море. И на море светло и ярко, как будто глубоко под водой горит электричество. Но это, конечно, мираж, обман зрения. Никакого там нет электричества — просто на воду падают прямые лучи, и вода от них горит и играет — невозможно смотреть, даже слепнут глаза. Но в этой игре есть загадка: лучи-то падают, а самого солнца нет. Его скрыли большие белые облака. И как будто из снега они, из чистого белого снега. И эта белизна пропускает лучи. Прямо нарисовал бы на память и сохранил... Как хорошо! А далеко-далеко это белое сливается с синим, и по этой черте продвигается длинный корабль. Он похож на спичку, и эта спичка дымит сейчас, кого-то пугает. Но кого пугать — вокруг тишина. Откуда она, такая огромная, такая непостижимая, сжимающая душу мою тишина? Хочется встать в полный рост и крикнуть. Только море и ветер. Я замечаю его по движению деревьев. Они начинают чуть клониться, вытягиваться, — вон кипарисы прямо на глазах у меня оживают. Да, да, оживают — и в это сначала не веришь. Еще минуту назад они были какие-то каменные, уверенные. Кажется, стукни по ним топором — и сломаются обух. Но видно, и этот камень способен качаться. И вспомнилась наша берега.

Однажды знакомый парень показал мне фотографию своей невесты. Если б ты это видел! Он и она стоят у березы, и дерево это белое, снежное, и рубашка на парне тоже белая, яркая, и платье у невесты такого же белого, счастливого цвета. И эта белизна, эта нежность прямо пронзили меня. Я даже не знаю, не понял, что тогда нашло на меня, что случилось, — и только губы без конца шептали: какие вы весенние, милые, какие счастливые! И вдруг на обороте я надпись увидел: «Мы не были счастливыми, но были молодыми». И сразу вместо дня вышла ночь. Чудак мой парень, он все испортил. А ему бы только одно слово убрать, всего одно слово. И тогда бы вышло: «Мы были счастливыми, мы были молодыми...» Но я отвлекся, сын... Пока я только один в палате, а вторая койка пуста. Меня за что-то полюбил главный врач санатория. Да я знаю, за что. Ты представляешь — он оказался нашим, курганским. Приехал на юг много лет назад, но никак не привыкнет. Так что мы земляки. Видишь, как повезло мне...

Две последние ночи я уже спал до трех утра. Это же для меня — победа. Сказали бы раньше — ни за что б не поверил. При моей-то бессоннице да при моих нервах. И только засну — так сразу в глазах тихий большелобый мальчишка. Смотрит на меня, и глаза у него серьезные, с голубой поволокой, и со лба он очень-очень похож на бычка, которого только только выпустили из стойла на луг...

Я вижу, как мальчишка этот косит сено, как возит копны на колхозной Серухе, как помогает ставить зароды, — и все это от души, от желания. А потом в глазах совсем другая картина: я смотрю, как он провожает на выпас корову. Манька мотает рогами, как будто гордится. И пусть гордится — она заслужила. Ведь от нее и молочко, и теленочек, она в семье и за лошадь. Куда ни кинь — кругом Манька. Летом ее запрягают в телегу, а зимой — в тяжелые сани. И только-только вспомнил про зиму, как скрылось солнце и пришли тяжелые тучи. Они пришли с ветром и снегом и сразу закрутили, закружили моего мальчишку. И мне его жалко. И я просыпаюсь... А над морем стоит синее марево, и мне кажется, что оно живое. Ну, конечно, живое — иначе бы оно не дышало, не двигалось, и в этом движении даже есть какая-то тайна. И вдруг я вспоминаю, догадываюсь, а ведь однажды я уже видел такое море и такое марево, и такой же длинный солнечный луч стоял над водой и резал глаза. Да, да, это все было, случалось уже со мной, но только сейчас август, а тогда только-только начиналась весна — и все вокруг просыпалось, играло, особенно наш Tobol. Он отяжелел от вешней воды и не входил в берега. Не река — море синее, океан. И по этому океану плыли мелкие льдины, коряги, камыш. Аверху неслись и неслись облака, какие-то веселые, быстрые, похожие на стаи белых гусей. А потом опускалась ночь, появлялась луна, и река начинала походить на большое длинное зеркало, а над ним — лунный свет. Да, ничего нет лучше ночной весенней реки! А вокруг тишина, слепое безмолвие. Ничто не вздрогнет, не скрипнет, точно все подо льдом. И так прошел почти час, я начал расстраиваться, ведь очутился здесь ради матери. Та почему-то опаздывала. Еще днем она ушла на дальние пашни читать трактористам лекцию и наказала мне встречать. И вот я жду ее окриков с другого берега. Но окриков нет, а ведь надо найти потом перевозчика...

Там, где днем клубилась березовая роща, теперь возвышались холмы. Я принял их вначале за копны сена, и эти копны шевелились, передвигались, как будто живые. И над холмами вырос солнечный столбик. Он поднимался все выше и выше и тихонько покачивался. Да, да, так и было. Столбик рос на глазах, выпрямлялся. И вот уж не столбик это, а длинная высокая свечечка. Она горела ярко и все продолжала расти вверх, продвигаться. И вот уж достала до неба и пошла дальше, дальше. Я смотрел вверх и не верил — то ли сон, то ли правда, то ли сам я на небе уже, а не на земле. Но свеча вдруг опала, шатаясь, истончилась, и вот уж вместо нее — только воспоминание, только испуг и ожидание: что-то будет дальше?.. И в этот миг закричала мать. Меня разом точно подбросило, и я побежал искать лодку. Что было тогда? Я и теперь не знаю, откуда взялся над рощей тот огненный столбик. Что за чудо? Луч заходящего солнца или мое воображение?

Тогда я написал в сочинении про этот огненный столбик, а учительница литературы, прочитав, при всех похвалила меня. Я был, наверное, самый счастливый, потому что той учительницей была моя мать и все мы ее очень, очень любили... Она похвалила меня, а потом, помолчав немного, добавила:

— Ты написал, наверное, правильно. Но согласишься — маловато. В те годы ведь шла война, а в твоём сочинении об этом — ни слова. Только весенняя река, да огненный столбик, да всякие чувства, а где же жизнь наша? Ты согласен со мной?

— Согласен... — сказал я, бледнея, потому что не ожидал такого приговора.

— Вот и хорошо, что согласен. А теперь напомню: в те годы в нашей деревне жили блокадные дети. Они были для наших ребятшек как братья и сестры. И для тебя тоже. Согласен?

— Конечно!

— Вот-вот... А потом мы их провожали домой, в Ленинград. Они радовались, смеялись, а у вас у многих в глазах были слезы... Так что даю всем задание: к следующему уроку написать сочинение на тему — «Блокадные дети». А вторую тему озаглавим, может быть, так — «Войну мы не ждали...». Так что на выбор.

На выбор... Я смотрел тогда в окно на пустую улицу и все думал, думал: за какую же тему приняться? А потом вдруг догадался: наверное,

наша учительница просто ошиблась. Разве можно такое страшное, такое горькое слово — Война — делить на две темы? Да какие уж тут темы, если было столько горя, печали? Разве ты, мама, забыла нашу первую похоронку — на отца, потом на моего родного дядю, потом еще и еще?.. Сколько же их было в войну, этих похоронок, на близкую и дальнюю родню? В деревне через дом роднятся... А разве ты, мама, забыла, как по субботам да в будние дни наш дом заполняли гости? Они приходили со всей деревни — постаревшие, печальные женщины — и даже из соседних деревень приходили... Они располагались рядком на лавке и замолкали. Но в этом молчании — великая просьба. И мама сразу догадывалась — и доставала ручку и листочки бумаги. Да и как тут не догадаться, ведь все они хотели, чтобы мама написала им на фронт письма. И чтоб хорошо написала, душевно, чтоб взяло это письмо за самое сердце...

И вот письмо закончено, мама читает его и все обсуждают, — и тот далекий адресат точно бы входит в наш дом и тоже усаживается на лавку. Ему наказывают беречься от пули, не забывать родных и малых детишек. Здесь и в любви клянутся, и в верности, и прощают все старые грехи и обиды, и все это сдобрено горючей бабьей слезой.

Слезы, печали, утраты... И мое маленькое детское сердце разрывалось тогда от боли и жалости. Мне так хотелось помочь этим людям. Я мог бы даже отдать свою жизнь, и отдать ее разом, без размышлений, чтоб только им стало полегче, чтоб только не было этих слез и рыданий... Постепенно у мамы затекла рука, и тогда я приходил на помощь, выводил отдельно каждую букву, каждое слово, стараясь писать с красивым наклоном. Это были мои самые первые письма, и они уходили на фронт. И там, на фронте, их читали и ставили мне оценку. Но какую? Я так никогда и не узнаю. Потому что почти все наши утятские солдаты не вернулись домой. Заходи, сын, почаще на сельскую площадь в нашей деревне. Там знакомый тебе памятник — бетонная стела. На ней — фамилии всех погибших в войну. Много-много фамилий...

Но я, кажется, немного отвлекся. Я же начал о том, как учительница утятской школы — моя мать — задала нам сочинение. Назвала две темы — на выбор... И вот я сидел тогда и смотрел в окно, и все думал, думал — с чего бы начать, какую выбрать мне тему. И было грустно, и голова болела от этих дум, как сейчас. А прочтешь его ты, мой сын. И поймешь ли, поверишь ли? Я порой и сам-то не верю себе. Да, да, бывает, нахлынет такое, что я спрашиваю: неужели все это было, неужели все мы тогда чуть не погибли от голода, холода?.. Неужели мой самый близкий друг Боренька Смирнов потерял тогда обе ноги?..

Эх, Боренька, Боренька... Мы все его так звали, потому что очень жалели, любили. Да и как не жалеть: ведь ног-то не было. Когда везли в эшелоне из Ленинграда, он их отморозил. И пока добирались до наших мест, началось воспаление, гангрена. И если б ноги не ампутировали — Боря бы умер. Врачи в больнице пообещали: «У тебя, мальчик, еще вырастут ножки. Вот пройдет года два, и они снова появятся. И ты побежишь на своих...» Это была ложь во спасение, потому я за это не осуждаю. К тому же Боря врачам поверил. Если жить хочешь — всему поверишь. А потом в школьной мастерской ему сделали тележку на железных колесах. Я помню, как Боренька привыкал к ней. Но как привыкнуть!.. Боренька любил спрашивать, пытаться встречного человека: «Тетенька, посмотри вниз — у меня ножки не показались?» И если тетенька сказывалась умной, догадливой, то всегда отвечала: «Показались, Боренька, показались». И он смеялся, глаза сияли счастьем. Святая, добрая душа. Где ты теперь?

И вот я начал тебе рассказывать о той горькой, самой страшной войне. Ведь и Боренька Смирнов — это тоже война. Знаю, чувствую — тяжело тебе об этом читать. А как же мне?..

Письмо второе — о деревне Уятке...

Дорогой Федор! Я обещал тебе рассказать о войне, о своем горьком детстве, но сегодня не выйдет. Сначала расскажу тебе о нашей деревне Уятке. Здесь — мои корни и мои родные могилы.

Ветер, горы и море. Вот три слова, которые мы особенно любим,

к которым стремимся. Особенно в детстве, особенно в юности. Да и потом, в нашей большой взрослой жизни, мы не меняем своих привычек. Вот и сегодня у меня с утра — праздник. Я пришел на море, а там собирается шторм. Ветер разнесит по пляжу соленые брызги. А потом небо стало темнеть, опускаться, и вершины гор покрылись тяжелыми тучами. Я смотрел и не верил глазам: неужели это возможно? Море из синего вдруг стало серым и пепельным, и над этим пеплом кружились белые чаечки. И так прошло полчаса, может, больше — и дышалось легко, как на утятских лугах. И тут случилось неладное: едва успел я подумать об этих лугах, как душа запросилась на родину. И только что было легко мне и празднично — и вот уж печаль... На море шторм — красота, а я закрываю глаза и представляю наш утятский домик, наш бор, наш Тобол. И так бы и улетел туда, в родные места.

Да, великое это слово — Родина! И с чем только его не сравнивали, даже всего не припомнишь: и с тихой речкой с песчаным дном, и с белой майской березкой, и с такой же тихой, задумчивой степью, у которой нет ни конца, ни начала... Одним словом, все приметы наших сельских пейзажей. И все это правильно, сын, справедливо. Но только как быть теперь с горожанином, который видел с детства одни городские дымки и трубы, а потом стал инженером или строителем и своими руками воздвиг в городе еще один новый завод — и заслужил уважение? У такого человека и сны-то бывают «индустриальные» и совсем без березок. Значит, дело не в привычной природе. А в чем же? Я знаю, уверен, что многие из погибших ни разу в жизни не произнесли это слово «Родина», хоть и умирали за нее в подмосковных и ленинградских снегах. Почему не произнесли? Да потому, что слово это было таким же ясным, как хлеб, как земля. Разве замечает человек, как он дышит?

Как хлеб, как земля, как моя дорогая Утятка. Вообще-то пишется — Утятское. Во время войны это была деревня, а теперь здесь село, потому что на всех картах Курганской области сейчас четко стоит — село Утятское. Но я буду называть по-старому — деревня Утятка. Так мне роднее и ближе, да и привыкла душа.

Утятка! Дома поглядывают вприщур и точно здороваются, и я сразу же замедляю шаг — волнуясь, даже трудно дышать. А над головой у меня кружатся голуби — птицы тоже меня узнали. Как хорошо здесь, легко!

И ноги сами собой приводят меня к высокому дому на каменном прочном фундаменте, где на вывеске написано: «Утятский сельский музей». И опять ноги сами, как будто что-то слышат и чувствуют, поднимают меня на крыльцо, а сердце мое спешит и горопит — и я рывком открываю дверь. Сколько раз уж входил сюда, поднимался, и пора бы уж мне привыкнуть, но никак не могу... И вот уж стою подле стеклянных шкафов и перебираю старые газеты и фотографии. Смотрю на полки с книгами и тяжелыми папками — и наконец беру в руки красивый белый альбом. На лицевой стороне альбома написано: «Счастье, здравствуй!» И собраны здесь многие рассказы моих земляков о своей судьбе, о всяких печалях и радостях, о прошлом и настоящем дне.

Листаю дальше рукописный журнал. И не могу опять оторваться. «Когда же конец ей, когда же? — пишет учительница Иванова Варвара Степановна. — С фронта возвращаются искалеченные наши солдаты. Пришли на костылях Илья Батиков, Александр Буров... А сколько же у нас сейчас вдов? Поди сосчитай!»

А теперь, сын, немного прервемся. Я вижу в глазах твоих недоверие. И даже усмешку: чудак, мол, отец. Сидит где-то у моря в своем санатории за тысячи километров от этого музея, а сам приводит в письмах подлинные страницы. Но как же так? Наизусть, что ли, знает?..

Да, представь себе, — наизусть! А как же не знать мне нашу историю, не носить ее в себе, не лелеять! Если музей этот создавала Иванова Варвара Степановна вместе с моей родной матерью. Так что ты можешь гордиться своей бабушкой Анной. Да и сама Варвара Степановна мне — вторая мать. И в школе, в нашей утятской семилетке, я тоже учился у нее. Много лет. И эти годы принесли мне любовь. Я любил ее так сильно и преданно, что мог бы за нее отдать свою жизнь. Честное слово, Федор, пишу тебе правду. Скажи мне тогда, что нужно за нее в огонь прыгнуть — прыгнул бы и ни о чем не жалел. Я первый из класса увидел, как она

стала сесть. И как на глазах явилась темноватая зыбкая пленочка. Это — от недосыпания, от забот, от усталости. Я и теперь вижу ее глаза...

Они всегда были добрые, пристальные. Порой глаза эти щурились, и тогда лицо делалось суровым и строгим. Это когда она расстраивалась из-за наших двоек. Ты скажешь, сын, — нашла, мол, из-за чего... Однако ты не прав. Для настоящего учителя наши двойки — всегда беда. Но часто-часто в глазах ее кружились веселые искорки, и мы к ней приставали:

— Вы опять письмо получили?

— Угадали, милые, угадали.

— Поди, из Ленинграда письмо?

— Опять угадали! — И лицо ее прямо играло и светилось, и глаза сразу делались молодые, веселые. И нам тоже весело. Как будто тяжелые тучи прорвало солнышко, и вот уж не остановить, не спрятать эти лучи. Их все больше, больше — и ликует душа. Ведь в любом возрасте она быстрее всего откликается на любовь. А в письмах этих — столько любви и тепла. Они приходили из разных мест. По всей стране разлетелись ее воспитанники. Но особенно много писем приходило из Ленинграда. И писали эти письма бывшие блокадные ребята. Во время войны в нашей Утятке был интернат, в котором жили приезжие ленинградские ребяташки. Они считали себя эвакуированными, но мы их всегда называли сиротками. Они обижались на это, но что их обиды? Если они уже испытали самое страшное — и блокаду, и немецкие пули... Я хорошо помню, как мы их встречали. Стоял мороз, зима наступала, показывала характер, и сверху, с неба, падали мертвые застывшие птицы. Теперь уж таких морозов, наверно, не будет и такого горя тоже не будет. А тогда замерзали на лету птицы... Но я опять, сын, виноват перед тобой: обещал, что про войну расскажу позднее, а у самого не хватает терпения. Надо, видно, где-то его занять. И потому давай снова вернемся к Варваре Степановне. Конечно, больше всех писем приходило ей — директору нашей школы. Но иногда письма где-то задерживались. В такие дни Варвара Степановна ходила печальная, отрешенная. И опять на глазах ее проступала зыбкая пленочка. И нам было нестерпимо жаль нашу учительницу. Наверное, потому она тогда находила на своем столе букет желтых подснежников. А если такое случилось с ней осенью, мы приносили ей много-много белых ромашек. Она прятала в них лицо и приговаривала: «Век в деревне живу, а все не привыкла к ним. И ведь растут-то где попало — под забором да на обочине. А сами белые, прямо снежные...»

Цветы мы рвали за школьной оградой, в бору. Сосны подступали почти к самым домам, а между сосен — большие поляны. Часто мы приходили сюда вместе с любимой учительницей. Школа рядом, но все равно бор казался большим и таинственным. А если начинался ветер, то старые сосны гудели монотонно и жалобно, точно просили за себя заступиться.

В бору мы бывали днем, после пятого урока. Варвара Степановна уводила нас подальше, поглубже в сосны, потом мы усаживались кружком на поляне. И разговор часто начинался с загадки:

— Маленький, колючий и молоко любит?

— Ежик! — кричим мы хором и следим за ее руками. Она разрывает возле пня сухой побуревший мох и выкатывает к ногам живого, настоящего ежика. Мы смеемся и не верим. Но загадки каждый раз были новые, и скоро мы научились понимать возраст любой сосны и березы, узнавать, где самые богатые грибные места... И какие птицы и зверушки водятся в наших местах. Но особенно хорошо она рассказывала про историю нашей родной Утятки. И мы поражались: откуда же она все знает, откуда?.. И про Ермака, и про хана Кучума, и про пугачевщину... И про первые коммуны на утятской земле.

— Как вы все помните? — приставали мы часто к Варваре Степановне.

— Живу долго! — смеялась она. — У старых-то память выносливей.

Она смеялась, потому что любила пошутить над собой. И над собственным возрастом: нам, мол, что? Нам, старичкам, теперь печь да полати... Она шутила, посмеивалась, а ведь ей не было тогда и пятидесяти.

Но время — вода. Да самая быстрая, вешняя. Не успеешь оглянуться, а уже виски белые... И я хорошо запомнил самый первый ее юбилей. В доме Варвары Степановны собралось тогда много народа — учителя, со-

седи, родня. Приехал и я из Кургана — студент-первокурсник... Вот и снова, Федор, я забегаю вперед. Разогналась моя машина — и не действуют тормоза. Так вот: разговор тогда за столом пошел вдруг о возрасте. Кто-то начал бойким, уверенным голосом:

— Пятьдесят лет — это сейчас ерунда! Только-только все начинается.

— Ну почему же?! — возразила хозяйка. — Это не так... — А потом заговорила о самом тайном, заветном — и в глазах ее опять вспыхнули искорки: — Вот прожил человек долгую жизнь. И оставил после себя только добро: и школу выстроил, и сад посадил, и дороги провел, и сыновьям оставил по дому... А ведь был в деревне только плотником и только одно умел — хорошо топориком тюкать... Ну вот — пошли дальше. А потом подросли его дети и по другой линии удались — они трактор освоили и никому на нем не уступят. Отцовская-то закалка сильна! А у этих детей — тоже дети. И вот теперь примечайте: этим внукам-то уже трудно будет представить деда. Как он топориком тюкал...

— Почему, Варвара Степановна?

— Ответ нехитрый, очень даже простой. И можно к одному подвести знаменателю, — потому что наладится в колхозе хозяйство, и уже не плотники будут рубить дома, а, наверно, машина. И не деревянная будет школа, а каменная красавица в пять этажей. И уж не парни трактора поведут — электричество. И как ни крутись, будут думать: так вечно шло. Все поколение так будет думать, и попробуй переубеди. Да особенно одними словами...

— Что ж делать?

— Вот угадай-ка, студент! — Она смотрит на меня хитровато, таинственно, а глаза играют, посмеиваются — ну давай, угадай! И я тоже ей улыбаюсь, потому что знаю эту отгадку... Знаю, какое великое дело она затеяла. Скоро разнесет оно славу о моей Утятке по всей стране, а так — кто бы знал про нее...

Дело-то великое, но и заботы великие: задумала Варвара Степановна создать сельский музей. На одном из собраний так и заявила народу: музей, мол, не роскошь, необходимость. Надо, чтобы внуки наши знали, как мы жили, боролись, какие песни пели. И как колхозы построили, как в войну победили... Кое-кто из старожилов вначале встал на дыбы:

— Ой, Варвара, Варвара, в бирюльки играешь! Сперва клуб справный надо, как у людей.

— И клуб надо, и музей надо!

Стал он ей даже снится ночами. Да, Федор, это часто бывает. Любимое дело или мечта всегда мучают, преследуют человека. И чем лучше человек, тем сильнее это мучение. Так вот: только закроет она глаза — так и возникает картина: будто стоит в конце улицы светлый дом под зеленой крышей... Зеленый-то цвет у нее — самый любимый. И вот стоит дом — ждет гостей. А на крыльце возвышается Петр Николаевич Луканин, большой белый старик с повязкой «Дежурный». Идет на крыльцо народ, он каждому кланяется — седой портартуровец. А в доме том — вся история колхоза «Россия», вся жизнь нашей Утятки. Смотрят со стен портреты: улыбается доярка Зоя Ловыгина, рядом — кузнец Степан Шевалдышев... И все время караулил, томил ее этот сон. А потом стал сбываться!

Взялась за работу — подняла на ноги весь народ. С каждого, как говорится, по нитке — навешь тюрячок. Пришли к ней и самые первые удачи: в домах нашлись и старинные книги, и разная утварь. Разыскали и героев Порт-Артура, и первых революционеров. Оформили стенд ветеранов гражданской войны и Великой Отечественной... Отвели под музей просторное светлое помещение.

Вот и меня притягивает к себе, зовет все время наш музей. И этот рукописный журнал меня тоже притягивает. И я не могу от него оторваться. Да и название журнала мне нравится — «Счастье, здравствуй...» Но я пока, Федор, вспоминаю странички о прошлом, а ведь в том журнале много и о настоящем, а еще больше — о будущем. Восемиклассница Валя Мухина, например, так начинает свою запись: «Человек и в будущем будет относиться к земле, как к кормилице. Потому всегда он будет честным перед землей. А подражать он будет таким людям, как Мальцев Терентий Семенович, как Демешкина Анисья Михайловна, да и в нашей Утятке много добрых хозяев земли». Все это написано большими упругими буквами,

потому что в этом — сила ее, убеждение, в этом вера ее и любовь... И эта любовь — на каждой странице журнала. И на каждой странице — признания, дорогие мальчишечьи клятвы, очень прямой разговор. «Моя мать Ивановна Матрена Никитична — самый хороший человек на земле. У моей матери — девять детей, и все они остались в родном селе, при колхозе». Так написал Петя Иванов, восьмиклассник, очень умный, серьезный человек. Да, сын, это правда, и не ищи преувеличений в моих словах. К тому же я хорошо помню этого Петю, очень высокого, стройного, на удивление серьезного — не по годам. Даже учителя относились к нему по-особому, как к взрослому, и часто даже добавляли к имени отчество: «Петр Петрович, к доске!» И это отчество очень шло к молчаливому, тихому мальчику, придавало ему какой-то единственный смысл. Но за внешней скрытностью, тихостью таилась добрая и высокая душа. Таким людям суждены в жизни большие дела и людское признание. Потому не зря давно сказано: тихие воды всегда глубоки.

А вот Володя Фомин совсем был другой. Всегда веселый, говорливый, самый остроумный, наверное, мальчишка в нашей Утятке. У него все горело в руках и играло, любую работу он воспринимал, как награду, как праздник. Но все ж была у Володи одна тайная страсть — он больше жизни любил наши леса и озера, нашу реку и покосы и... свои саженцы под окном. Потому, наверно, и написал о садах в том заветном журнале: «Лебедь — птица редкая в наших краях. Такие люди, как мой дедушка, тоже редкие. Всю жизнь он поднимает на нашей земле сады. Во всех ближних деревнях яблони — от Никиты Фомина. Степь весной белая-белая — это яблони набирают цвет. И цвет этот стоит сплошной белой стеной, точно лебеди, пролетая, опустились отдохнуть. Теперь уж нет с нами дедушки, но память о нем никогда не угаснет в нашем селе...» Так написал Володя, и я как человек ему благодарен за его любовь ко всему живому, за его мечту о садах.

А вот Коля Ловыгин написал в тот журнал о себе: «После школы я останусь в колхозе. Полям нужны молодые руки, без нас осиротеет земля...» И мне почему-то сейчас грустно, даже печально. Ведь и сам я стал уже наполовину городским человеком... Но стал ли? Едва ли. Да и недаром же говорят в народе: каков корень — таков и отростель. А мои отец с матерью — деревенские люди. Значит, и я вместе с ними... Родная кровь все равно притянет, разобьет все запруды — и ты оглянуться не успеешь, как окажешься опять на своей родной улице, под крышей материнского дома. И в этом возвращении на круги своя — и твое счастье, и судьба, и надежды...

Гаснет, потихоньку ускользает и бежит дальше прожектор; но в глазах у меня все равно не гаснет этот светлый огонь — моя улица и мои дома. Да и как мне забыть их — нет, не забыть. Я приезжаю сюда часто-часто. И в самые трудные часы, и в счастливые. Да что приезжаю! Где бы я ни был, куда бы ни уезжал надолго — она мне все время снится ночами: моя деревня, моя пристань, моя надежда. И я берегу эти сны, охраняю, как самое дорогое. И какие это сны, какие картины! То встанет моя улица в белых-белых черемухах, а то вся в холодных белых снегах. И вот уж я бреду по этому чистому, белому, а ноги все спешат куда-то, проваливаются, и вдруг я оседаю на бок и падаю, но мне упасть не дают — поднимают. И сразу же в глазах у меня — десятки людей. И я вглядываюсь в них, узнаю, поражаюсь, а ведь это все знакомые мои, деревенские. Среди них — и родные, и соседи по улице, и лицо того заморенного блокадой ленинградского мальчика, и лицо моей учительницы Варвары Степановны, а чуть выше, над их головами, — лицо моего отца: деревенского учителя Потанина Федора Степановича. Оно совсем юное, почти детское, это лицо: глаза раскрыты широко и смеются. На отце — белая рубашка и узенький галстук, похожий на длинный шнурок... И это белое, чистое, детское так оттеняло, выделяло его густые черные волосы. Про такие говорят — они черны, как смолка...

Эту довоенную фотографию особенно любила моя мать, а про меня что и говорить: с этого снимка пришел ко мне образ отца — его лицо, его глаза, его волосы и даже дыхание. Ведь живого я его просто не помню. А вот дыхание все-таки помню. Заснешь иногда — и сразу рядом, над головой, это дыхание, такое родное, знакомое, и ты начинаешь что-то вспо-

минать и догадываться, но ничего вспомнить не можешь, однако дыхание это мучает — и не больно, а, наоборот, радостно мучает — чье же оно, чье же? И вдруг видишь это лицо с фотографии: глаза смеются, играют, а от них тянутся лучики, а на плечах у него — та рубашка, как снег, как белое ма-рево. И снег такой непрочный, что сразу тает и испаряется. И вдруг уж нет ничего — и ты просыпаешься. Какое тяжелое пробуждение! Только что был отец — и смотрел на тебя, и смеялся, и можно было до него дотянуть-ся рукой, дотронуться — и вот уж пустота рядом, провал. Сон, только сон... Ничего нет тяжелее детского горя, печали. И лучше б даже не жить, если рядом такая печаль.

И принесла это горе война. Вот и снова, сын, я произнес это горькое, самое проклятое слово — война. Видно, никуда не уйти мне от этого — надо рассказать тебе о тех печальных днях.

Письмо третье — о наших солдатах

Закончил тебе письмо и лег отдыхать. А сна нет да нет, и только под утро забылся. И вот тут-то была мне награда. И привиделось мне далекое, невозвратное, а потом мама пришла — твоя бабушка Анна. Она села ко мне близко, можно даже дотянуться рукой, потрогать, так и есть — можно потрогать. А сам я будто опять маленький, в белой длинной руба-шечке, а на столе у кровати — мои тетрадки. Они обернуты плотной газет-ной бумагой, но все равно пахнут чернилами и какой-то сухой травой. А мама гладит меня по волосам, утешает:

— Не переживай, не надо. Придут и к тебе хорошие дни. Я ведь знаю, что ты пишешь сыну большие письма. И у тебя затруднение...

— Какое же затруднение? — пробую ей возражать, а сам про себя немного посмеиваюсь: чего, мол, надумала? Ну какие же у меня дети, я же сам еще — только-только дите. Но мать не слышит вопроса, ушла в себя. И опять говорит, сама глаза опустила:

— Я про все знаю, догадываюсь... И про то, что тебе надо описать начало войны. И чтоб все поверили, а особенно сын.

— Да какой же сын? — снова лезу с вопросами, а она улыбается и гладит мой лоб.

— Я помогу тебе, выручу. Ты уж забыл много, повытряс из памяти. Кого уж... Разве малышка упомнит? Ты ведь только-только еще на ноги встал, а я тебя тогда бросила, собралась да поехала...

— А почему?

— А потому. Лучше не спрашивай. Знал бы человек, где упасть, подстелил бы соломки, а то не знает — и прямо в яму. А у меня почище того — я за смертью поехала. Но вначале не знала, не ведала. А на душе даже петухи заливались. Я ведь к родному брату поехала в большой город Тюмень. У меня отпуск, радость, свобода...

Вместе со мной в купе молодая женщина с дочкой — им нужно на Украину, домой. Девочке года четыре, она беленькая, как молоко, и все время пристает с разговорами: «Тетя, тетя, сколько лет тебе?» А я сме-юсь: ну какая я тебе тетя? Нет, милая, ты ошибаешься. Я — Анна Тимо-феевна, учительница. А девочка опять крутится возле меня, за платье дергает — Ванна, Ванна. Это вместо Анны у ней, и мы смеемся уже на пару. Так незаметно и ночь прошла. А спать-то не хочется, и за окнами огоньки мигают — деревни, разъезды. Как я люблю смотреть на огни! Ведь каждый огонек — это дом, а там люди, знакомые люди. И у каждо-го своя душа, и радость своя, и надежды... И дай бог, чтоб все сбылось у них и свершилось, ведь всем хочется счастья. Смешная я... Всю ночь простояла у окна и уже скучала по дому, переживала. А вокруг меня крепко спали — и та девочка, и ее мама, и ее две большие куклы тоже спали на отдельной подушке и в полутьме походили на двух маленьких близнецов... Незаметно пролетели часы, и вот уж мы подъезжаем к Сверд-ловску. Но что это, что это?! Страшный шум, суета, гудят паровозы. И над всем этим — крики детей. Как будто у них на глазах кого-то уби-ли, зарезали. Убили и есть. Мое сердце убили, ведь из репродуктора я ус-лышала: «...фашистская Германия вероломно напала на нашу Родину»... Что делать теперь — не знаю. «Как так не знаешь?» — кричит душа, и ви-ски разрываются. — Надо домой, домой — и немедленно!» Кинулась к кас-

сам, но нет билетов. Потому поехала до Тюмени, вся надежда на брата Женю... Вот оно как. Ехала отдыхать, а получилось, что умирать...

Ах, эта дорога, дорога... По ней в то лето все везли и везли новобранцев. Вначале из райцентра в Утятку присылали грузовую машину. В кузов ставили скамейки, на них и усаживались наши солдаты. И только трогается с места машина—сразу в кузов летят цветы—большие букеты и маленькие, кто сколько может. И получается море цветов, как на свадьбе. Горькая свадьба—женихи уезжают, а невесты рыдают. И вот уж машина в самом конце деревни, и теперь из кузова вылетают фуражки, падают на дорогу. Есть примета: оставишь дома фуражку—значит, и сам вернешься. Если б сбылась та примета...

И вот уж молодых всех подчистили, пришла очередь сорокалетних. Все думали—их не возьмут, но напрасно. Взяли и этих. И школьного конюха Якова Менщикова тоже призывали. Твоя бабушка Анна рассказывала однажды, как его увозили. Горько и страшно. В каком кино такое увидишь, в какой книге... Не написаны, видно, такие книги. И кровь стынет в жилах, нет, нет, это снова не то, тут другие нужны слова, другие глаголы. А где их взять—ты не знаешь? Вот и я, сын, не знаю. Но прости меня—я немного отвлекся. А Яков-то перед отправкой так похудел, что его в деревне не узнавали. И в глазах—безумие, иначе не скажешь. А щеки провалились, как будто выпали зубы, и кажется, что по краям лица—ямы. Вот оно, Федор, как оставлять детей. Свои будут—узнаешь. А ведь их пятеро было у Якова да еще больная жена Елена. Правда, старшему, Лене, шел уже восемнадцатый, зато последней, Капочке, едва исполнилось пять. Куда они без кормильца? Да и дома нет своего. Жила семья по чужим углам, а о своем домишке только мечтала. Вот оно—горе-то. Пятеро же их, даже шестеро, если посчитать и Елену. Не успели, наверное, Якова довести и до передовой, как она уже умерла. Не выдержало больное сердце—захлебнулось, остановилось. И вот уж не вернуть человека. На нашем кладбище появилась новая могилка. А вскоре и Ленья—самый старший из братьев—на фронт собрался. Наши, утятские, и сейчас помнят, как его провожали. Разве забудешь такое? Ему бы еще ходить в школу, сидеть за партой, а его уже провожают. Вначале Ленья в кузове стоял в полный рост, скамейки-то заняты, так что еле-еле затиснули парня. А потом офицер из военкомата стал людей пересчитывать, стал кричать на всех. Голос был визгливый, пронзительный и все время срывался... Но нет, нет, так будет даже неточно. Когда офицер кричал на всех и приказывал, Лени еще не было в кузове. Он, говоря, побежал на кладбище, чтоб попрощаться с мамой. И машина в это время сердито гудела, сигналила—задержалась отправка. По военным-то временам—это же расстрел без суда. Но в кого стрелять-то, в кого? Они вон сидят в кузове, как цыплята. И такие же напуганные, желтоголовые и что-то чувствуют уже, что-то слышат. Ее ведь, смерть-то, Федор, зараннее слышат. Так все говорят, и я верю...

Ленья-то, как добежал тогда до могилы, так и упал на нее, онемел. А потом завернул в платок горсть песку и побрел к машине. И пока добирался до машины—все время оглядывался. Наверное, казалось, представилось, что мама смотрит вслед, провожает в дорогу. Эх, человек, на могилу-то, говорят, не надо оглядываться. Худая примета. Но я Лени не осуждаю: мать-то, конечно, дороже всего...

И вот уж офицер подбежал к нему и начал отчитывать. Там, в двух шагах всего, собрались младшие. Они сбились в кучку—плечо в плечо. Но все равно замерзли, бедные, посинели. Одежонка худая, рваная, а ноги босые... вот пишу об этом, а сердце рвется на части. А у Лени-то? Что у Лени... Он смотрел, смотрел и не вытерпел. И вот уж в руках у него—Саша и Катенька. Потом и младших вскинул над головой—Люсю и Капочку. Они плачут, обнимают брата, цепляются за рубаху. А вокруг бабы воят и военный ругается, и у меня тоже сейчас не хватает дыханья. И чтоб не разрыдаться—сжимаю лицо кулаками. И мне трудно, невыносимо, как будто это случилось только вчера. Только вчера... Ведь рядом с Сашей и Катенькой еще один находился мальчишка. И тем мальчишкой был я, твой отец. Но там уж—в моей памяти—еще сильнее загудела машина. И вдруг крик: «Даю две минуты! Две минуты, товарищи!»—это офицер кричит, синее от злости. А на кого злиться? Неужели не видит?

Ведь ребяташки совсем одни остаются. Разве не понимает?.. Среди людей, а сироты. Елена-то — в земле, Яков — на фронте, а теперь и брата увозят, да, может, на смерть. Горе горем покрыло... И вот уж Леня схватил ребяташек в беремья и сдался так, что они запищали, потом махнул рукой и в кузов запрыгнул. Ему сразу место нашли, потеснились, а ребяташки стучат кулаками. Стучат по борту, как гвозди бьют. И снова поднялся военный. Лицо пышет, и лоб сжался гармошкой. И в этот миг загудел мотор. Офицер что-то скомандовал, и провожающие закричали, заухали, и в кузов полетели кисеты с табаком — цветов-то уже не стало. Осенью — какие цветы... И вот рванулась машина да сразу с места стрелой, но потом убавила ход — то ли перегрузилась, то ли горючего мало. А потом снова набрала скорость. И народ за ней побежал... Да разве догонишь? Но все равно бегут, и впереди всех — Саша и Катя, а за ней самые меньшие семеният. А там уж Леня встал в кузове в полный рост и вот уж ногу занес через борт, еще миг — и выпрыгнет, падет на дорогу, но его тянут назад. И тогда он сорвал с головы фуражку и бросил вниз. Лицо исказилось, как будто обожгло щеки. А на фуражку сразу ребяташки упали — и Саша с Катей, и Капочка... И каждый тянет к себе фуражку, как будто брата никак не разделят. А машина уже гудит далеко, в конце улицы. И вот уже за деревней она, и вот уже — возле леса, а там — прямая дорога в Курган. А потом еще с полчаса прошло. И люди на улице успокоились, пришли в себя. Только маленькая Капочка хнычет, а щеки у нее в земле. Я смотрю на нее и тоже плачу. Но не о ней — о себе. У меня ведь тоже увезли отца той же дорогой. И давно писем нет. Может, уже убили... Но мать в это не верит, и я не верю. Да и жить надо! Это слова моей матери. Она их часто, по много раз повторяет за день. Точно бы успокоить кого-то хочет, а может быть, поддержать... Но что поддерживать — в Утятке теперь одни старики и дети. Хорошие, работающие старики, особенно Павел Васильевич Волков...

Что дальше было, не помню, проснулся. Такой вот сон, сынок.

Письмо четвертое — о блокадных мальчишках

Дорогой Федор! Сегодня море спокойное, чистое, и по нему ходят лодки и катера. А ведь странно же, правда? Еще вчера море шумело, сердилось, а сегодня оно, как лазурь. Но нет, так будет неточно, да и сухое это слово — лазурь. А все ж на что похоже сегодня море? Я вспомнил... Оно похоже, Федор, на наши степи. Ну, конечно, на степи. Ты посмотри, какое море спокойное, ровное, и нет ему ни конца и ни края. Такие же степи за нашим Курганом. Они видели Ермака и хана Кучума. Да чего они только не видели — страшно представить. Их и жгли и топтали, их и плугом пахали, где надо и где не надо, а они, переболев, опять цвели, зеленели и согревали чью-то судьбу. Вот и море сегодня — оно греет меня и спасает от дум. Так и есть: в голове у меня тишина и безволие. Хоть пеленай меня, связывай, хоть бросай в лодку и увози... Но кто меня бросит-то, кто? И кому я здесь нужен-то? Да никому. Однако же это хорошо, замечательно, что никому. И вот я смотрю на море, на лодки, — и на душе у меня такая же степь и приволье, и я ничего больше не прошу у судьбы. А лодок этих много — и под парусом, и без паруса, есть среди них и моторки, и катера. От катеров летят брызги, и эти капли как кусочки стекла. Разлетелись, рассыпались, и вот уж снова и снова... И много солнца в этих кусочках. А за катерами летят люди на водных лыжах. И это — настоящий восторг, удивление. Человек парит по волнам и покачивается. Хороша колыбелька! Говорят, что люди когда-то были дельфинами, — теперь я в это верю, я знаю... Прости, сын, что все время отвлекаюсь от главного, но ведь это же жизнь — и люди, и море, и веселые крики на берегу.

Посмотри на березовый кустик где-нибудь в поле или на дорожной обочине. Как ему плохо там, как одиноко. Начнется ветер — и нет защиты. И от снега преграды нет и от дождя... А ведь могла же эта березка расти где-то в роще или в лесу. Тогда бы и защита была, и опора... Но я, Федор, снова отвлекся. На море снова стало темно. И сразу лодок меньше, и купальщики разбежались, а всему виной тучи. Они пришли из-за ближней горы и закрыли солнце. И сразу серой, свинцовой стала вода, и даже

чайки куда-то исчезли, как не было, — и у меня сразу заболело, заломило в висках... Я знал, что после этого придет слабость, апатия...

С такими мыслями я сидел и смотрел в окно. Над морем все еще стояла большая темная туча. Но дождя не случилось — одна мгла, ожидание. А там, за тучей, на вершинах уже белеют снега. А далеко за снегами — моя деревня, моя Утятка. Неужели однажды я приеду снова домой?

Так же и они тогда думали и мечтали — наши блокадные ребяташки. Удастся ли вернуться домой, удастся ли вырваться из такой глухомани? А другие, наоборот, уверяли всех, убеждали: они в Утятке совсем ненадолго. Да, да, ненадолго! Пройдет месяц, другой — и разобьют немцев под Ленинградом, опять вернется мир, а с ним — радость... Так думали и мой Боренька Смирнов, и Вовка Адалечкин, так же думали и Лидочка Костинова, и Валя Руденко...

Недавно выступал я в одной из курганских школ и вдруг стал вспоминать детство, военные годы. А началось неожиданно: одна бойкая пятиклассница с узкими глазенками, как у лисенка, спросила меня в упор:

— А вы в войну у партизан были?

— Что ты, милая! — поразился я до испуга. — В войну мне было всего... всего восемь лет.

— Но вы же седой... — В классе все засмеялись.

— А магнитофоны у вас в войну были? — спросил мальчик с передней парты. Он был в очках и выглядел независимо. — Расскажите, какая марка?

— Да что ты?! — Я почти крикнул, весь вспыхнул. И почувствовал, что бледнею. Стало жарко в груди. — У нас и бумаги-то настоящей не было. Даже бумаги... Мы писали на старых газетах, обертках. И поголодать пришлось, мерзлую картошку попробовать и щи из крапивы... А чернила мы наводили из саж. Карандаши экономили: каждый карандашик резали на три части. Потом делили между собой... — Но договорить я не сумел. В классе сделалось шумно. Я поднял голову и посмотрел на ребят. Посмотрел и сжался от боли: меня же почти не слушали! Каждый был занят собой: один заполнял дневничок, другой нетерпеливо покашливал, третий меланхолично смотрел в окно. И глаза были пустые, холодные. Их мало занимали мои слова — как будто я рассказывал им о далекой эпохе наполеоновских войн. Можно слушать, а можно и прочитать на двадцатой странице учебника... И во мне, Федор, тогда все поникло — я себя не навидел. Я же для них сейчас — скучный дяденька-резонер. Но почему? И тут на выручку мне бросилась та бойконькая — лисенок,

— А у вас в деревне была музыкальная школа?

— В войну, что ли?

— Ну да? — Она оглянулась беспомощно, ожидая поддержки. Но класс шумел, и тогда я стал отвечать одной ей, только ей...

— Такой школы, конечно, не было. А вот патефон у нас был. Его привезли с собой ленинградцы. Эвакуированные...

— А что такое «эвакуированные»? — Опять этот лисенок. Она смотрела в упор и ждала ответа. Я что-то буркнул и стал прощаться. Это походило на бегство. Но не хотелось говорить в пустоту.

И пока я шел к дому, в душе горела и жгла обида. Ну почему же им безразлично? Почему, почему?.. И эти вопросы давили, как самый тяжелый камень. И ничего не радовало, не утешало. А ведь должно, должно бы... Через три дня наступал Новый год, и везде стояло голубое сияние. Оно было всюду — и на земле, и в небе. Оно шло и от елки на городской площади, и от витрин магазинов, и от улыбок. И от надежды, которая в эти дни живет в каждом взгляде. Даже воробьи ожили, повеселели, ведь скоро прибавится день и потеплеет. Даже птицы! А что уж там люди... А мне все равно тяжело. Ну почему, почему же им все безразлично?.. Почему я сбегал от них, почему?..

Эти вопросы не отпускали и ночью. И я уже корил себя, не прощая, что не рассказал в школе о ленинградцах. Но ведь опять бы не слушали! Не поверили бы!.. А за окном у меня творилось что-то веселое, новогоднее. «Что-то внезапное, как метель, как телеграмма любимой. Так и было, я не ошибся. Ветер уже свистел и постанывал, а рядом, за стенкой, вдруг ожил пианино. Там играли Шопена. Есть ли, сын, лучшая музыка, чем у Шопена? Слушаешь ее — и сразу хорошо тебе, и как-то грустно, протяжно.

Но это грусть, которая лечит, приподнимает. От нее жить сильнее хочется и прибавляются силы...

Так и тогда было: я слушал Шопена, а в горле все сжималось, смыкалось, а потом глаза стали на мокром месте — и я вспомнил своих ленинградцев... И как встретили их, как разместили, как они впервые пришли в наши школьные классы. Но вначале у них была дорога. Длинная, смертельно длинная, сквозь наши метели...

Вот и теперь за окном свистит слепое и белое. И в этот миг — и в этот миг опять музыка, музыка! И я враз очнулся. Какая все же невыразимая мука, этот Шопен! И какая надежда... И вот уж метель и музыка живут вместе. Они слились в один медленный и чудесный звук, но успокоения не приходило... Нет, не может наша надежда без памяти прошлого, не может. Так всегда было, так и сейчас... Вон кричат под окном ребятишки, гоняют шайбу, резвятся, а ведь они тоже могли бы быть среди них, среди нас — родись бы пораньше. Да, могли бы, могли бы — стучит мое сердце, заходится. Но вот проходит минута, другая, и теперь уже оно бьется глухо, с надеждой, точно знает какую-то свою, самую горькую правду. Она, видно, осталась там, далеко-далеко, в тех холодных военных метелях. В той разутой и раздетой деревне, которая приютила тогда ленинградских сироток.

Помню, Натка Долинская протянула мне руку и сказала чуть нараспев, как большая: «Мальчик, ты не бойся меня. Девочки не кусаются...» Она сказала строго, по-взрослому и так же строго пожала мою ладонь. А я покраснел, не ответил. Я испугался ее холодных, ледяных совсем пальцев. Казалось, сожми их покрепче — и сразу хрустнут ледышки. А еще мне казалось, что эта Натка красивей всех на свете. Такой девочки я никогда не видел. Такой тоненькой, снежной, почти что прозрачной. Потом она спросила, как мое имя. А я снова молчал, и она засмеялась. В ее глазах прыгали льдинки, смеялись, и я смотрел на это как заколдованный. «Мальчик, ты, наверно, немой?» — Натка еще громче смеялась, а я чуть не плакал. Мне было стыдно, обидно. И за свою ветхую, в заплатках рубашку, и за свои старенькие валенки, в которых вместо стелек лежала солома, и за свое лицо — все в желтых гадких веснушках.

Я и сейчас слышу этот смех и вижу ее глаза, ее лицо, ее волосы. Честное слово, сын, все это рядом со мной, будто случилось только вчера... И рядом с Наткой поднимается Вовка Адалечкин. Почему он, я не знаю. Может, потому, что он был самый шумный, веселый и главный выдумщик, заводила. А может, потому, что он нас слегка презирал. Я как сейчас вижу, как Вовка усмехнется и вытянет губу: «Да что вы тут видите? Сено — солома... Да вы в цирке-то, поди не бывали? Да вам слона-то от тигра не отличить! Да вы страуса еще живого не видели...» И он был прав. Какой уж тут страус! Я, например, в то время не видел еще ни города, ни паровоза, даже в машине-то в кабинке не ездил. А за Вовкой был Ленинград. Он уверял нас, что в одном ленинградском доме поместилась бы вся наша Утятка. И мы ему верили, мы завидовали, мы подражали...

Вот Адалечкин бежит к классной доске, а ведь его не вызывали. Но что ему, он ведь блокадный... Им все можно — они же сиротки... Это Вовка-то сирота? Совсем не похоже! Вот он прохаживается у классной доски и жестикулирует, закатывает глаза. Потом встает на руки и так ходит по классу. Мы хотим, а он счастливый. А наша учительница стоит в створнке и вытирает слезы. Ей и жалко его, и обидно: ну разве можно так на руках? А потом Вовка хватает мел и начинает рисовать на доске. Появляются смешные долгоносые человечки. Это карикатуры на всех нас. И как похоже! А ведь он знает класс только неделю. Но сколько же дней в неделе?..

Да, ровно семь дней назад мы их встречали. Стоял мороз, а сверху, с неба, падали мертвые, застывшие птицы. Теперь уж, Федор, таких морозов не будет, и такого горя тоже не будет... А потом на дороге показался автобус. Он шел медленно, почти крадучись, еле-еле пробивая сугробы. И вот открылась дверка, и в проеме показался наш директор школы Варвара Степановна Иванова. Вид у нее был уставший, замученный. И лицо стало почерневшее, незнакомое, как будто задымило его, обсыпало сажей.

Что поделаешь — от Кургана до нашей Утятки они добирались восемь часов. Это сорок-то километров. Но дороги не было, ехали по сугробам...

А потом показались и ребятишки. Некоторых выносили прямо на руках — пугливые несчастные глаза, серые щеки. Много было больных, покалеченных. Блокада сделала свое дело. Да и дорога вышла тяжелая: от Ленинграда до Кургана эшелон шел около месяца. Вагоны были продувные, холодные. Особенно страдали самые маленькие. И у нас отойдут ли души, согреются ли?..

И вот уже отогрелись. А Вовка Адалечкин уже смешит целый класс. Ему само лицо помогает нас потешать. Оно у него узенькое, продолговатое. А верхняя губа всегда оттопырена — наголо все передние зубы. Он очень-очень похож на хорька, а еще сильнее — на зайца. Но заяц трусливый, а этот смелый, веселый. Вот он смахнул мокрой тряпкой свои рисунки и начал быстро-быстро водить мелком. Когда отошел — на доске красовался танк, а из пушки у него било пламя. Класс притих, а Вовка довольный. И вдруг крикнул, как на пожаре:

— Прямой наводкой пали!

И тут вмешалась наша учительница Павла Михайловна:

— Адалечкин, успокойся...

— Я по немцам стреляю!

В классе кто-то хихикнул, но Вовка сжал губы и увел в сторону подбородок. Он не подчинился, только задергался, и щеки стали белые-белые, меловые...

— Вова, Вова, ты заболел?

— Я по немцам стреляю! — опять крикнул Адалечкин и стал стучать кулаком по доске. На стук прибежал наш колхозный конюх Карпей Васильевич. Я видел, как он осторожно подошел к Вовке Адалечкину и тихо прижал мальчишку к груди. И Вовка сразу затих, как будто заснул. А Карпей Васильевич что-то шептал ему, наговаривал, а правой рукой гладил его по плечу. Наша учительница встала рядом с ними, видно, хотела что-то сказать. Но старик замотал головой:

— Потом, потом... Не видишь, что ли, как его разожгло?..

Павла Михайловна отошла к окну, потом медленно-медленно повернула лицо.

— Ребята, мы должны очень любить наших новеньких... Они многое пережили, они потеряли здоровье... — Она еще хотела продолжать, но потом беспомощно махнула рукой. Глаза у нее были печальные, умоляющие, как будто пришла с похорон. И в это время раздался звонок. Он показлся громким, внезапным, как будто выстрелила двустволка. И Вовка сразу очнулся и как ни в чем не бывало побежал в коридор. И мы сразу следом: ведь нам интересно. Но Вовка нас не замечает, а подбегает сразу к Лидочке Костиковой. Мы ее видим уже неделю, но привыкнуть не можем... Она такая исхудавшая, жалкая. Позвоночник у нее изуродован — то ли от пули, то ли от контузии. А в глазах все время прыгают чертики, и кажется, она зла на весь свет. Вот они стоят рядом и шепчутся. Два маленьких заговорщика. Вовка дает ей какое-то задание, и Лидочка кивает головой, соглашается. Скажу сразу об этом задании: Вовка просит насыпать в питьевой бачок бертолетовой соли. Мы об этом, конечно, не знали, не догадывались. Потому и пили без всякого опасения. Раз стоит вода, почему бы не пить... И вот прошел час, может, меньше, и начался ад. В животе — прямо огонь. И на следующий день пришла та же казнь — желудок лезет в горло, и нет спасения. Один Адалечкин не болеет. Это его и выдало... Как они были изобретательны! И как несчастны!..

А через несколько дней мы узнали, что все родные у Лиды и Вовки погибли. Все, все! Невозможно представить. Вот почему, наверное, и мстили нам наши новенькие... За то, что мы не слышали свиста бомб, за то, что жили так далеко-далеко от войны... И за то, что у нас были целы и руки, и ноги. Ведь многие из ленинградских приехали уже покалеченные. А вот у Бореньки Смирнова не было сразу обеих ног...

А за окном-то все еще солнце — даже не верится. И опять на море крики и водные лыжники, а далеко-далеко, у самого горизонта, дымит парход. Я провожаю его глазами и после этого тяжело и хочется достать сигарету. Но я давно не курю. Лет десять уже, а может, двенадцать...

Как быстро мелькают дни, и ничего не исправишь. Годы прожиты, надвигается старость. А только старость ли — может, усталость? Иногда ночью пожалеешь себя и подумаешь: а ведь ты вроде и не жил еще, только голова побелела. Да когда же она, матушка, побелела? Ты только ждал еще и готовился, а пароход твой уже ушел, просигналил. Но вот беда — ты не слышал этих сигналов, да ты просто не знал про них, честное слово. Разве слышим мы время, разве считаем? А вот Боренька наш считал его, пересчитывал. Об этом скоро узнала вся школа.

— Я уже прожил здесь восемнадцать дней. Через два дня будет двадцать! — сообщал он всем при встрече, докладывал.

— Ну для чего ты считаешь?

— Я хочу быстрее домой, в Ленинград! Ведь нас привезли сюда на полгода.

— Да кто ж так сказал? Кто сроки назначил?

Но он отворачивал голову и не выдавал того человека. Он умел хранить тайны... Я ему первому признался, что хочу дружить с Наткой Долинской. Я боялся — он проболтается, но он никому не сделал даже намека. Да, он умел хранить тайны. Спасибо тебе, Боренька, за это...

Спасибо тебе и за то, что мы через тебя узнали твой Ленинград. Ведь города — это люди, которые живут там. Если они хорошие, добрые, значит, хорошие и города...

И вот пролетело снова полгода, и только теперь мы поверили, что Натка учится с нами, что можно заговорить с ней, можно даже потрогать косички. Да, пограть, чтобы поверить, что это не сон. Ведь такие лица, такие глаза, такие волосы бывают только во сне. Их нельзя описать, их и представить нельзя. Одним словом, чудо, кино...

И вот однажды закончилось чудо: в конце войны Долинские уехали в Ленинград. Я не помню тот день, потому что все взяло горе. И никого не хотелось видеть, даже мать с бабушкой. И чтоб ни с кем не встречаться, я спрятался в пригон у коровы. Да что уж там спрятался... Я просто упал на сухое сено и разрыдался. Я стонал и вытирал слезы, но они не кончались. А потом сделалось еще хуже, больнее. Да что говорить, мне уж жить не хотелось. И чтоб прекратить эту боль, стал биться затылком о жерди. Мне хотелось убить себя, и чтоб сейчас же, немедленно, и чтоб потом за гробом моим пошла бы вся школа. И чтобы Натка об этом узнала и стала бы лить слезы и проклинать себя, не прощать из-за того, что бросила нас, что уехала... Корова громко дышала, а я бился о жерди. Но смерть обходила меня, только напугалась корова. Она стала громко мычать, поднимать рога и потом наклонилась ко мне и начала облизывать щеки. Язык у нее был твердый, шершавый. И тут дошло наконец до меня, осенило: если Натка уехала, бросила, значит, и все они, ленинградцы, скоро уедут. Уедут, бросят нашу Утятку, уедут! И опять стало горько, невыносимо. И опять из глаз слезы. Хорошо, хоть никто не видел. Совсем распустил себя, как девчонка... И снова надо мной задышала наша Манька, стала водить рогами, наверно, жалела меня, ну, конечно, жалела. И я уже тоже жалел себя, про себя бормотал: никому ты не нужен, совсем никому, такой одинокий, голодный всегда, такой обездоленный... Вот они уедут скоро, а ты останешься... И останешься здесь навсегда, в этой проклятой голодной деревне, в этих сугробах...

А потом вдруг пришло забытьё. Очнулся я от голоса бабушки. Она сидела рядом со мной и поругивала корову: «Ну че ты, Манька, такая лямзя? Неуж не видишь, как парень-то наш убивается? Да че же такое с ним, почему?.. Да ты бы хоть, внучок, мне намекнул...» Это уже ко мне обращается, это ко мне идет ее голосок. И этот медленный голосок как награда...

Но самый лучший голос из всех был все же у Вали Руденко. Как сейчас вижу: вечер, горит лампа-семилинейка. Мы сидим в классе, притихли. Из интерната принесли материал — голубые, зеленые лоскуточки. Вот из них мы и нарезаем носовые платки, шьем кisetы. Тут же сооружаем посылку. Она получилась на славу. Местные, деревенские, принесли несколько пар носков, рукавичек. В эти рукавички вкладывали свои письма-послания: «Дорогому бойцу на память...»

В посылки мы часто клали и сухую морковку, и семечки — пощелкай, далекий боец, наш утятский подсолнух... И вот уж в лампе керосин выго-

рел и фитилек стал дымить, колебаться, а мы все не расходимся. И в наступившей тишине начинается песня. Она громкая и внезапная. Она берет прямо за душу, и ты уж не можешь вырваться из этого плена, да и зачем... Ведь тебе так хорошо, так чудесно, только немного грустно. У Вали Руденко был удивительный голос, только все же печальный. Ну и пусть, пусть! Я уж давно, Федор, заметил, что самый хороший, замечательный голос, о чем бы он ни пел, о чем бы ни рассказывал в своей песне, всегда оставляет после себя печаль и какую-то тайну. И всегда, почти всегда, разгадать это невозможно. Наверное, не знает ее и сам певец — просто тайна эта в самой крови его, в его дыхании, в самой жизни его, в судьбе...

Так же душевно, так же пронзительно пела Валя Руденко. Видно, Валя тосковала о доме — о Ленинграде, о своих близких, которых разматала блокада, тосковала о всей своей жизни, которая начиналась в таком горе, в мучениях... И все же печаль длилась недолго. Сквозь нее пробивалась надежда — особенно тогда, когда Валя начинала петь народные полтавские песни. И ее голос в это время уже не томился, наоборот, звенел, поднимался все выше и выше. Нам казалось, что звенит колокольчик... Он и сейчас все еще звенит во мне долгим серебряным звоном. И на этом звоне — на этом колокольчике — можно бы и поставить точку в этом письме, но я все же продолжу. Да и виновато солнце. Уже осень, а его все равно много, слишком много.

Вот и сейчас оно раскалило раму. Я нечаянно прикоснулся и чуть не обжегся. И сразу досада: зачем столько тепла здешним людям? Хоть бы поделились с моими земляками. Этого тепла у нас никогда не хватает. Особенно мало его было в те военные зимы... Да, сын, таких зим уже не увидишь. Помню, в сорок третьем году весь февраль и март дули метели. И такие сильные, что заносило дома по самые крыши. И чтоб вырваться из дома, надо было сначала откопать дверь, потом сделать в снегу проходы, а потом уж только постучать в ставень: «Эй, живые кто, выходите!»

Но не все уже были живые. На моих глазах как-то доставили в интернат двух близнецов-девчонок. Они местные, из нашей деревни. Конечно же, наш интернат создали в первую очередь для приезжих, но в крайних случаях здесь принимали и деревенских. А близнецы — крайний случай. Девчонки были дочерьми колхозницы Феклы Поповой. Она умерла недавно от истощения. А девчонки тоже прямо скелетики. Но дыхание еще есть и глазенки моргают. Может, и повезет им, поправятся...

На моих глазах провели однажды на санках старушку — мать колхозницы Екатерины Менщиковой. Гроба нет, тело прикрыто рогожкой. И одежды на теле нет — хорошо, что пригодилась рогожка. А то, что без гроба — привычно. В деревне давно нет ни досок, ни дров, а в печки суют только мерзлый кизяк. А от него один дым и чад... Ничего, перетерпим, говорят старики. На фронте, мол, хуже и тяжелее...

А с фронта идут одни похоронки. Только за несколько месяцев сколько их: погиб Александр Шевалдышев, у жены Антонины — пятеро ребятшек; погиб Дмитрий Луканин — в семье тоже пятеро малышей; погиб Кузьма Трубин, а его дети Николай, Анна и Виктор, говорят, уже опухли с голоду и в доме холодина. Выживут ли? Не буду гадать... Сгорел в танке Иван Репин, сгорел в самолете Яков Менщиков, умер от ран Новгородов Василий. Погиб Вася Казанцев, в школе, я слышал, его Белочкой дразнили. Пришли похоронки и на Павла Грохотова, и на Алексея Мерзлеченцева. Не стало и Валерия Вырапаева. Отец его, бывший фельдшер, не смог справиться с горем — повесился, покончил с собой. Ушел в баню как будто помыться, и вот ждут-пождут его, а старик не выходит. Заглянули в предбанник, а он там качается. Ремень из брюк выдернул — и готова петля. И ни письма после себя, ни записки. Как хотите, так и считайте... Принесли похоронную и на школьного математика Анатолия Петровича Макарова. Оставил сиротами четырех детей. Зато в семье еще осталось ружье. Жена учителя Анастасия Михайловна стреляет из ружья ворон и сорок. Это для семьи основное питание. Сидишь, бывало, дома, и вдруг под самыми окнами — хлоп! Ружье не ружье, даже страшно. А бабушка моя только вздохнет и головой покачает: «Еще одной вороны на свете не стало. А ведь тоже была живая душа. Ничего, Анастасия Михайловна, вот январь одолеем, а там уж полегче. И морозы, может, уба-

вятся...» — Это бабушка обращалась к хозяйке ружья, но та ее, конечно, не слышала.

А январь начинался с елки. И тот далекий, сорок третий, тоже начался с нарядной елки, на которую пригласили нас ленинградцы. Какие они добрые, эти приезжие! Решили и пригласили. У них в интернате ведь и елка лучше, чем в школе. У них и патефон играет, у них дают даже подарки...

И вот она, елка! Я пришел тогда с бабушкой, а все равно страшно-вато. Да и пугает тишина. Людей много, однако все молчат. Но патефон играет песню о Ленинграде, и нас приглашают в большую комнату. Мы входим туда и замираем: елка горит от игрушек, от блесков, на ней различные фигурки из дерева, разноцветные шишки, шары. Говорят, что она была еще лучше, красивее: ребята наделали много бумажных цепей и покрасили их в золотые цвета, но приехал инспектор из района и распорядился все цепи убрать. Он сказал, что цепи — символ закабаления. Ладно, убрали цепи. И без них зеленая красавица хороша. И как кругом тихо, и мы почему-то даже боимся дышать.

Наши глаза все видят, все замечают и следят за каждым движением хозяев. Они стоят пока почему-то отдельно. Директор школы, наша любимая учительница истории Иванова Варвара Степановна, возле нее учительница немецкого языка Анна Васильевна Котова и моя мать — завуч школы Потанина Анна Тимофеевна... А посередине комнаты, почти в метре от елки, стоят те, ради которых и намечается торжество. Здесь и Юра Юдин, и Лотта Корман, самая знаменитая отличница в нашей школе, а рядом с ними улыбаются два брата Николаевых со своей сестренкой Валенькой. Ей всего лет шесть или семь, а братья постарше. Рядом с Николаевыми стоит вся пунцовая Валя Руденко, наша артистка. Ей много петь сегодня, и она очень волнуется. Чуть поодаль — Люся Епифанова, тоненькая, худенькая, как камышинка. А рядом с ней располагаются кучкой все деревенские — и ребятишки, и взрослые. У многих на руках — грудные дети, совсем малышня. Их берут в надежде на дополнительный подарок. Так потом и случается — самым маленьким из гостей дается больше других... И вот все мы ждем и томимся. До открытия елки еще полчаса... Как это долго, невыносимо! И чтоб скоротать время, я наблюдаю за матерью. Ее глаза блестят и все замечают. Я не знал тогда, что она ведет дневничок. Да если бы знал, то не понял бы. А вот недавно, три года назад, перебирая старые фотографии, я нашел ту тетрадку. Открыл — и уже не мог оторваться. Простые слова, а читать невозможно. Неужели пережили такое?.. Но мать писала не только о горе, писала и о надеждах. Особенно, конечно, о надеждах, ведь хотелось дожить до Победы.

Я рассказал тебе, сын, о многих, а вот о Юре Юдине почему-то ни слова. Я и сам удивляюсь и себя сейчас осуждаю: неужели я забыл про него, неужели?.. Но нет. Юра был среди них самый смелый и самый добрый. Я хорошо помню его красивое ясноглазое лицо, как у капитана Гастелло. Он и душой своей походил на чудесного летчика и так же ненавидел фашистов...

И вот, сын, я уже начал рассказ о Юре, а сам боюсь — сумею ли? Ведь с этим Юрой был у меня связан самый страшный день в те далекие годы. Самый страшный — это правда.

Нам казалось, что он самый смелый, самый бесстрашный. Ему было лет двенадцать-тринадцать, но мы знали, что он в Ленинграде уже дежурил на крышах и сбрасывал «зажигалки». А это ведь бомбы...

Он приехал к нам вместе с матерью, и та устроилась в интернате. Работа тяжелая — с утра до ночи на кухне. Она и за повара, и за техничку, а по ночам ухаживала за больными. Вот и сдало ее сердце, не выдержало... Да и как ему выдержать, когда прошло через блокаду. И вот однажды Юра проснулся, а мать не дышит. Он подошел поближе к кровати — не слышно дыхания. Он схватил ее за руку — ладонь была ледяная. И тогда, потрясенный, он закричал и кинулся к двери. Они жили на первом этаже интерната, и Юра выскочил сразу в ограду. Он выбежал раздетый, разутый, в одних тонких носочках. Он не медлил, потому что принял решение. Но что было потом, я не знаю. Одно только помню, как он страшно кричал, как разбудил всю деревню. Его крики услышали в каждой избе, да и как не услышать!.. Часто говорят: у меня кровь застыла

в жилах. Так и было тогда, так и случилось: у меня тоже кровь застыла в жилах, и пришел ужас. Такого страха я никогда не знал еще, не испытывал. И закричать бы тоже, но не могу... И этот страх приподнял меня с места и бросил на улицу. А там уже вся деревня... Как будто пожар или кого-то убили. Но все бежали к Тоболу — на берегу что-то случилось. И мы тоже побежали туда, однако было уже поздно, поздно и поздно... Навстречу нам шел Игорь Плотников и нес на руках нашего Юру. Игорь нес его осторожно, как будто брел по воде, как будто у него заболели ноги. Голова у Юры моталась, все время сползала набок, но сам он был живой, живой... И по толпе прошел вздох облегчения. А потом народ закричал: «Быстрее, Игорь, быстрее! Ты же его заморозишь!» И тот сразу прибавил шаг, а потом побежал бегом — откуда только силы у Игоря... Так на руках и занес Юру на второй этаж, и в интернате сразу зажгли огонь, и забегали люди. И только через час на этаже все затихло, но мы не расходились. Помню: было холодно, а в небе высоко замер тусклый, еле заметный месяц. Но скоро его скрыли тучи и посыпал дождь. Октябрь — всегда мокрый месяц. А все равно дождь был как облегчение, как надежда. Народ еще потоптался немного и пошел домой. По пути мои соседки разговорились. От них и узнал я, что Игорь догнал своего друга уже на самой реке. Еще б миг, и тот бы бросился с берега, утопился. Но, видно, повезло парнишке. Видно, есть еще счастье...

Счастье? Какое оно? Да и есть ли оно на свете?.. Ведь через два дня мы хоронили Юрину маму. Маленький белый гробик пах смолкой и свежей стружкой. Так же пахли сосновые ветки. Мы их бросали себе под ноги. Шли за телегой и бросали. Лошадь шагала тихо и все время вязла в глубокой колее, но до кладбища было близко. И хорошо, что близко, а то опять дождь начался, холодные капли хлестали меня по лицу. Но вот и кладбище, вот и холмик земли и свежая ямка... Юра в последний раз посмотрел на мать и упал на гроб. Он не кричал, он не плакал — наверное, не было уже слез...

А через несколько месяцев мы их провожали. Еще шла война, еще в мою деревню шли похоронки, а они, помню, смеялись, плакали и кричали. Но это были уже другие слезы и другие крики. И глаза у них сияли счастливым огнем. Так, значит, есть оно, счастье? Значит, все-таки есть! Значит, оно в том, чтоб однажды после долгой-долгой разлуки вернуться домой. И хорошо, что он есть, этот дом, что он где-то есть...

Вот бы и мне, сын, побыстрее вернуться, все эти санатории, видно, не про меня. Только вот море или маяк... Я уже привык смотреть на него, разговаривать, и это тоже мое лекарство. Но что маяк... Наверное, придется потом вспоминать его, только уже во сне. Потому что в снах своих человек почти всегда молодой и счастливый и все еще у него впереди, впереди... Но не буду больше об этом, моя страничка кончается, а с ней и письмо. Да и маяк уже смотрит сквозь шторы. А если зажгли его — значит, близится ночь. И вот он вспыхнул, погас, потом снова нашел меня. И я рад, улыбаюсь, точно маяк принес от тебя приветы. Но прости меня за эти признания. Я, наверно, устал и очень скучаю.

Письмо пятое — о зимних метелях

Уже октябрь, дорогой Федор, давно осень, а лучи играют по-летнему, и потому жара, как в июле. Но о нее никто не прячется, не страдает. Наоборот, жара теперь, как награда... Да, сын, странные истории случаются с нами. Вот не заболел я, не попади в больницу, и не видать бы мне моря и этой награды. И не сидел бы я сейчас на горячих пляжных камнях, и не караулил бы солнце. А может, и не стоит его караулить. Оно будет завтра и послезавтра, и через месяц здесь не кончится лето. Так бы и в нашей Утятке. Но чудес не бывает. Там, наверное, уже идет мокрый снег — самое гиблое время. «Кто октябрь переживет, тот и зиму протянет», — часто приговаривала моя бабушка Катерина. «Но когда же это было? — спросишь ты. — Лет сорок назад или больше?» Так и есть, лет сорок назад, но что из того. У каждого, видно, свое время и свои сроки. Я ведь обещал тебе, что буду писать о давнем и близком — и о тех, кого уже нет на земле, и о тех, кто рядом. И ты видишь, что я держу свое слово. Скажу тебе по секрету, признаюсь: я уже не представляю себя

без наших писем. Они принесли мне облегчение, надежду. И не потому, что каждому отцу хочется выговориться перед сыном, а потому, что у меня, Федор, все повторилось: и жизнь вся, и печали, и радость. Говорят, нельзя дважды войти в одну и ту же реку, а я захожу и не жалею. Говорят, нельзя назад вернуть время, а вот мы с тобой возвращаем. И я рад, что есть эти письма. Что бы я делал без них? Вот сидят четверо и играют в карты. А рядом с ними парень наливает себе из бутылки. Он пьян уже, глаза ничего не видят... Я смотрю на них, и мне тяжело. Люди приехали к морю и тратят эти часы на вино и на карты. Или заводят вдруг пустую, глупую музыку, и теперь хоть плачь, хоть затыкай уши, а спасения не будет. Такой музыкой разбивать надо камни, а они ее слушают, закатывают глаза от восторга. И мне смешно, непонятно. Ведь приехали к морю, наверно, ждали, мечтали, а моря не видят... Но хватит об этом. Лучше взглянем опять на море. Что и говорить: праздники быстро проходят, и скоро я буду прощаться. И с морем, и с солнцем, и с этим синим бездонным небом. У нас в Утятке такой синевы не бывает. Когда вернуться, в моей деревне уже наступит зима. Но я не против нее, потому что с детства люблю сугробы, метели. Кругом бело и за два метра ничего не видно... Теперь уж таких ветров не случается. А почему так, не знаю. То ли меняется климат, то ли что-то другое, но только все уже в прошлом. Помню: закружит ветер, пригнет тополя в ограде, потом завоет в трубе разными голосами, а ты лежишь на печи и читаешь какую-нибудь книгу. А внизу, под тобой, теленочек в загородке. Я и сейчас слышу этот запах, немного дурманный и сладковатый запах молока и сухого сена. Вот теленок хвост приподнял—и ты кубарем с печки. Тебе надо коврик подставить под струйку, а то пропала подстилка. Так и лежишь: один глаз в книгу, а другой—на теленка. Только вот книжечку у нас было мало. Стояли за ними в очередь, доставали обманом, но если уж достал, ты самый богатый... Однако я опять, сын, отвлекся. Я начал о зиме, о наших метелях, вот о них и продолжу. Да и что продолжать, я просто любил зиму, как и все мальчишки. У меня даже были самодельные лыжи: две досочки спереди заострил—чем не лыжи. А на крепления изрезал старый ремень, выдернул из штанов и пустил на дело... Недавно на чердаке нашел эти лыжи и глазам не поверил: неужели они мне служили верой и правдой все военные зимы? Неужели я хранил их как самое дорогое?.. Да, так и было: я бы не продал их и за миллион рублей. А куда его, тот миллион? Вот с горы покататься дороже!

Катался я днем, конечно, а вечерами сидел в одиночестве. Мать всегда в школе или в сельском Совете. Ее сделали там председателем, так что забот хватало. А бабушка по вечерам часто уходит к соседям—обмениваться там новостями да повечерять за прялкой. В деревнях-то раньше все сами делали, лишь бы было из чего. Так что по вечерам я дома один—и за хозяйина, и за сторожа. Правда, воров у нас не было, да и что воровать...

Бывало, сидишь, скучно станет, и задремлешь, и не заметишь, как придет мать с работы. А то раздумаешься, разволнуешься и начнешь выдумывать разные страхи. Стукнет тихонько ставень, а тебе покажется, что какой-то разбойник крадется. Треснет, ухнет земля от мороза, а ты подумаешь—где-то пушки стреляют. А если метель в окна, то и вовсе терпения нет. Захочется куда-то на люди, на волю.

Особенно врзался в память один такой вечер. На улице тогда мело и кружило. И в избе стоял холод. Рамы у нас худые, да и в углах промерзло. Я сидел с кошкой и потихоньку ей жаловался:

— Все ушли, все нас бросили. Что будем, Дэзинька, делать?

Кошка когтит у меня колени и равнодушно моргает. И это моргание вдруг вывело меня из себя.

— Брысь, Дэзя, ты мне не компания!—кричу ей и быстро натягиваю пальтишко. И вот я уже на крыльце, а перед глазами вырастает стена. Она белая, снежная, и я смело в нее шагаю, а через минуту уже бегу. Но бежать-то мне некуда: на улице ни души. А ветер все сильнее, сильнее, и мое пальтишко продувает насквозь. И в этот миг решаю: пойду-ка я в сельсовет. Там мать сейчас, там, наверно, натоплено.

И вот спешу туда без оглядки, потому что замерз. Минут через двадцать я уже там. В сельсовете тепло, хорошо. В круглой печке-голландке

дрова потрескивают, и докрасна раскалилась заслонка. У печки стоит моя мать и ворчит:

— Все дрова сегодня спалили. А завтра как? Бог подаст?

— Да ладно вам, не жалейте. К нам же сейчас люди придут, — угоривает ее незнакомый седоватый мужчина. Он в военной форме, при кобуре и сидит на председательском месте.

— Вот придут и надышат...

— Ха-ха! — хохочет громко мужчина. Под верхней губой у него золотые зубы. Они сверкают, как угольки... И в этот миг он замечает меня: — Чей такой конотоп?

— Это мой сын, Ким Александрович... Дома у нас всегда холодно, вот и пришел парень погреться...

— Ну хорошо. Только зарубите себе — не Ким, а Клим, Клим Александрович! Разве трудно запомнить? — сердится мужчина и берет папиросу из картонной коробочки. Мать краснеет и подергивает плечами. А в комнате уже вьется синий дымок. Мужчина курит и в упор разглядывает меня. Глаза у него кругленькие, как серые камешки, а рот большой, и губы все время в движении. После курения он их вытер платочком.

— Как тебя зовут, конотоп?

И мать с готовностью отвечает:

— Витей зовем, Витюшкой. Муж настаивал на Борисе, а мне так понравилось. Вот и назвали.

— Победитель, значит! — смеется мужчина. — Ну, кого же ты победил?

И мать тоже веселеет и подходит поближе к столу.

— А мы пока двоечки победили. И с тройками успешно сражаемся, Ким Александрович...

— Да не Ким же, а Клим! — Мужчина нахмурился, и только сейчас я разглядел, что кожа у него на щеках вся в корявинках, а волосы тонкие, рыжеватые. Он чем-то похож на коршуна. Такой же сердитый, насуспенный.

— А кем вы, дядя, работаете? — вдруг вырвалось у меня, и я испугался. Глаза, чувствую, защипало от пота. Мать увидела мой испуг, и засуетилась, и стала поправлять на мне рубашку, отряхивать.

— Ким... ой, Клим Александрович — начальник районной милиции. Он будет помогать проводить подписку на заем.

— А что значит «заем»? — опять лезу с вопросом, и мужчина хочет.

— Вот так, председатель совета, давайте выкручивайтесь. Объясняйте сыну, воспитывайте... — Он опять достал папиросу и постучал коробочкой по столу. — Эх, селяне, селяне...

— Да как же все-таки объяснить-то? — вздохнула мать.

— Ну-у, неумехи! Скажите просто, что дядя приехал распространять облигации.

— Не-ет, — улыбнулась мать, — так он совсем не поймет. — Она вздыхает и хочет погладить меня по голове. Но я увертываюсь, и приезжий лукаво смотрит на мать.

— А я вот объясню ему в два приема!

— Как объясните? — вздрогнула мать.

— А вот так, по-нашему, по-военному... — Он сделал длинную паузу, потом громко скомандовал: — Конотоп, а ну быстро к столу! Я подошел поближе и сел на стул.

— Бери ручку, пиши!

— А что писать?

Приезжий хмыкнул и пододвинул мне ручку с чернильницей.

— Пиши так: обязуюсь все свои сбережения отдать в фонд обороны... А если не напишешь, пеняй на себя.

— Да у него и пяти копеек нет.

— А вас, дорогая мамаша, не спрашивают. Взводный знает, за что воюет. Ну как? Написал? — Он выгнул скобочкой брови, и я его еще сильнее боюсь. Ручка у меня в ладони дрожит, чуть не выпадает. Он заметил это дрожание и снова повеселел.

— Ладно, прекратили репетицию. Скоро и занавес открывать,

Мать смотрит на него вопросительно:

— Что открывать?

— Ну, конечно, не бутылки, Анна Тимофеевна. — Он подмигивает мне и начинает что-то искать на столе. Мать стоит хмурая и растерянная. Как будто заболела или что-то сейчас узнала. Я вижу, как она медленно поднимает голову и так же медленно говорит:

— Ким, фу ты, Клим Александрович, я людей пригласила на шесть, и у нас с вами еще полчаса. Так вот... Вы намекали недавно, что у вас будет какой-то личный вопрос ко мне? Сын мой не помешает нам? — Она выразительно смотрит на меня, и губы ее неспокойны.

— Да ладно, не помешает, — говорит строго приезжий и прикуривает опять папиросу. — Я вот о чем, Анна Тимофеевна... — Он закашлялся от дыма, щеки налились красной. — Я вот о чем, да... Посиделки наши закончатся поздно, так что разрешите вас проводить? Метель, знаете, началась, но дело, конечно, не в этом. Вы женщина молодая и вдова, так сказать...

— Почему «так сказать»? Я в похоронку не верю, нет, ни за что! — У матери тоже краснеет лицо, и в глазах нехороший блеск, но приезжий ее перебивает и говорит решительным голосом:

— Верите, не верите — это личное дело. Да и чего мы с вами как на базаре! Вы женщина видная, так что я понимаю. А если уж откровенно, я давно мечтал сойтись с вами поближе... Я увидел вас как-то в районе, и все началось.

— Да что началось-то?

— А вы не сердитесь, послушайте! Я даже волновался, когда ехал сюда...

— Спасибо, спасибо... — усмехнулась мать. — Слова-то у вас какие, мы таких не слыхали. Но если уж прямо, по-нашему, по-военному, как вы говорите, то в провожатых я не нуждаюсь. Да и дом мой близко, через дорогу, — соврала почему-то мать и посмотрела на меня со значением: не выдавай, мол, сынок, не выдавай. — Да и провожатый, как видите, у меня есть.

После этих ее слов он нахмурился и поднялся со стула. Немного прошелся по комнате, потом снова сел. И начал доставать из сумки бумаги. Губы у него шевелились, он что-то шептал. Я это видел, догадывался, а мать стояла у печки как каменная. За окном шумела метель, а у нас было тепло, даже жарко — в печке все еще горели дрова. Приезжий кашлянул, и я повернулся к нему. Он подмигнул мне и дернул щекой.

— Сейчас бы неплохо чайку. А, конотоп?

— Заварки нет, — ответила мать. — Один кипяток. Не желаете?

— Плохо... — Он опять мне подмигнул. — Плохо живете, товарищи. И сахара, значит, нет?

— Да откуда?! — удивилась мать и взглянула ему прямо в глаза. — У нас и дети забыли про сахарок...

— Дети одно, а нам нужны витамины. — Он замолчал и повернулся к окну. — Метет-то как, боже мой... В общем, так, сейчас народ быстро пропустим, а потом я все-таки к вам. И со своим сахаром, а? — Глаза у него прицельные и лукавые, а правая ладонь стала поглаживать кобуру. Из кобуры торчит ручка нагана. — Ну как мое предложение? Проголосуем?

— Нет, предложение снимается. У меня дома больной человек, инвалид. Он не спит по ночам. Ему нужен покой... — Мать опять сочиняет ему, придумывает, а он смотрит куда-то в окно, улыбается.

— Значит, отказываете одинокому человеку? А я-то думал, провожу, мол, бедную женщину. У вас же тут бывают бродяжки.

— Да какие уж там бродяжки? — говорит тихо мать, и голос ее теперь спокойнее.

— А это мне, председатель, виднее. Да, да, на территории вашего сельсовета есть дезертиры. Зимой — где-нибудь в норе, а в весне начнут шалить по дорогам. И тогда к вам будут вопросы за укрывательство... — Голос у него злой, намекающий, а мать почему-то спокойная.

— А вы не пугайте меня. Я как-нибудь разбираюсь.

— Ну что же, так и запишем: председатель Уятского сельсовета во всем у нас разбирается. — Он хмыкнул и стал медленно разминать папи-

росу. Пальцы у него были длинные, белые, я засмотрелся на них, и он заметил мой взгляд: — Курить захотел, конотоп?

Я покраснел, но в этот момент постучали. Зашел Павел Постников, старичок с Большой улицы. В Утятке тогда было две улицы — Большая и Береговая. Постников жил на Большой. Я его давно почему-то не видел и сейчас удивился его худобе. Старик снял шапку и поклонился матери в пояс.

— Тимофеевна, ты меня вызывала?

— Вызывала, Павел Иванович, вы нам очень нужны. Вот и Клим Александрович подтвердит...

— А этот откуда? Я такого не знаю, — удивился старик.

— Скоро узнаешь, — усмехнулся приезжий и вдруг спросил грубо, пристукнув кулаком по столу: — Тебя предупреждали про заем? Нашу бумагу ты получал?

— Ты че кричишь, я тебе не скотина! — Старик поднял голову и посмотрел на портрет Карла Маркса. — Кричать тут не надо бы. А то сидишь под иконой.

— Чего мелешь? — оборвал Постникова приезжий, но старик не сдавался.

— И тебя не пойму, Тимофеевна. Не затем мы тебя сюда выбирали... — Он немного помедлил, потом поморщился, как будто съел кислое. — Выходит, выкормили змейку да на свою шейку...

— Что вы говорите, Павел Иванович? — Мать шагнула к нему и хотела что-то добавить, но потом махнула рукой. Подошла к печке и стала греть ладони возле заслонки. Старик покрутил недовольно шеей. Она у него прямо вылезала из старой шубейки. Я заметил, что у шубы разные рукава: один длинный, черный, а другой рукав вдвое короче и какого-то неопределенного белесого цвета. Старик заметил мой взгляд и повернул лицо к матери:

— Извиняй тогда, Тимофеевна. Поди че не так — извиняй...

Но мать молчала, и приезжий тоже молчал, и старик вопросительно крутил шеей. На одном глазу у него синело бельмо, другой покраснел и слезился. Мне стало его жаль, а почему жаль — не знаю. Наверное, из-за этой тонкой шеи.

— Вот что, гражданин Постников, — начал опять приезжий, — бери ручку, расписывайся. Ставим тебе тыщу рублей. Это немного. Учителя вон подписались на две зарплаты.

— Да вы че, Еким Кондратьич, совесть хоть поимейте! — ужаснулась старик. Шея вытянулась еще больше, и он стал похож на гуся.

— Екима тут нет, обознался! — Приезжий громко хихикнул и начал стучать карандашиком по столу, как бы призывая к вниманию. — Я тебе покажу Екима...

— Это поговорка такая, — объяснила мать и посмотрела на меня умоляющими глазами. — Витя, шел бы домой, а то бабушка беспокоится.

— Пусть сидит, места хватит, — сказал громко приезжий. И вдруг опять подмигнул мне: — Не горюй, конотоп. Я покажу сейчас тебе мужскую работу... Ну где наш Еким Кондратьич?

— Я тут, начальник, — отозвался старик.

— Где Марфута? Тут, тут... Может, не будем больше втемную играть? Вон ручка на столе — бери и расписывайся!

— Не-е, эстолько не могу. Куда же годно, начальник, мне не поднаться. Хоть убей — не могу... — залепетал быстро-быстро старик, потом к матери повернулся: — Че ж делается, Тимофеевна? Осенись заколол теленка-полуторника — заплатил налоги. Теперь в дому — шаром покати. А я кругом один: старуху схоронил. Да у меня ишо двое сироток...

— Хватит! — оборвал грубо приезжий. — Бери ручку и ставь фамилию. А я сумму сам поставлю...

— Сколько проставишь? — спросил с надеждой старик и стал зачем-то расстегивать свою шубейку. И пока расстегивал, голова все время тряслась, как будто ее дергали за веревочку. Я смотрел на него, не мог оторваться. Голова была голая, кругленькая, как яйцо, и только у висков поднимался белый пушок. А мать все еще стояла у печки, молчала. И приезжий тоже молчал. Потом опять постучал карандашиком.

— Ну что, Постников? Ты пишешь или не пишешь?

Старик охнул, задвигал губами. И еле-еле выдал из себя:

— Не-е, милые. Эстолько не могу...

— А не можешь, поедешь со мной в район. И не таких, гадство, ломали. Ха-ха...—Смех у него сухой, как кашель. Может, в горле что-то застряло. Но старик ни слова в ответ... И тогда приезжий медленно-медленно начал снимать кобуру. Потом осторожно, как бы любуясь своими длинными пальцами, достал наган.—Значит, ежкина мать, ты бунтуешь? Тогда решим так...— Он положил перед собой листочек и взял карандаш.—Тогда мы запишем: Постников Павел Иванович пойдет у нас по другой линии—не по нашей.

— Как это не по вашей?—испугался старик, и опять затряслась голловенка.—Да я за Советску власть награды имею!

— Если имеешь, то съедем,—сказал тихо приезжий.—Съедем, Постников, все до одной, потому что ты заодно теперь с немцами, в одну дудку играешь.

— Оборони меня бог...

— Я тебя не спрашиваю—не возникай. А застегни лучше пуговики—и за дверь! Но домой не разрешаю. Может, ночью и отвезем...

— Куда?—шепчет Постников и оглядывается на мать. Но та смотрит в пол, и мне кажется—она плачет...

— А туда, дорогой, все туда.—Карандашик громко стучит по столу. Постников стоит на месте и водит шейкой. Потом тихо, как спутанный, подвигается вперед и просит ручку.

— Где тут графа-то? Очки не взял. В глазах, как тараканы...

— А у тебя есть они, глаза-то?—шутит приезжий. Но старик не отвечает. Он пишет долго, старательно, как будто рисует буквы. Я вижу—ладонь у него трясется. Потом медленно распрямляет спину и, не простившись, уходит. И только-только скрипнула дверь, приезжий откинулся на стуле и стал хотать:—Не могу-у, поселя-а-ане.—И тут заметил мои глаза.—Тебе понравилось, конотоп? Как мы взяли его за белые ручки?.. А вы, Анна Тимофеевна, что-то того? Вроде бы недовольны?

— Я просто устала. Не обращайтесь внимания.

— Понижаю. С этим народишком как не устать! Вот закончим и пойдем к вам на чай... А? Не слышу ответа.

Мать молчит, и карандашик его опять стучит по столу. А в окно бьет метель. Она как живая, выпевает на разные голоса. Но от этих голосов делается почему-то спокойно, и я начинаю дремать. Может быть, и уснул бы, но в это время снова открывается дверь. Зашел Яков Петунин с Береговой улицы, немолодой уже человек. В руках у него тросточка, он бережно ее ставит в угол у печки. Лицо вошедшего доброе и открытое и такой же пологий, приветливый голос:

— Здравствуйте, всем рядышком! Вечеруем помаленьку, аха? Керосин-то казенный...—Он жмурится от света и вроде бы стесняется проходить. Глаза у него синие-синие, но когда лицо попадает в тень, они сразу темнеют.

— Проходите, Яков Петрович, мы долго вас не задержим.

— Правильно, председатель!—веселеет приезжий.—Сейчас он подпишет семьсот рублей—и сразу отпустим.

— Сколько, сколько?—встрепенулся Петунин.

— Ровно семьсот—и не больше. Вон ваш Постников подписался на тысячу. Верно я говорю, председатель?

— Верно, Клим Александрович,—подтверждает мать,—но у Петуниных совсем нет хозяйства. Корова пала в прошлом году, поела что-то, и попрощались... Овечка вроде была, я не знаю...

— Закололи мы ее, закололи!—обрадовался Петунин и с мольбой стал смотреть на мать.—Ну где мы возьмем, Тимофеевна? Хоть ложись—подыхай...

— Довольно болтать!—повысил голос приезжий. И снова начал отстегивать кобуру. Из кобуры выпал наган. Он положил его перед собой.

— Будем писать или как?

— Да пожалей ты нас, батюшко ты наш! Да ниче у нас нет давно, все у нас заскребено.

— Врешь, ежкина мать!.. Сейчас пойду и проверю.

— Да пожалей ты нас, Климушко!— зарыдал Петунин.— Хоть сейчас иди проверь. Я тебя везде проведу, покажу. Я тебе брюхо свое пополам разрежу—смотри только, мотай мои бедны кишочки...— Он еще хотел что-то добавить, но вдруг упал на колени.— Климушко, не губи ты нас! Я же робить не могу... Я же увеченый.

— А ну встать!— рывкнул приезжий.— Я тебе не помещик, и ты не батрак.

Петунин поднялся. Его слегка пошатывало. Лицо кривилось, как от зубной боли. Моя мать, не стесняясь, плакала. Но на нее посматривал приезжий и брезгливо щурился.

— Не пойму вас, председатель. Заем не вытнем—кого обвиним? А я знаю кого...— Он рассмеялся.— Вот на вас тогда и напишем. Что? Не так? Нет, милая моя, будете персонально ответственные. Слышал, Петунин? А если слышал—расписывайся.— Он поднялся со стула и подошел совсем близко к Петунину. Они были одинакового роста, и глаза оказались на одном уровне.

Петунин выдержал его взгляд:

— Не могу подписать, товарищ начальник. Христом богом прошу— не могу...

— Я тебе не товарищ... Гусь свинье не товарищ,—повторил он и взялся за телефон.— Але, але? Это район? Ты слышишь меня, Василий Петрович? Ну вот, хорошо. Тут у нас Петунин Яков... Да, Яков Петрович забастовал. Не хочет подписываться—и шабаш... Але, але? Я жду указаний. Что? Я не понял. А-а, понятно. Значит, расстрелять его! Когда? Сегодня. Слушаюсь, Василий Петрович. Об исполнении доложу...— Приезжий прокашлялся, потом медленно перевел глаза на Петунина. На том нет лица. А щеки белые, ватные. Голос глухой, какой-то раздавленный:

— Ну давайте вашу бумагу...

— То-то же, а то, вишь, мерин какой необъезженный. Овес ест, а ездить не хочет.

— Вы б хоть не выражались, Клим Александрович!— попросила мать.

— С вами, председатель, я после... Пусть вначале подпишет.

И, пока Петунин водил ручкой, озираясь по сторонам, приезжий стоял. Когда тот вышел, он снова сел на стул и достал папиросу.

— Каков, а? Климушко, батюшко...

— У них трое уже опухло от голода,— сказала мать. Стало тихо. Только метель билась о стекла... Потом он опять застучал карандашиком.

— Кстати, председатель, вы, кажется, что-то хотели?

— Да ничего я, ничего не хотела...

— А все-таки?

— Бесплезно говорить, Клим Александрович,— громко вздохнула мать.— А если бы у человека сердце отказало, если бы смерть... За это же надо...

— Что надо, что? Договаривайте... Вон сын ваш и то понимает.— Он повернул голову в мою сторону.— А ловко я его, конотоп? Я же сам себе позвонил! Ну что молчишь, не веришь?

— Да верит он вам, верит!— заступилась мать за меня. Но в этот момент опять постучали. Вошла трактористка Полина Менщикова. И опять возле нее начал кружить приезжий. И Полина быстро сдалась и расписалась в бумагах. Потом зашла школьная техничка Мария Александровна Чистякова, потом еще кто-то, еще... И, когда закончились все дела, стояла глубокая ночь. Меня уже шатало от усталости, от табачного дыма. А приезжий не унывал.

— Ну как, председатель, на чай меня приглашаете?

— В другой раз, в другой раз...— ответила мать.— У нас же здесь, в комнате, спокойно и никто не мешает. Стулья к стене поставьте—и готова кровать... Только вьюшку плотно не закрывайте, а то топили много, упаси бог...

— Спасибо, председатель, за ночлег. Мы в долгу не останемся. Только не советую обижать районную власть. Вы слышите? Не советую. А мать как не слышала:

— Ну ладно. Мы пошли с сыном. До завтра...

У самого порога я оглянулся. Глаза у приезжего были злые. Мне

показалось, что он сейчас выхватит из кобуры наган и выстрелит в мать. А может, в меня... Но ничего не случилось — нам повезло...

Да, Федор, нам повезло тогда с твоей бабушкой Анной. И вот уже мы на улице. Чтобы не потерять, мать берет меня за рукав. Я прижимаюсь к ней потеснее, чтобы было теплее. А ветер так и валит с ног. И мать беспокоится:

— Сейчас придем домой и замерзнем, как глызки. И дров у нас — ни полена. Как зимовать-то будем, сынок?

Я ее утешаю:

— Скоро будет весна, дров не надо. — Я говорю громко, почти кричу, потому что слова заглушает метель.

— Не скоро еще, не скоро. Так что придется нам с тобой поехать в деляну.

— Съездим, мама. Запряжем Маньку и съездим.

И вот мы дошли до дома. Окна темные — бабушка керосин экономит. Через минуту мы заходим в ограду, и мать веселеет:

— Ну как, поморозил соплю-то?

— Не поморозил.

Потом мама хватается меня в бедра и начинает плакать. И я знаю о чем. Да и она не скрывает:

— Неужели их обоих убили? Нет, нет, не верю!..

И я тоже не верю, чтоб погиб мой отец. И про дядю Женю не верю...

Но, Федор, хватит на сегодня, мне тяжело вспоминать, и тебе, наверное, тяжело читать. Да и день уже на исходе. Когда пишешь, не замечаешь время. А оно летит, как пуля, может, даже быстрее... Так и сейчас — не успел я даже дописать предложение, как стало смеркаться. Я смотрю в окно и просто не верю: только что стоял белый день и сияло солнце, и вот уж все кругом посинело и потемнело, а над кипарисами поднялись первые звезды. А вот и маяк! Кого ждал, того и дождался. И ты, сын, опять улыбаешься: неисправим, мол, старик. А что же мне делать? Я уже не могу без него. Он для меня — лучший друг. А иногда маяк этот напоминает настоящую няньку, которая и успокаивает меня перед сном, и забирает все боли. Он даже во сне со мной рядом. Иногда спишь и чувствуешь — кто-то прикоснулся к лицу. Откроешь глаза — и сразу обо всем догадаешься: ну конечно, это его лучи трогали лоб и щеки. И ты рад, благодарен... Когда меня отпустят домой, я приду к нему попрощаться. Я скажу тогда... А в общем, не знаю, что скажу, — пока не придумал. Может, просто пообещаю однажды снова вернуться. А что, сын? Давай когда-нибудь прикатим на море вместе. Как было бы здорово! Ты согласен?..

Письмо шестое — о корове Маньке и зимних дорогах

Сегодня пасмурно и дождливо, и все больные сидят по комнатам. Люди, дорогой Федор, скучают, перебирают газеты, а я вот пишу... Ты не устал еще от моих писем? Я и сам не люблю говорливых наставников: сделай так да сделай этак... Жизнь сама научит, подскажет, если не спрячешься от нее, если пойдешь к ней навстречу. Бери пример с самых маленьких — дети всегда честны, открыты: что за душой, то и в словах... Я чувствую, ты улыбаешься: только что, мол, просмевал разных там моралистов и вот уже сам уподобился. Но нет, Федор, я совсем сейчас о другом. Да и вспомнил мне один случай из детства, из далеких-далеких лет. Было мне лет пять, может, шесть. Меня мать тогда оставила пожить у чужих людей, а сама уехала по срочному делу. Я прожил в том доме всего несколько дней, но как всем надоел! Особенно моей няньке — малолетней девчонке. Помню, в доме были иконы, возле них горела лампадка. И вот под этой лампадкой я увидел однажды свою няньку. Она стояла на коленях и громко шептала: «Батюшко ты наш — истинный Христос, богородица — пресвятая владычица и Никола — свяtitель, услышайте вы мои слова и возьмите вы с собой нашего Витеньку, освободите вы меня от него. Я с ним просто замучилась, он же не слушается. И поиграть мне охота, а он никак не дает. Я на реку хочу сходить, а он подола не отпускает. Я молока хочу выпить, а он дурит, стакан вышибат... Освобо-

дите меня, приберите его к земле...» И еще что-то говорила, молила девчонка, я уж теперь не ручаюсь за точность — столько лет прошло, столько зим. Прошло-то прошло, но все равно не выходит из головы моя нянька. И ее святая прямота не забылась, нет, не забылась, а ведь смерти же мне желала. Вот таким бы и оставаться всегда человеку — доверчивым, честным, прямым... Так же и мать моя говорила: доверяй всегда людям, они не продадут, не обманут. И когда горе придет — помогут.

А в нашем горе помогала нам Манька. Я уже упоминал про нее, ты не забыл? Так вот Манька, если ты помнишь, — это корова. Но она десятерых человек стоит, а может, и подороже. Без нее нам бы не выжить. Она и кормилица наша, она и за лошадь. Собрались мы за дровами в деляну, поехали. В оглоблях у нас — Манька. Дорога по деревне накатана — сани быстро идут. А за деревней похуже. Да и ветер начался, метет по земке. Смотришь: по сугробу бежит серенький юркий мышонок, а это всего лишь прошлогодний листочек. Он скользит по сугробам, порхает, а ты уж себе придумал... Но мне некогда смотреть по сторонам — я слушаю мать. У нас редко бывают такие минуты, у нее все время работа, работа, а у меня — школа... Зато сейчас мы одни, задавай любые вопросы, говори о чем хочешь. И я не теряюсь:

— Мама, свози меня в Курган?

— На чем же, сынок? В город надо пешком, а тебе не дойти...

— Тогда в Глядянку возьми.

— Это можно. Но ведь до райцентра тоже надо пешком, да и дорога все лесами, лесами.

— Это страшно, наверное?

— Всякое, Витя, бывало. Давай-ка слезем с саней. Мань-то нашей трудно. Слышишь, как дышит?

И мы спрыгиваем на дорогу. Манька идет спокойным, ровным шагом. Полозья повизгивают. А ветер усилился. Я закрываю лицо рукавичкой, но закрыть не могу. Ветер проникает до самого тела, и мои зубы стучат как от страха.

— Давай, Витя, вернемся, — опять просит мать. Но я возражаю:

— Дома-то холодина.

— Холодина... — соглашается мать, а сама дышит уже тяжело и устало. Всю прошлую ночь она не спала — до утра проверяла тетрадки. И вот теперь обессилела. И тогда я пробую ее успокоить:

— Ничего, скоро доедем. Вон уже колок.

— Да как ты видишь, сынок? Метель же, темно.

И мать права. Ветер усилился, и пошел сильный снег. От него теперь не спастись. Снег мелкий, колючий и очень походит на град. Манька стала оглядываться, помыкивать — точно ждет каких-то распоряжений. Но мы молчим, и корова снова бредет вперед. Ей трудно, ветер мешаает шагать. И вот уже впереди сплошная белая стена. Это крутится снег, и мне кажется — он живой. Так и есть: снег живой, он хлещет меня по лбу, по щекам. У матери тоже покраснело лицо. Я наклоняю голову ниже, но это не спасает, не помогает — теперь сильнее мерзнет спина.

— Сынок, ты хоть шевелись побольше! Попрыгай! — Мать кричит, напрягает голос, но я уже плохо слышу — мешаает ветер. А потом случилось что-то — я чуть не споткнулся о сани. Оказывается, они остановились. Мать на корову прикрикнула, но Манька — ни с места. Наверно, устала. Теперь, конечно, беда. Мать подошла к Маньке и стала ее уговаривать: Манюшка, выручай нас, несчастных! Ну еще немного, прошу тебя, милая... Но корова только мычит и стоит на месте.

— Давай, Витя, поугovarивай. Может, хоть тебе не откажет.

— Да она же устала.

— А мы с тобой не устали? Не помирать же тут среди поля.

Делать нечего — подхожу к корове. Она дышит тяжело, и бока подрагивают. Я обнял ее за шею и начал гладить, упрашивать. Что я ей говорил — не могу вспомнить теперь, не знаю. Только пожалела нас Манька. Едва отошел от нее, она подняла высоко рога и сделала один шаг вперед, потом и другой, третий сделала. И опять заскрипели сани. Мать рада, машет руками:

— Это тебя ведь корова послушалась! Ай да сын у меня! Молодец!

А я и рад похвале... Теперь и ветер не страшен. Да и мать решила

Маньке помочь. Она накинула ей на рога веревочку и пошла впереди. И дело наладилось... Мать впереди тянет веревочку, Манька у нас посредине, а я замыкающий. Так и до леса дошли. Мать что-то говорит и говорит без умолку: в лесу-то тепло, хорошо. А потом достали ручную пилу с двумя ручками и стали пилить березу. И вот теперь опять страшно. Мы, конечно, не воры, однако лес-то казенный. Потому пилим, оглядываемся, но позади только Манька дышит да снег шуршит. Он срывается с сучьев и опускается на сугробы. А мне уже жарко, я хватаю снег варежкой и бросаю в рот. Мы спилили одну березу, потом и вторую спилили. Начали обрубать сучья, мельчить. Вот и погрузку уже закончили, стянули воз толстой веревкой. Полез обратно, но Манька легла на снег — и ни с места. То ли задремала, то ли задумалась. Мать опять стала ее просить, уговаривать, но корова только моргает.

— А ну-ко ты, Витя. Может, послушает.

И действительно, я пошептал ей что-то на ухо, погладил лоб — и она поднялась. Мать ликует:

— Ой сын, мой сынок! Да как бы я без тебя?!

Я молчу, только щеки мои пылают. Видно, дорого стоит мамина похвала.

А дело уж к вечеру, но нам не страшно — ветер дует теперь в спину, да и дрова наши напилены и уже увязаны. Одно плохо — мороз прибавился. К ночи он всегда злится, играет. Но мы пока его не боимся. Правда, мешает усталость. У Маньки из ноздрей идет слабый парок, который сразу же образует сосульки. Время от времени мы их убираем, и тогда корова останавливается и благодарно вытягивает шею. Она ждет продолжения ласки, внимания, но маме это не нравится, и она кричит на нее: «Ну что ты, кляча, остановилась? Скоро уж ночь...» Но Манька — снова ни с места. И тогда мама начинает упрашивать: «А ну давай, Манюшка, давай выручай... А если споткнешься, то уж больше не встанешь. И нас завалит снегом — и до весны нас не хватятся...» И теперь корова ей подчиняется и опять шагает, шагает, и наши сани опять вверх, вниз по сугробам. Ветер теперь стал слабее и снег убавился, зато мороз действовал по-хозяйски. Мое пальтишко смерзлось в один комок и при ходьбе звенит как стеклянное. Если по нему стукнуть палкой, оно разлетелось бы на куски. Да и мать тоже замерзла. На колени она намотала какие-то тряпки — теплого белья у нее не бывало. Но какой толк в этих тряпках — мороз пробирает до костей. Я вижу, что каждый шаг ей дается уже с усилием. Шагнет — и тело бросит куда-то в сторону. Мне кажется, мать вот-вот упадет. Но упала не она, а Манька. Я даже не видел, как это случилось. В этот момент я шел сзади саней и вроде бы задремал. Помню, хорошо помню: ноги как будто шагают, а тело стоит на месте. И вдруг запнулся о сани. Но вначале не понял и вздрогнул:

— Мама, где мы?

— Все там же, сынок. А корова у нас погибает...

— Почему?

— А потому... Съездили, видишь ли, за дровами.

Мать наклонилась над Манькой и стала гладить у ней меж рогов. Корова не шевелилась, только глаза были живые — ресницы моргали. Она лежала на снегу боком: ноги, видно, увязли в сугробе, и корова упала. А подняться уж не было сил... Я тоже наклонился над ней и, помню, закричал радостно:

— Мама, мама. Она ведь дышит!

— Да какое уж, сынок, дышит. Ты же видишь — пластом лежит... — Она обхватила ее за шею, заголосила.

— Мама, не надо...

— А что надо-то? Ты скажи мне, скажи: что надо?! — Она заголосила еще сильнее. Шаль на ней развязалась, размотались концы. Одна щека уже побелела. Я кинулся оттирать ее щеку варежкой, и мать как будто пришла в себя. По крайней мере голос теперь спокойный:

— Давай, Витя, начнем распрягать. Без саней-то, может быть, встанет.

— Она и так встанет! Честное слово! Я ей что-то скажу...

— Сынок, бесполезно.

— Я знаю, мама, знаю!

Но, конечно, я не знал ничего. Просто надо было что-то делать. предпринимать. Я наклонился над Манькой и стал дуть ей в ноздри. Она замотала рогами. А я— снова да снова. Дую как ошалелый. Щеки чуть не порвал, но добился: корова начала подниматься. Вначале на колени уперлась, потом мотнула рогами — и вот уж снова стоит в оглоблях. Смотрит на нас, как будто не узнает. Я прикрикнул громко— откуда сила взялась:

— Но, но! Пошла-а!

Манька сделала два шага и снова остановилась. Бока у ней ходят ходуном, еще миг — и упадет опять. И тут мать придумала:

— Витя, у нас же есть запасная веревка!

— Ну и что?

— А вот что! — Она размотала веревку и привязала один конец за передок у саней. Второй конец протянула мне. — Берись, запрягайся, сынок. Я тоже возьмусь... Ну как, хорошо?

— Хорошо, хорошо. Поможет немного Маньке.

— Конечно, поможем! — веселеет мать и начинает тянуть за веревку. Я ей помогаю. И мать совсем веселеет: — Голь на выдумку хитра. Ну что, Маня? Хватит стоять...

И корова, что-то поняв, дернула сани. И они сразу пошли, заскользили, Маньке легче теперь, потому что мы с матерью как бурлаки. Я быстро устал, но не подаю вида. Тяну за веревку изо всей силы. Мне даже кажется, что я один тащу сани. Стало очень тепло, даже жарко. И матери — жарко.

— Ой, какие мы молодцы! Втроем возьем сани! — Она дышит трудно, с насадой, но все равно пытается говорить: — Ты, Витя, не обращай внимания.

— На кого?

— Да на меня, что заревела сейчас, не сдержалась. Раньше из меня и слезинки не вытянешь, а тут не смогла... Да она же, сынок, совсем погибала. А куда мы без Маньки?..

Я больше не встречаю в разговор, мне тяжело. В груди все сжало, перехватило, как будто меня убили. Зато Манька идет теперь хорошо. Видно, дом почуяла. И вот показалась деревня. Но вначале я ее не узнал. Какие-то огоньки замельтешили впереди, замелькали, и я испугался:

— Мама, это не волки?

— Какие волки? Мы же к дому подходим...

Но радоваться уже нет сил. Последний километр я бреду как в тумане. Да и плечи болят — веревка изрезала. Сейчас бы пал — и не встал. И пусть из ружья бы в меня прицелились — все равно бы не шевельнулся. И с матерью тоже плохо. Она что-то бормочет, шатается. На меня взглянет и снова бормочет. То ли сердится, то ли шепчет молитвы. Ведь мы же не дрова тогда привезли домой, а горе большое. У нас Манька-то обморозила вымя. Когда на снег ложилась, вот тогда и случилось. А может, и ветер ее доконал — корова не скажет.

Проболела наша Манька целый месяц. И сама измучилась, и нас измучила. Но это было только начало. Горе-то, говорят, в одиночку не ходит. Мы же тогда бабушку едва не потеряли. Но об этом, Федор, в другом письме. Ты и так, наверно, в обиде: одно, мол, горе да горе, а где же праздники, где же радость, где чудесный бумажный змей на веревочке, который к облакам летит?.. Ну что мне ответить, сын, да и надо ли? Такая, видно, судьба мне выпала, а ее не изменишь... А разве у тебя будет легче судьба? Конечно, не легче, и тоже начнутся свои ветра и метели, и ты тоже потащишь свои тяжелые сани, и они где-нибудь увязнут в сыпучем снегу... И ты тоже в бессилии упадешь на них, а потом встанешь, обязательно встанешь — я уверен, я знаю, ради этого и пишу свои длинные письма. Ради этого, сын. И еще ради того, чтоб ты всегда верил, надеялся и чтоб однажды вскинул вверх голову и поразился: «Какие звезды! И я их вижу, вижу, и впереди у меня еще тысячи и тысячи дней, и как хорошо, что я — человек!..»

Вот и я сейчас тоже смотрю на звезды. Они совсем близко, можно даже потрогать. И я беру одну из них и ставлю перед собой. Она сразу

гаснет, потом опять зажигается, потом опять уходит куда-то, потом опять яркий свет... Ты смеешься, ты догадался. Да, да, сын, это маяк. Он не бросает меня, он всюду, как тень, и потому мне не страшно...

Письмо седьмое — о бабушке Катерине и Павле Васильевиче

Дорогой Федор! А здесь все еще лето. И море синее, и небо такое же, и на пляже народа столько, что нельзя протолкнуться. А я пока живу один в комнате. Случай этот, конечно же, удивительный. Но надо мной продолжает шефствовать главный врач санатория. Он, оказывается, втихомолку пописывает стихи. И в моем лице он нашел благодарного слушателя. Вчера преподнес мне целую тетрадку для изучения: если, мол, что-то понравится—сделай закладку. Сегодня с утра сидел над этой тетрадью—и ни одной закладки. Ты понимаешь, мне ничего не понравилось. Какая печаль, да и как сказать? Человек он хороший и к тому же мой благодетель...

А после обеда началась канитель. Вначале мешал духовой оркестр—медперсонал готовится к празднику. И я заткнул уши, потому что играли плохо, фальшивили,—одним словом, обычная репетиция. А потом их как будто бы подменили. Заиграли, наверное, для себя, для души, и я ликовал. Какой подарок, какая удача! Но вот беда: я не могу подолгу слушать духовой оркестр. Сдают нервы, одолевают слезы—и ничего с собой не поделаеть. Вот и сегодня заиграли «Прощание славянки», и у меня к горлу что-то подступило—не продохнуть... И душат слезы. А потом грустно, и жаль чего-то, и собой недоволен: не так жил, не того любил, не о том мечтал и не того добивался... На меня и дома порой находили такие минуты. Особенно это случалось осенью в самые-самые золотые, теплые дни. Летит над головой седая паутинка, стоят березы в чудесном желтом наряде, а на тебя вдруг находит какое-то забвение—из рук все валится, в голове—ни мыслей, ни желаний, а потом вдруг как бы спазм сожмет горло—и глаза полны слез... Как хорошо вокруг, как печально! А может, это уже стучится старость—и потому печально, одиноко душе... Помню, бабушка Катерина в последние месяцы своей жизни все сидела на крылечке и смотрела на закат. Я подойду, бывало, присяду рядом:

— Бабушка, куда ты смотришь?

— Я не смотрю, Витенька, я вспоминаю.—А у самой глаза так и тянутся туда, где гаснет над бором последний луч. И вот уж погас он, растворился в небе, как будто и не было его, а она все сидит и смотрит... Она вспоминала тогда прошлые годы и прощалась с ними перед дальней дорогой. Человек всегда слышит и чувствует свой последний час. Вот и бабушка наша слышала, понимала...

Она была очень красивая, умная, только радости ее обходили стороной. А однажды—в холодный, стылый февраль—мы ее чуть не потеряли. Я уже начал об этом в прошлом письме, а сейчас продолжу. Только предупреждаю—опять будет горе, потери... Да, Федор, горе, как говорится, на горе и горем покрыло. Так мы и жили, и ничего тут не исправишь...

И это правда—так мы и жили: пришла похоронная на отца, а потом на дядю Женю. Но вначале мы получили письмо из Тюмени от тети Лены. Она писала, что Жени уже нет на свете—немецкая пуля попала в живот, и его схоронили в деревне Мхи под Ленинградом. И еще тетя Лена писала, что она все равно будет ждать его и будет верить, что он жив, вдруг военный писарь что-то напутал, ведь бывает такое. Может, погиб Женин однофамилец... Я хорошо помню это письмо из Тюмени. Оно лежало в конверте из плотной желтой бумаги. Помню, как мама надорвала конверт и как стала читать. Но читала недолго—из глаз брызнули слезы, и она стала кусать губы. На губах проступила кровь, и бабушка обо всем догадалась. Она подошла к ней и резко спросила:

— Значит, убили?

— Нет-нет,—залепетала мать.—Лена пишет, что от Жени давно ничего нет, очень беспокоится, видит сны...

Но бабушку не обманешь. Лицо ее враз почернело, а руки трясутся.

— Ну-ко дай мне письмо!

Мать подает, и бабушка долго на него смотрит тяжелым, остановив-

шимся взглядом. Я радуюсь, что она не умеет читать. А мать опять начинает ее успокаивать:

— Может, Женю куда-то перебросили? Мало ли бывает — не разрешают писать.

Бабушка сидит молча. Глаза у ней наливаются кровью и с ненавистью поглядывают на мать. И мне жаль их обеих. Я бы ради них умер прямо на месте. Но меня никто не слышит, не понимает, и я выбегаю во двор. А дальше — куда? Вспоминаю про Маньку и иду к ней в пригон. Здесь тихо. Пахнет сеном и теплым навозом. Маньке уже немного полегче. Наш сосед Павел Васильевич достал ей какого-то натирания, смешал его с жидким дегтем — и готово лекарство. От него и стало полегче.

— Как, Маня, здоровье? — спрашиваю ее и смотрю корове прямо в глаза. Она лежит на подстилке и тихонько помыкивает, как будто что-то спрашивает или, наоборот, сообщает. И я хочу понять ее, снова лезу с вопросами: — Ну что ты все «му» да «му»? Хоть бы одно слово сказала, что-нибудь посоветовала.

И Манька снова мычит и водит рогами. Она словно зовет меня к себе. И я подчиняюсь. И вот уж лежу рядом с ней на теплой подстилке, — и все заботы мои куда-то проваливаются, и приходят надежды. И мне уже кажется, я уверен, что скоро, совсем скоро мы получим письмо от отца, а похоронная — это, конечно, ошибка. И еще мне кажется, что дядя Женя тоже напишет, объявится, и моя бабушка сразу выздоровеет и придет в себя. А потом я представляю, как меня полюбит Натка Долинская, как возьмет когда-нибудь в Ленинград на свою далекую родину... И я так размечтаюсь, бывало, раздумаюсь, что забуду, где я и что со мной. А Маньке того и надо. Она хрустит жвачкой и сонно дышит, отпыхивает. А где-то рядом трещит земля от мороза. Она и в самом деле трещит, как будто яичная скорлупка ломается. А то начнут вдруг гудеть телефонные провода — и хоть затыкай уши, хоть плачь. Когда ветер — они молчат. А когда тихо, морозно — они показывают себя.

— Витя! Где ты-ы? Пойдем в дом, я картошки сварила. — Это уж мамин голос, это меня зовут, и я нехотя поднимаюсь. Манька смотрит уныло, как будто осуждает, что ухожу...

А потом длинная, тоскливая ночь, от которой тоже хочется убежать, но куда?.. У нас давно уже кончился керосин, и мать по ночам зажигает лучину. И при этом свете проверяет тетрадки.

А потом наступают утро и новый день, но ничего у нас не меняется. А потом снова приходит день, потом и неделя проходит, и месяц... А писем все нет и нет. И вот теперь-то — настоящее горе. Да, горе, прямо беда. С нашей бабушкой творится что-то неладное: то послышится ей голос дяди Жени, и тогда она сама начинает с ним разговаривать, то он в дверях ей покажется, то в огороде, то во сне к ней придет, — и это ее самые дорогие часы. А проснется — опять на мать нападает:

— Ты признайся, о чем Лена писала? Ты скажи, а то худо будет...

Бедная мама, она снова начинает что-то обещать и придумывать, а по глазам видно — все это обман. И бабушка, конечно, понимала, догадывалась. Как-то схватила графин со стола и швырнула его со всей мочи о стену. Осколки взлетели до потолка. Я схватил ее за плечи, она взглянула на меня белыми безумными глазами и... не узнала. А через несколько дней — того хуже: мама пришла вечером из сельсовета, бабушка открыла ей с крючка и ударила ее валенком по голове. Мама закрылась руками, а она и по рукам бьет, по лицу. Бьет и без конца повторяет:

— Это тебе за Женю, за Женю!..

Но чем же мать виновата? Только тем, что живая, что ходит еще на своих ногах, а тот лежит в братской могиле... Все это так — только с бабушкой с каждым днем хуже и хуже. Посмотришь, сидит у стола и как будто бы дремлет, и вдруг вскакивает, и начинает волосы рвать на себе, головой биться о стенку. Подбежишь, начнешь успокаивать, а она кричит, машет руками:

— Убейте меня! Прошу вас — убейте!! — И глаза опять белые, страшные... Но я не могу, Федор, описать эти глаза. Скажу только одно, признаюсь: мы уж с матерью не думали, что оживет наша бабушка. А она все-таки ожила, нашла в себе силы. Да и люди нам тогда помогли: и учителя, и соседи, и интернатские часто к нам заходили. И каждый

что-нибудь с собой приносил: то картошки на целое варево, то лепешек из сушеной клубники, а то и просто — доброе слово. И это дорожке всего. Вот и стала наша бабушка оживать, выправляться. Да и зима пошла на исход. И каждый день теперь с утра — солнце, и с крыш бьет капель, и по Тоболу поплыли льдины. И начались у нас в семье перемены: мать немного повеселела и бабушка тоже стала оттаивать. Иногда уже что-нибудь спросит, поинтересуется, иногда даже в окошко взглянет и вздохнет с облегчением: «Слава богу, опять ручейки... А я-то думала, что с полой водой и я уберусь от вас. Но, видно, еще задержалась...» Однако умирать теперь нам совсем некогда. В огороде начались работы, и это мое с бабушкой дело. А матери теперь не до нас. Ее пригласили вести литературу в сельскохозяйственный техникум. Его эвакуировали в нашу Утятку. После войны он снова вернулся в Курган — на прежнее место.

Я уже писал об этом немного, а сейчас хочу поподробней. Ведь в этот техникум сразу хлынули многие наши деревенские. Зачисляли на первый курс с шестью классами и даже с пятью. И отбоя не было от желающих. Спросишь меня — почему? Ответ очень простой: в техникуме работала большая столовая, — вот на нее и летели люди, как бабочки на огонь... Кое-кто из приезжих студентов даже женился на наших, утятских. Нашла себе мужа и учительница младших классов Чистякова Павла Михайловна. Вот она-то и пригласила мою мать на свадебный обед. А вместе с ней и меня позвали: пусть, мол, поест досыта парнишка. Угощение-то даровое...

Помню, хорошо помню, как поразил меня тогда сам жених. Он был красивый, зеленоглазый, а повадки, как у цыгана. Без конца что-то напевает, приплясывает — и руки в ходу, и ноги. И даже фамилия его поразила — Живица! Сейчас задним умом понимаю, что он залетел в наши края откуда-то с Украины. Он был лет на десять моложе своей невесты — по теперешним понятиям просто мальчишка. Но этот мальчишка уже успел на войне побывать и в госпитале полежать, а теперь стал студентом. И вот уже Живица — жених. И какой веселый, зеленоглазый, нездешний!

Помню, как за стол сели и как вдруг изменился жених. Побледнел, съежил плечи, как будто ждет казни. Да какая уж казнь — все закричали: горько, горько! Но жених как не слышит. А глаза тяжелые, виноватые. И все сразу заметили эту быструю перемену. Даже я, мальчишка, почувствовал: что-то не так за столом. Наверное, жених заболел. Особенно страдает мать невесты — Лукерья Михайловна. Она смотрит долгим непонимающим взглядом на Живицу: «Че же ты, дитятко, сидишь невеселый? Че в головушку свою заронил?» Ее слова похожи на причитание. Я порываюсь выбраться из-за стола, чтоб убежать. Но мама шепчет мне на ухо: «Сиди смирно. Со свадьбы не убегают». А причитания все продолжают: «Да подыми ты свою голову, зятюшко! Все будет у вас по порядку, не сомневайтесь. И согласие, и детки. Будет, будет, как у добрых людей. Я сама вам все отдам, подпишу — говорю при свидетелях. Я и дом этот благословляю. И корову с теленочком. Лишь бы держали меня до смерти, не прогоняли...» Но жених молчал, только сильнее наклонял вниз свои густые красивые брови. Наконец не выдержал, поднялся рывком и крикнул: «Какой я тебе зятюшко? Нашла, понимаешь, сыночка, ха-ха!» Рассмеялся он едким сухим смешком и внимательно оглядел гостей. — Пришли, значит. Оторвали себя от текущих дел...» Ему никто не ответил. И тогда, видно, что-то решив про себя, он завел патефон. Глаза у него блестели, пластинка играла грустно, протяжно, но никто не пошел танцевать. Мать невесты укрылась на кухне. Оттуда долетело вроде бы всхлипывание — Лукерья Михайловна, наверное, плакала. А жених ходил быстрым шагом по комнате и курил папиросу за папиросой. Я смотрел, как он достает их из толстой картонной коробочки. Точно такую я видел зимой у Клима Александровича. Чудеса, чудеса... Люди у нас давно курят листья подсолнуха, а у этого есть папиросы, есть даже спички... Но не успел я до конца удивиться, как замолчал патефон. Жених вышел в центр комнаты и объявил: «Начинается вручение подарков! Кто первый? Ну, не стесняйтесь...» Первой подошла моя мать и вручила невесте белые кружева. Это был накладной воротничок или, может, накидочка. Жених поднес подарок очень близко к глазам и спросил удивленно:

— И только?.. Негусто, товарищи.

— Это—старинное кружево...—стала оправдываться мать. И голос ее пропал, прерывался.—Мы же с Павлой Михайловной вместе работаем. Очень уважаем друг друга, и я... я подумала—ей эта вещичка понравится...

— Вот именно, что вещичка,—усмехнулся жених и достал папиросу.

— Ну что же—простите нас... И спасибо за угощение.—Мать заплакала, но потом быстро смахнула слезы.—Пойдем, Витя. Я очень устала...

— Анна Тимофеевна, куда вы? Куда вы? Сейчас будем обедать,—залепетала невеста и стала хватать мать за локти, но та уже была у двери.

И вот мы на улице. Мать гладит меня по голове, утешает:

— Успокойся, сынок. Мы же не нищие. Пообедаем дома. Велика ли беда...

— А дома-то нет ничего,—говорю злым, обиженным голосом. Но мать как не слышит, сама с собой рассуждает:

— Бедная, несчастная наша Павла Михайловна. Не нужна она этому Живице—страшный он человек.

— А что ему нужно?

— Что?..—задумалась мать.—Крышу ему над головой надо, временное пристанище. Но давай не будем его осуждать. Кто знает, что вынес этот Живица на фронте. Никто не знает, никто нам с тобой не расскажет. Может, и смерть повидал человек... Ой, Витя, Витя!—вдруг вспомнила мать.—У нас ведь дома-то радость! Бабушка ведро овса принесла.

— Правда?

— Нет, вру... Вчера с пашни идет, а в колее что-то желтеет. Наклонилась—овес просыпан. Ну и ну! Наверно, тряхнуло на ухабе подводу с мешками—и нашло зерно щелку. Она собрала его в ведро, земля, конечно, попала. Да не беда—провеем...

— Провеет и каши наварим.

— Правильно, сынок. Бог нас пожалел. И кашу сварим, и щи заправим. А если с умом, то на целый месяц хватит еды... А там уж—лето. Смотри, какое солнышко! А летом-то только ленивые голодают.

Мать улыбается, и мне тоже весело, хорошо. Скоро лето, каникулы, да и дома ждет овсяная каша. И вот мы с матерью подходим к обрыву. Тобол переполнен. Вода синет и клубится воронками. А по середине реки ползет катерок.

— Смотри, Витя, через три часа он будет в Кургане...

— Мама, а города какие?

— О, господи, Витя! Не трави мою душу. Это я перед тобой виновата. Не могу даже в город свозить. Все некогда, некогда, да и в кармане у нас пусто. А город денежки любит.

— А когда поедем?

— Нынче летом, даю честное слово.

И я верю маме, и у меня совсем поднимается настроение. Хочется любить всех, хочется быстрее дожить до лета...

А теперь, Федор, оставим на время этих счастливых людей. Пусть они вдвоем постоят на обрыве. И пусть поговорят еще и помечтают...—У них—весна, у них—солнце, а у меня сегодня за окном холодный и нудный дождь. Он идет уже часа три. И, наверное, завтра не кончится. Даже маяк не показывается. Тучами заволочло горы, и с гор хлынули потоки. Они шумят и напоминают о вечности...

Письмо восьмое — о наших стариках

Сегодня на море холодно и немного штормит. А смельчаки все равно купаются. Даже завидно.

А мне, дорогой Федор, опять тоскливо. И лучшее лекарство от хандры—вспоминание о нашей Утятке... Я плохо спал потому, что расстроил себя прошлым письмом: перед глазами стояли Живица с Павлой Михайловной, катерок—на синей вешней воде. Или видел, просто наяву видел, как едет на стареньких дрожках Федот Михайлович Сартаков—наш утятский лесник. Хороший, дорогой человек... Хотя о нем ты

пока не знаешь. Так что прочти и запомни этого старика: очень мне многое он сделал. Лежу ночью, хочу заснуть, а перед глазами — наш весенний Тобол, большой, неохватный, кругом сине, широко от воды. И по этой синеве плывут льдины. Они похожи то на гусей, то на белых медведей, они плывут далеко, к океану, но пока... пока их путь кончается у моста. Его скоро будут снимать — ждут из Кургана солдат, они и помогут, но пока он стоит как преграда. И удивительно, что стоит. Кажется: еще секунда-другая, и мост не выдержит, затрещит, обломки его вынесут льдины. Вода уже на настиле. Она на глазах прибывает, а льдины удаляют о перила, — и я закрываю глаза: мне страшно, потому что по мосту идут люди, они бредут по колено в воде. На том берегу у нас пашни, и это колхозники спешат с работы... И вдруг вижу, как на мост въезжает кто-то верхом. Он, кажется, пьяный: спина у седока заваливается назад, вот-вот переломится. Лошадь испуганно задирает морду, болтает хвостом, бьет ногами: вода подходит ей под самое брюхо, они на середине моста, а рядом — льдины. Лошадь ржет, седок матерится, а вода прибывает и прибывает. Лошадь делает рывок, потом другой, третий — и вдруг начинает топтаться на месте. У нее завязли копыта. Настил-то плохой, вот и завязли... Седок спрыгнул с лошади и стал хлестать ее плеткой. Она заржала отчаянно и горестно, как перед смертью... Мы, ребятишки, бежим вниз с горы, будто можем чем-то помочь. Возле самого моста нас останавливает Федот Михайлович Сартаков:

— Куда вы, орава?

Как сейчас вижу его корявенькое лицо, его мокрые, зеленовато-землистые щеки, но на щеках не пот, а слезы. Лесник смотрит на мост и плачет:

— Пропала живая душа, пропала...

Возле него стоят женщины, утешают:

— Не расстраивайся, Михайлыч, столько у ней, видно, было веку.

— Ох, не лезьте, бабы, я сегодня горячий! — кричит он на них, потом рукой машет: — Все чисто погубили, и лошадей, и леса, а тоже называемся людьми. — Он вытирает щеки платком. Плачет, не таясь, как ребенок. Глядя на него и женщины плачут. Но вот кто-то из них кричит:

— Смотрите, освободилась лошадка!.. Да неуж это бригадный Серко?

— Он! Он! — подтверждают из толпы.

— Да где же он, где? — не видит старик. Но вот у него изменилось лицо, и глаза заблестели. — Вижу! Плывет ведь, язви его, а где же хозяин?

— Он давно уж перебежал. Налют, понимаешь, шары...

А случилось так: лошадь билась, звала на помощь, да кого дозвешься. И вот в последний раз рванулась, подняла морду, и этого раза хватило. Но рывок был такой сильный, что она сорвалась с моста. И это ее, наверное, спасло. Стоит на берегу наш Серко. Бабы крестятся, причитают:

— Слава тебе, господи! Воскрес ведь из мертвых.

— Воскрес, воскрес... — громко шепчет лесник и вдруг обнимает меня. — Никогда, батюшко мой, не пей это вино. От него вся беда, вся зараза. И отца с матерью почитай...

— А у меня нет отца! — грубо обрываю я лесника. И он смотрит на меня, как будто не узнает.

— Ох, милый ты мой, да как же я забыл-то? Как же я обробел? — И опять достает платок и вытирает глаза. И я тоже плачу, сжимаю горло ладошкой... Сжимаю, потому что жаль мне эту серую несчастную лошадь, которая только что погибала на глазах у меня. И лесника этого тоже жаль, старого и больного... И самого себя жаль, потому что у меня никогда-никогда не будет отца, — и хоть сколько реви, хоть море слез выплесни из себя, не вернешь его живым, не вернешь...

Однако слезы у мальчишек — недолгие. Выглянуло солнце, и мы побежали играть в «бить-бежать», но об играх — как-нибудь потом, в другом письме. А сейчас — солнце над нами, и самое время рассказать тебе о рыбалке.

Самая хорошая рыбалка, конечно, в мае. И большая вода тоже уходила в самом начале мая. А потом начинались по-летнему теплые дни. И вместе с этим теплом наступало раздолье для рыболовов. А таких

было много в деревне: и Герка Герасимов, и Валерка Луканин, и Витя Потаскуев, и Вовка Верхотурцев...

А рыбак в это время—главный добытчик. Есть рыба в доме—значит, есть и приварок, значит, будет у человека и настроение. С добрым настроением и с сытым желудком—и любое горе вполсилы.

Рыба в те дни поднималась со дна, плескалась в любом озере, в любой балочке и канаве. Одним словом, везде и всюду, где еще вчера стояло весеннее половодье. И брали эту рыбу и в фитили, и в сети, да и на удочку она шла хорошо—только закидывай да меняй почаще насадку. Но прежде чем сделать удочку, надо иметь удилице. И не простое, а из березы. Лучше, конечно, из орешины, но лоза в наших краях не растет.

Как-то пошел я за удилицем в ближний колок. И вот уже срезал два или три—и тут меня заметил лесник. Я был так увлечен своим делом, что даже не заметил, как подъехал Федот Михайлович. Он ездил на каких-то особенных, бесшумных джонках. И когда я услышал за спиной неясный, приглушенный шорох и треск сухой ветки под ногами—сразу оглянулся. На меня смотрел сердитый старик и покачивал головой. Он казался мне тогда высоким, даже огромным, как великан или медведь. И этот медведь шел на меня.

— Ты че делаешь, малец? Ты же режешь кусты, а они еще пожить не успели. А если тебя резать ножом?

Я застыл на месте, и вся кровь прилила к голове: такого страха я еще никогда не испытывал. А он опять обратился ко мне, глаза его чуть посветлели и подобрели, как будто бы что-то вспомнил:

— Ты не Анны ли Тимофеевны сын?

— Сын...—ответил я тихим, придавленным голосом.

А он вдруг подошел ко мне близко, почти вплотную и стал гладить по голове:

— Рыженький, красенький, удалая головушка. Поди, ребятишки дразнят тебя? Они же у нас обормоты.

— Меня не дразнят!—сказал я обиженно и захныкал.

— Ну че ты? Я пошутил! Конечно, тебя не должны дразнить. Матушку-то твою сильно любят у нас. Хорошая женщина, правильная душа... А ты, выходит, у нас сирота?

— Не сирота я, не ври!—начал я горячиться, и голос мой перешел на крик, и лесник опять начал гладить мои волосы, уговаривать:

— Ну че так распыхтелся? Че такое «не ври»?.. Я и говорю, что не сирота. Мало ли как случатся. Похоронка—еще не указ. Ждите отца и, может, дождетесь. А удилицки возьми себе. Но больше молодую березу не порти. А мамке-то привет передай, а я дале поеду. Смотри, какой нынче теплый май. Не май, а ровно июль. И береза вся распустилася, вон стоит какая лохматая. Ты жалея ее—она отблагодарит тебя. Любое дерево надо жалеть...

Потом он еще постоял немного, повздыхал, поворчал и уехал. Но еще долго в этот день не отпускал меня страх. И, пока нес до дома удилицки, все время оглядывался: вдруг сзади на джонках старик крадется? Вдруг раздастся его голос? А на другой день сидели за столом, и мать посмотрела на меня хитро и весело: «Ну как, не арестовал тебя Федот Михайлович с удилицками?» Я ничего не ответил, она покачала головой и добавила: «Ты его не бойся. Он добрый. У него—каждое дерево на учете. Он даже имена дает им, потом ходит возле них, разговаривает... И сам он тоже напоминает крепкое дерево, у которого нет износа, нет возраста...»

И права была мать: напоминал лесник сухое крепкое дерево. А потом, в старших классах, я прочитал у Тургенева про Калиныча. И сразу вспомнил нашего лесника. Как будто братья они были родные—такая же походка, такой же голос и те же повадки... И травы целебные знал наш лесник, и любую зверюшку он понимал. А сколько было в нем доброты, сострадания! Бывало такое, когда он сам привозил какой-нибудь одинокой старушке сухоподстою. И никакой платы, упаси бог, никакой!

А потом он все-таки стал болеть. Но лежать в постели ему не хотелось, и он потихоньку выходил за ворота. Сидел на лавочке возле дома и смотрел, как мимо идут люди, едут подводы, и со всеми он старался

заговорить — особенно с нами, мальчишками. Он любил смотреть на наши игры, любил слушать наши споры и даже сам в них участвовал. Ходил он уже плохо, но, когда мы убежали за Тобол в рощу, тоже не отставал от нас. И добирался до рощи любыми путями... Посмотришь, а он уже сидит где-нибудь под березой. И глаза хитренькие, внимательные...

А роща наша манила всех. Приходили туда люди в воскресные дни да и просто так бывали — попеть песни или посидеть на траве. В городах люди спешат в театры, в музеи, а наши, утятские, люди ходили в рощу. Ходили, как в храм, как в театр, как на праздник. А что делать, Федор, даже в военное время душе нужен отдых. Вот и шли люди в рощу, ведь природа нам дана для тишины, для удивления.

Эта роща у нас была на левом берегу Тобола, а на правом — рос богатый сосновый бор. И водились в этом бору зайцы и косули, ну и, конечно, полно было грибов и ягод, особенно земляники. Ее росло великое множество — садись на колени и собирай. На двух метрах можно набрать ведро, но если этот бор пройти не поодоль, а поперек, то увидишь, что к нему примыкает озеро Окулинкино, а у самого озера тоже растет борок. Пусть и небольшой, но веселый, приметный. Сосенки-подростки радуют глаз, а посадил их все тот же Федот Михайлович. Помогали же ему мы, утятские школьники. И я тоже был среди них, потому и горжусь...

Работали мы быстро и весело. Саженцы лесник привозил из питомника, мы сажали их в готовые лунки, присыпали сухим песочком и черноземом, а потом поливали. Воду приносили из озера, песок брали в карьере. И вот уж наша работа закончена... Говорят, если дерево выхаживают добрые руки, то оно растет быстро, стремительно, а у нас, конечно, были добрые, безгрешные руки: у детей-то еще какие грехи. И лесник так же считал:

— Ну спасибо вам, мои милые! Через пять лет зашумит этот борок. Честное слово даю, потом вспомните старика.

Мы уж домой собираемся, а он сидит в борозде, что-то ждет. Кричим ему:

— Пойдемте с нами, Федот Михайлович! Вы заболели?

— Нет, не заболел, не заболел. Да вам не понять...

А мы опять пристаем:

— Что с вами, Федот Михайлович?

— Не понял вас, ребята вы мои, ребяташки... Да мне же самого себя жалко... — Он достал платок и вытер глаза. — Вот вы доживете, увидите, а уж я не доживу...

— Чего увидим?

— А как зашумят тут сосенки, потянутся к солнышку. Как придут сюда белки и зайцы. Как хорошо-то!.. Это у вас получится хорошо, а мне-то уж будет плохо. — Он опять смахнул слезы. — Так и будет, как говорю. Чувствую я — пора укладывать свои чемоданы. В последнюю дорожку, ребятки, в последнюю...

Так и вышло, как говорил. Не увидел он, как растет его сосновый борок, не дождался... Хоронили его всей деревней, хорошие слова говорили у гроба, но все равно... Лучше бы жил и жил он на свете, лучше бы не затухал этот дорогой костерок. Костерок? Да, я не оговорился, а ты не ослышался. Жизнь каждая — и моя тоже, и твоя, Федор, жизнь — это костерок на холодном ветру. И горит он то сильно, то слабенько, то просто тлеет, а то пылает. Горит он и днем и ночью, пока не настанет последний час. И вот для Федота Михайловича он настал...

Хоронили мы его в начале зимы. Все деревья стояли в белых снегах, как в белых простынках. И уже потом, когда вырос холмик, снова пошел сильный снег.

— Пусть будет пухом тебе земля, — сказала моя мать.

Ее поддержали:

— Добрый был человек, вот и дает господь нам снежку...

— К урожаю это, к хорошему урожаю...

А ночью, помню, ударил мороз. Где-то под утро бабушка послала меня проведать Маньку — надавай, мол, свежего сена корове, а то застынет наша доена. Я вышел на крыльцо. Мороз наступал, сжимая в тиски нашу ограду. И вдруг меня точно стукнуло, осенило: «А ведь ему, навер-

ное, еще холоднее в глубокой могиле. Бедный, несчастный Федот Михайлович...» Я, помню, поднял глаза и увидел звезды. Они были белого, непривычного цвета. Близился рассвет, ночь уходила, а мороз наступал. Мне стало так страшно, будто и мне надо было отправляться в такую же могилу. Я закричал — и сразу же выскочила мать и прижала меня к себе: «Что с тобой, что с тобой?» Но я ничего не мог ответить... Много, очень много лет промелькнуло с тех пор, а я ничего не забыл. Видно, нет ничего печальнее, чем выходить ранним утром на крыльцо и смотреть на белые, стальные звезды. Тяжело тогда и одиноко душе. И думается о чем-то таком же горьком и непонятном, что хуже и таинственней смерти. И чем дольше смотришь в небо, тем страшней и печальней. Так же тоскливо смотреть и на море, когда оно в дожде и в тумане... Но прости, меня, сын, я, кажется, снова свернул с дороги. Ведь начал тебе о костерке, который горел в душе нашего лесника. Так вот и не потух он, не затерялся в наших трудных днях и печалях. Сейчас в Утятке работает лесником его сын Александр Федотович Сартаков. А над озером Окулинкино шумит, поднимается к небу молодой сосновый борок, и называют его люди Федотовским...

Вот и конец, Федор, этой истории, а может, даже и не конец. Я ведь о наших стариках сегодня рассказываю, а их было много в нашей Утятке. Молодые-то все на фронте, а дома одни старики. Волков Павел Васильевич, Шниткин Иван Захарович... И был еще один старичок, колхозный сторож, — из приезжих, сердечный, золотой человек. А вот фамилии его не запомнил. Кажется, Катайцев, Иван Катайцев, да это и не имеет значения. Мы называли его дядя Ваня, а он не возражал. Да и что ему возражать, если он любил нас и ходил за нами по пятам... Так что одни сутки он караулит в колхозе амбары, а вторые сутки с нами — в лесу или на рыбалке. Но особенно, конечно, на рыбалке, потому что я сейчас вспоминаю о лете, а в июле, в августе — самая щука!

Но лучший улов, конечно же, утром, в самый ранний заветный час. А чтобы не проспять эту зорьку, мы уходили на Тобол с вечера, а потом ночевали у костра. И часто брали с собой дядю Ваню, а может, это он нас брал, потому что рыбалка для него — мать родная, честное слово. Так приговаривал сам дядя Ваня. Он любил всегда пошутить, разыграть человека да и рассказчиком был отменным. Так что с ним у костра — одна радость: и ночь пройдет незаметно, и разных историй узнаешь... Потом будешь вспоминать целый год.

Особенно одна ночь мне врезалась в память... Да, Федор, меня опять потянуло на воспоминания. Что поделаешь — такой возраст... Ну вот, нашли мы тогда укромное место и, как всегда, запалили костер. У огня нас сидело трое: дядя Ваня с Вовкой Верхотурцевым, а третьим был я. Да еще за спиной у нас Шарик потявкивал. Потом он успокоился. Наверное, уснул.

Костер вовсю разгорелся, и опустилась настоящая ночь. Сделай шаг от костра — и нырнешь как в колодец. Протяни вперед руку — и руки не увидишь. Такая темень даже во сне не приснится. Но нам не страшно — рядом дядя Ваня. Он шарит в кисете трубкой, достает палочкой уголек, прикуривает. Трубка освещает его строгое лицо, усы, прокопченные табачным дымом. Трудно даже представить, что он когда-то был другой — молодой да крепкий.

— Дядя Ваня, вы где родились?

— Я не здешний, Витенька. Я на Волге родился. Мы от голода в Сибирь-то приехали. От голода, дружок. Такое время было, не приведи бог никому. Сыромятны ремни варили, да что ремни! Всех кошек поистребляли... Да вам зачем про то знать? У вас своего горя хватает. Такая война идет — да когда-то кончится или вовсе не кончится. Слышали, в Глядянке-то одна мать что устроила? Взяла да деток своих и порешила. А почему? А потому, что так погибель и эдак погибель. Хлебушка нет — значит, жизни нет.

— Слышали мы про это! — перебивает его Вовка. — Вы вот сказали, что ремни варили? — лезет он с вопросом.

И дядя Ваня смотрит ему прямо в глаза.

— Про ремни, значит, интересует? — говорит он медленно и начинает подбрасывать в огонь сушняку. — У нас и другие были супы. Отхва-

тишь, значит, хвост от селедочки да водичкой зальешь. А потом на огонь. Вот и пухли наши детские ноженьки. Прямо гири пудовы да, кроме того, ведь болят. А нас было трое у матери, а отец все в поездках да в планировании. Он был на пароходе механик.

— Дядя Ваня, у вас были братья и сестры?

— Был у меня, Витя, братишка. Его звали Филя, Филипп. Сейчас уж редко так называют. И сестренка Дуня была. Это, значит, Авдотья. А жили мы в рыбацком поселке, до Астрахани на пароходе— всего пять часов. Ну и голод, значит, пришел. А дело это, ребята, далекое. Еще первой мировой войны даже не было. Вот какой я, значит, старик.

— Вы не старик, дядя Ваня! Вы пожилой человек,—утешает его Вовка Верхотурцев. Он старше меня на три года и потому лучше ведет разговор.

— Ну ладно, раз не старик. А тогда я остался в доме за большака. Отец с матерью взяли Филю с собой и поплыли за солью...

— За какой солью?—удивляется опять Вовка. Ему кажется, что дядя Ваня нас просто разыгрывает, с ним это случается. Но тот сидит хмурый, печальный. И опять трубку табаком набивает.

— На соль тогда, ребятки, все можно было купить, обменять. Даже хлеба наменивали—вот она, матушка. Без нее никуда. А с ней и голод не голод. А ехать надо было, обязательно надо. Дуня у нас уж опухла, да и я еле ноги таскал. Ну отец и собрался. Пароход ходил у них прямо до Астрахани, а там и соль достают. Но отец отлучиться с парохода не мог—механика-то кто жепустит? Вот и поехала с ним наша мать. И Фильку тоже с собой забрали, тому два года всего—такого малыша разве бросишь! А я остался в доме за хозяина, да на мне еще Дунюшка. А чтоб мы не умерли, не опухли совсем—нам три селедки положили. А чего—три селедки? Потом мать поцеловала нас, пошептала молитву, и вот уж ворота скрипнули, а я даже реветь не могу. Слезы-то у нормальных, а я уж от слабости да от страху—какой же нормальный... Ну вот и осталась та парочка—гусь да гагарочка. Селедку-то я на шесть раз разрезал, и три раза в день мы по кусочку съедали. Дуня прямо съедала до каждой косточки, а я кости-то незаметно откладывал. Потом клал их в мисочку и заливал холодной водой. С этим кушаньем я в сарай отправлялся и начинал кормить Мушку. У нас собака такая была, я ее хотел сохранить. А потом брал ведро и уходил за водой... Легко сказать—уходил. Ноги-то распухли, как тумбы, не шагают. Но ничего. Без воды мы с сестрой не сидели. За нее, правда, сильно боялся. Она уж от слабости больше спала. Я тоже подвальною к ней, рядом лягу. Комната наша была пустая, давно все продано и проедено. Так что двери не запирались совсем. Заходи с улицы и бери нас живьем. Только кому мы нужны такие, у всех свое горе, не надо чужое... Вы уж спите, поди? А я разболтался?

— Что вы, дядя Ваня! Интересно рассказываете...

— Интерес-то, Витя, худой. Как-то дошел я до самой пристани. Сел на бревно, дальше идти не могу. Ну, думаю, передохну маленько да поглазею. А на пристани так и клокочет народишко. А чуть подальше стоит пароход. Все машины у парохода работают, и из трубы идет дым. Народ, видно, в Сибирь собрался. Тогда все бежали от голода. Умирать-то нету охотников... Ну вот—возле меня целая семья крутится. Как теперь вижу: высокий старик у них за хозяина, да двое сыновей у него—оба парни здоровые, прилично одетые. Да две невестки с дитями. Да в придачу к ним—слепая старуха, видно, жена старика. Они ее куда-то послали с девчонкой. Наверное, специально послали, а сами стали советовать. Денег-то на билет у них не хватало, и сыновья наставляли, чтобы старуху не брать. Зачем, мол, тащить за собой эту старую да слепую? Она и сама скоро помрет. Старик сильно, правда, противился и стыдил сыновей. Тогда сыновья ему прямо отрезали: «Не хочешь если по-нашему, тогда и сам оставайся. А мы из-за вас подыхать не будем. Нам своих детей еще подымать». Старик как это услышал, так и заревел. Но скоро и старуха вернулась с маленькой девочкой. Сыновья опять зашептались между собой. Потом старик и к жене обратился: «Ты, Катерина, здесь обожди. Я побегу и наши мешки погружу. Да еще билет один надо». А старуха голову подняла: «А сыновья-то где? Они бы и грузили все

и таскали». Но старик опять сказал ласково: «Дети из-за билета хлопочут, а ты сиди здесь, не спеши. Мы возьмем билет и придем за тобой». А сыновья уже машут руками и зовут к пароходу. Вот и первый гудок, вот и другой. Старик бросился к старухе и поцеловал ее. А сыновья прямо глотку дерут, сильно нервничают. Ну вот все забежали на палубу. И старик тоже успел... Нет, не могу я, ребятки, даже теперь душу рвет... Вот уж пароход стал отчаливать, а старуха все ждет и ждет. А пароход опять загудел, и сразу лицо ее вытянулось. Она громко охнула и вдруг протянула руку вперед: «Где ты, Василий? Васи-и-илей!» Но крик ее никому был не нужен. Вот он, какой голод, ребятки. Родную мать бросали да не жалели. Лишь бы себя спасти.

Костер прогорел, и я стал подбрасывать в огонь сухих палок, и скоро опять пламя взметнулось и разрезало тьму. А Вовка сидел неподвижно, как будто дремал. Но он не дремал, а рассматривал звезды. Их было так много, что он скоро сбился со счета. Потом повернул лицо к дяде Ване:

— А как же соль-то? Не привезли?

— Привезли, ребятки, привезли ее. С той соли, считай, мы и ожили. Но сперва мне выпало счастье. Такое счастье—прямо и в сказке не скажешь. А дело-то мое вышло на край. Уж пятые сутки пошли, как они уехали в Астрахань, а Дунюшка-то моя принялась помирать. Уснет она—и начнет холодеть. Я ей в рот дую, растираю височки. Но дуй не дуй, а еду не заменишь. Тогда я и собрался снова на пристань. Думаю—начну просить милостыню. Может, кто и подаст. Заметил такую же девочку, вроде меня. У той и щек-то нет, провалилися—прямо скелетик. Она ладошку вперед протянула: «Подайте, граждане, Христа ради...» Ну и я, глядя на нее, протянул ладошку. Так прошло минут пять, может, десять. И никто к нам не подходит. Потом гляжу—на дороге женщина появилась. В руках у ней тарелка, обливная, фарфоровая, а на тарелке что-то закрыто. Смотрю дальше: она к нам приворачивает и сует сразу по две лепешки: «Кушайте, детки, да вспоминайте. А я обет недавно дала: если дочка моя поправится, то понесу на пристань что есть за душой... Она у меня и поправилась». Я схватил те лепешки и на той же ноге—обратно. Быстро-то не могу, задыхаюсь, но все равно застал в живых еще нашу Дунюшку. Сразу намочил ей немного мякиша и в рот затолкнул. Так мы с сутки еще продержались, а потом явились наши родители... А через год мы поехали в вашу сторону. Вот теперь, считай, я сибиряк. Здесь и колхоз строил, и с Колчаком воевал...

С реки набежал ветерок, небо посерело, звезд стало меньше. Начинало светать.

— Дядя Ваня, расскажите, как Колчака били.

— Э-э, Витенька, чего захотел! А самого сон одолел. Вон твой дружок уж похрапывает.—Он рассмеялся и показал рукой на спящего Вовку.

— Нет, дядя Ваня! Расскажите...

— Ну ладно, раз просишь... Жил я тогда не здесь, а верст двадцать поближе к Глядянке. Три дома у нас стояло в лесу. Ну как бы на выселках. Переселенцы-то часто отдельно строились. Ну вот...—Он замолчал и начал что-то рассматривать в кисете.—Фу ты, беда! Табачок мой закончился, а без него я никто... Ну ладно, доскажу тебе поскорее... И вот однажды заехали к нам ихние офицеры. И требуют себе, значит, лошадок. А мы их пораньше в дальний колок отправили. Только у соседа случайно остался Гнедко. Хороший был конь, потому хозяин и не отпустил от себя. А это, конечно, ошибка. Беляки как увидели—так сразу его в узду. Да за ворота. А Мария, хозяйская дочка,—на крыльцо и вцепилась в коня. Не дам, мол, хоть убейте, не дам. Ее плеткой офицер, а она кулаком—по белой-то харе. Смелая была, как огонь. Вот и нашла свою смерть. Офицер наган вытащил и вцепил сразу две пули... Ну, хватит, поди, рассказывать. Да и тяжело мне, Витенька, до сих пор, как горорится, не отошел.

— А почему?

— А потому. Все потому, милый мой, что у меня свадьба намечалась с этой Марией. И вот разошлось дело-то, развела нас смерть.

С тех пор и живу один. А ребятишек сильно люблю, потому за вами всю дорогу таскаюсь...

— Дядя Ваня, а одному тяжело?

— Ну как же, Витенька, да неужели легко? Вон мамка у тебя тоже теперь одна... — Он помолчал немного, потом рассмеялся. — Небось тоже не собирается замуж-то? Да? Или как?..

— Вы что-о!

— То-то же, Витенька, потому что большая любовь была. А она — до могилы... Ну хватит. Ложись-ко поспи.

Вот и я, Федор, ставлю последнюю точку. Маячок закрыли тучи и, наверное, надолго, да я не расстраиваюсь. Потому что со мной есть ты, мой маяк! И дай бог, чтоб ты мне приснился.

Письмо девятое — о наших играх

Дорогой Федор! На побережье у нас дожди, и это — настоящее наказание. Не выйти к морю, не прогуляться. Мы все сидим по комнатам, как арестанты. И развлечений мало — только домино, шахматы да беседы. Поговоришь с человеком — и вроде полегче... А у меня здесь друг появился — шофер Николай из Тюмени. Он большой совсем — резаный, как говорят, перерезанный — и доверчивый, как дитя. А разговорчивый, рта не закроет. При первой же встрече он мне сообщил по секрету:

— Я сына в прошлом году потерял. Как на Север уехал, так и обрезало. И ни писем, ни самого.

— А в милицию, — спрашиваю, — заявляли?

— Что она, милиция! У них и без меня забот хватает.

— А может быть, он живой?

— Может, и живой, а может, и мертвой... — Говорит он тихо и доверительно, а глаза веселые, добрые, как будто рассказывает о приятном.

Этот же Николай вчера мне сообщил:

— Когда я первый раз женился, так народу у меня было два «пазика» да три «уазика». А когда жена померла, то всего был один «уазик» с работы. Да соседей еще трое пришло. Вот оно как. Живешь — и всем нужен, а помер — тогда никому...

А сегодня утром Николай принес ко мне в комнату большой обрезок стекла. И говорит:

— Давай поиграем?

Я ничего не пойму, а он снова:

— Скучно что-то. Давай поиграем. — Потом лезет в кармашек пиджака, достает смятую тряпочку. Развернул ее, а там — галька какая-то.

— Что это? — спрашиваю.

Он хохочет и крутит головой:

— А вот сразу не догадешься... Это, понимаешь, камни из почек. Хирург резал меня и нашел это золото. А потом на столик положил — возьми, мол, на память...

— И ты взял?

— А как же! Они, смотри, как стеклорез. — Он чиркнул камешком по стеклу, и оно разломилось.

— Охо!

— А что «охо»? Давай еще поиграем! Куда время девать?

— Нет, Николай, потом. — Я стал его уговаривать. Он собрал осколки стекла и ушел недовольный. Дите — прямо дите.

Такой же у нас был Герка Герасимов. Его никто в Утятке не мог переиграть. Ни в бабки, ни в «чирка»... А вообще-то прости меня, сын. Меня, кажется, снова заносит. Вот начал писать тебе про наши детские игры, а ты про них, конечно, еще не слышал. Сейчас уж так не играют. А напрасно. Конечно, напрасно! Без этих игр не может быть детства, а без детства какая жизнь... Так что потерпи, расскажу сейчас про наши игры, забавы. Может, и пригодится. Уверен, что ты полюбишь...

Так вот: вначале о бабках. Всю зиму мы их хранили за печкой или в кладовке. Они там подсыхали и становились, как камень. И вот наступала Пасха, появлялась первая зелень, первые сухие пригорки. На одной из таких полянок и делали игрище. Бабки ставили на кон в два или в три ряда. Потом играющий брал битую — небольшой кусок из свинца. С этой

битой отходил на десять—пятнадцать метров и сбивал этой битой кон. Если мазал, то ставил штраф—с десятков бабок по уговору. Если попадал, если разваливал целый кон, то собирал все бабки в мешок. Это трофей, это награда! Кто больше выиграет, тому и почет... Но были у нас и другие игры. Чаще всего мы играли мячом—в «бить-бежать». Сейчас тоже про это забыли, потому, Федор, читай эти строки внимательно. В начале игры выбирали двух маток. Сказать проще—вожак команд. А потом нужно было составить сами команды. Это простое дело: все разбивались парно и отходили от маток подальше, чтоб не слышны были переговоры. Отходили и договаривались, какой у каждого будет пароль. Например, один говорил, что он будет называться «капитаном», а его напарник брал себе имя «матрос». И вот подходит эта пара к маткам и обращается скороговоркой:

— Матки, матки, чей допрос? Капитан или матрос?— Можно говорить и не в рифму—кто как сумеет. И вот одна из маток отвечает: матрос! И так, выбор сделан: «матрос» направляется к одной матке, а «капитан»—к другой. Потом подходит другая пара. И соответственно другая матка делает этот выбор. Так возникают две команды. Потом матки тянут «долги-коротки». Это значит, что одна из маток зажимает в кулаке две спички разной длины, а другая матка вытягивает одну из двух спичек. И если выпадает короткая спичка, то ее команда будет «галить», водить, значит, а другая команда—бить. Затем определяют место, где будут бить лаптой по мячу, и то место, до которого пробившему по мячу надо добегать, а если повезет, то и вернуться обратно. И вот один из игроков бьет по мячу и, пока мяч в воздухе, бежит до условной черты. А если ему удастся, то бежит и обратно. Конечно, обратный путь очень трудный, коварный. Здесь его поджидают игроки из другой команды, которая водит в поле. И каждый из них старается попасть мячом по бегущему. И если попадает—роли у команд сразу меняются: те, которые водили, получают право бить по мячу. И такое длится долго—иногда часа три подряд. Мячей резиновых у нас тогда не было—мячи делали из коровьей шерсти. Собирали шерсть во время линьки коров. А для прочности скатанный мячик обшивали кожей. И хорошо!..

А надоест играть в мяч, играли в игру под названием «чирок». Игра эта очень веселая, очень азартная, несколько не хуже, чем игра в мяч. Вот я хвалю ее, сын, но ведь про этот «чирок» тоже люди забыли. Как будто и нет его, как будто и не было никогда. Конечно, грустно все это, непоправимо. А может, и поправимо. Потому, Федор, прошу тебя—прочти внимательно эти странички...

Так вот: чирок—это брусочек из дерева длиной в несколько сантиметров. Его заостряют с обоих концов. И получалось так, что на той и другой стороне образовывался как бы утиный носок, приподнятый от земли. По этому носку и ударяли широкой битой, чирок подпрыгивал вверх, и этой же битой выбивали его подальше. Тот, кто водил, должен был бежать на всех рысях за чирком. А потом нужно было попасть чирком в специальную лунку, вырытую в земле. Конечно, бросали всегда только в места приземления. И если попал в лунку—сразу команды менялись ролями. В эту игру играли чаще вдвоем, но можно было играть и компанией... И вот однажды играем, смеемся, и вдруг слышу крик:

— Витя, Витя!

Я поднял голову, смотрю—ко мне спешит Павел Васильевич.

— Ты че тут заигрался? У вас дома-то обыск!

Меня сразу как подружили. Старик увидел мое состояние и стал успокаивать:

— Ты че, парень, переменялся? Все ведь живые у вас—никто же не помер...—И еще что-то старик говорил, но я уж не слышал, не понимал. Потом он взял меня за руку и повел домой. Возле ограды отпустил руку:—Мне к вам нельзя. А если зайду—все равно прогонит агент...

— Какой агент?

— Сейчас увидишь... Да следи хоть за матерью. А то расстроится—и шабаш.

И вот я уже на крыльце. Через дверь слышу, что в доме кричат. Но делать нечего—захожу. Посреди комнаты стоят двое. Один из них—как потом узнали—был Детков, работник райфинотдела. А вторая была

женщина по прозвищу Тулуп. Как ее имя, не знаю и фамилию тоже не помню. Просто—Тулуп да Тулуп. Наверно, прозвали так из-за внешности. Она была высокая, черная, густые черные брови оттеняли цыганские глаза. Встретишь такую где-нибудь в переулке—сразу пригнешь голову, испугаешься. А ее и так боялись, как огня. Она работала в нашей деревне налоговым агентом, но подчинялась только Глядянке.

Эта черная и кричала больше других:

— Я вам говорю: открывайте сундук!

— Так я же ключи потеряла...— Это бабушкин голос. Он почему-то даже веселый. И это сразу понимает Тулуп.

— Что такое? Насмешки? Я покажу вам, где раки зимуют!

— А мы и так, матушка, знаем. Где раки ваши, а где будут враки...— Бабушка смотрит в упор на нее и продолжает:— У меня дитенка убили да сверх того—зятя. Да и самой уж седьмы десятки. Так что, матушка моя, мне военный налог не положен.

— Нет, гражданка, положен!— Детков спрыгивает со стула и включается в спор:— А если не уплатишь— опишем имущество.

— Да какое у нас имущество!— защищает мать. И вдруг распаивает перед ним наш сундук.— Смотрите, любуйтесь! На сколько тут тысяч...

Детков подходит поближе и заглядывает на дно:

— Н-да... Негусто у вас.

— А что «да»?— кричит бабушка, и глаза у нее сверкают.— Забирай все ремки, описывай!

— А самовар, чай? А зеркало?— спрашивает Детков и начинает что-то помечать у себя в блокнотике. Мама стоит рядом с ним бледная, как полотно. Потом говорит тихо, но все равно слышно всем.

— Кто вас послал сюда?

— А вы на нас не кричите,— предупреждает Детков.— За оскорбление будет по три года тюрьмы.

Но мать даже не смотрит в его сторону и продолжает:

— Если сейчас же не уйдете, я возьму палку—и прямо вас палкой. А потом сообщу в райком...

— Райком будет за нас,— перебивает ее Детков, и тогда мать толкает его прямо в грудь. Губы у нее трясутся:

— Вон, вон отсюда! Поиграли—и хватит... А вообще-то ваше место на фронте. Куда смотрит наш военком?

И тут случилось для меня поразительное: Детков съезжил плечи и медленно пошел к двери. За ним следом посеменила Тулуп.

Они ушли, а мы еще долго сидели и молчали. Потом бабушка заругалась на мать:

— Ты че так, Анна? Надо бы с ними повежливее. Еще тебя завинят.

— Не завинят. Я догадываюсь, кто их сюда послал. Наверняка Клим Александрович... У него была тут одна игра. Да не вышло. Вот и злится, и сводит счеты... А ты, сынок, не обращай на это внимание. Вот кончится война, и снова будем людьми.

— А когда она кончится?

— Скоро, Витя, совсем уже скоро...

Но мама моя ошиблась. Впереди была еще длинная тяжелая осень и такая же длинная и тяжелая зима. А потом пришел апрель и грянул победный май... Но об этом, Федор, в другом письме. А пока я делюсь с тобой радостью: я вижу, прямо в свое окно вижу, как на небе мигают звезды. Значит, конец нашим нудным дождям. Значит, завтра пойду к морю... А вот и маяк мой обозначился...

Письмо десятое — о нашей Победе

Я очень волнуюсь, дорогой Федор, ведь в прошлом письме я обещал тебе рассказать о нашей Победе. Но как это сделать? С чего начать? И какими словами?.. Потому что слов-то этих как раз и нет.

Сегодня с утра я был у моря. Там все изменилось—песок высох, вода успокоилась. От дождей осталось только воспоминание. И снова на берегу стало чудесно: много солнца и много купающихся. И втерок дул

теплый и обволакивающий, а я подумал—вернулось лето! И еще я подумал, что на свете буквально все возвращается: и наши дела, и наша любовь, и даже наша Победа. Но возвращается только в памяти, только в воспоминаниях. Кстати, Федор, кто-то из великих сказал, что память детства похожа на ветер и еще на море. Она сильна и упряма, как ветер, она глубока, как море... Но все-таки как красиво у меня написалось—ветер, море, а ведь я хочу рассказать не только о радости, но и о боли, об испытаниях...

И все же как мы его ждали—этот день Победы! И в школе, и в деревне, и в детском доме, который вырос по соседству с нашей школой... Но что-то все же забылось, не удержалось в памяти: я, например, не знаю, какая была в то утро погода—то ли солнце, то ли тучи ходили по небу. И что мне снилось в ту ночь—накануне—я тоже не помню, не знаю. И когда я проснулся, тоже все было по-старому: бабушка стояла возле печки и варила нашу нехитрую похлебку. Мать сидела за столом и проверяла тетрадки. И вдруг в дверь постучали,—и стук нетерпеливый и суматошный, как будто дом у нас загорелся и надо спасать. А через секунду на пороге стояла уже Варвара Степановна—наш директор школы. Помню, глаза у нее блестели и волосы разметались:

— Товарищи мои! Война же закончилась! Сейчас позвонили мне из райкома...

Бабушка моя схватилась за стул, но стул ей не помог—она привалилась к стене. А мама издала какой-то звук—не то стон, не то всхлип—и закрыла лицо руками. Потом медленно-медленно стала его открывать, но руки не подчинялись. И вот сейчас я стараюсь вызвать в памяти это лицо, но все старанья напрасны. Оно как-то сжалось, это лицо, и стало уплывать, уплывать от меня, уменьшаться... Так свивается, погибает берег на сильном огне. Один миг, другой—и вот уж одна зола только, один прах, воспоминанье...

— Анна, я жду тебя в школе,—это голос Варвары Степановны.

И сразу скрипнула дверь, и наступила долгая звенящая тишина, от которой у меня пропало дыханье. Еще б миг—и я бы не вынес, но тишину эту смяли сильные крики. Это закричали мать с бабушкой, обе сразу, как будто сошли с ума. Они схватили друг друга в беремья и зарыдали. Эти рыданья-то и выходили, как крики... Даже сейчас мне тяжело писать об этом, да и слова, чувствую, получаются слабенькие, не те. Впрочем, Федор, в этом я не одинок. Как часто, читая в некоторых книгах о дне Победы, то и дело натыкаешься на такие фразы: люди бросались друг другу в объятия, целовали первых встречных и незнакомых, громко пели, плясали, а машины подолгу сигналили непрерывными шальными гудками,—и вверху, далеко в небе, кружились над крышами такие же счастливые птицы. Наверное, так и было в больших городах и селеньях. Но это все-таки не вся правда. Потому что этот великий день напомнил и об утратах, и о горе, и о тех, кто никогда уже, никогда не вернется...

А потом в нашу дверь опять постучали. И это было как избавление, как выручка из беды. Мать с бабушкой сразу пришли в себя, да и зачем посторонним показывать слезы. А в избу уже к нам входили старички Волковы—Павел Васильевич с Татьяной Самойловной. После них забегала Елена Васильевна Мерзлеченцева, собрались все наши соседи—и скоро уж табуреток в комнате не хватало... И все гости смотрели на мать: давай, мол, Тимофеевна, расскажи, что случилось. Чудаки! Они думали, раз мать—учительница, то она просто обязана знать какие-то подробности... А их, подробностей-то, и не было: война закончилась— вот и все!

А потом мама пошла в школу, а я—на улицу. И вот теперь-то я начал жить в каком-то чудесном сне. Началось с того, что я заблудился. Я смотрел по сторонам и ничего не узнавал: та же улица, но вроде не та. Я никогда не видел столько людей. Неужели это все наши, утятские? А толпа прибывала и прибывала. И все шли быстрым шагом в сторону клуба. Здесь, на большой поляне, и собирался стихийный митинг.

У ограды клуба табунились мальчишки, я тоже примкнул к ним и стал озираться. И опять я не узнавал своих, деревенских: вроде бы давно знакомые люди, а лица стали другие—на них и радость, и торжество, и сиянье... Они не шли, а как будто летели. Так и было, наверное, душа

у них приподнималась на крыльях. И все мы, мальчишки, присмирели и точно сжались в комочек: что же будет дальше, что же?.. А люди все шли и шли... Вот к самой ограде клуба приближается целая колонна наших утятских женщин. Впереди всех—Христина Августовна Петинова. Она несла в руках фотографию сына. Губы у Христины плотно сжаты, глаза, не мигая, смотрят вперед. В них—горе и горе. Фотография—это все, что осталось от сына. Да еще дома лежит похоронка, после которой Христина чуть с ума не сошла. Рядом с ней шла Нина Игнатьевна Сартакова: ей некого ждать с войны. На ее мужа Петра, бывшего председателя колхоза, тоже была похоронка. Чуть поодаль, шагах в двух от них, шла Мария Ивановна Родионова—она тоже потеряла на фронте мужа. Плечо в плечо с ней шагала Луканина Евдокия Ефимовна. Она осталась вдовой с пятью ребятишками на руках. Тут же была и Менщикова Парасковья Егоровна, потерявшая на фронте двух сыновей—Ивана и Анатолия. Рядом с ней шла Шевалдышева Антонина Ивановна. Она осталась тоже с пятью сиротами, а на мужа была похоронка. Здесь же и Чистякова Мария Александровна—тоже вдова... Да разве всех их сейчас перечислишь!

..Вдовы шли босые, с непокрытыми головами. Одежонка на всех ветхая, изношенная, а ведь по возрасту почти все были молодые, тридцатилетние. Но выглядели они, как старушки. И шли как-то боком, с усилием, будто против ветра. Вырастешь, сын, большой и увидишь картину Питера Брейгеля «Слепые». Там идут люди и смотрят вверх, а сами натываются друг на друга. И в пустых глазницах—мольба и страдание. Так было и у наших—что-то похожее. В глазах у всех—слезы, потому и не видно глаз. И шли они, сильно наклоняясь вперед, как будто на ногах были гири. У многих в руках—самодельные флажки или красненькие косынки. А некоторые просто держали кусочки красной материи... И руки у всех, как по команде, то поднимались, то опускались. Они точно бы кого-то встречали или с кем-то прощались. Так и было, наверное: они встречали Победу, они прощались со своими мужьями и братьями. А потом открылся наш митинг.

Первой говорила директор школы Варвара Степановна. Говорила она всегда умно и зажигательно, а тут превзошла себя. Слова ее падали в душу, как горячие угли на живое тело, и женщины опять зарыдали. Эти рыдания переходили в крики и всхлипыванья. Я ничего не преувеличиваю, может быть, даже преуменьшаю. Слышал ли ты, сын, как мать кричит над свежеею могилкою сына? Впрочем, если не слышал—придет время услышать. Я, например, не знаю тяжелее картины... И вот уже все ушли—и друзья, и близкие родственники, давно уж и ограду поставили, и венками обвешали, вот уж и день клонится к вечеру, а мать все не оторвать с этого места, не оторвать. Она выждала свою, самую главную минуту—и стала разговаривать с сыном, точно с живым. Но тот молчал,—и вот слова все стали ненужными и мать от бессилия закричала, точно крики могли пробить этот толстый сырой песок и вернуть единственного, ненаглядного...

Вот уж Варвару Степановну сменила Христина Петинова. Она подняла вверх обе руки, сжала кулаки и произнесла проклятие Гитлеру... А после Христины говорили уже все по цепочке.

В школе в тот день была торжественная линейка. И все мы, школьники, пионеры и комсомольцы, дали клятву верности своим отцам и братьям, погибшим на фронте. От этой линейки осталось ощущение радости и тревоги. Было такое чувство, что война еще не закончилась, что скоро-скоро и мы, мальчишки, тоже пойдём на фронт. Но вот—уже все на улице... Мы строимся в одну колонну и выходим на большую улицу. В руках у нас флаги и портреты Сталина, многие взяли в правую руку пионерские галстуки и поднимали, и опускали их, в галстуках трепетал ветерок, и они вздрагивали, как живые.

И это был очень счастливый и горький путь. В колонне смеялись и плакали, пели песни и играли на гармошке... И вот сейчас, Федор, я вспомнил даже погоду. Когда мы шли, ярко-ярко светило солнце и дул теплый весенний ветер. А мы поднимали вверх флаги и красные галстуки и кричали: «Ура!», «Победа!»—и еще что-то кричали—наверное, каждый свое. Ветер натягивал флаги... И теперь, вспоминая тот день, те часы, те минуты, я все время вижу эти рвущиеся к небу красные галсту-

ки в наших ладонях. На кого же они походили? То ли на птиц... То ли на наши надежды...

Надежды! Какое хорошее, бесконечное слово! Когда они есть, и человек счастлив, и жизнь продолжается... А если нет их—значит, и жизни нет и самого нет человека. Если и устоит он на земле, то все равно начнет шататься и гнуться, как слабенькая травинка.

Так и случилось с нашей семьей. Этот день, 9 Мая, подвел для нас многие итоги. Решил многие уравнения. И нам стало ясно, что отец теперь уже не вернется, не вернется и мой дядя Женя—родной брат матери, не вернется и много другой моей дальней и близкой родни.

И вот закончился тот день, и пришла ночь. Сколько же их было всего за войну! Но это особенная, конечно, ночь,—война-то закончилась. Закончилась, закончилась... А нам некого ждать. Некого, некого, некого... За окном—тяжелая тишина. Хоть бы собаки залаяли. Но о чем же я прошу? В деревне давно нет ни одной собаки... И вот теперь, сын, на минуту прервемся. Как часто в фильмах и особенно на полотнах ряда художников, посвященных тем незабываемым майским дням 45-го, видишь совсем иную деревню, не деревню, а просто идиллию: на улицах много цветов, много ярких платьев, на лавочках сидят веселенькие старички и старушки, а возле них прыгает и летает разная живность: и собаки, и кошки, и гуси, и куры... А на заборе непременно голосит петух, и какой-нибудь мальчишка едет на велосипеде... Все это, конечно же, ложь, полуправда. И прости, что отвлекся... Да, я хорошо помню всю эту ночь. И помню, как мать ворочалась, как вставала и пила воду. Наверное, болело сердце... Хорошо помню и все свои думы. Господи, какие у мальчишки думы! Но они были, были! Точнее—не думы. Это мечты... Я лежал тогда и мечтал с упоением, самозабвенно поехать куда-нибудь в большой город и там остаться жить навсегда. Как мне хотелось поехать! Я ведь нигде еще не был, потому и мечтал о Кургане или даже Свердловске. Я хотел жить в этих городах и хотел стать музыкантом. И мне хотелось, чтоб меня кто-нибудь научил там играть на гармошке или даже на скрипке. Правда, скрипку я видел только в кино.

Прошла ночь, и я действительно поехал. Но только не в город, а в ближайший лесок за жердями... А началось с того, что утром в наше окошечко постучал сосед Павел Васильевич Волков. А потом и сам зашел:

— Хозяева-то есть? А то стучу—к окну никто не подходит...

— Есть. Живые еще мы. Проходи,—откликнулась бабушка.

— Вижу, что живые.—Глаза у старика лукаво посмеиваются.— А мне самых молодых надо хозяев.

— И молодые дома,—говорит тихо бабушка и помаленьку подталкивает меня поближе к соседу. Тот гладит меня по голове. И вдруг откидывает быстро ладонь, точно на голове у меня какие-то угли.

— Вот что, парень, хватит тебе реветь-то! Сейчас сам будь за мужика. Давай собирайся, поедem со мной за жердями. Вам надо жердей-то?—Сосед смотрит строго, в глазах застыла тусклая пленочка.

— Надо. Как же не надо!—так же сердито отвечает бабушка и стучит на плите кастрюлькой.

И мы поехали. Это было первое утро после Победы...

Телега была старенькая. На каждой кочке что-то поскрипывало в ней и постанывало. Лошадь тоже была в годах—бока запали, вместо хвоста торчал окомелок.

— Но-но, пошевеливай!—торопил ее Павел Васильевич, но она не обращала на него внимания. А вокруг нас просыпалась, освобождаясь от ночи, земля. В полях уже было совсем светло, только над сосновым борочком, который сажал Федот Сартаков, поднимался слабый туман и над ближним озером Окулинкино летали белые чайки. Они были совсем белые, снежные, точно умытые.

— Смотри, парень, лед-то нынче на озере потонул, истлел. За два дня как не бывало. К чему бы это? А? Не знаешь? А я знаю. Жди снова тяжелый год. У вас картошка-то еще есть?

— На семена есть.

— Ну и хорошо. Ты на демонстрацию-то вчера ходил?

— Ходил.

— Вот и ладно. Такую войну свалили—не приведи больше бог! А вы с отцом-то, поди, попрощались, не ждете?

— Не ждем.

— А как же так? Раньше времени смертну рубаху?.. Это нехорошо. И после похоронной, бывает, что приходят. Где-нибудь по госпиталям прокантуются, а потом машину для них подгонят—и по домам.

— Какую машину?

— Да не же лошади же отец твой приедет! Неуж не дадут для такого солдата машину? А? Молчишь, парень? Не ждали, не ведали, а прикатил...

— Хорошо бы!—соглашаюсь я, а сам все смотрю и смотрю по сторонам. Вот уж и показались первые колочки. Над ними кружат грачи и кричат.

— Птицы-то птицы!—смеется Павел Васильевич.—Тож, поди, радуются, что войне конец.

А мы почти у цели. Возле дороги раскинулся густой, высокий осинничек. Тут и растут наши жерди. Мы остановились и распрягли лошадей.

— Пускай погуляет Гнедко, немного отмякнет. Далеко-то все равно не уйдет. Где уж—старый стал, боязливый... А я тебе, парень, топорик сделал. Как нарубим жердочек, так и заберешь домой. Считаю, что подарок это. На день Победы тебе. Уяснил?

— Насовсем, что ли?

— А как? Подарок ведь... Насовсем.

Я залюбовался топориком. Маленькое острое лезвие, аккуратненький обушок. Даже не верится. Старик перехватил мой взгляд.

— Значит, глянул. Вот и ладно. Сейчас нарубим да наготовим—у меня у лесника-то выписано. Ты не бойся, мы не воруюем, свое берем. У меня за эти жердочки-то и лыко сдано, да и так, по мелочи, леснику помогал...

— А я не боюсь! — отвечаю ему тихим счастливым голосом. — Топорик мне как раз по руке!

И мы поработали—нарубили жердей. А через час уже ехали обратно. Павел Васильевич посадил меня прямо на воз, а сам шел рядом, только вожжи держал в руках. Мне было стыдно—я еду, а он идет. Я запросился вниз, но он замахал руками: «Нет, нет, сиди там, как на именинах. Такую войну вынес—ты заслужил...» Он снял с себя пиджак и подстелил под меня. И опять загудел рядом его медленный, густой голос:

— Сейчас обгородим ваш огород да картошки насадим. И у нас нарастет его сто пудов. А? Не согласен?—И он смеется, а мне легко. И душа моя уже летает выше самых высоких осинок, не летает даже—парит. И праздник мой все не кончается, не кончается. Да и солнце бьет прямо в глаза.

— Скоро, парень, солдаты поедут с фронтов. Кому нужны сейчас эти фронты—фашиста-то в яму загнали да крепко засыпали. Вот и поедут наши ребятки—встречайте! Глядишь, и твой папаня прикатит.

...Однако не прикатил мой отец, никто из моей родни не приехал. Но все равно я благодарю судьбу свою за ту поездку в весенний лес. Ведь и жерди-то были лишь предлогом. А поехал сосед только ради меня... Ради меня одного! Пусть, мол, будет праздник и для этого мальчишки—для сироты... До сих пор звучит в моей памяти этот щемящий до боли густой голос: «Как было бы хорошо... Хорошо...» И я согласен: как было бы хорошо, чтобы в нашей жизни были одни только праздники, одни только встречи, свидания. Одни только весны, счастливые длинные весны. Как было бы хорошо!..

Но время—вода. И попробуй, сын, останови, удержи его. Ничего не выйдет и не получится—только людей насмешишь. Но зачем шутить над собой и смеяться—над своей кровью нельзя шутить... А время, конечно, не остановишь. И вот уж давно нет на свете нашего соседа Павла Васильевича, и Ивана Хахаровича Шниткина тоже нет. И моей учительницы Чистяковой Павлы Михайловны, и того одинокого однолюбца дяди Вани тоже давным-давно нет. Нет и моей бабушки Катерины Егоровны...

Да, Федор, давно уже ушла от нас наша бабушка. Сколько всяких историй, рассказов услышал я от нее—и все сохранила моя душа... Да,

так и есть, сохранила, запомнила, а я передам тебе. И пусть так и пойдет: от бабушки к внуку, а потом снова и снова—пока жива наша память—наша родная кровь.

А время неумолимо. И вот уж многих тех женщин-солдаток, наших утятских вдов, тоже нет на земле. Но почему нет, почему? Я все равно вижу их всех как живых. И это правильно, справедливо, потому что живет, сын, продолжается наша с тобой родина—наша родная Уятка.

Да, здесь моя Родина, все мои корни и продолжения. Здесь родились мои первые большие мечты и признания... Да. И признания! Я ведь намекал тебе в самом начале, что на моих страничках будет много объяснений в любви и признаний. И моя главная любовь—моя родная Уятка. Она и снится все время, сторожит меня и преследует... Вот и сейчас—только-только прервался, отдохнул от письма—а она опять рядом, моя Уятка. Только закрыл глаза—и сразу вышел на нашу Береговую улицу, а в небе, над самым бором, зажглась первая голубоватая звездочка, и свет от нее томящий, будто живой... Вот уж и в домах огни появились, и далеко, у самой поскотины, лает собака, но лай какой-то ленивый. И такая же лень, благодать в самом воздухе, и дыши им, и режь на кусочки,—и я дышу этой тишиной, этой радостью. Весна набирает силу. А потом пройдет и она, и минет лето, и осень, а потом снова—стынь за окнами и метели...

Да, идет время, летит, как ветер. И хорошо бы, чтоб он всегда был теплый, весенний. И хорошо бы, чтоб над нашей Уяткой всегда стояла весна, а вместе с ней и надежда...

— Но ведь все зависит от наших усилий. А сила любого из нас—в труде,—вдруг прерывает мои мысли голос Ивановой Варвары Степановны. Он звучит издали, он нашел меня через время... Но о чем же он? Ну конечно, об этом... Моя учительница смотрит мне прямо в лицо и щурит глаза:—Жизнь—это книга с чистыми листами. И человек должен записать эти листочки добром. И если запишет—будет счастливым. Ты не согласен?

— Согласен, трижды согласен!..

Но чей же это голос? Я напрягаю память. А голос снова и снова:

— Ну почему ты забыл меня? Почему же?..

И вдруг я увидел мальчишку. Он рыжий, серьезный, задумчивый. Он смотрит на меня откуда-то сбоку, с той высокой горы, с самого неба... Но как же? Там ведь маяк... Однако я отчетливо вижу его глаза, его длинную, костлявенькую фигурку. И глаза—большие и вроде с обидой. Но кто его обидел—не знаю. И не понимаю, почему он вглядывается в меня, изучает, точно знает какую-то тайну. А что за тайна? И только хочу об этом спросить, допытаться, так сразу он убегает. «Куда же ты? Подожди!»—кричу вдогонку ему, а он бежит все быстрее, быстрее. И вот уж вместо него только свет, пустота, потом снова—сияние. И я спешу на этот свет и почти догоняю. И в тот же миг мы попадаем с ним на какую-то улицу: кругом низенькие дома, огороды. Я смотрю по сторонам и не верю. Ведь это же мои дома, моя улица, моя родная Уятка. А мальчишка все бежит от меня, не оглянется,—и я за ним, как привязанный. И вот уж кончилась улица, и вот уж мы за деревней, а спереди—река, а над ней—светлый, слепящий луч... А рядом, на берегу, стоит Павел Васильевич, а вокруг него—Боренька Смирнов и Вовка Адалечкин, Володька Верхотурцев и Герка Герасимов... И все они рядом—живые и мертвые. И только хочу вглядеться в них, что-то понять, как уже меркнет луч, исчезает, теряется, и вместо него—снова ночь, пустота... Я сажусь к столу, хочу успокоиться. Но мне мешают часы на руке. Я их снимаю, и тяжесть уходит. Потом смотрю долгим взглядом туда, на высокую гору. Маяк мой живой, он посылает сигналы... И вот опять, опять я чувствую, что за спиной у меня тот мальчишка. И голос его, и свет в глаза:

— Не забывай меня, не забывай!

И я повторяю за ним: «Не забывай».

Семь стихотворений

* * *

О призывайте,
призы давайте,
о признавайте,
не признавайте.

Какие цели?
За чью свободу?
Лишь ложь и цепи
нужны народу.

Ведь не во мне же
мой жребий брошен,
мне нужно меньше,
чем птице прошлой.

Какие судьбы
я развиваю?
Святые струны
я разрываю!

И в ваши ночи,
и в ваши нови
из всех виновных
я всех виновней.

Судьбе коварства,
суду без бога
и веку Вакха
отмстим безмолвьем.

* * *

На светлых стеклах февраля
блеск солнца замерцал.
У фонаря, у фонаря
мой ангел замерзал.

У фонаря, у фонаря
мой ангел умирал.

И ни двора и ни кола!
Он в небесах устал.
Совсем сломались два крыла,
и он уже упал.

Лишь бог божился: «Надо жить!»
(Он, публика, умна!)
И ни дыханья, ни души
на улицах у нас.

Во всей вселенной был бедлам.
Работали рабы.
Лишь лира лишняя была,
и он ее разбил.

Ни бог страниц не написал
ни о добре, ни зле,
ни ненависти к небесам
и ни любви к земле.

А мог бы получить полет
в прекрасных небесах.
Сначала он разбил ее,
потом разбился сам.

Оттаивали огоньки
по спальням для спанья.
В теснинах страха и тоски
все спали. Спал и я.

Рассвет фигуры февраля
в пространство удалял.

Какой-то ангел (всем на смех!)
у фонаря сгорел.
Я спал, как все. Как все, во сне
я смерть—свою—смотрел.

Послание

Как играется в Риме? Я был там. О бабах—обман.
Нет печеных улиток. Нет Горького. Нет делегаций.
Помню, пили у Павла, Иоанн 23, Ватикан.
(Ватикан—их Исакий. Там религия. Будь деликатен.)

В Риме много хорошего. Не попадись на трюк
 (Попадают только туристы): киносекс с мертвецами.
 Кьянти пьют со спагетти. Чиполлино не ешь—это лук.
 Боттичелли—художник. Муссолини—мерзавец.
 Иностранцам—не верь. Шведам—в первую очередь. Бар
 выбирай хорошенько. Там ходит одна... Швед-королева...
 со бзиком!

Будешь пить с ней, спроси ее в лоб:—Где борьба?
 (Паспорт не проверяй. Узнаешь по бескозырке.)
 Знай: ты—Воин Великой Державы. К тебе—интерес.
 Так что будь осмотрителен. Трать лишь известные ссуды.
 Заявляй в интервью без запинки о том, где прогресс...
 Знаешь сам... Философствуй со скидкой,—ведь все они—
 зюйды!

Путешествуй пешком. Мил Милан. А Венеция—это венец!
 Опасайся Ломбардии. Избегай по возможности оргий.
 Во Флоренции—Флора. На Капри—святые сердец:
 посети, не раскаешься: там жил Горький.

* * *

— Так-так,—сказал один мертвец
 другому мертвецу:
 — Ты мудрец, и я мудрец,
 поедем к мудрецу.

Поехали. Приехали.
 Оставили ослон.
 Пospорили о веке—
 основе из основ.

Все было: чары, чертов круг,
 мечты, молитвы (эх!).
 И был тот третий милый друг
 мертвее мертвых всех.

Так стало трое мудрецов—
 произошел прогресс.
 О мысли! Пища мертвецов!
 О песенки повес!
 А вывод?

Все на свете—смесь.
 Все весело, ей-ей!
 И жизнь—есть жизнь, и смерть—есть смерть,
 все в сумме—БЫТИЕ.

* * *

Когда жизнь—это седьмой пот райского древа,
 когда жизнь—это седьмой круг дантова ада,
 пусть нет сил, а стадо свиней жрет свой желудь,—
 зови зло, не забывай мой мир молний!

Кузница

Где выковывали для тебя, мореход,
 башмаки из кабаньей кожи?
 — В кузнице, товарищ.
 Молодое, юница, твоё молоко
 кто выковывал, кто же?

— Кузнец, товарищ.
 Где выковывали, вековечный Орфей,
 твой мифический образ парящий?
 — В кузнице, товарищ.
 Кто выковывал пальцы кифары твоей
 и гортань этих таборных плачей?
 — Кузнец, товарищ.
 Кто выковывал пахарю зерна потов,
 капли злаков на безземелье?
 — Кузнец, товарищ.
 Где выковывали и тепло и потоп,
 род и вырождков и бессемейность?
 — В кузнице, товарищ.
 Кто выковывал скальпель
 и оптику линз?
 кто иконы выковывал?
 кто героизм?
 — Кузнец, товарищ.
 Где выковывали для тебя, Прометей,
 примитивные цепи позора?
 — В кузнице, товарищ.
 Кто выковывал гнет и великий протест
 и мечи для владык подзорных?
 — Кузнец, товарищ.
 В результате изложенного колеса,
 где выковывали сто веков кузнеца?
 — В кузнице, товарищ.

Как зеницу, того кузнеца я храню,
 как раненье, храню до конца.
 Я себе подрубаю язык на корню,
 коронуя того кузнеца.

Ну, а если кузнец приподнимет на метр
 возмущенье:

— Не буду мечами! —
 для него в той же кузнице
 в тот же момент
 будет выковано молчанье.

* * *

Я оставил последнюю пулю себе.
 Расстрелял, да не все. Да и то
 эта пуля, закутанная в серебре, —
 мой металл, мой талант, мой — дите.

И чем дальше, тем может быть больше больней
 это время на племя менять.
 Ты не плачь над серебряной пулей моей,
 мой не друг, мой не брат, мой — не мать.

Это будет так просто. У самых ресниц
 клюнет клювик, — ау, миражи!
 И не будет вас мучить без всяких границ
 мой ни страх, мой ни бред, мой — ни жизнь.



Т р и у м ф и т р а г е д и я

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ И. В. СТАЛИНА

Трудно поверить, что державы-победительницы спустя всего три-четыре года оказались на пороге войны друг против друга. Америка, ослепленная мощью, монополией на ядерное оружие, не могла мириться, что поднимается еще один колосс. В Пентагоне готовили планы ядерных бомбардировок. Сталин в этих условиях продолжал вести осторожную политику, наращивая военные мышцы, но стараясь в то же время не провоцировать своего бывшего союзника. Он, правда, не говорил, как Мао, что атомная бомба — это «бумажный тигр», но неоднократно давал понять, что и в возможной войне решающая роль останется за народными массами. Был, правда, момент, когда забрезжила узенькая полоска света на горизонте, обещавшая, казалось, ослабление стылых ветров. 1 февраля 1949 года европейский директор агентства «Интернэшнл Ньюс-Сервис» Кингсбери Смит прислал из Парижа Сталину следующую телеграмму: «Официальный представитель Белого дома Чарльз Росс сегодня заявил, что президент Трумэн был бы рад иметь возможность совещаться с Вами в Вашингтоне. Будете ли Вы, Ваше Превосходительство, готовы поехать в Вашингтон для этой цели. Если нет, то где бы Вы были готовы встретиться с президентом».

На следующий день Сталин ответил:

«Я благодарен президенту Трумэну за приглашение в Вашингтон. Приезд в Вашингтон является давнишним моим желанием, о чем я в свое время говорил президенту Рузвельту в Ялте и президенту Трумэну в Потсдаме. К сожалению, в настоящее время я лишен возможности осуществить это свое желание, так как врачи решительно возражают против моей сколько-нибудь длительной поездки, особенно по морю или по воздуху». Сталин предложил местом этой встречи Москву, Ленинград, Калининград, Одессу, Ялту, Польшу, Чехословакию, зная, что Трумэн обязательно откажется от встречи. Говорить им было не о чем. Президент полагал, что у Америки есть большие шансы заставить говорить СССР то, что он бы хотел услышать. Но Трумэн со временем убедится в эфемерности этих надежд. Сталин и не думал поддаваться диктату. В воскресенье, 26 июня 1949 года, передовая «Правды» была озаглавлена: «Трумэн расхвстался».

И вдруг неожиданно в этом притихшем и смятенном угрозой мире, где слышался только топот солдатских сапог и башмаков, бряцание оружием, раздались первые, хотя и слабые, голоса, взывающие к разуму. В 1948 году во Вроцлаве собрались представители пацифизма, приехавшие из обеих «лагерей», где тон задавали деятели мировой культуры. Следующим шагом этой, раньше других прозревшей части человечества был созыв Всемирного конгресса сторонников мира в Париже.

Сталин, вначале скептически смотревший на это интеллигентское течение, вдруг почувствовал в нем большие подспудные возможности. Он понимал, что война в условиях, когда Америка, имеющая атомное оружие, практически не-

уязвима, ставит в крайне невыгодное положение социалистический лагерь. Поэтому нужно максимально использовать мировое общественное мнение против тех, кто хочет разрешить основное противоречие эпохи ядерным путем. Позже, в 1950 году, сторонники мира предприняли самую внушительную акцию: организовали кампанию по сбору подписей под Стокгольским воззванием мира. Размах кампании был грандиозен. Члены комитета по организации акции менее чем через год объявили, что на планете свою подпись с требованием не допустить войны поставили более 500 миллионов человек! Сталин, официальная советская пропаганда, выражавшие поддержку идее мирного сосуществования, оказались в русле чаяний народов. Мне иногда кажется, что Стокгольмская кампания была истоком формирования планетарного сознания человечества, суть которого в признании приоритетов общечеловеческих ценностей. Сейчас к этой цели мы стоим ближе, чем тогда, но как важно было сделать первые шаги!

Когда в апреле 1949 года в Париже, в зале «Плейель», открылся Всемирный конгресс сторонников мира, собравший около двух тысяч делегатов со всех концов света, Сталин напряженно следил за его ходом, как за политическим событием первостепенной важности. Они с Молотовым сами корректировали состав советской делегации, в конечном счете определив ее в таком составе: Фадеев, Эренбург, Василевская, Корнейчук, Турсун-заде, Волгин, Федосеев, Космодемьянская, Маресьев. Сталин не мог не испытать глубокого волнения (если был на него способен), когда «Правда» 21 апреля сообщила, что американский певец Поль Робсон, заканчивая свое выступление на конгрессе, прямо за трибуной запел на русском языке «От края и до края...». Мог ли Сталин чувствовать, что начинается эра подлинно народного влияния на судьбы мира и войны?

В этой схватке миров, когда ледяные ветры, застудив разум политиков и генералов, могли вот-вот опрокинуть барьер, отделяющий мир от войны, Сталин получил огромную поддержку от китайской революции, как, естественно, прежде всего получила она и от революции русской. Победа революции в Китае заметно изменила соотношение сил и их структуру в мире.

Двадцатилетняя борьба китайского народа за свое социальное и национальное освобождение триумфально завершилась провозглашением 1 октября 1949 года Китайской Народной Республики. По указанию Сталина 5 октября «Правда» опубликовала передовую статью «Историческая победа китайского народа», а рядом четыре портрета — Мао Цзэдуна и несколько меньших размеров — Чжу Дэ, Лю Шаоци, Чжоу Эньлая. В передовой приводились слова лидера китайской революции: «Если бы не существовало Советского Союза, если бы не было победы в антифашистской второй мировой войне, если бы — что особенно важно для нас — японский империализм не был разгромлен, если бы в Европе не появились страны новой демократии, то нажим международных реакционных сил, конечно, был бы гораздо сильнее, чем сейчас. Разве мы могли бы одержать победу при таких обстоятельствах? Конечно, нет». Далее в передовой говорилось, что «сбывается гениальное предвидение товарища Сталина, заявившего еще в 1925 году, что «силы революционного движения в Китае неимоверны. Они еще не сказались как следует. Они еще скажутся в будущем. Правители Востока и Запада, которые не видят этих сил и не считают с ними в должной мере, пострадают от этого».

Сталин чрезвычайно внимательно следил за ходом событий в Китае. Когда ему сообщили, что в Пекин приехал новый американский посол Хэрли, заявивший о полной поддержке Чан Кайши, Сталину многое стало более ясным. Он понимал, что если в Китае возобладает влияние Соединенных Штатов, то положение СССР станет еще более тяжелым. Первоначально в борьбе Мао и Чан Кайши для Сталина было много неясного, он даже одно время полагал, что это восстание миллионов голодных масс не имеет какого-либо отношения к социалистическому или демократическому движению. Узнав об октябрьских (1945 год) переговорах в Чуньцине Чан Кайши и Мао Цзэдуна по внутренним вопросам, Сталин убедился, что позиция коммунистов более реалистична и прогрессивна.

Сталин в свое время немало писал о Китае. В собрании сочинений опубликовано около десятка работ о китайской революции. Некоторые из них политически чрезвычайно примитивны. Например, он утверждал, что «революционизирование Востока должно дать решающий толчок к обострению революционного кризиса на Западе. Атакованный с двух сторон — и с тыла и с фронта, — империализм должен будет признать себя обреченным на гибель». Характерно, что Сталин, высказывая некоторые верные положения о китайской революции, часто прибегал к политическому менторству: «Коммунисты Китая должны (Разрядка моя. — Д. В.) обратить особое внимание на работу в армии»; «Должны вплотную взяться за изучение военного дела»; «Китайская компартия должна участвовать в будущей революционной власти Китая» и так далее. Пожалуй, особая уверенность в победе коммунистов появилась у Сталина не в результате их военных успехов, а после того, как в январе 1945 года Чан Кайши произнес речь, из которой вытекало, что он намерен сохранить антидемократический режим с помощью созыва национального конгресса, назначаемого правительством.

После окончания второй мировой войны СССР немало сделал для оказания помощи китайской революции: было передано Народно-освободительной армии Китая большое количество разного вооружения и боевой техники, была оказана и иная помощь. Со второй половины 1947 года ветер победы стал надувать паруса НОАК, вынудив в конце концов бежать Чан Кайши на Тайвань. Мао в условиях американской враждебности окончательно остановил свой выбор на Советском Союзе. После победы китайской революции отношения между двумя странами стали быстро развиваться по самым различным направлениям. Их кульминацией явилось приглашение Сталиным Мао Цзэдуна приехать в Москву на празднование своего семидесятилетия.

Сталин с большой долей недоверия ждал встречи с вождем китайского народа. И хотя он немало говорил и писал раньше о Китае, китайской революции, в сущности, не знал совершенно иной, чем у России, истории и культуры, не понимал многих особенностей национальной психологии самого крупного по численности народа на Земле, не представлял себе ясно Мао Цзэдуна. После приезда Мао в Москву 16 декабря 1949 года Сталин имел с ним несколько встреч. Большинство их бесед не протоколировалось, и поэтому для уяснения их сути, содержания и направленности большое значение имеют воспоминания известного советского синолога Н. Т. Федоренко, выступавшего тогда в роли переводчика.

Надо думать, что и для Мао все было необычным; он никогда не бывал за пределами Китая, не участвовал в работе органов Коминтерна, имел слабые контакты с представителями других компартий. Можно даже сказать, что эти люди, много раз садившиеся друг против друга за столом, мыслили по-разному — у них была неодинаковая шкала ценностей, они были представителями разных цивилизаций. Это не были «инопланетяне», но по своей социальной и культурной природе лидеры сильно отличались. Марксизм их связывал весьма слабо. Мао при случае мог сослаться на колларий из Чунь-цю (классическое произведение Конфуция «Весна и осень»), а Сталин, знавший множество цитат классиков марксизма, теперь предпочитал повторять самого себя. В одном у них было много общего: оба были прагматиками. Конфуцианство в Китае известно под именем Жу-цзяо («религия ученых»). Мао, не разделяя, вероятно, метафизики конфуцианства, по форме часто мыслил именно так и вместе с тем неповторимо образно.

Сталин с любопытством и тщательно скрываемым недоверием присматривался к своему собеседнику. Тот, не однажды вдруг отойдя от беседы по конкретным злободневным вопросам, вовлекал советского вождя в сказочный, таинственный мир китайских притч. Так, Мао мог рассказать Сталину, как «Юй-гун передвинул горы». В притче говорится, что в древности на севере Китая жил старик по имени Юй-гун («Глупый дед») с Северных гор. Дорогу от его дома на юг преграждали две большие горы — Тайханшань и Ваньчущань. Юй-гун решил вместе со своими сыновьями срыть эти горы мотыгами. Другой старик по

имени Чжи-соу («Мудрый старец»), увидев их, рассмеялся и сказал: «Глупостями занимаетесь: где ж вам скрыть две такие большие горы!». Юй-гун ответил ему: «Я умру — останутся мои дети, дети умрут — останутся внуки, и так поколения будут сменять друг друга бесконечной чередой. Горы же эти высоки, но уже выше стать не могут; сколько сроем, на столько они и уменьшатся; почему же нам не под силу их скрыть?». Опровергнув этими словами ошибочный довод Чжи-соу, Юй-гун, нимало не колеблясь, принял из дна в день рыть горы. Это растрогало бога, и он послал на землю двух своих святых, которые и унесли эти горы.

Сталин слушал витиеватый китайский фольклор с глубоким философским смыслом: сейчас тоже две горы давят тяжестью на китайский народ — гора империалистическая и гора феодальная. Компартия Китая давно решила скрыть эти горы. Мы тоже «растрогаем» бога, который называется китайским народом. Советский вождь согласился с китайским вождем и в унисон с Мао заговорил, что если будем вместе, то мы не только две горы сроем.

Как вспоминает Н. Т. Федоренко, беседы были долгими, неторопливыми. Собеседники не спеша пробовали блюда, хорошо приготовленные, делали глоток-другой сухого вина и долго говорили о делах международных, экономических, идеологических, военных. В ходе таких ночных застолий обсуждались и принципиальные положения готовящегося Договора о дружбе, союзе и взаимной помощи. Однажды, вспоминает Федоренко, Мао рассказал один случай из истории борьбы с гоминдановцами. Будучи окруженными, бойцы не сдавались, следуя призыву командира: «Не взирать на трудности, не страшиться испытаний, смотреть на смерть как на возвращение». Сталин долго пытался уяснить смысл «возвращения». Мао терпеливо объяснил, что в данном случае иероглиф «возвращение» означает презрение к смерти как форме возвращения к своему первосостоянию, то есть, пожалуй, исчезновению как материи. Сталин, будучи проницательным собеседником и внимательным слушателем, отметил не только бесстрашие, но и мудрость полководца.

Так беседовали два лидера двух гигантских стран. Их встреча была оценена везде как поистине историческая, знаменующая крупные перемены на глобальной шахматной доске мировой политики. У Сталина медленно отступало предубеждение — он долго не доверял Мао Цзэдуну. А. А. Епишев рассказывал мне, что среди высших руководителей ходили тогда слова, которые Сталин вначале отпустил в адрес китайского лидера: «маргариновый коммунист» (ненастоящий), «редиска» (сверху красный, а внутри белый) и так далее. Видимо, это сказала имевшаяся в то время информация о Мао: неприязнь в Яньани к китайским кадрам, учившимся в Москве, демонстративная безучастность китайского лидера во время критических ситуаций под Москвой и Сталинградом во время войчы и другие подсобные факты.

Но постепенно, по мере сближения Китая и СССР, усиления антиамериканской позиции Пекина, его роли в корейской войне, другие шаги и действия в общем направлении укрепления социалистического лагеря отношение Сталина к китайскому вождю менялось. Очевидно, и советский лидер произвел на Мао весьма сложное впечатление. Но одно несомненно: державность, величавое спокойствие, которое хорошо умел демонстрировать Сталин, абсолютная уверенность утвердили в сознании китайского руководителя силу и целеустремленность лидера партии и Советского государства. Подписание Договора 14 февраля 1950 года ослабило опасное воздействие холодных ветров, которые, казалось, все продували на поверхности всей планеты. Кульминация напряженности как раз пришлась на год скрепления уз дружбы двух великих народов официальным соглашением. Думаю, преемники Сталина (как и сам Мао) сделали далеко не все возможное, чтобы сохранить те отношения, которые начали складываться в пятидесятые годы. Одна из этих причин — специфическое, а порой и просто негативное отношение Мао к критике культа личности, XX съезду КПСС, всему, что с ним связано. Крепкое рукопожатие двух гигантов длилось тогда исторически недолго. Слава богу, сейчас лидеры двух стран вновь обменялись рукопожатиями.

Холодные ветры оведали страну не только на Западе, но и на Востоке. Нахождение сразу после войны американских и советских войск в Корее в условиях «холодной войны» предопределило создание разных политических структур как на севере, так и юге полуострова. После того как 10 мая 1948 года в Южной Корее состоялись выборы и были созданы законодательные и исполнительные органы, следом, 25 августа, прошли выборы и на севере. Фактически образовались два государства, искусственно разрезавшие единый, как и немецкий, народ надвое. После вывода советских войск из Северной Кореи то же сделали и американцы. Каждая из сторон считала, что большинство населения полуострова поддерживает его правительство.

К сожалению, какие-либо советские, китайские и корейские документы, кроме тех, что публиковались тогда в газетах, неизвестны общественности. Но ясно, что конфликт начался из-за стремления каждой из сторон обеспечить свое господство над всей территорией Кореи. Мне удалось установить из ряда косвенных источников, что Сталин очень настороженно относился к обострению ситуации на полуострове. С самого начала он делал все возможное, чтобы избежать прямой конфронтации СССР с США. Мао был настроен в этом вопросе решительнее. Ясно одно, что во время нескольких встреч, которые состоялись у Сталина с Мао Цзэдуном в декабре 1949-го и феврале 1950 годов, они обсуждали проблемы Корейского полуострова. Но Сталин понимал, что американцы уже так далеко ушли от потсдамских соглашений по Корее, что какое-то единое государство безболезненно создать не удастся. Он так же подозрительно относился и к американской идее опеки над Кореей, как и к «свободным» выборам. Ведь в Южной Корее, где находились американские войска, проживало значительно большее количество населения. Линия по 38-й параллели в 1945 году была определена без какого-то политического обоснования, как временная демаркация между американскими и советскими войсками. В последующем, когда она стала государственной границей, выявилась ее географическая несправедливость, ибо она серьезно ущемляла северян.

Маятник войны резко качнулся несколько раз. Высокая напряженность на демаркационной линии непрерывно усиливалась. С началом боевых действий 25 июня 1950 года войска КНДР нанесли сильный удар, потом овладели Сеулом и вышли на реку Нактонган. Казалось, победа достигнута. Но для американцев это было бы страшным ударом. Они только что утратили свои позиции в Китае и не могли допустить, чтобы их вышвырнули еще из одной страны. В сентябре американские войска, заручившись поддержкой Совета Безопасности (советский представитель не участвовал в заседании и не смог применить право «вето»), под официальным «прикрытием» ООН организовали высадку крупного десанта в Инчоне и контрнаступление с Пусанского плацдарма. Удар был столь сильным, что американские и южнокорейские войска, не задерживаясь на линии 38-й параллели, заняли Пхеньян, а к концу октября оккупировали значительную часть КНДР. Теперь, наоборот, сложилась ситуация, когда казалось, что американцы добились своего, тем более что в ряде мест их войска вышли к границе КНР. Сталин, по имеющимся данным, был вынужден согласиться с предложением Мао Цзэдуна об оказании китайцами непосредственной помощи КНДР, хотя это вело к усилению опасности эскалации. Американцы прикрылись голубым флагом ООН, а китайцы обратились к «добровольчеству».

Надо сказать, что корейский конфликт укрепил доверие Сталина к Мао, а следовательно, и в целом отношения между СССР и КНР. После того, как около тридцати китайских дивизий стали выдвигаться из глубины, обстановка вновь резко изменилась. Китайские и северокорейские войска не только освободили территорию севернее 38-й параллели, но и продвинулись южнее до ста километров. Моральный дух американских войск и военный престиж США к середине лета 1951 года сильно заколебались. Сталин почувствовал, что наступил самый ответственный и опасный момент. Американцы не вынесут поражения и могут схватиться за последний, ядерный, аргумент. Пожалуй, это была самая близкая черта к третьей мировой войне, к которой сползало человечество после

1945 года. Американский генерал Макартур стал настойчиво требовать бомбардировки Маньчжурии; Трумэн дал понять, что не исключено применение ядерного оружия. Дули уже не холодные ветры, а полярные ураганы. Ни Сталин, ни Мао не могли уже сами допустить поражения американцев. Наступили долгие два года переговоров, во время которых ожесточенные бои на Корейском полуострове не прекращались.

Американская авиация господствовала в воздухе, на земле — китайские добровольцы. Во время одного из донесений Генштаба Сталин заинтересовался такой новинкой из области военного искусства: китайцы и северокорейцы, не будучи прикрытыми с воздуха, нашли оригинальный выход, создавая огромные галерейные боевые сооружения под землей, куда укрывались взводы, роты, батальоны и даже полки. Война была долгой, жестокой, изнурительной. Переговоры тоже были затяжными, мучительными, но Сталин понимал, что у обеих сторон нет иного выхода, как пойти на компромисс. В противном случае на смену ледяным ветрам могут прийти ядерные смерчи. Он здесь не ошибался. Но окончательное соглашение было достигнуто лишь через несколько месяцев после его смерти, в июле 1953 года.

Для меня при анализе роли Сталина в корейской войне, которая была во многих отношениях сильно закамуфлирована, важен вывод, не связанный, казалось бы, прямо с конкретными национальными интересами воюющих сторон. Думаю, эта война впервые показала, что в современном мире, разрезанном пока на блоки, когда жестко сталкиваются интересы Запада и Востока, неизбежна патовая ситуация. Первый пат обе стороны получили именно в Корее, как и второй — во время Карибского кризиса. Но тогда, во второй раз, мудрость проявила себя быстрее. Успел Сталин или нет осмыслить корейские уроки, сказать трудно. Ясно лишь, что в Америке это осознают, пожалуй, позднее. Напалм, угроза ядерными бомбардировками, содержание войск за многие тысячи километров от Штатов, многолетнее непризнание Китая, авантюра во Вьетнаме показали, что ставка лишь на силу изживает свой век. Советский Союз это болезненно почувствует много позже, в результате афганской авантюры. После корейской войны мир увидел, что Америка не всеильна. В корейском конфликте Сталин был более осмотрительным — югославский холодный «душ» вернул ему традиционную осторожность. Может быть, его чему-то научило поражение в схватке с Тито, когда он очертя голову наделал кучу ошибок, цену которым не так легко установить и сегодня?

Апогей культа, совпавший с семидесятилетием вождя, причудливым образом был достигнут на волне личной славы и апологии насилия. Консервация системы сопровождалась ледяными ветрами как на просторах Отечества, так и за его пределами.

Негоже было Цезарю справлять триумф над несчастиями отечества...

Плутарх.

РЕЛИКТЫ ЦЕЗАРИЗМА

В обширном многотомном фонде «Переписка с товарищем Сталиным» переписки как таковой нет — вождю докладывают. Он реагирует, часто устно, иногда просто адресует донесения, сообщения Берии, Молотову, Маленкову, Вознесенскому, Хрущеву, кому-либо еще. В его «Переписке...» нет того, что мы могли бы отнести к эпистолярному жанру. Конечно, в наши дни телефон, телеграф, самолет, машина резко сократили значимость обычного письма, и мы утрачиваем что-то важное, человеческое. Перелистывая однажды сборник документов войны 1812 года, долго не мог оторваться от письма М. И. Кутузова своей жене.

«Августа 19-го 1812. При Гжатской пристани.

Я, слава богу, здоров, мой друг, и питаю много надежды. Дух в армии чрезвычайный, хороших генералов весьма много. Право, недосуг, мой друг. Боже благослови детей.

Верный друг Михайло (Голенищев)
Кутузов».

Прелестный, глубокого смысла лаконизм, полный силы и благородства. На такие письма способны люди, полные нравственного величия, которого у Сталина не было никогда. Для него человеческие отношения ограничивались рамками классовой борьбы и политики. Все его резолюции сухи, однообразны: согласен — не согласен. Сохранилось лишь несколько «личных» писем Сталина, которые, за исключением одного-двух к дочери, полностью лишены нравственного содержания. Огромное количество документов, ежедневно поступающих к нему, он быстро просматривал, направляя для решения конкретных вопросов исполнителям. В послевоенных резолюциях нельзя увидеть сомнения, размышления, колебания. Если они у него были, он их излагал устно своему помощнику или Молотову. «Железный» человек хотел таким же остаться и в истории.

Сталин, который эпизодически делал какие-то загадочные пометки в своей «черной тетради», не раз возвращался мыслью к созданию вместо «Краткой биографии» крупного, монументального труда о себе. Об этом свидетельствуют его указания по «инвентаризации» архивов, отрывочные размышления вслух в присутствии А. А. Жданова, Н. А. Булганина, А. Н. Поскребышева, неоднократные обращения к Г. Ф. Александрову, М. Б. Митину, П. Н. Поспелову (одним из создателей его официальной биографии) по вопросам партийной историографии, освещения «роли учеников Ленина». В прошлое его нередко возвращало настоящее. С годами он все чаще мысленно уносился к подножию века, к борьбе после революции, именам, лицам тех, чьей судьбой он распорядился сам. Порой о прошлом напоминали ему и люди, родственники бывших его соратников. Иногда Берия после очередного доклада о своих делах доставал списки родственников известных деятелей партии, расстрелянных как «враги народа» или осужденных на беспросветность лагерей, обратившихся с письмами лично к нему, вождю. Сталин молча пробежал списки и обычно, не говоря ни слова, возвращал подручному. Тот понимающе смотрел на вожда, убирал бумаги в папку и уходил. «Пусть несут свой крест», — думал диктатор. Его совсем не устраивала перспектива, когда сотни, тысячи жен, детей, племянников, внуков его товарищей по партии вернутся в Москву, Ленинград, другие города. Сколько новых забот властям, органам! Нет, пусть будет так, как решил НКВД.

Правда, иногда он все же спрашивал о некоторых:

— А ей что нужно? Тоже просит освобождения? — С укоризной смотрел на Берию.

Тот с готовностью доставал из папки перепечатанное на машинке письмо человека, фамилия которого его заинтересовала.

В прошлый раз это было письмо от родственницы Феликса Эдмундовича Дзержинского, Ядвиги Иосифовны, проживающей по Потаповскому переулку, 9/11, кв. 21. Просительница хлопотала о своей матери Дзержинской Ядвиге Генриховне, которая была осуждена Особым совещанием и находилась уже много лет в карагандинских лагерях. Дочь пишет, что «мама очень больна, у нее туберкулез легких, цинга и бруцеллез. Она находится в очень тяжелом положении».

В этот момент Сталин вспомнил те далекие годы, когда они по заданию Ленина вместе с Дзержинским ездили в Петроград организовывать отпор Юденичу, а затем — на Восточный фронт, под Вятку. О, боже, как давно все это было! И образ самого Дзержинского уже давно стерся в памяти. Но почему у таких людей сомнительные родственники, ущербные дети, внуки? А потом, при чем здесь какая-то Ядвига Генриховна? Нет, пусть этими вопросами занимается Берия. Личность Сталина была лишена элементарного человеческого сострадания. Но, пожелуй, наиболее ущербным в ней было то, что вождь ни

когда не умел и не хотел хотя бы мысленно ставить себя на место жертвы, судьба которой зависела от его воли. Холод — самая страшная болезнь души — навсегда «выморозил» в нем общечеловеческие чувства. Вглядываясь в очередной список, диктатор удивлялся: как много еще живых из тех, кого давно не должно быть на этой земле!

— Эта тоже о ком-то просит? — разговаривая как бы с самим собой, негромко произнес Сталин, ткнув пальцем в фамилию Радек.

— Нет, это его дочь, хлопчет о себе, — пояснил сталинский Инквизитор.

«Я, Радек Софья Карловна, 1919 года рождения, пишу Вам это письмо и прошу Вас оказать моему письму внимание», — прочел Сталин. Опять вспомнил, что, пожалуй, никто не писал о нем так возвышенно, как Радек. Хорошее было у него перо. Например, здорово он сказал о нем как вожде: «Годы Октябрьской революции видели Сталина не только в штабе революции, но чаще в передовой боевой линии. Когда Москве угрожает петля голода, он добывает хлеб; когда кольцо враждебных сил угрожает сомкнуться в Царицыне, он там организует отпор; когда опасность угрожает Петрограду, он там проверяет бастионы. Он видит революцию не через сообщения, он смотрит ей прямо в лицо, он видит ее величайшие взлеты, и он видит ее дно. И в этом один на один завершается окончательное развитие Сталина как вождя революции».

Тогда вождю эти слова очень понравились, но он посадил Радека на скамью подсудимых вместе с Пятаковым прежде всего потому, что подозревал его в устойчивых симпатиях к Троцкому. Ведь доложили же ему, что Радек писал ссыльному «выдающемуся вождю» и в Алма-Ату. Так же, как и тот ему. Хотя и старался вновь обрести доверие. Вон даже письмо от Троцкого, которое привез ему Блюмкин, отдал тогда, не распечатывая, Ягоде. Но ведь писал письмо изгнанник не кому-нибудь, а Радеку... Нет, троцкистом был, троцкистом и остался. Правда он, вождь, когда утверждал проект приговора, доложенный ему Ульрихом, заменил Радеку расстрел на лагеря. Позже ему сказали, что тот вскоре там скончался. Так о чем же пишет дочь Радека?

«Мой отец Радек Карл Бернгардович как враг народа был осужден 30 января 1937 года к 10 годам тюремного заключения. Полгода спустя я и моя мать — Радек Р. М. были высланы в г. Астрахань, решением Особого Совещания на пять лет. В Астрахани моя мать была арестована и выслана на 8 лет в темниковский лагеря, где и умерла... В ноябре 1941 года меня выслали из Астрахани с отметкой: «Имеет право проживать только в Казахстане». Излишне описывать все мытарства, которые мне пришлось пережить. Срок моей ссылки кончился в июне 1942 года... Ведь я тоже человек; если я дочь врага народа, то разве это значит, что я тоже враг? Когда в 1936 году моего отца арестовали, мне было 17 лет, и вот с 17 лет я хожу с клеймом «врага». Я грамотный человек, но в Челкаре нет работы по специальности. До сегодняшнего дня я не имею паспорта. Нач. НКВД г. Челкара тов. Иванов на мой запрос никакого ответа не дает. Помогите мне искупить вину своего отца!».

«Вот это разговор», — подумал Сталин. Не прошли бесследно ссылки, высылки, кое-что стала понимать. Вот именно — все эти «родственнички» должны сидеть до тех пор, пока не поймут, что они тоже виноваты. А затем пусть вину эту искупают! Но пусть со всем этим разбирается человек, который не сводит с него сейчас своих маленьких глаз...

Такие письма возвращали его в прошлое. Как и сегодняшняя статья «Выдающийся документ большевизма» в «Правде», посвященная очередной годовщине его выступления на февральско-мартовском Пленуме ЦК ВКП(б) в 1937 году. Пожалуй, Н. Михайлов, подписавший статью, верно отмечает, что тогда он «мобилизовал партию и советский народ на полное уничтожение агентуры иностранных империалистических разведок. Это привело к дальнейшему укреплению Советского государства». Но с высоты прожитых лет он хотел смотреть не в глаза теней ушедших навсегда людей, что были с ним когда-то рядом, а на то, что он создал.

Менее чем за три десятилетия под его руководством возникло могучее го-

сударство, с которым теперь вынуждены все в мире считаться. Разве это не так? Однако между результатом и процессом часто возникает несоответствие. Почему так много недовольных? Почему ни одно крупное дело не трогаются с места, пока он не даст команду? Почему не сокращается количество врагов, изменников и предателей? Вот на днях ему пришлось утвердить ходатайство министра внутренних дел, с которым тот обратился к нему: «Численность состава особых лагерей установлена теперь в 180 тысяч человек. МВД просит разрешения увеличить емкость особых лагерей на 70 тыс. человек и довести ее до 250 тысяч». Ведь там должны сидеть особы е, неразоружающиеся враги. Что, число их растет? И вообще Берия говорит, что заявки наркоматов на рабочую силу из числа спецконтингента столь велики, что, несмотря на его рост, удовлетворить эти просьбы не представляется возможным. Сколько миллионов людей пропустили через лагерь, а подозрительных людей не уменьшается? Вон на Западе, уже несколько раз встречал в переводах книг и статей, которые ему докладывали, бытует мнение, что, мол, общество, которое он создал, — «тоталитарное». Пишут также, что он «отец» нового явления в общественной жизни и политике — сталинизма. Вначале не придавал этому особого значения. Он, пожалуй, и сам считал, что пора говорить о «марксизме-ленинизме-сталинизме», но вообще-то сейчас подобное ни к чему. Время придет. А враги... На то они и враги, чтобы поносить все, созданное им в течение всей жизни. Л. Троцкий, Р. Гильфердинг, А. Розенберг, Р. Абрамович утверждали, что сталинизм есть «измена большевизму». К. Каутский незадолго до своей смерти вообще договорился до того, что в России «появились еще более сильные и жестокие хозяева, а перед пролетариатом на его пути к социализму возникли еще большие препятствия, чем те, которые существуют в развитых капиталистических странах с укоренившейся демократией». Что можно ждать от таких людей? Они и Ленина не щадили.

Подобные размышления могли приходиться к Сталину, но выпады советологов его мало волновали. Он всю свою жизнь молился только борьбе, только ей. И в новых «выдумках» буржуазных апологетов ему слышится лишь отзвук этой вечной борьбы, их страх и злоба. Вот и «Правда», посвятив недавно большую статью последнему изданию Британской и Американской энциклопедий под заголовком «Энциклопедии мракобесия и реакции», верно пишет, что в статьях «о социализме и коммунизме клеветнически утверждается, что при коммунизме нет заботы о счастье людей». А что они могут писать еще? Это те же писакки, которые невесть что пишут и о «сталинизме». Вождь не знал, что в стране, где он считался земным богом, придет время, когда люди тоже зададутся вопросом: что такое сталинизм и какова его природа?

Аномалия истории

Не скрою, что когда я начинал собирать материал для этой книги, то мне казалось, что все, созданное народом, — это одно, а Сталин с его преступлениями — другое. История сразу же становилась проще, понятней, доступнее. Но по мере погружения в прошлое — разбор многочисленных архивных дел, беседы с участниками и очевидцами минувших событий, размышления о достигнутом — становилось ясно, насколько все значительно сложнее. Заманчиво также осудить не одного Сталина, но и его окружение, со всей созданной ими бюрократической прослойкой, как говорил Каутский, «новым классом», — и тоже все становилось ясно, и многое в этом верно. Но также многое и неверно. Мы порой забываем, что Сталин и все связанное с ним родилось в значительной мере на марксистской почве. Сталин не «перебежал» в ВКП(б) из другой партии, не совершил буквально, как иногда сейчас говорят, «государственный переворот» и создал сталинский социализм. Он все время клялся, ссылался на Маркса, Энгельса, Ленина. И вся партия ему вторила.

С поразительной проницательностью Ленин писал, что ценность теории Маркса в ее критичности и революционности. «И это последнее качество действительно присуще марксизму всецело и безусловно, потому что эта теория

прямо ставит своей задачей вскрыть все формы антагонизма и эксплуатации в современном обществе, проследить их эволюцию, доказать их преходящий характер». Да, именно преходящий характер. Почему-то многие марксисты решили, что это относится лишь к эксплуататорскому обществу. «Преходящий характер» разрешения противоречий становления нового общества имел многовариантный спектр этих путей. Сталин с помощью партии все более отходил в сторону от ленинской концепции. Когда наиболее светлые умы в партии это поняли, было уже поздно. Бюрократическая система имеет одну особенность: она очень быстро формируется и страшно жизнестойчива.

Одна из главных бед всего социалистического развития как раз и заключается в том, что, воспевая диалектику на словах, мы часто лишь «кокетничали» с ней, абсолютизируя одновременно многие выводы, формулы, предсказания теории научного социализма. А ведь сами основоположники марксизма предостерегали против этого. В одном из писем к Энгельсу Маркс утверждал, что политическую экономии в подлинную науку можно превратить «только в том случае, если вместо противоречащих друг другу догм рассматривать противоречащие друг другу факты и действительные противоречия, являющиеся скрытой подоплекой этих догм».

В канун Октября, когда Ленин скрывался от ищеек Временного правительства, он написал знаменательные строки (возможно, в это время у него был Сталин, ведь он приезжал к нему в тот период), касающиеся развития будущего коммунизма: «Он происходит из капитализма, исторически развивается из капитализма, является результатом действий такой общественной силы, которая рождена капитализмом. У Маркса нет ни тени попыток сочинять утопии, по-пустому гадать насчет того, чего знать нельзя». Зачем я повторяю эти известные истины? А дело в том, что после смерти Ленина от них быстро отступили. Марксизм стал использоваться выборочно и, самое главное, не творчески.

Ни Маркс, ни Энгельс не могли предвосхитить не только детали, но и крупные блоки конструкции будущего сооружения. Однако с самого начала многие догматы прошлого просто принимались на веру. В двадцатые годы вожди часто говорили: «Рабочий класс не может ошибаться»; «Партия не может ошибаться», а ведь ошибались. Мы все согласны с тем, что в теории научного социализма Сталин ничего «не выдумал», нигде не продвинулся ни на йоту в позитивном смысле. Он опирался на марксистские схемы, часто полувековой давности, без диалектического, творческого их осмысления. По их сути, по характеру применения и реализации этих схем очень у немногих возникали принципиальные возражения. Сталин держался за букву марксизма. Вот, например, громя Бухарина в апреле 1929 года на Пленуме ЦК ВКП(б), он заявлял: «Ленинизм безусловно стоит за прочный союз с основными массами крестьянства, за союз с середняками, но не за всякий союз, а за такой союз с середняками, который обеспечивает руководящую роль рабочего класса, укрепляет диктатуру пролетариата и облегчает дело уничтожения классов.— И дальше цитирует Ленина:— Что это значит — руководить крестьянством? Это значит, во-первых, вести линию на уничтожение классов, а не на мелкого производителя. Если бы мы с этой линии, коренной и основной, сбились, тогда мы перестали бы быть социалистами».

Как видим, по форме Сталин держался за букву и громил тех, кто осмеливался отойти от нее. Поэтому, утверждая социализм, прежде всего превратил рассуждения, полемику, предположения классиков в догму, а затем и эту застывшую догму извратил в угоду цезаризму. Вот почему, видимо, вернее, не стесняясь, сказать, что сталинизм вырос на марксистской почве, питался его искаженными постулатами и выводами. Из этого не следует, что марксизм виновен в сталинизме. Марксизм как мировоззренческая и методологическая концепция философских, экономических и социально-политических взглядов на общество, природу и мышление не отвечает за то, как его интерпретируют. Марксизм не сборник рецептов, как в кулинарной книге, и это не план политических действий. Но именно так понимал марксизм Сталин.

Подводя в январе 1933 года итоги первой пятилетки и касаясь результатов «в области борьбы с остатками враждебных классов», Сталин так интерпретировал один марксистский тезис: «Некоторые товарищи поняли тезис об уничтожении классов, создании бесклассового общества и отмирании государства, как оправдание лени и благодушия, оправдание контрреволюционной теории потухания классовой борьбы и ослабления государственной власти. Нечего и говорить, что такие люди не могут иметь ничего общего с нашей партией. Это — перерожденцы либо двурушники, которых надо гнать вон из партии. Уничтожение классов достигается не путем потухания классовой борьбы, а путем ее усиления». Абсолютная безапелляционность, механистичность, примитивизм понимания марксистского тезиса были предвестником грядущих новых бед. Но эти беды Сталин выдаст за победу и освятит марксистским знаменем. Абсолютизовав фундаментальное положение марксизма о классовой борьбе, Сталин пришел к той модели социальных отношений, которые мы сегодня решительно осуждаем. Нельзя не сказать, что на каком-то этапе, еще задолго до Сталина, в пропаганде марксизма возникла тенденция абсолютизировать многое из того, что было сказано великими мыслителями. Сталин был одним из тех, кто унаследовал и настойчиво развивал эту традицию.

Все сказанное отнюдь не имеет целью что-то оправдать в Сталине и сталинизме. Нет, конечно. Но появившиеся многочисленные публикации последних лет часто все деформации, все ошибки и преступления связывают только с одним человеком. Если бы все это было так, то мы бы давно уже освободились от сталинизма. Сталин умер, а сталинизм еще жив. Идут десятилетия, а он еще политически жив, хотя часто кажется, что сталинизм давно умер. Мне представляется, что эта политическая практика исторически стала одной из возможностей (предельно негативной) реализации тех идей, которые были изложены в марксистской доктрине. Извечное стремление людей к свободе, счастью, равенству, справедливости чрезвычайно привлекательно было выражено в марксизме. Часто его последователям начинало казаться, что сама попытка творческой интерпретации постулатов марксизма — уже ересь, отступничество, ревизионизм. Постепенно сложилось так, что любой, отличный от сложившегося в марксизме взгляд стал считаться глубоко враждебным. Марксизм на каком-то этапе в известной мере приобрел характер политической доктрины, которая старалась не столько приспособиться к меняющимся условиям, сколько приспособить условия к своим выводам. Пока был жив Ленин, и об этом особенно говорят его последние работы, он стремился повернуть мысль и дела большевиков к действительности, сложным реалиям бытия, клубку противоречий, которые росли в огромной крестьянской стране. Трагедия русской революции заключается в том, что его, Ленина, окружение, будучи высоким по своему интеллектуальному уровню, все равно было на порядок-другой ниже интеллекта гения. Поэтому тенденция канонизации марксизма после смерти вождя революции заметно ускорилась. У руля партии и государства волею обстоятельств, о которых мы говорили раньше, как раз оказался такой человек, кто больше других подходил к механическому следованию марксистской доктрине.

Сталинизм максимально использовал увлечение русских революционеров радикализмом, когда во имя идеи считалось оправданным приносить в жертву все: историю, культуру, традиции, жизни людей. Обожествление застывшего идеала в конечном счете обернулось пренебрежением потребностями конкретных людей конкретного времени. Русский радикализм одевался в тогу революционного романтизма, пренебрегая мещанским благополучием и буржуазной культурой. Для этих взглядов такая личность, как Сталин, подходила лучше всего: во имя торжества идеи допустимо все! И никто никогда не говорил, что это глубоко антигуманная мысль, социальный грех перед народом! А в этом отношении сильно смыкаются, например, такие личностные антиподы, как Сталин и Троцкий. Диктатор активную работу в собственной стране увязывал с делом «победы социализма во всех странах». Троцкий, находясь совсем в ином положении, смертельно враждуя со своим главным оппонентом, провозглашал: «За социализм!

За мировую революцию! Против Сталина!» Радикализм при внешней политической противоположности двух «выдающихся вождей» имеет истоком русскую почву преклонения перед идеей в ущерб реалиям действительности. Радикализм не приемлет исторического равновесия, баланса идей и бытия. Главное — «обогнать», «опрокинуть», «разрушить», «сокрушить», «сломать», «разоблачить», «пригвоздить»... Революционный радикализм, на котором паразитировал Сталин, с методической очевидностью создавал новую псевдокультуру, в которой главное место было отведено его идеям. Без этого замечания, как мне кажется, анализ сталинизма как аномалии истории будет неполным.

Пожалуй, следует напомнить один аспект той борьбы, которая сопровождала революционное развитие в канун Октября и позже. Отнюдь не пытаюсь обелить меньшевиков, которые хотя и считали себя рабочей партией, но в значительной степени несли на себе печать мелкобуржуазного реформизма, нельзя не видеть, что они достаточно настойчиво выступали против догматических, радикальных доктринерских начал, которые изнутри дегуманизировали и обессиливали марксизм. Меншевизм оказался в конечном счете бесплодным в политическом смысле, и это блестяще показал В. И. Ленин, но меньшевистская критика Сталина помогает понять некоторые стороны этого феномена.

Меньшевистское руководство за рубежом (Мартов, Абрамович, Дан, Николаевский, Долин, Шварц, Югов) долгое время пыталось вести борьбу как бы на два фронта: защищать идеалы революции в России и одновременно критиковать ее перерождение. До 1965 года меньшевики имели свой печатный орган «Социалистический вестник». Наиболее влиятельными в руководстве (оно называлось «Заграничная делегация») были все более тяготевший к СССР Ф. И. Дан, умерший в 1947 году, Р. А. Абрамович, скончавшийся в 1963 году, до конца придерживавшийся устойчивых антисоветских взглядов. После смерти В. И. Ленина основные стрелы критики, которые посылали руководители быстро тающих группок меньшевиков, были направлены против «антидемократизма методов Сталина». Обреченные на жизнь вдали от Родины, наиболее пронизательные из них ясно видели, что Сталин пошел в сторону от Ленина. Меншевики, например, одобряя нэп, высказывали интересную мысль: новая линия в экономике должна сопровождаться серьезным обновлением и в политике, тогда бонапартистские тенденции в СССР могут не развиваться. Корень нараставших цезаристских тенденций меньшевики видели в том, что партия большевиков, имеющая «рабочее происхождение», все больше превращалась в орудие узкой группки людей. Усиление роли одной личности, по их мнению, грозило перерождением. Только партия, допускающая плюрализм мнений, считал Абрамович, могла бы быть гарантом развития демократии. Нельзя не согласиться с этими трезвыми рассуждениями.

Как меньшевики оценивали Сталина? В спектре двух возможностей негативного развития в СССР — контрреволюции и лжереволуции. Сталин, осознавая это или нет, считали эмигранты, повел по второму пути. Суть сталинизма, как утверждали меньшевики, заключается в отказе от тех традиций, которые были заложены в социал-демократизме. Но меншевизм после революции не был единой политической и идеологической силой, его влияние все больше сходило на нет. Со временем Ф. И. Дан, долгое время бывший бесспорным лидером меншевизма, порвал с ним, стал издавать журнал «Новый мир», надеясь, что после победы над фашизмом Советский Союз сможет трансформироваться к полным принципам социализма. В своей большой книге о происхождении большевизма, которую Ф. И. Дан написал незадолго до своей смерти, он пронизательно утверждал, что трагедия России заключается в том, что Сталин оказался неспособным соединить социализм и демократию. Это — «клеймо сталинизма». Но Дан выразил оптимистичную мысль, что большевизм не начинается и не заканчивается на Сталине: социализм достоин свободы, и он принесет ее людям. Заканчивая жизнь на задворках русской истории, эти люди, лично знавшие Ленина, непосредственно видевшие русскую революцию, своих соперников — большевиков, их взлеты и падения, были способны, правда, как сторонние на-

блюдатели, трезво судить о сталинизме. Некоторые их идеи и оценки при историческом анализе заслуживают серьезного внимания.

Все многочисленные «опозиции», «фракции», «уклоны», появившиеся после победы Великой Октябрьской социалистической революции, при все том, что они часто несли немало сомнительного и ошибочного, тем не менее были одной из обычных форм выдвижения социальных альтернатив. Возможно, мои утверждения ортодоксально мыслящим людям вновь покажутся ересью, однако представляется, что ликвидация революционного плюрализма обеднила социальный поток исторического обновления. Думаю, например, что меньшевики-интернационалисты с их лидерами Л. Мартовым, О. Ерманским, Ю. Лариным, И. Астровым и другими не были врагами революции. Точно так же, как и левые эсеры, оформившиеся в партию в конце 1917 года. Не здесь ли лежит один из основных истоков догматических и цезаристских монолитов, признававших лишь одно мнение, одну волю, единственную истину? Сколько идей о демократии, нэпе, крестьянстве, торговле, государственному и партийному строительству оказались нереализованными в результате приверженности партийного большинства строго ортодоксальной линии! Все многоцветье действительности вгонялось в черно-белое видение единственно усвоенной моносхемы!

А ведь вначале как будто дело и шло к революционному плюрализму. Познакомьтесь с выпиской из Протокола Совнаркома № 23 от 9 декабря 1917 года:

«Председательствует Вл. Ильич Ленин. Присутствуют: Троцкий, Луначарский, Елизаров, Глебов., Раскольников, Менжинский, Урицкий, Сталин, Бонч-Бруевич, Боголепов.

Слушали: вопрос о вхождении с. р. (эсеров) в министерства (так в тексте, хотя речь идет о народных комиссариатах. — Д. В.).

Постановили: Предложить с. р. войти в состав правительства на следующих условиях:

а) Народные комиссары в своей деятельности проводят общую политику Совета народных комиссаров;

б) Народным комиссаром юстиции назначается Штейнберг. Декрет о суде не подлежит отмене;

в) Народным комиссаром по городскому и земскому самоуправлению назначается Трутовский. В своей деятельности он проводит принцип полноты власти как в центре, так и на местах;

г) т. т. Алгасов и Михайлов (Карелин) входят в Совет народных комиссаров как министры без портфелей. Практически работают как члены коллегии по внутренним делам...»

Назначили еще наркочленами эсеров Прошьяна, Коллегаева, Измайлова. Затем перешли к следующим вопросам, а Свердлов в это время вел переговоры с левыми эсерами. Уже ночью в качестве одиннадцатого пункта протокола Заседания Совнаркома записали:

«Опубликовать следующее: в ночь с 9-го на 10 декабря достигнуто полное соглашение о составе правительства между большевиками и левыми эсерами. В состав правительства входят семь с. р.». Под протоколом подписи: Вл. Ульянов (Ленин), Н. Горбунов. Ведь всем тогда было ясно, что и большевики, и левые эсеры находятся в общем революционном русле движения. Сама практика преобразований нуждалась в социалистическом плюрализме, который, едва возникнув, вскоре был безжалостно ликвидирован.

Сталин оказался подходящим лицом для этого силового, одномерного вектора развития. Мы знаем, что были и другие варианты, но настоящей борьбы, которая давала бы реальные шансы другому вектору, не было. Многие бухаринские идеи, например, весьма привлекательны, хотя от большинства из них он позже был вынужден не по своей воле отказаться. Этим я отнюдь не утверждаю, что Сталин и сталинизм были запрограммированы, нет и еще раз нет. Хочу лишь подчеркнуть: сталинизм, и это очень важно, родился в условиях дог-

матизации марксизма, абсолютизации многих выводов, которые были сделаны еще в середине XIX века, отсутствии шансов для других революционных альтернатив.

Пока партия была не у власти, это не грозило большими социальными опасностями. Когда же она стала правящей, то материализация канонизированных положений обернулась бедой. Сталин на основе этой монополии пошел дальше: он извратил многие принципы научного социализма, что во многих областях привело к социальному перерождению. Еще раз подчеркнем: сталинизм есть извращенная теория и практика социализма, боготворящая силу и насилие как универсальное средство реализации политических и социальных целей. Сталинизм — это одномерное видение мира, одобряющее использование любых радикальных средств для достижения выдвинутых целей, которые в конце концов оказываются деформированными. Сталинизм породил глубокие противоречия между экономическим базисом и политической надстройкой, народом и бюрократией, подлинной культурой и ее суррогатами, социалистическими идеалами и их реализацией. Сталинизм выражает не только процессы деформации народовластия, но и, о чем мы уже говорили, его перерождение в особую разновидность цезаризма. Это историческая аномалия социализма.

Можно, пожалуй, сказать, что каждой революции без исключения угрожает «термидор». Он может быть в разных формах: реставрации старого состояния, частичной деформации, постепенного вырождения. Сталинизм явился формой термидора через перерождение и извращение народовластия в диктатуру одной господствующей личности.

Эта извращенность теории и практики в наиболее полной форме проявляется в отчуждении. Раньше мы полагали, что отчуждение возможно лишь в капиталистическом обществе. Думаю, что это не так. В «Экономическо-философских рукописях 1844 года» Маркс выделяет такие стороны, которые характеризуют отчуждение: потеря права распоряжаться собственной деятельностью; отчуждение продуктов труда от производителя; отчуждение от достойных условий существования; взаимootчуждение; утрата людьми своей социальной содержательности. По сути и сталинизм означает отчуждение человека от власти, лишение участия в управлении государством, производством, другими общественными процессами. Сталинизм, таким образом, есть прежде всего диктаторская форма отчуждения людей труда от права распоряжаться собой и государственным управлением. Если для капиталистического общества, как считали основоположники марксизма, отчуждение является естественным, то для социализма, который и совершает революцию, чтобы ликвидировать многие формы отчуждения, это предстает как аномалия.

Утверждение сталинизма как явления прошло несколько ступеней. Одна, малозаметная — «глухота» ленинского окружения в отношении его «Завещания». Пожалуй, тогда впервые Сталин почувствовал, что Олимп власти для него не мираж, а реальность. Вторая ступень связана с периодом между 1925 и 1929 годами. Стабилизация капитализма после ослабления революционных потрясений на Западе совпала с началом зарождения бюрократических структур и устранением основного соперника Сталина у себя дома. Еще одна ступень — коллективизация и ликвидация умеренной линии в ЦК. Уже на этой ступени сталинизм, применивший массовое насилие, одержал окончательный верх над возможными альтернативами развития. На следующую ступень мягкие сапоги Сталина ступили в 1934 году (XVII съезд), уже для «коронации» его как единственного вождя. Далее сталинизм лишь затвердевал в своей бетонной ортодоксальности. Лишь война несколько ослабила его хватку по причине смертельной угрозы не только сталинизму, но и самому Сталину.

Кардинальные реформы сталинизма допустить не может. Постепенно застывает политическая система, социальные отношения, сама мысль. Подчеркну: сталинизм есть специфическая форма отчуждения человека труда от власти, которую тот добыл себе в революции, со всеми сопутствующими этому явлению

тяжелыми последствиями в политической, экономической, социальной и духовной сферах. Это поистине «большая тень» социализма, его лжемодель.

Определяя сталинизм, можно, пожалуй, назвать ряд характеризующих его черт. Одна из них — безальтернативность развития. Весь широкий спектр революционных рецептов после 1917 года постепенно безжалостно сужался. Часто выбор между двумя или несколькими вариантами делала не сама жизнь, а кабинетная деятельность. Сталин был здесь непревзойденным специалистом. Он всегда знал, что хорошо и что плохо, что является революционным, а что контрреволюционным. Методологический ключ разрешения проблем был прост: все, что не совпадает с его взглядами, установками, целями, естественно, объявлялось антиленинским, враждебным. Со временем это станет государственным правилом. Сталин, решая вопросы, обычно всерьез не рассматривал различные альтернативы, за исключением тех, которые он предлагал сам. И опять же, естественно, все, что не соответствовало им, объявлялось ненаучным, несоциалистическим, враждебным, реакционным. Однажды избранный им стиль директивного управления мог только совершенствоваться, но отнюдь не пересматриваться или заменяться. Думаю, то, что мы сегодня вкладываем в понятие «плюрализм», привело бы его просто в бешенство, квалифицировалось бы как настоящая измена революционному делу.

Все, что свершалось им, Сталиным, представлялось как выражение объективной закономерности. Даже теоретические акции вписывались в эту схему. Например, когда в журнале «Пролетарская революция» была помещена статья Слуцкого «Большевики о германской социал-демократии в период ее предвоенного кризиса», Сталин разразился гневной статьей. Редакция журнала хотела лишь рассмотреть историю взаимоотношений большевиков с II Интернационалом, контактов компартий с социал-демократией. Вопрос, который не утратил своей актуальности и сегодня. Однако Сталин усмотрел в этом факте попытку пересмотра взглядов большевиков на центризм, оппортунизм вообще. В своем обычном стиле Сталин, попутно наклеив ярлыки на Розу Люксембург, Вологовича, некоторых других, устроил разнос, широко используя такие «аргументы», как «галиматья», «пошлые и мещанские эпитеты», «убожество», «троцкистские контрабандисты». Даже робкая попытка увидеть частные альтернативы была тут же пресечена.

Когда Сталин после XIII съезда партии уцелел на посту генсека, у него быстро начала созревать его основная установка на власть: никаких альтернатив! Ни политических, ни общественных, ни личных. Особенно личных! В конце концов он покончил не только с Троцким, но и со всем ленинским окружением. Когда после войны Берия стал нашептывать Сталину, что после смерти вождя А. А. Кузнецов претендует на пост генсека, а Н. А. Вознесенский — на должность Предсовмина, реакция была однозначной. Сталин, не будучи глупым человеком, понимал, что самая реальная альтернатива ему может быть в лице ЦК, Политбюро как коллективного разума партии. Путем политических манипуляций, интриг, урезания прав выборного органа Сталин превратил ЦК в послушный совет подкакивателей, который он собирал все реже и реже. От имени ЦК действовал его аппарат — партийная канцелярия бюрократов. Какие-либо альтернативы сталинской власти при жизни единодержца были исключены.

Сталинизм стал своеобразной светской религией. В нее можно и нужно было лишь верить, соглашаться с ней, комментировать постулаты, выдвигаемые Сталиным. А для этого надо было смотреть и на партию как на священный орден, где господствует одно лицо. С начала тридцатых годов не удалось обнаружить и малейших следов публичного несогласия со сталинскими догматами. Чтобы их не было, еще в 1927 году ЦИК СССР была принята Первая глава Свода Законов, в которой была изложена знаменитая пятьдесят восьмая статья с ее восемнадцатую «модификациями». Не вызывает сомнения, что государство должно охранять свои интересы. Но когда инакомыслие фактически расценивалось как антисоветская «пропаганда или агитация» и каралось самым суровым образом, то нетрудно убедиться, что идеология сталинизма становилась для лю-

дей и способом адаптации и выживания. хотя часто и они не помогали, если меч беззакония был уже занесен над человеком. Все должны были безоговорочно верить в сталинскую теорию, призывы, выводы, оценки. Манипуляция общественным сознанием привела к тому, что миллионы людей верили всему, что говорил вождь, или должны были делать вид, что верят. А он очень часто говорил совсем не то, что было на самом деле.

Выступая с докладом на объединенном Пленуме ЦК и ЦКК 7 января 1933 года «Об итогах первой пятилетки», по многим показателям желаемое он выдавал за действительность. Например, говоря о том, что пятилетка в области сельского хозяйства выполнена за четыре года, ни словом не упомянул о страшном голоде, унесшем огромное количество жизней, свел перевыполнение плана лишь к тому, что создано более 200 тысяч колхозов и пять тысяч совхозов (здесь пятилетка «перевыполнена» в три раза!). Мол, «партия добилась того, что кулачество, как класс, разгромлено, хотя и не добито еще». И во все это верили, считали, что так нужно, что это высшая истина марксизма! Хотя в действительности это было его профанацией.

Сталинизм как извращенная теория и практика отныне разрешал лишь «революции сверху», все реформы лишь как плод разума «высшего политического руководства». Существовал колоссальный разрыв между подлинной социальной активностью и ее имитацией. Отныне эта активность стала полностью организовываться: утверждалось, какие здравницы выкрикивать на всесоюзном форуме комсомола и профсоюзов; какой почин и где выдвигать; кому и с какой речью выступить на предвыборном собрании; какие портреты в каком количестве должны быть в колонне демонстрантов; сколько послать «добровольцев» от района на «ударную стройку», когда и о чем рапортовать... Люди постепенно привыкали, что за них думали обо всем. Им же предписывалось лишь «одобрять», «аплодировать», «поддерживать». Конечно, элементы организации многими процессами, видимо, будут нужны всегда, но они должны идти рука об руку с гражданской активностью, социальной ответственностью, подлинной инициативой, способностью к общественному творчеству.

Организаторы рапортов стали считать нормальным, когда и заключенные докладывали вождю о своих успехах. Например, 3 января 1952 года министр внутренних дел С. Круглов сообщает И. В. Сталину, что «исправительно-трудowymi лагерями лесной промышленности МВД СССР выполнены задания правительства по заготовке, выработке и поставке народному хозяйству лесоматериалов». Такие же доклады вождю за подписью министра следуют и о добыче цветных и редких металлов с приложением «рапортов тружеников» тюремных предприятий. Даже ГУЛаг регулярно докладывает Сталину о «высоком политическом и трудовом подъеме!» Сталинизм все организует, ранжирует, все предусматривает и все сверху.

Нельзя не сказать и о том, что сталинизму как явлению присущи написанные «законы» личной диктатуры. Они внешне просты, бесхитростны, но Сталин исключительно внимательно следил за их исполнением. Прежде всего, ни одно принципиальное решение партийных, государственных, общественных органов не может быть принято без его личного рассмотрения и одобрения. К примеру, даже «лозунги» для писателей спрашивали у вождя. 2 января 1936 года А. С. Щербаков пишет письмо Сталину, в котором говорится: «Уже 15 месяцев я работаю секретарем Правления Союза писателей по совместительству. В интересах дела я вынужден Вас беспокоить, просить помощи и указаний. Сейчас созданы неплохие новые работы Корнейчука, Светлова, Левина, Яновского, Леонова, Авдеенко. Заговорили «молчавшие» старые мастера Файко, Тихонов, Бабель, Олеша. Появились новые имена: Орлов, Крон, Твардовский. Но в целом отставание в литературе не ликвидировано. Этому не способствует и критика. Один писатель (Виноградов) после грубой критики поговаривает о самоубийстве. А критик Ермилов в ответ заявляет: «такие пусть травятся, не жалко».

Вот такое положение в литературе. Сейчас она нуждается в боевом, конкретном лозунге, который мобилизовал бы писателей. Помогите, товарищ Сталин, этот лозунг выдвинуть.

А. Щербаков».

К «законам» диктатуры принадлежит и такой, как выделение главных устоев, на которые можно опереться в своем единовластии. Знакомство со сталинским архивом, фондом документов, перепиской показывает, что по крайней мере начиная с середины тридцатых годов основное свое внимание он обращает на НКВД, НКГБ, армию и меньше на Центральный Комитет, где постепенно стал всем заправлять Маленков Г. М. в соответствии, разумеется, с указаниями вождя. В личном фонде, «Переписке...» Сталина больше всего документов, направленных ему Берией, Абакумовым, Кругловым, Меркуловым, Серовым, другими руководителями ведомств, на которые он опирался, коих поддерживал и поощрял. Сохранилось много представлений Берии наподобие того, которое мы приведем и где речь идет о награждении работников ГУЛага боевыми орденами: «Государственный Комитет Оборона
товарищу Сталину И. В.

20 дек. 1944 г.

За период Отечественной войны военизированная охрана исправительно-трудовых лагерей и колоний НКВД успешно справлялась с задачей изоляции и охраны заключенных, содержащихся в лагерях и колониях НКВД. Ходатайствую о награждении орденами и медалями Союза ССР работников охраны ГУЛага НКВД СССР, особо проявивших себя в работе».

Далее следуют сотни фамилий «особо проявивших себя в работе» к награждению орденами боевого Красного Знамени, Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, другими боевыми наградами.

Сталин щедро одаривал высокими чинами свою внутреннюю опору. Не только Берия, став Маршалом Советского Союза, был удостоен высоких воинских званий. 7 июля 1945 года Сталин поддерживает представление Берии и подписывает решение Совета Народных Комиссаров, согласно которому сразу семи (!) руководящим работникам НКВД и НКГБ — В. С. Абакумову, С. Н. Круглову, И. А. Серову, Б. З. Кобулову, В. В. Чернышеву, С. А. Гоглидзе, К. А. Павлову — присваивалось звание генерал-полковника. Боевые генералы, отличившиеся на фронтах Великой Отечественной войны, не удаивались ни разу такого «массированного» проявления любви Председателя ГКО!

Одним из неписаных «законов» деятельности диктатора являлось поддержание в высших звеньях аппарата постоянного напряжения. Эпизодически, но с достаточной степенью регулярности он смещал то одного, то другого руководителя центрального или регионального масштаба, благо поводов для этих репрессалий всегда было предостаточно: не выполнен план; не разоблачили вовремя «орудовавшую в области шайку вредителей»; потакали «низкопробным произведениям культуры», допустили «грубую политическую ошибку» в книге, статье и так далее. Никто не мог быть уверен, что державная рука завтра или позже не смахнет в любой момент с высокого поста наркома, первого секретаря, маршала, главу какого-либо ведомства. Руководители поэтому работали самоотверженно, находясь в постоянном напряжении, непрерывно поглядывая вверх и не жалея подчиненных.

Сталин полагал, что власть всегда должна внушать не только уважение, но и страх. Как абсолютный диктатор он ввел неофициальные «правила поведения» и в среде своих «соратников». Они, например, не могли несанкционированно собираться вместе (двое, трое или тем более — несколько человек) у кого-либо из них в кабинете, на квартире, на даче. Это считалось подозрительным и не одобрялось. Исключение допускалось лишь для Берии, который был близок с Маленковым и часто ездил с ним в одной машине на дачу или обратно. Все вместе собираться могли только у самого Сталина, если он, естественно, приглашал. Это выглядит несколько странным, но вождь не любил долгие часы одиночества на работе. Часто по вызову у него находились Молотов, Берия, Кага-

Нович, Маленков, Жданов, причем нередко часами. Тему разговора, а чаще монолога, всегда определял сам Хозяин. Было похоже, что, размышляя вслух, он не очень рассчитывал на какие-то предложения, возражения, исключая, возможно, Молотова и Вознесенского, но обязательно нуждался в подобострастной поддержке, единодушном согласии, одобрении, выражении восхищения идеями «товарища Сталина». Для него это был своеобразный «аппаратный антураж», психологический допинг, к которому он привык, как к какому-то обряду выработки решения.

Сталинизм как форма руководства и управления полагался прежде всего на анализ многочисленных докладов и справок, которые готовились разными людьми и организациями по заданию вождя. Но больше всего таких справок готовили, естественно, в НКВД и НКГБ. Приведем еще один пример.

В годы войны, и это естественно, Сталин интересовался лишь той частью науки, которая давала непосредственную, быструю отдачу в создании и совершенствовании вооружения и боевой техники. Вскоре после Победы он вообще заинтересовался Академией наук. Берия доложил, что, мол, Президент академии часто болеет, невысока эффективность исследований, стоит присмотреться и к другим академикам. Сталин потребовал справку с краткими характеристиками ученых. Ему ее быстро дали, но готовили ее не в президиуме академии или парткоме, а в одном из управлений НКГБ. Стоит привести выдержки из характеристик академиков, умышленно опуская в ряде случаев фамилии:

«Академик Б.— крупный специалист в области черной металлургии. Мало общается с коллегами вследствие чрезмерной жадности его жены;

Академик Вавилов С. И.— физик. В расцвете сил. Брат Вавилов Н. И.— генетик, арестованный в 1940 году за вредительство в сельском хозяйстве, осужден на 15 лет, в Саратовской тюрьме умер;

Академик В.— имеет авторитет только среди математиков. Холостяк, употребляет в значительных дозах алкоголь;

Академик Волгин В. П.— вице-президент. На Волгина есть свыше 20 показаний (Стецкий и др.) как на троцкиста. До сих пор не награжден и не является лауреатом Сталинской премии;

Академик Н.— директор института горючих ископаемых; по данным агентуры институтом руководит слабо, часто болеет;

Академик З.— по показаниям врагов народа является участником антисоветской организации. В области изыскания руд проводил вредительскую работу. Много внимания уделяет личному благополучию;

Академик Лысенко Т. Д., беспартийный, директор института генетики. Президент Академии сельхознаук, дважды лауреат Сталинской премии. (Далее следуют слова, с которыми, наконец, нельзя не согласиться.— Д. В.) Академик Лысенко авторитетом не пользуется, в т. ч. и президента Комарова. Все считают, что из-за него арестован Вавилов Н. И.».

Список долог. Вот по таким справкам из ведомства Берия Сталин решал серьезные вопросы. Подобные «документы» были определяющими при принятии любых решений. Можно видеть, сколь широко простиралась власть любимых Сталиным ведомств — они давали оценку компетентности даже академиков!

Окружение, похоже, даже в мыслях не подвергало сомнению целесообразность любых решений вождя. Основная идея «научного» комментаторства трудов и выводов диктатора заключалась в том, чтобы утверждать: Сталин — классический выразитель исторической необходимости. Что он лучше, чем кто-либо другой, осмыслил глубинные потребности общественного развития и все его действия лежат в русле проявления исторических законов. Мол, Сталина позвала сама эпоха; он лучший выразитель чаяний трудящихся, всего общественного прогресса. Молотов по этому поводу прямо писал: «Если после Ленина советский народ победоносно решал свои внутренние и внешние стратегические и тактические задачи и сделал свое государство таким могучим и, вместе с тем, таким духовно близким трудящимся всего мира, — то в этом величайшая историческая заслуга прежде всего великого вождя нашей партии — товарища Сталина».

В сталинизме как извращенной теории и практике социализма очень сильно просматривались фаталистические мотивы; автоматизм работы истории на социализм, изначальная справедливость всех его шагов, предопределенность торжества коммунистических идеалов. Сталинский подход очень много уделял внимания отрицанию: капиталистического способа производства, эксплуатации, ликвидации классов, всех партий, кроме большевистской, любых взглядов, кроме марксистских, а одновременно и всех ленинских соратников и потенциальных оппонентов. Да, без отрицания отжившего в природе ничего не бывает. Но значит ли, что на этом «зряшном» отрицании, круто изменив производственный и социальный лик страны, Сталин добился того, что было в идеале марксизма? Достаточно ли индустриализации (я уже не говорю о трагической коллективизации, ликвидации кулаков), достижения всеобщей грамотности, чтобы сказать: вот он, социализм, к которому мы стремились? Бинарное мышление Сталина, признававшего только белые и черные цвета в бесконечно богатой гамме действительности, выпустило из поля зрения нечто особо важное, главное, основополагающее — человека. Сталинизм отвел человеку роль инструмента, средства, а не цели истории. Держурные фразы о советском человеке — ему жить «стало лучше, жить стало веселее» — не могли скрыть положения, которое мы, оглядываясь в прошлое, видим сейчас спустя десятилетия: индивидуальность подавлялась, абсолютизировался коллективизм в ущерб гармоническому развитию личности, господствовала концепция словесного воспитания «нового человека».

Вовсе не подвергая сомнению невиданное подвижничество советских людей, их поразительную веру в торжество социалистических идеалов, приверженность тем ценностям, которые олицетворял в истории новый мир, сегодня нельзя не сказать: в историческом процессе народу Сталиным отводилась роль объекта воздействия его идей, воли и указаний. Сталинизм низвел народные массы до гигантского механизма реализации замыслов вождя. Считалось нормальным осуществлять над целыми частями этого живого и сложнейшего организма постыдные и жестокие экзекуции, отправляя тысячи и миллионы лучших представителей народа на смерть или длительную изоляцию в бесчисленных сталинских лагерях. Печально знаменитый ГУЛаг стал символом страшного управления народом, который Сталин никогда не спрашивал, что он думает, что хочет, как относится к тем или иным его «историческим» решениям. За него ему докладывали те, кому он больше доверял, — выкормыши Берии. Уже через десять лет после смерти Дзержинского его детище было не узнать: оно было поставлено над государством, а затем и над партией, что означало перерождение власти. Все находилось в русле сталинской концепции, согласно которой главные функции государства наряду с другими выполняли «карательные органы и разведка, необходимые для вылавливания и наказания шпионов, убийц, вредителей, засылаемых в нашу страну иностранной разведкой».

Сталинизм, по нашему мнению, довел до абсурда примат политики над экономикой, государства над обществом. Здесь находятся глубокие корни того, что мы называем командно-бюрократической административной системой. При такой ситуации, а Сталин это усвоил раньше других, тот, кто находится наверху, становится господином общества. Именно господином, а не товарищем. Экономика в этом случае начинает перестраиваться в соответствии не со своими, имманентно присущими ей законами, а согласно политическим директивам. В такой системе жизненно необходимой становится обширная и могущественная прослойка бюрократии на всех этажах общества и во всех его сферах. Возникает своеобразный политический абсолютизм, когда волевое решение лидера отнюдь не считается с экономической целесообразностью, материальными возможностями, своевременностью тех или иных технических и хозяйственных проектов. Достаточно вспомнить строительство сталинской Байкало-Амурской железной дороги, тоннеля от материка к Сахалину (под проливом), магистрали от Северного Урала до Енисея, которые были начаты без должного экономического обоснования и, конечно, без обнародования, а затем прекращены. Политическое первенство, доведенное до абсурда, сделало невозможной даже косметическую критику

любой деятельности: хозяйственной, технической, научной, аграрной. Политика стала тем загадочным всемогущим сфинксом, который угрожал сожрать любого, кто хотя бы косвенно высказал сомнение в любом ее аспекте. Сталинизм — это абсолютная диктатура политики над экономикой, социальной и духовной жизнью, культурой. Сталинизм — это эволюция диктатуры пролетариата к диктатуре партии, а затем и к диктатуре одной личности. При диктатуре господствующей личности все институты государства и общества играют лишь роль аппарата ее власти.

Сразу же хотел бы ответить критикам, которые усмотрят в этих рассуждениях мое непонимание роли политики в жизни общества. Нет, я, разумеется, не против политики, а против ее абсолютизации. Она всегда будет играть огромную роль, ибо только с ее помощью можно регулировать отношения между классами, нациями, другими социальными группами, осуществлять народовластие. Но подлинная, истинная роль политики проявляется лишь тогда, когда в ее основе заложены непреходящие демократические ценности, способные гармонично не только регулировать отношения между общественными группами, но и тесно взаимодействовать с экономической и духовной жизнью страны.

Сталинизм — болезнь незрелого социализма. Она была совсем не обязательной и фатальной. Но вместе с тем многое было обусловлено не только ошибками субъективного характера самой партии, ее руководителей, неразвитостью теории, но и многими объективными обстоятельствами, о чем мы уже говорили раньше. Сталинизм не привел общество к полному перерождению, не смог в конечном счете полностью деформировать социалистические идеалы и ценности. Вера людей в социализм была поколеблена, но не подорвана полностью. Многое в этой вере выглядит парадоксальным: люди верили, что тяготы, репрессии, лишения — все это историческая плата за достижение в будущем земли обетованной. Сталин преступно спекулировал на этой святой вере, он сознательно использовал ее долгие годы для утверждения своего единовластия. Одно из самых крупных преступлений сталинизма заключается в том, что Сталин посмел отождествить себя с социализмом. В огромной мере это ему удалось. Народ выстоял, потому что верил. Сталинизм покрыл общество панцирем бюрократизма и догматизма, от которого освобождение идет мучительно долго и трудно. Ущерб, особенно политический, социальный, культурный, моральный, нанесенный сталинизмом обществу, огромен. Брежневщина, многие другие глубокие изъяны современной жизни имеют дальние истоки в сталинизме. Его шрамы будут долго и болезненно зарубцовываться.

Наиболее циничное, часто вульгарное, повседневное проявление сталинизма предстает как сталинщина. Она, сталинщина, выступает, проявляется прежде всего в дуализме мыслей и дел, теории и практики. Раздвоенность сознания, когда люди говорили одно, но видели и делали другое, была наиболее распространенной формой сталинщины. Известная американская журналистка Анна Луиза Стронг, написавшая еще в 1956 году книгу «Эра Сталина», отмечала, что этот дуализм дал о себе знать уже в самую пору триумфального восхождения Хозяина. «Сталинская конституция, — пишет Стронг, — была нарушена уже тогда, когда она еще писалась. Конституция СССР была нарушена ее автором — Сталиным». Он говорил о правах людей, а сам попирали их. Вождь был циничным прагматиком: выступая на Первом Всесоюзном съезде колхозников-ударников 19 февраля 1933 года, он весь пафос своей речи направил на то, как «сделать всех колхозников зажиточными». Рецепт предлагался простой (его и потом долгие годы использовали): «Если мы будем трудиться честно, трудиться на себя, на свои колхозы, — то мы добьемся того, что в какие-нибудь 2—3 года поднимем всех колхозников, и бывших бедняков, и бывших середняков, до уровня зажиточных, до уровня людей, пользующихся обилием продуктов и ведущих вполне культурную жизнь». А как он относился к тем, кто действительно умел «трудиться на себя», трудился самоотверженно? Они все, без всякой должной дифференциации, без приобщения к кооперации, без экономического «пристегивания» к новым процессам на селе, были обречены на «ликвидацию». Месяцем

раньше, выступая на Пленуме ЦК и ЦКК, Сталин так обрисовал ситуацию: «Кулаки разбиты, но они далеко не добиты. Более того,— они не скоро еще будут добиты, если коммунисты будут зевать и благодушествовать, полагая, что кулаки сами сойдут в могилу».

Циничный прагматизм: ликвидировать «зажиточных» и призывать стать «зажиточными». Таков дуализм, когда он является чертой мировоззрения. Сталин часто говорил одно, рассчитанное на широкое потребление, а делал другое. Любил говорить о «культурной и веселой» жизни и варварски подвергал террору большие группы населения, целые слои общества. Сталинизма постепенно утвердилась в однодумстве, головотяпстве, казенщине, безынициативности, подозрительности, нетерпимости. Самое печальное, что многие из этих проявлений были не просто декором, внешним выражением главного инструмента власти Сталина — аппарата, а стали частью облика многих людей, их мироощущения, живы и по сей день.

Сталинизм стал субъективно искаженным ответом на вопросы, которые после Ленина история поставила перед родиной социализма. Теория и практика сталинизма, основанные на силе, команде, однодумстве, исторической безапелляционности, затормозили реализацию и достижение социалистических идеалов. И самая глубинная порочность сталинизма заключается в том, что не человек как таковой стоит в центре устремлений общества, а государство как машина, которая возвеличивает одного человека. Гуманистическая сущность ленинизма была утрачена в сталинских «преобразованиях». Место человека занял безликий аппарат. Характерно, что это стало замечаться давно. Ставший на позиции антисоветизма бывший коммунист Виктор Серж в своей книге «Судьба одной революции. СССР, 1917—1936» писал: Сталин создал государство, «для которого человек ничего не значил». Сегодня мы видим, что подобные мысли, которые нам раньше казались еретическими, были далеко не такими. Борис Суварин в своей книге «Сталин» отмечает, что уже «через пять лет после смерти Ленина сталинская концепция социализма по своей сущности уже многое утратила благодаря быстрому бюрократизованию партии, государства, всех институтов». Эти люди знали сталинизм изнутри. Неприятие сталинизма привело их на диаметрально противоположные позиции. Но отдельные их суждения, анализирующие феномен сталинизма, не лишены пронизательности.

Сталин и сталинизм считали естественным культ государственного насилия. Но еще Гегель пронизательно заметил, что «судьба располагает большей сферой действия, чем наказание». Впрочем, Сталин Гегеля не осилил... Вождь никогда не мог и подумать, что его детище — сталинизм — когда-то окажется в ловушке истории.

Мумии догматизма

Иосиф Джугашвили, будучи способным учеником духовного училища, а затем и семинарин, быстрее других схватывал постулаты догматического богословия. Как и любое знание, богословие вопреки сложившемуся у нас представлению несет немало полезной информации: исторической, социальной, нравственной. Джугашвили же в богословии нравилась сама «упаковка» знаний, их систематизация, даже известная гармоничность. Он, например, быстро схватил положение о том, что православная догматика охватывает три основных периода: а) первоначальный — до Вселенских соборов, б) во время Вселенских соборов, в) в России — с XV века, от Вселенских соборов. Он, пожалуй, мало верил содержанию догматов; они часто казались ему наивными, но вместе с тем в них было нечто такое, что перебрасывало мостик в светскую жизнь. Это «нечто» — взаимосвязь знаний и веры.

В писаниях Климента Александрийского, Кирилла Иерусалимского, Григория Нисского и других богословов, книги которых в свое время читал Джугашвили, его больше всего занимала идея: нет веры без знания, как и знания без веры. Формула взаимосвязи веры и знания представала обычно в его голове та-

ким образом: вера предшествует знанию, знание следует за верой. Учитель богословия, помнится, внушал: «Всякий человек по природе своей догматик, ибо верит в возможность нахождения истины до тех пор, пока не убедится в тщете своих усилий. Ведь истина-то и заключается в вере».

Больше других ему почему-то нравились книги — богословские сочинения — Хомякова и Сильвестера, ректора Киевской духовной академии, «Опыт православного догматического богословия (с историческим изложением догматов)», где утверждалось, что в Священном Писании есть истины, которые церковь должна признавать повсюду и всегда.

Все это осталось где-то далеко-далеко позади, за многими перевалами жизни. «Символы веры» как-то незаметно растворились в повседневье светского бытия, и Джугашвили — Сталин еще до революции едва ли смог бы что-то внятно сказать о богосознании, о притчах Соломоновых, откровении Иоанна Богослова или послании Иуды. Все это неумолимо унесено временем в невозвратное, и иногда не верилось, что он мог стать священником. Но что-то неуловимо тонкое в сознании осталось. Сталин всегда верил в то, что существуют некие доктрины, которые имеют значение неоспоримой истины. Мы тоже, пожалуй, верим и даже убеждены в этом. Но вождь, став тем, кем он стал, был склонен абсолютизировать эти истины, особенно если они принадлежали ему. У меня есть большие сомнения в том, что он верил всему тому, что утверждал сам. Но этому верили другие — и сегодня мы это знаем точно.

О догматизме сталинского мышления мы уже говорили раньше. Теперь нас интересует догматизм как один из устоев сталинизма, его важнейший атрибут, способный постепенно завести обществоведение, а затем и общество в теоретический и духовный тупик. Сталин обладал огромной способностью омертвлять те или иные положения марксизма и превращать их в мумии застывшей, искаженной истины. В этом он был непревзойденный мастер.

Например, вождь, где только мог, пропагандировал свое понимание «окончательной победы социализма». Используя ленинские идеи о наличии всего необходимого для построения социализма в нашей стране (статья «О кооперации»), Сталин в работе «К вопросам ленинизма» неоднократно цитирует «модификации» своих определений в разных брошюрах. Наконец, он приводит основную дефиницию: «Окончательная победа социализма есть полная гарантия от попыток интервенции, а значит, и реставрации, ибо сколько-нибудь серьезная попытка реставрации может иметь место лишь при серьезной поддержке извне, лишь при поддержке международного капитала». Но, чтобы показать абсолютную верность, безошибочность собственной формулы, Сталину нужно было продемонстрировать, насколько неверно понимают этот вопрос его оппоненты. Для этого он цитирует Зиновьева: «Под окончательной победой социализма следует понимать, по крайней мере: 1) уничтожение классов и, стало быть, 2) упразднение диктатуры одного класса, в данном случае диктатуры пролетариата... Чтобы еще точнее уяснить себе, как стоит вопрос у нас в СССР в 1925 году, надо различать две вещи: 1) обеспеченная возможность строить социализм, — такая возможность строить социализм вполне, разумеется, может мыслиться и в рамках одной страны, и 2) окончательное построение и упрочение социализма, т. е. осуществление социалистического строя, социалистического общества».

Все последующие рассуждения Сталина посвящены попытке доказать, что Зиновьев — маловер и капитулянт. Сталинской изощренности выискивать у оппонентов слабые места, не отвечающие его ортодоксии, могли бы позавидовать схоласты. В свое время средневековый теолог Фома Аквинский видел одну из главных проблем познания в том, совершается ли божественная деятельность на основе свободы воли бога или в основе этой деятельности лежит божественный разум, которому подчинена и его воля. Схоласты могли десятилетиями спорить, что выше: внутренний «свет» разума или свет истины спасения — «свет благодати» и Священного Писания. Сталин не опускался до выявления таких «мелочей»; он искал всех тех, кто не верит в построение социализма. Но поскольку никто не выступал против этого и не возражал в принципе против самой воз-

возможности создания нового общества, для генсека особую важность уже приобрели оттенки, нюансы, тонкости. И здесь Сталин проявляет во всей изощренности и в то же время догматичности свой ум.

Нагнетание внимания к грехам оппозиционеров, Сталин это заметил, всегда производило особое впечатление на слушателей и читателей. И в случае с Зиновьевым Сталин делает то же самое:

«Строительство на авось, без перспективы, строительство социализма при невозможности построить социалистическое общество — такова позиция Зиновьева. Но это ведь издевка над вопросом, а не разрешение вопроса!»

Но читатель может убедиться, что Зиновьев высказывал лишь сомнения, от которых, впрочем, скоро освободился. Он слишком увязывал судьбы русской революции с международными делами; это и понятно, ведь он был Председателем Коминтерна!

«Капитуляция перед капиталистическими элементами нашего хозяйства, — распалется дальше Сталин, — вот куда приводит внутренняя логика аргументации Зиновьева». Но ничего подобного Григорий Евсеевич и не думал говорить! Он просто говорил о возможности как потенции и ее противоположности! Однако Сталин идет еще дальше. «Не надо было брать власть в октябре 1917 года, — вот к какому выводу приходит внутренняя логика аргументации Зиновьева». Это у Сталина звучит как приговор.

Партия, подвергнув критике «новую оппозицию» за ряд ошибочных выводов, выразившихся, в частности, в легковесной критике Зиновьевым большевика Яковлева, не давала оснований для того, чтобы Сталин отправил Зиновьева (а заодно и его сотоварищей) по ту сторону политической баррикады. Вождь не мог (и не хотел) понять, что многие неточные, а порой и ошибочные высказывания делались в пылу полемики, яростного спора и диктовались желанием Зиновьева активнее подключить, раскатать, инициировать гаснущую международную революционную ситуацию. Ведь Зиновьев, отдаваясь работе в Коминтерне, жил этой работой, часто абсолютизируя свои оценки. Для Сталина же эти вывихи были не просто взглядом, который можно и нужно было по-товарищески критиковать, а поводом, чтобы «бить», «громить», «ликвидировать».

Несогласие с теоретическими установками Сталина уже в середине двадцатых годов квалифицировалось как «враждебное отступление» от марксизма. В последующем даже намек на несогласие с диктатором кончался трагически. Это можно назвать теоретическим диктаторством; впрочем, еще Ницше называл таких людей «тиранами духа». В одной его работе мы находим довольно любопытные размышления по этому поводу. «Тираны духа» осуществляют насилие, писал Ницше, «верую в то, что человек обладает истиною, но вместе с тем никогда еще не проявлялись с такою силою свойственные подобной вере жестокость, своеволие, деспотизм и злоба».

Сталинский догматизм, наложивший свою диктаторскую власть на общественную мысль, был воинственным, упорствующим, беспощадным. Ему помогали в этом его идеологические оруженосцы Жданов, Сулов, Поспелов, Митин, другие рыцари догматизма. Особую изощренность в этом деле проявлял М. А. Сулов, настоящий идеологический инквизитор, который сумел и после Сталина на долгие годы сохранить состояние застоя в теоретических исследованиях. Опуская везде свой идеологический шлагбаум, консервируя сталинизм, Сулов являлся генератором дуализма, теоретического лицемерия. Выступая, например, на Всесоюзном совещании заведующих кафедрами общественных наук в 1962 году, секретарь ЦК провозглашал: «Догматизм — наиболее опасная форма отрыва теории от практики. Под личиной мнимой верности марксизму-ленинизму догматизм, левый оппортунизм наносят большой вред революционной теории и практике, социализму. Попытки укрыться от жизни под ворохом цитат означают неумение или нежелание оценить новую историческую обстановку, творчески применять и развивать в новых, изменяющихся условиях великие принципы марксизма-ленинизма». Такие выученики Сталина, как Сулов, были мастерами мимикрии; безжалостно изгоняя живую мысль, новаторство, попытки осмыслить но-

вые процессы, прикрывали свое догматическое ретроградство реверансами в сторону диалектики, «живой души марксизма».

Превращая истины в мумии, сталинизм утвердил такую черту догматизма: выборочность использования тех или иных положений марксизма. Бесспорно, сама теория научного социализма, работы основоположников марксизма-ленинизма, их выводы подвержены испытанию временем, как и любое учение. Ведь еще К. Маркс говорил: «Мы выступаем перед миром не как доктринеры с готовым новым принципом: тут истина, на колени перед ней!». Некоторые положения, сформулированные классиками, могут быть рассмотрены лишь применительно к тому времени, когда они делались. Это естественно. Но даже те выводы, которые могут устареть или быть неадекватными нашему сегодняшнему пониманию, мы должны уважать и, видимо, знать. Ведь сейчас никому не придет в голову прекратить печатать те работы классиков, где говорится, допустим, о диктатуре пролетариата. Однако Сталин лично определял, что можно, а что нельзя публиковать из теоретического наследия основоположников марксизма. В фонде Сталина есть много записок с обращениями к нему разрешить предать гласности то или иное письмо Ленина, фрагмент рукописи Маркса или Энгельса. Вот пример. К Сталину в июне 1939 года обращается М. Б. Митин, директор Института марксизма-ленинизма: «Прошу разрешить в очередном номере «Большевика» публикацию двух прилагаемых при сем писем В. И. Ленина к Инессе Арманд». Резолюция предельно лаконична: «Не возр. Ст.» Но не всегда Институт марксизма-ленинизма получал такое разрешение.

Однажды Жданов, Митин и Поспелов показали Сталину статью Энгельса «О внешней политике русского царизма», засомневавшись в целесообразности ее публикации. Он внимательно изучил написанное Энгельсом и сделал на полях следующие пометки: «завоевательные мерзости — не монополия русских царей»; «переоценка роли внешней политики России»; Энгельс, «атакуя внешнюю политику царизма, решил лишить ее всякого доверия в глазах общественного мнения Европы». Затем сделал общее резюмирующее заключение: «Стоит ли после всего сказанного печатать статью Энгельса в нашем боевом органе, в «Большевике», как статью руководящую во всех случаях или статью глубоко поучительную, ибо ясно, что напечатать ее в «Большевике» — значит дать ей молчаливо такую именно рекомендацию. Я думаю, что не стоит. И. Сталин. 15.VII.1940 г.».

Поэтому неудивительно, что многие ленинские документы не видели света целые десятилетия. Сталин до конца дней многие ленинские мысли, идеи держал взаперти. Догматизм признает лишь то, что подтверждает прямо его положения, и отвергает то, что противостоит. Собственно, это видел еще Гегель: догматизм «в более узком смысле состоит в том, что удерживаются односторонние рассудочные определения и исключаются противоположные определения». Даже левые фразы, к которым часто любил прибегать Сталин, не могли скрыть его линию на консервацию нужных ему теоретических положений марксизма и умалчание тех, которые ему казались сомнительными. Это естественно для догматического мышления, ведь оно всегда считает себя безгрешным.

Подлинной энциклопедией догматизма, сборником мумий полуистин и антиистин стал пресловутый учебник «История Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков). Краткий курс». Он выходил более чем 300 изданиями тиражом около 43 миллионов экземпляров! Этот сборник догм стал таким же обязательным для взрослого населения страны, как Коран в стране, где властвуют мусульманские фундаменталисты. Однако в истории уже давно было доказано, что сознание является самой независимой от власти сферой. Ереси, сомнения, инакомыслие рождаются в значительной мере от насилия над сознанием, попытка жестко управлять им или держать в заточении.

В начале нашего века знаменитый (но по воле Сталина долго отчужденный от истории отечественной общественной мысли) философ В. С. Соловьев опубликовал статью с красноречивым названием «Руководящие мысли». В ней он подверг научной критике работы профессора Петербургского университета Н. И. Кареева, напечатанные в сборнике «Историческое обозрение». Кареев пытался пред-

писать историкам не только как следует писать историю, как ее изучать, но и как понимать. В. С. Соловьев с присущим ему интеллектуальным изяществом показывает несостоятельность притязаний автора на знание того, как понимать прошлое. Но куда Карееву до Сталина! Его «руководящие мысли» стали абсолютными обязательными для всех, хотя бы на словах! Отметим при этом, что подавляющая часть населения имела уже столь деформированное сознание, что слепо верила вождю в том, как надо понимать историю.

Догматических положений «Краткого курса» мы еще коснемся и покажем его подлинную роль в жизни нашего общества. Сейчас же хотелось бы напомнить, что заскорузлый ум Сталина, абсолютизируя значение борьбы партии внутри страны с бесчисленными «врагами», создал искаженный облик прошлого. Конечно, борьба в партии была, и часто ожесточенная — это закон диалектики. Но в истории партии Сталин ничего не увидел, кроме борьбы и подлости: «коварства» меньшевиков, капитулянтства ликвидаторов, антисоветизма троцкистов, политического двурушничества своих бывших соратников. Можно даже подумать, по Сталину, что, кроме него самого и группы его сторонников, фактически вся старая партийная «гвардия» — «изверги из бухаринско-троцкистской банды». Одни подзаголовки 12 глав книги говорят о многом. Историческая ткань, по мысли вождя, изборождена бесконечными враждебными вылазками одних и решительными, мудрыми действиями других, ведомых Сталиным. «Раскольнические действия меньшевистских лидеров», «Разложение в оппозиционных слоях интеллигенции», «Усиление активности троцкистов», «Разгром троцкистско-зиновьевского блока», «Политическое двурушничество», «Ликвидация кулачества как класса», «Ликвидация остатков бухаринско-троцкистских шпионов» и так далее.

Группа историков — Кнорин (правда, дело он не закончил — был арестован), Поспелов, Ярославский — в соответствии с решением Политбюро от 16 апреля 1937 года всецело сосредоточилась на написании книги. В ее основе лежала разработанная Сталиным схема периодизации истории партии, а также определение им ее сути как «борьбы большевиков с антибольшевистскими фракциями». Сталину авторы последовательно давали отдельные главы, а всего существовало несколько макетов «курса». Почти каждая глава под его пером (или часто карандашом) решительно доворачивалась в сторону основной идеи: история партии — это история ее внутрипартийной борьбы, во главе которой стоял верный соратник и продолжатель дела Ленина — Сталин. При большой личной занятости другими делами Сталин, судя по замечаниям на текстах вариантов, сам долго сидел над «историей». Он хорошо знал: это будет один из самых важных механизмов его долгого влияния на сознание миллионов людей.

Прочитав очередной переработанный текст «Краткого курса» (а их, повторяем, было несколько, пока он не одобрил тот, который и изучали десятки миллионов людей), Сталин не мог и сам не заметить, что история партии выглядит как рыцарское ристалище, где не прекращаются батальные схватки его «ордена» с несметными полчищами идеологических варваров. Подумав и решив обезопасить свою концепцию партийной истории от возможной критики в будущем (в настоящем это было исключено), Сталин продиктовал ряд положений, которые после редактирования стали выглядеть так:

«Может показаться, что большевики слишком много времени уделяли делу борьбы с оппортунистическими элементами в партии, что они переоценивали их значение. Но это совершенно неверно. Нельзя терпеть в своей среде оппортунизм, как нельзя терпеть язву в здоровом организме. Партия есть руководящий отряд рабочего класса, его передовая крепость, его боевой штаб. Нельзя допускать, чтобы в руководящем штабе рабочего класса сидели малoverы, оппортунисты, капитулянты, предатели. Вести смертельную борьбу с буржуазией, имея капитулянтов и предателей... в своей собственной крепости, — это значит попасть в положение людей, обстреливаемых и с фронта и с тыла. Нетрудно понять, что такая борьба может кончиться лишь поражением. Крепости легче всего берутся изнутри». Такова «фронтальная» точка зрения Сталина, да и терминология тоже сугубо военная.

За заголовками «курса» стоит мумифицированная история, реальные события и факты сплошь и рядом перемежаются вымороченными сталинскими представлениями.

Одна из таких «мумий» догматизма — абсолютизация революционных скачков и принижение роли реформ: «Значит, чтобы не ошибиться в политике, надо быть революционером, а не реформатором». Такая мировоззренческая и методологическая установка оправдывала волюнтаризм, силовые решения, заранее давала право вождю на любые радикальные шаги, которые он считал нужными. Например, на переход «к политике ликвидации, к политике уничтожения кулачества, как класса». «Революционный», скачкообразный волюнтаризм Сталина был освящен «Кратким курсом», как высшая марксистская истина. Сами слова «реформа», «эволюция» были синонимами враждебного, чуждого, уцененного историей.

Еще одна «мумия» догматизма предстает в утверждении, что производство в СССР — вершина совершенства в сегодняшнем мире. В нашей стране, провозглашал «Краткий курс», производственные отношения «находятся в полном соответствии с состоянием производительных сил,... поэтому социалистическое производство в СССР не знает периодических кризисов перепроизводства и связанных с ним нелепостей». Что касается «нелепостей» перепроизводства, то, действительно, Сталин приложил свою руку к тому, чтобы у нас этого никогда не было. Однако перманентное состояние нехваток, унижительного товарного дефицита, низкое качество продукции, ориентированной лишь на количественные показатели производства, возводились в ранг закономерности.

Можно перечислить множество подобных примеров догматизма, но назовем еще лишь один. Сталину удалось (и это неоднократно зафиксировано в «Кратком курсе») создать устойчивое впечатление, нет, скажем сильнее, сформировать мировоззренческую установку у советских людей на то, что все неудачи, провалы, трудности связаны лишь с деятельностью многочисленных «врагов народа», от которых наконец начали решительно и широко избавляться с 1937 года. «Краткий курс» не скупился на эпитеты в адрес старых коммунистов, ленинской гвардии, творцов Октября: «банда врагов», «подонки человеческого рода», «троцкистско-бухаринские изверги», «белогвардейские пигмеи и козявки», «ничтожные лакеи фашистов» и так далее. Обязательный всесоюзный учебник наставлял миллионы большевиков и беспартийных: «Нужно, чтобы члены партии были знакомы не только с тем, как партия боролась и преодолевала кадетов, эсеров, меньшевиков, анархистов, но и с тем, как партия боролась и преодолевала троцкистов, «демократических централистов», «рабочую оппозицию», зиновьевцев, правых уклонистов, право-левацких уродов и т. п. Нельзя забывать, что знание и понимание истории нашей партии является важнейшим средством, необходимым для того, чтобы обеспечить революционную бдительность членов партии». Главному творцу «энциклопедии марксистских знаний» требовалось, чтобы все жили в напряжении, ожидании вылазок врага, постоянной настороженности по отношению к окружающим, сослуживцам, коллегам, — «Враг не дремлет!».

Сталин особенно постарался, чтобы, помимо тех общих параметров, которые были заданы им в письме «Об учебнике истории ВКП(б)» от 1937 года, «Краткий курс» заметно выделялся своей антитроцкистской направленностью. Где только можно, в текст «внедрялся» Троцкий. Например, во фрагменте: «Как установлено теперь процессом антисоветского «правотроцкистского блока» в 1938 году, мятеж «левых» эсеров был поднят с ведома и согласия Бухарина и Троцкого и являлся частью общего плана контрреволюционного заговора бухаринцев, троцкистов и «левых» эсеров против Советской власти», — выделенные слова вписаны Сталиным.

Всем содержанием «труда» людей готовили смотреть на окружающий мир глазами вождя, видевшего едра ли не в каждом третьем гражданине Отечества «сомнительного субъекта», «двурушника», «притаившегося врага». Вместе с тем заметим, что «Краткий курс» был достаточно популярен в стране не только потому, что пропагандистский аппарат в духе указаний Сталина сделал его глав-

ной книгой общества на многие годы, но и потому, что ее предельно примитивное, схематическое изложение импонировало своей доступностью многим людям, все больше привыкавшим, что за них кто-то думает, и довольствовавшимся этой убогой духовной пищей.

Догматические постулаты оказались (за исключением второго параграфа четвертой главы) очень доступными и понятными. Не нужно было рыться в первичных источниках, литературе, а главное — не надо напряженно размышлять: все разложено по политическим нишам, все действующие лица окрашены в соответствующие цвета (а их, мы помним, было два), везде даны ясные однозначные оценки. По предложению Сталина авторы позаботились, чтобы каждая глава завершалась «Краткими выводами», в стиле политических инструкций. Остается лишь заучить разжеванные положения. Такая книга стала основным орудием активного насаждения догматического мышления в партии и стране. Так бесплодные «истины» перекочевывали из книги в общественное и индивидуальное сознание. Отныне вся система политического образования и партийного просвещения на долгие годы была основана на «Кратком курсе», доносившем до сознания миллионов людей грубо деформированные фрагменты ленинизма. Едва ли стоит удивляться, что и сегодня так много приверженцев вождя! «Краткий курс» сыграл здесь не последнюю роль.

По сути, кроме узкого круга людей — ученых, интеллигентов, — в 30-е и 40-е годы новые поколения не знали подлинного Ленина, его работы. Зато «Краткий курс», который скоро стал считаться авторским трудом вождя, был буквально «нафарширован» сталинскими цитатами. Например, последние три главы курса объемом немногим более семидесяти страниц содержат более шести десятков (!) упоминаний, цитат, выводов Сталина. Сам автор труда сделал себя и главным его героем. Выступая 1 октября 1938 года перед пропагандистами Москвы и Ленинграда в связи с выходом «Краткого курса», вождь в своей речи проводил магистральную мысль — без учеников Ленина (конечно, имел в виду лишь себя), которые били в одну точку, он не уверен, была бы Советская власть. Рекомендовал изучать «Краткий курс» вместе с «книгой товарища Сталина «Об основах ленинизма», которая дает все основное». «Краткий курс» Сталин назвал «манифестом — песнь песней марксизма». Учитывая состав совещания, не преминул предупредить, что мы «часть интеллигенции не воспитывали; ее завлекли в свои сети иностранные разведки. Это добыча иностранных разведок». Наставляя пропагандистов в том, как использовать «манифест», Сталин одновременно предостерегал от вольнодумства, которое может кончиться лишь сетями «иностраных разведок». Отныне «Краткий курс» стал сталинским цитатником, по которому сверялась ортодоксальность и полицейская надежность каждого человека.

Подобная идеологическая пища, догматическая и антиисторическая по своему содержанию, вела к духовному обнищанию, теоретическому упрощению и широкому примитивизму. Сталин удобрил почву для взращивания обширной прослойки элементарно мыслящих людей, из которых непрерывно рекрутировались карьеристы, доносчики, ревностные службисты, бездумные исполнители. Именно эта прослойка пополняла бюрократический аппарат, карательные органы, ряды функционеров разных уровней. Г. М. Маленков, как явствует его архивный фонд, пропустил «через себя» многие тысячи людей, назначавшихся на партийную работу («выбирали» на пленумах автоматически), в органы НКВД, аппараты министерств. Критерием идейной, теоретической зрелости служили отсутствие «компроматов» со стороны органов и работа над сталинской «настойной книгой». Некоторых людей вызывали в Москву для беседы. Сам Маленков, с одутловатыми щеками, важный, развалившийся в кресле, или чиновник по его указанию среди задаваемых вопросов обязательно подбрасывали и один-два из «Краткого курса» или других сталинских работ:

— Какой уклон является главным, наиболее опасным? (Тут был подвох — не всем удавалось вспомнить, что Сталин учил: главный уклон тот, с которым перестали бороться.)

— Когда и где товарищ Сталин сказал «Кадры решают все»?

Ну и другие подобные «премудрости».

Идейного заряда «Краткого курса» хватило более чем на десятилетие. До войны сталинский цитатник господствовал в общественном сознании не только потому, что этого добивались пропагандисты, но и потому, что миллионы людей, как мы уже говорили, увидели в одной книге некое предельно сжатое и доступное изложение целой эпохи. Большинство не понимало, что портрет времени, набросанный в «Кратком курсе», был до предела искажен. Насажение догматического мышления в стране осуществлялось всей системой политического воспитания. Наиболее заметными проводниками сталинской линии в этом вопросе были А. А. Жданов, а после его смерти М. А. Суслов.

Жданова Сталин заметил давно. Конечно, многое о нем вождь узнал позже, когда молодой секретарь Нижегородского губкома партии в 1925 году вошел в состав ЦК (кандидатом в члены). В 1929 году Сталин пригласил секретаря Горьковского крайкома партии (город к тому времени уже переименовали) к себе в Кремль на беседу. Тридцатитрехлетний крепыш произвел на генсека хорошее впечатление. Расспросил о положении в Горьком, настроении людей, о том, как там отнеслись к высылке Троцкого, исключению из партии и ссылке большой группы его сторонников. Попутно поинтересовался, кто из близких Жданова живет сейчас в его родном городе Мариуполе, поддерживает ли он связь с Шадринском, где началась его партийная карьера в годы гражданской войны. Жданов, удивившись про себя осведомленности генсека, коротко, толково обо всем доложил, с оптимизмом оценил перспективы начала колхозного движения в крае, заверил о стремлении большевиков краевой организации досрочно выполнить пятилетний план. Попрощались. Сталин что-то пометил в своей загадочной тетради.

Да, умные глаза, интеллигентен, ничего не попросил, как бывает в таких случаях, — машины, людей, дополнительные ассигнования. Оценки молодым секретарем перспектив колхозного движения и необходимости ударного развития промышленности удивительно совпали с тем, как думал об этом сам Сталин.

А Жданов, вернувшись в Горький, узнал, где проходит ближайшая по срокам партийная конференция. Оказалось, в Сормовском районе. Поехал и выступил там с докладом, уделив главное внимание тем выводам и указаниям, которые получил во время беседы от Сталина. Обратил особое внимание партийцев, что еще не все сторонники Троцкого разоружились, призвал к бдительности. В следующем году на очередном XVI съезде Жданов избирается уже членом ЦК. Затем карьера его стала еще более стремительной. В 1934 году Жданов после убийства Кирова возглавляет Ленинградскую партийную организацию и одновременно становится секретарем ЦК ВКП(б). С февраля 1935 года кандидат в члены, а с 1939 года — член Политбюро. Был близок лично к Сталину, одно время даже породнился, когда его сын Юрий женился на дочери Сталина Светлане. Но жаль, брак не был прочным. Сталин был доволен Ждановым и как членом Военного совета Ленинградского фронта. В 1944 году по инициативе Верховного Жданову присваивают звание генерал-полковника. В то время лишь единицы политработников удостоивались этого высокого чина.

В конце войны Сталин испытал Жданова, если так можно сказать, на военно-дипломатическом поприще, когда тот вел дела с финнами после того, как в 1944 году с ними было заключено перемирие. В архиве Жданова сохранился ряд телеграмм Сталину. Вот одна из них:

«Товарищу Сталину И. В.
Товарищу Молотову В. М.

«Сверхмолния»

Сегодня, 18 января 1945 года был у Маннергейма. Встреча проходила один на один и продолжалась около 2-х часов. Маннергейм сказал, что после многих лет вражды наступило время произвести коренной поворот в отношениях между нашими государствами. Военные оборонительные линии против СССР, я убедился, бесполезны, если нет хороших отношений. В 39 году Маннергейм, как он заявил, не хотел войны, как и войны 41—44 годов, в благоприятном исходе

которой сомневался еще до ее начала. Выразил согласие на сотрудничество по береговой обороне, а на суше будет защищать страну один. Спросил, есть ли типовые договора? Я сказал, как будто есть, например, с Чехословакией. Прошу указаний.

А. Жданов».

Ответил члену Политбюро не Сталин, а Молотов. Ответил жестко: «Вы бежали вперед. Заключение пакта с Маннергеймом, подобного тому, как мы заключили с Чехословакией,— это музыка будущего. Надо вначале восстановить дипломатические отношения. Не пугайте Маннергейма радикальными предложениями. Выясните лишь его позицию.

Молотов».

Через день Жданов снова докладывает Сталину: «Вновь был у Маннергейма. Я сказал, что заключение пакта, подобного чехословацкому,— «музыка будущего», после восстановления дипломатических отношений. Маннергейм ответил, что он понимает: Финляндия как страна находится под надзором и пока не может иметь другой тип отношений с СССР. Было видно, как он разочарован». Далее следовали конкретные вопросы по линии Союзной контрольной комиссии. Сталин предложения советской стороны утвердил, подумав, возможно, что после войны можно будет использовать Жданова при решении и международных вопросов. К слову говоря, именно Жданов по поручению Сталина занимался коминформовскими делами.

Зачем я делаю такие большие отступления? Чтобы показать: Сталин все время проверял людей, на которых он делал ставку. Иногда проверял долго, порой всю жизнь. Но не прощал ни одного крупного промаха. Жданов всегда оправдывал доверие Сталина, хотя, как знать, не приди неожиданно к нему, пятидесятидвухлетнему мужчине, смерть в августе 1948 года, не захватил ли бы и его в водоворот ленинградский смерч? Его сын Юрий Андреевич Жданов считает, что Сталин в конце жизни отца так же к нему остыл, как вначале к Вознесенскому, Кузнецову, а несколько позже и к Молотову. Но это, что касается охлаждения Сталина к Жданову, предположения, основанные лишь на ряде косвенных доказательств.

Работая с 1944 года непосредственно в ЦК ВКП(б), А. А. Жданов показал себя жестким, безжалостным куратором идеологии и культуры. Догматизм насаждался не просто путем обожествлений «теоретического гения» вождя, он утверждался в сознании целой системой запретов: что можно и что нельзя показывать кинематографу, театру, сочинять писателям, музыкантам, писать философам и историкам... На каждом шагу были бесчисленные табу, которые Жданов умело расставлял. Все тропы движения творчества были перекрыты, свободной была лишь одна дорога... Жданов оправдывал доверие Сталина, настойчиво вгоняя в прокрустово ложе сталинских схем искусство, литературу, всю культуру. Эстетическая жизнь после войны также быстро заоченела, не успев оттаять после 1937—1938 годов.

В сборнике исторических рассказов и воспоминаний, изданном в Париже, приводятся впечатления очевидца, присутствовавшего на докладе Жданова в августе 1946 года в Смольном о журналах «Звезда» и «Ленинград». Приведу фрагмент воспоминаний, подписанных лишь инициалами «Д. Д.»:

«Докладчик вошел с правой стороны, за спиной публики, сопровождаемый большой группой людей. В руке у него была папка. При электрическом освещении волосы ярко блестели. У него был вид человека, хорошо поспавшего и принявшего ванну. Все встали. Раздались аплодисменты. Докладчик подошел к трибуне. Было пять вечера. Как обычно, был предложен президиум из видных деятелей литературы. Даже чуть-чуть посмеялись, потому что писатели забыли предложить в президиум собственного секретаря — Прокофьева. Докладчик улыбнулся и вполголоса пошутил. В зале быстро установилась тишина. Докладчик минуту помолчал и стал говорить. Через несколько минут установилась невероятная

тишина. Зал онемел и окаменел. Его все более замораживало, и за три часа он превратился в твердую белую глыбу. Доклад ошеломил. Люди расхотелись молча». Таким был Жданов, один из высших интеллектуальных надсмотрщиков Сталина, хранитель его идеологических мумий.

М. А. Суслова многие в партии, кто знал его действительную роль, называли «серым кардиналом». Это был, как и Маленков, один из основных жрецов аппаратной работы. Сталин в полной мере его оценил (как и Шверника) после своего 70-летнего юбилея. Все было организовано, по мнению вождя, превосходно. Идеологическая сторона юбилея была в основном за Сусловым. Думаю, лучше всего могли бы характеризовать Суслова его собственные высказывания, допустим, о Сталине и Хрущеве. Высказывания до их смерти или смещения и после. У нас нет места приводить эти диаметрально противоположные, как будто принадлежащие совершенно разным людям суждения. Главный идеолог, проработавший всю жизнь в аппарате и сменивший Жданова, никогда не отличался принципиальностью в том, что касалось вождей. Молился лишь тому, кто был у руля, и безжалостно топтал ушедшего.

Худой, болезненного вида человек, ходивший всегда в поношенном костюме, тем не менее более других соратников ценил жизненные блага.

У Суслова было ярко выраженное «шлагбаумное» мышление: не пускать, не разрешать, не позволять, не потакать. Его побаивались не только люди среднего уровня, но и находившиеся рядом с ним. Работая с 1947 года заведующим отделом пропаганды и агитации ЦК ВКП(б), в том же году становится и секретарем Центрального Комитета. Этот человек сделал очень многое для цементирования догматизма в этечественном общественном сознании не только при Сталине, но и после него. Считаясь главным идеологом партии, он не смог за десятилетия своей аппаратной работы выдвинуть хоть сколько-нибудь запоминающуюся свежую идею или концепцию. Этот человек всю жизнь был хранителем догм сталинизма, а затем формально, отринув Сталина, не переставал всемерно способствовать консервации его старых мифов. Именно Суслов до самой смерти Сталина был одним из самых рьяных пропагандистов сталинских работ, «Краткого курса», который незаметно, несмотря на все попытки, терял свою силу.

После войны постепенно стало ясно, что этот «шедевр» исчерпал возможности идеологического стимулирования людей. Началась не просто стагнация, а широкое омертвление общественности. Сталин сделал новые инъекции с помощью своих брошюр «Марксизм и вопросы языкознания» и «Экономические проблемы социализма в СССР». Отвечая на многочисленные отклики, вызванные, в частности, первой работой, Сталин по своему обыкновению предал гласности несколько полученных им писем. В «Ответах товарищам», в частности А. Холопову, Сталин подчеркивает, что «марксизм не признает неизменных выводов и формул, обязательных для всех эпох и периодов. Марксизм является врагом всякого догматизма». Нельзя не согласиться, что марксизм, да, враждебен догматизму. Но в данном случае Сталин, естественно, отождествлял свое «учение» с марксизмом. Новые работы Сталина, которые, кстати, ему готовили крупные специалисты, а он лишь «прошелся» по ним, придавая брошюрам типично «сталинский вид», так же глубоко и безнадежно догматичны, как практически и все написанное им ранее.

Справедливости ради скажем: после Ленина Сталин был одним из тех немногих руководителей, которые обычно сами работали над своими статьями, речами, книгами. Сейчас мы не касаемся содержания сталинских книг. Правда, есть подозрения, что он в ряде случаев заимствовал идеи, положения для «Основ ленинизма», работы «К вопросам ленинизма» у других лиц. Но, повторяем, свои труды Сталин обычно писал сам. В дальнейшем эта традиция была утрачена: Хрущев, Брежнев, Черненко «озвучивали» не всегда внятно, особенно двое последних, написанное другими. В Соединенных Штатах, например, знают фамилии людей (спичрайтеров), готовящих речи президентам. В этом, видимо, нет ничего предосудительного. Но когда люди начинают издавать многочисленные тома своих сочинений, едва ли даже их прочтут?! Думаю, Брежнев, например, не

только ничего не писал сам, но и никогда не читал «своих» трудов, заключенных в обложки величественных фолиантов. Ему было неведомо (а сказать, конечно, абсолютно «некому»), что «его» многочисленные тома — письменные памятники тщеславия этой политической посредственности.

Попытка Сталина «оживить» в конце своего правления закостеневшее общественное сознание оказалась запоздалой. Судьба отвела ему для этого слишком краткий срок. Что касается работы «Марксизм и вопросы языкознания», то вокруг нее пропаганда еще успела организовать подобающий шум, появились многочисленные публикации, брошюры, циклы лекций, привлекающие внимание к неослабевающей «гениальности» Сталина. Пропагандистам, правда, было трудно вразумительно отвечать на вопрос, почему вождь на склоне лет занялся именно языкознанием, относительно узкой областью науки. Только специалисты, конечно, могли заметить, что вождь явно «промахнулся», критикуя довольно одиозные взгляды академика Марра, которые и в среде языковедов не пользовались популярностью. К тому же очень многие знали, что брошюра в значительной степени обязана труду академика Виноградова. Попытки Сталина попутно рассмотреть некоторые методологические вопросы (базис, надстройка, классовость, язык и мышление и другие) выглядят часто не просто примитивно, но и наивно. Вторжение Сталина в весьма специальную область науки не привело, как он ожидал, к заметному оживлению общественных наук, не дало желаемого импульса росту его славы как теоретика.

Более тщательно Сталин готовился к публикации своей экономической работы. И здесь он, как и в предыдущей брошюре, остался верен катехизисному принципу: вопросы и ответы. Вопросы об экономических законах, товарном производстве, законе стоимости и многие другие. Формально труд подготовлен как замечания по экономическим вопросам, связанным с ноябрьской дискуссией 1951 года и оценкой проекта учебника политэкономии, который, как мы уже упоминали, писал Д. Т. Шепилов с небольшой группой ученых. Сталин был уже стар, и небольшая книжка объемом около ста страниц, вышедшая в конце 1952 года, за несколько месяцев до его смерти, готовилась другими. Правда, больной вождь, как всегда, основательно «походил» по тексту, высказал устно пожелания анонимным для общественности авторам. Но многие положения несут отчетливую личную печать догматического мышления вождя. Например, говоря о товарном производстве при социализме и касаясь колхозного производства, он по-прежнему упорно выдавал желаемое за действительность. В этих тезисах обнаженно проступило абсолютное незнание Сталиным сельского хозяйства. Судите сами. В сталинский труд по его настоянию включен такой фрагмент: «Государство может распоряжаться лишь продукцией государственных предприятий, тогда как колхозной продукцией, как своей собственностью, распоряжаются лишь колхозы. Но колхозы не хотят отчуждать своих продуктов иначе, как в виде товаров, в обмен на которые они хотят получить нужные им товары». Разве Сталин не знал, что колхозники по-прежнему ничем не распоряжаются, что положение этого подневольного сословия, в которое превратила их сталинская аграрная политика, дошло до черты, за которой была лишь полная безысходность?

Как правило, в старом, традиционном ключе рассмотрены и многие другие вопросы политической экономии, исторического материализма. Вновь видна попытка реанимации давно высохших мумий, сопровождаемая лишь новыми ошибками или повторением давно сказанного. Правда, похоже, соавторы со Сталиным (вольно или невольно) сыграли злую шутку. Сформулированный ими «основной экономический закон социализма» почти дословно повторяет то, что более полутора десятилетий назад сказал Карл Каутский, которого так презирал Сталин за его реформизм. Каутский, как и Сталин, определял закон не через прибыль, а через максимальное удовлетворение постоянно растущих материальных и культурных потребностей общества.

Мы уже отмечали, что Сталин был плохим пророком. Большинство его предсказаний оказались неудачными. В последней своей работе вождь это вновь продемонстрировал. Раскрывая вопрос о «неизбежности войн между капиталисти-

ческими странами», Сталин, по существу, повторил тезисы, которые были актуальны и верны лишь в тридцатые годы. Состарившийся вождь застыл в своем понимании мира на уровне тех лет. Он категорически заявил, что «неизбежность войн между капиталистическими странами остается в силе», высказав попутно еще более сомнительный и ошибочный тезис о том, что вероятность войны между капиталистическими странами ныне сильнее, нежели «между лагерем капитализма и лагерем социализма».

Размышляя «по-коминтерновски», Сталин явно не понял роли движения сторонников мира: возможно, «при известном стечении обстоятельств борьба за мир разовьется кое-где в борьбу за социализм, но это будет уже не современное движение за мир, а движение за свержение капитализма». Словом, Сталин не почувствовал зарождения нового подхода к мировым делам. Возможно, ему (но ведь он «гений»!) было трудно говорить о том, что новое оружие, которым обладал теперь и Советский Союз, скоро перерастет цели, во имя которых оно создавалось. Сталин не смог в дымке грядущего увидеть рубеж, предел, границу войны, когда она перестает быть рациональным средством политики. Наверное, мы слишком многого «требуем» от Сталина. Но, повторюсь, ведь все его считали гением! А он вновь вытащил на свет окаменелые догмы, которые могли еще как-то помочь ответить на вопросы полтора десятилетия назад: остается в силе закон неизбежности войн. Вывод, который он предлагает, мог только сделать ветры «холодной войны» еще более ледяными: «Чтобы устранить неизбежность войн, нужно уничтожить империализм». Сталин остался верен себе: чтобы созидать, надо уничтожать.

Догматизм, склонный рассматривать мир и человеческое познание в статике, неизменности, а теоретические положения в вековой застылости, принес нашему обществу множество бед. В теории, социальной жизни, истории господствовал волюнтаризм. Нет, пожалуй, ни одной науки, формы общественного сознания, которые бы не подверглись догматическим деформациям.

Область истории — особая, где Сталин стремился насаждать в сознании стереотипы своего видения прошлого. Что касается истории партии, то это — «два вождя», а затем он, преемник, «Ленин сегодня». Основная задача — раскрытие особой роли Сталина в разгроме многочисленных фракций и оппозиций в индустриализации и коллективизации, построении социализма, разгроме фашизма. Постепенно в партийной истории, как об этом свидетельствуют «Краткий курс», «Биография И. В. Сталина», другие апологетические работы, рядом с вождем никому не осталось места. Даже Ленин с помощью манипуляций «личных» историков был отодвинут в сторону. История КПСС стала тенью истории свершений одного вождя. Фальсификации, умолчания, искажение истины стали рассматриваться как вполне допустимые во имя «высших интересов».

Серьезному пересмотру подверглась и история страны. О том, какого характера догматические штампы насаждались в этой области общественнознания, в определенной степени свидетельствует записка Жданова (август 1944 года) Сталину с его замечаниями и проектом варианта постановления ЦК ВКП(б) «О недостатках и ошибках в научной работе в области истории СССР». В ней Жданов подвергает резкой критике профессоров Б. Сыромятникова, А. Яковлева, Е. Тарле за то, что они нашли нечто положительное в политике ряда русских царей; считает ошибочным помещение в исторических учебниках портретов Чингисхана, Батыя, Тимура, Лжедмитрия, полагает, что присуждение Сталинской премии А. Яковлеву за труд «Холопство и холопы в Московском государстве XVII века» было ошибкой. Но как только Жданов в проекте документа подходит к характеристике царей, к которым, как он знал, благоволил Сталин, в частности И. Грозного, тон записки меняется. Об этом русском царе в записке, в частности, говорится: «Иван Грозный для своего времени был, несомненно, передовым и образованным человеком и с помощью дворян смог укрепить свою абсолютную власть. Его многочисленные пытки и казни, как и вся деятельность Грозного была прогрессивной (как проницателен автор записки! — Д. В.), способствовала убыстрению исторического процесса и превращению России в мощную цен-

трализованную державу». Такие постулаты Сталину были нужны — это было в русле его исторических параллелей и глобальных амбиций.

Абсолютизация высокой степени обобществления средств производства, других компонентов материальной жизни привела к тому, что простой труженик фактически не имел ничего; все было «общим», что основательно внедрило безличку, безответственность, полное отсутствие заинтересованности в конечных результатах трудового процесса. Обеспечение, по Сталину, могло быть достигнуто не экономическими, а лишь административными мерами. Опираясь на догматические представления, Сталин произвольно «нарезал» этапы, рубежи движения и развития. Думаю, что, поживи Сталин еще пятилетку-другую (хотя об этом страшно и подумать!), он бы, наверное, объявил о построении коммунистического общества точно так же, как им было провозглашено полное построение социализма. Его представление о том, что, создав социалистический базис общества, теперь осталось лишь «доделать» надстройку, утверждало людей во мнении, что страна, где еще множество труднейших проблем, где идут кровавые чистки, где все равны в бедности, где все зацентрализовано, — это и есть тот идеал, к которому стремились большевики. Такими утверждениями невольно формировались извращенные взгляды на социализм. Сталин возвел в закон норму опережения спроса населения по сравнению с производством, дав тем самым понять, что постоянные дефицит и нехватки самого элементарного — закономерность социализма. Догматические взгляды в области права были связаны с упрощенным пониманием существа законности. По Сталину, это лишь неотвратимость кары, подавления, наказания за любые нарушения советских законов. Вопросы правовой культуры, единства прав и обязанностей граждан, подотчетности властей народным органам власти признавались неактуальными.

В целом общественные науки вынуждены были жалко прозябать. Примитивное комментаторство не просто убило душу науки, но и резко ограничило «ареал» ее влияния. С конца тридцатых годов можно было лишь комментировать сказанное самим Сталиным. От начинающих обществоведов до академиков темы «исследований» были сходными: «Роль И. В. Сталина в развитии экономической науки»; «Значение труда И. В. Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР» для развития философской науки»; «И. В. Сталин о теории государства и права»; «Решающий вклад И. В. Сталина в развитие военной науки» и так далее. Мне удалось обнаружить в библиотеках (но это, видимо, не все), что с конца войны и до смерти вождя было написано около 550 (!) книг и брошюр на аналогичные темы. Научная мысль оказалась схваченной обручем примитивного догматизма и канализированной лишь в направлении разъяснения, славословия, раскрытия значимости идей единственного Творца. Только можно предполагать, сколько зачахло, засохло, погибло настоящих талантов, не имевших возможности во весь голос заявить о себе новыми концепциями, идеями, книгами, открытиями! Оковы догматизма были свинцовыми и придавили слишком многих. Мы еще не знаем объема ущерба, который причинен сталинизмом интеллектуальному потенциалу общества.

Большой вред был нанесен естественным наукам и технике. Задержано на много лет развитие генетики, и просто предана остракизму кибернетика. Дело в том, что при оценке новых сфер и новых идей в области естествознания к ним также подходили с вульгарно политических позиций, а то и просто явно невежественных. Поиск в Отечестве «космополитов» еще больше обрекал науку на изоляцию, догматическое омертвление. Статьи типа «Космополитизм на службе империалистической реакции» («Известия», 18 апреля 1950 года) отбивали какую-либо охоту к поддержанию научных контактов с зарубежными исследовательскими центрами. Упоминание в научном иностранном журнале фамилии советского ученого или приглашение его на международный конгресс было делом небезопасным и занимало умы людей на верхних этажах власти. Все это не только носило в науку полицейские мотивы, но и усиленно охраняло догматизм.

Попытки механического перенесения сталинских формул «диалектики» на вопросы развития биологии, как это прекрасно показал, например, В. Д. Дудин-

цев в своих «Белых одеждах», было равносильно самоубийству науки. Но если точнее, это было не самоубийство, а покушение на убийство. Если бы так продолжалось еще пять или более лет, наука, большая наука, рисковала откатиться намного дальше.

В тех условиях, уловив прагматическое требование Сталина — «в науке нужен немедленный практический результат», — быстро выплыли на поверхность люди типа Т. Д. Лысенко. В печати тогда появлялись разгромные публикации, бичующие «раболопствующих» советских морганистов. Например, в статье «Реакционная сущность вейсманизма» доктор биологических наук И. Глущенко поносил советских ученых-генетиков Дубинина, Филипченко, Кольцова, Серебровского и пел дифирамбы академику Лысенко, показавшему в своем докладе «О положении в биологической науке» «убогую практическую деятельность» отечественных морганистов. Для Сталина точные науки, будучи за множеством печатей, оставались, по существу, областью алхимии, чем-то загадочно-таинственным, что связано с постижением нового. Но ему казалось, что в науке главное — организация. Он часто скептически смотрел на те или иные сообщения о научных достижениях и открытиях, если они были ему непонятны. Вождь верил, что научное творчество возможно и в лагерях ГУЛАГа. Те же ученые, которые казались Сталину опасными и не были способны к переходу на догматические рельсы сталинизма, безжалостно уничтожались или ссылались в бесчисленные лагеря. Это сотни талантливых людей, и среди них: А. К. Гастев, Н. И. Вавилов, Н. А. Невский, Н. П. Горбунов, И. А. Теодорович, О. А. Ерманский, А. И. Муралов, Н. К. Кольцов, Н. М. Тулайков, Г. А. Надсон, А. Н. Туполев, В. М. Мясищев, В. М. Петляков, С. П. Королев, И. Т. Клейменов и многие другие.

Ученые, которым сохранили жизнь, работали в особых учреждениях, лагерных лабораториях, которые находились под наблюдением 4-го спецотдела МВД СССР. Здесь Сталин к науке подходил с сугубо прагматических позиций — его уже мало интересовали мировоззрение и политические взгляды осужденных. Важно, чтобы был быстрый результат. А когда он достигался, Сталин иногда даже проявлял «милосердие» — сокращал сроки отсидки, а порой даже распорядился освобождать из-под стражи. Органы систематически докладывали Сталину о результатах работы ученых в неволе. Вот несколько таких сообщений:

«Товарищу Сталину И. В.

Группа заключенных специалистов 4-го спецотдела МВД под руководством заключенного специалиста профессора Стаховича К. И. и профессора Винблат А. Ю., инженера Тэйфель Г. К. продолжительное время работает над созданием отечественного турбовинтового двигателя. Основываясь на результатах своих теоретических исследований, группа выдвигает предложение по созданию двигателя «ТРД-7Б». Прошу рассмотреть проект решения Совета Министров. 18 мая 1946 года.

С. Круглов».

«Товарищу Сталину И. В.

Заключенным специалистом А. С. Абрамсоном (осужден на 10 лет) в 1947 году предложена новая, оригинальная система экономичного карбюратора для автомобильных двигателей. Испытания на ЗИС-150 дали экономию горючего 10,9%... Предлагается сократить срок наказания на 2 года Абрамсону А. С. и инженеру-механику М. Г. Арджеванидзе и инженеру-конструктору Г. Н. Цветкову.

Прошу Вашего решения.

8 февраля 1951 года.

С. Круглов».

Сталин в обоих случаях согласился. Понимал ли он, что инженерно-техническая мысль в этих и в множестве других случаев не «опиралась» на его «лучезарные» идеи, что методологией подхода ученых, инженеров служило просто глубокое уважение к подлинному знанию, творчеству, изобретательству, не замутненным идеологической дребеденью сталинизма?

Догматическое отношение к марксизму-ленинизму не могло не затронуть и процесс изучения людьми ленинских работ. Достаточно сказать, что публикуемые статьи, брошюры, книги, посвященные основным ленинским трудам, наполовину, а то и более посвящены Сталину. Оказывается, Ленина уже нельзя понять без того, чтобы то или иное его положение не комментировалось с помощью сталинских цитат. При обучении студентов, как правило, проверялись их конспекты сталинских трудов.

Помню, в бытность курсантом Орловского танкового училища после семинара преподаватель задержал меня. Это был уже немолодой подполковник, курсанты его любили, если так можно сказать, за добродушие. Когда мы остались одни, подполковник (прошло много лет, и я, к сожалению, не помню его фамилии), подавая мой проверенный конспект первоисточников, негромко, по-отечески сказал:

— Хорошо сделал. Сразу видно, не списываешь, а сначала думаешь. Но мой совет: сталинские работы конспектируй полнее. Понимаешь, полнее! И еще. Перед фамилией Иосифа Виссарионовича не пиши сокращений типа «тов.», пиши полностью «товарищ». Ты меня понял?

— Так точно, товарищ подполковник, понял!

Вечером один мой приятель поделился со мной, что с ним и еще с некоторыми курсантами преподаватель истории КПСС провел такие же беседы. Ожидалась комиссия, и, по слухам, в соседнем училище на эту «политическую незрелость», что была в моем конспекте, здорово «обратили внимание».

Можно и сейчас еще спросить пожилых людей, чья молодость пришлось на те годы, как настойчиво изучались сталинские работы. Многие помнят сталинские труды «К вопросам ленинизма», «Об основах ленинизма» с их подзаголовками: «Метод», «Теория», «Диктатура пролетариата», «Крестьянский вопрос», «Национальный вопрос», «Стратегия и тактика», «Партия». Когда-то многие даже умилялись простоте, ясности этих примитивных догм. Учили их везде: в техникуме, училище, институте, на производстве, в партийной, комсомольской и профсоюзной организациях. Дело даже не в том, что все эти откровения до предела упрощены — каждый пишет, как может. Главное в том, что эти «мумии» догматизма, засушенные и извращенные «истины» Сталин законсервировал на десятилетия, превратил их в азбуку марксизма. Хотя уже и тогда (вот ирония судьбы!), считая себя диалектиком, он предавал анафеме «догмы» оппортунистов II Интернационала. Так и нумеровал их: «догма первая», «догма вторая», «догма третья».

Чем больше твердили сталинские «истины», тем послушнее становились люди. Застывшие догмы — одно из средств превращения людей в тех, кого китайцы называли хунвейбинами. Люди постепенно привыкали к односторонней дедукции: из одной формулы выводится другая, если нужно, то и третья. Часто искали объяснения тем или иным процессам не в жизни, а в формулах, дефинициях, извлечениях из сталинских работ. Догматизм мышления шел рука об руку с бюрократией, которая также стала неотъемлемым элементом сталинизма.

Тотальная бюрократия

Прежде чем перейти к анализу еще одного реликта сталинизма — бюрократии, хотел бы предложить читателю небольшой фрагмент из книги Николая Бердяева «Судьба России». Эту книгу русский философ заканчивал, когда уже свершилась Октябрьская социалистическая революция, когда в воздухе чувствовалось опьянение свободой для одних и страх перед «антихристом» других. Бердяев размышляет о демократии и приходит к парадоксальным во многом выводам. Позвольте привести одну пространную цитату: «Народовластие так же может лишить личность ее неотъемлемых прав, как и единовластие. Такова буржуазная демократия с ее формальным абсолютизмом принципа народовластия. Но и социальная демократия Маркса так же мало освобождает личность и так же не считается с ее автономным бытием. На одном съезде социал-демократов было высказано мнение, что пролетариат может лишить личность ее, казалось бы, не-

отъемлемых прав, например, права свободы мысли, если это будет в существенных интересах пролетариата. В этом случае пролетариат мыслим как некий абсолют, которому все должно быть принесено в жертву. Повсюду встречаем мы наследие абсолютизма, государственного и общественного, он жив не только тогда, когда царствует один, но и тогда, когда царствует большинство». Бердяев видел опасность и в тираннии большинства, а не только единовластия. Думаю, что в этих рассуждениях есть рациональное зерно: применительно к социалистической организации жизни эта опасность становится реальной, когда большинство помогает лидеру создавать внутри государства некую прослойку «исполнителей воли большинства», когда создается коллективный бюрократизм.

Ни одно государство не может обходиться без аппарата. Бюрократия же появляется там, где аппарат не зависит прямо от результатов экономического функционирования системы и где демократические методы его формирования и контроля над ним отсутствуют. Вначале казалось, что «исполнители воли большинства» не будут представлять той угрозы, которая позже появилась в реальности. Вскоре после Октябрьского вооруженного восстания В. И. Ленин, говоря о создании нового аппарата, говорил, что он «в интересах народа должен быть лишен всякого бюрократизма». Но уже ближайшие месяцы, а затем и первые годы Советской власти показали, что опасность со стороны бюрократии значительно серьезнее, чем это виделось в теории. Мы знаем, что в критические минуты Ленин, увидев в бюрократии долгосрочную угрозу новому строю, мог быть очень жестким по отношению к ней. В январе 1919 года он, например, так выражает свое отношение к одному из конкретных проявлений волокиты: «за ...бюрократическое отношение к делу, за неумение помочь голодающим рабочим репрессия будет суровая, вплоть до расстрела».

Борьба за укрепление государства, что было тогда жизненно необходимо, привела к росту аппарата. Рождались новые элементы государственной структуры, новые звенья, часто промежуточные, координирующие, связующие и так далее. Еще при Ленине аппарат стал угрожающе тратить уже значительную часть народной энергии, средств, возможностей на обеспечение собственного функционирования. Сталин если где и был специалистом в те годы, так это в области аппаратной работы. Нарком двух комиссариатов, многолетний член ЦК, различных советов, комиссий и комитетов, он, как мы уже говорили, раньше других почувствовал сильные и слабые стороны административных и партийных структур.

Уже в качестве генсека Сталин поручил аппарату разработать классификацию должностей в наркоматах, которые со временем образуют пресловутую бюрократическую номенклатуру. По его указанию, например, управляющий делами Наркомата национальностей Брезановский в феврале 1923 года подготовил документ «Разбивка должностей в структуре аппарата НКН в постепенной градации». Все должности поделены на четыре группы (руководители дела национальных проблем, руководители административно-хозяйственного дела комиссариата, руководители политико-научно-просветительной работы, руководители литературно-научного издательства). В градации указана квалификация: партийный работник наивысшей и высшей квалификации, средней, низкой; указано, какие должности (а их оказалось всего две-три) могут исполнять беспартийные. После одобрения Сталиным «градация» четко разделила разросшийся аппарат на несколько уровней (подобно царским чиновникам многих классов), отсекая и без того слабые связи наркомата с реальными проблемами народностей. По сути, с самого начала своей деятельности в должности генсека Сталин приступил к формированию огромной, всеохватывающей армии чиновников.

К великому сожалению, в этот момент партия оказалась не на высоте. Она сама стала первой жертвой и инструментом тотального администрирования. Утрата ленинских демократических начал этой общественной организации ускорила бюрократизацию общества. Партия не смогла противостоять цезаристским наклонностям вождя, постепенно она превратилась в орудие единодержца. Об этом тяжело писать, но это так. Если бы было иначе, мы бы сегодня не говорили об обновлении и перестройке. Партии сегодня надо вновь завоевывать дове-

рие, искать новые, демократические пути возвращения своего влияния, создавать условия для расширения реального социалистического плюрализма. Уроки прошлого должны многому научить партию. Ведь именно в двадцатые—тридцатые годы она должна была воздвигнуть баррикады на пути диктатора, но этого не сделала.

Сталин сконцентрировал в своих руках особую власть: генеральный секретарь, член Политбюро, член Оргбюро. Он стал Большим Мастером аппарата. Это не без его участия скоро «отладились» действия, которые со временем станут классическими в советской бюрократии, — бесчисленные отчеты, доклады с мест, «спускание» директив и указаний, создание кадровой номенклатуры и концентрация назначений в центре, усиление засекреченности самых различных сфер деятельности, которая со временем дойдет до абсурда, попытки решать возникающие проблемы созданием все новых и новых ведомств, формирование нескольких уровней и слоев контрольных механизмов, расширение функций подавления соответствующих органов пролетарской диктатуры и так далее. Сталин раньше других стал «профессором бюрократии». Даже в обыденном понимании он рано усвоил обычную уловку бюрократов — их недоступность. Хотя еще в 1922 году Пленумом ЦК были определены дни и часы, когда генсек должен принимать просителей, Сталин быстро забросил это малоинтересное для него занятие. Вот пример. Енукидзе получает письмо от одной из сотрудниц центрального аппарата, Малиновской (инициалов в документе нет. — Д. В.), уволенной со службы. Она пишет:

«Авель Сафронович!

...Я, снятый со службы человек... у всех под подозрением. Кто меня знает, в отъезде: Серебряков, Семашко, Рыжов. К тов. Сталину нельзя проникнуть (разрядка моя. — Д. В.). Помогите мне, Авель Сафронович, выйти из этого невыносимого положения, я не подведу Вас...

Малиновская.

Мой телефон 2-66-93.

19.XII. 24 год».

Это, конечно, лишь одна грань бюрократии, далеко не главная, но закрытость, недоступность, божественная удаленность Сталина от людей началась еще в те далекие годы. Можно даже сказать, что он, тот, каким мы его знаем сегодня, в огромной степени есть порождение бюрократии, ее зловещий плод. Ей был нужен вождь типа Сталина, а ему — железная бюрократическая машина.

Ленин, будучи уже больным, рядом своих распоряжений, особенно последними своими письмами, пытался начать широкую борьбу с засильем бюрократии, которая в апогее единовластия Сталина окажется тотальной. Он увидел опасность не только в ее количественном росте (по отношению к ней он не стеснялся в выражениях — «чиновничья саранча», «бюрократическая крыса»), а прежде всего в подмене аппаратом народовластия. Какие Ленин видел пути блокирования и ограничения влияния бюрократии?

Он многое связывал с социальным составом управленческого аппарата, настаивая на усилении рабочей и крестьянской прослойки. Но мы сегодня знаем, что это могло быть только начальной мерой, которая совсем не является панацеей. Вся наша нынешняя бюрократия, например, «плоть от плоти своего народа», в ней нет представителей эксплуататорских классов, лиц, как бы сказали раньше, внушающих опасения по своему социальному происхождению. Ленин возлагал надежды и на чистку партии, особенно тех ее членов, которые «не только не умеют бороться с волокитой и взяткой, но мешают с ними бороться». Можно себе представить, в какой ужас пришел бы Ленин, если бы ему сказали, что через шесть-семь десятилетий в Союзе республик, который он создал, будут явления, подобные рашидовщине, чурбановщине, кунаевщине, и многие другие, достойные апофеоза бюрократического чудовища. Актуальность чистоты аппаратных рядов остается всегда, но и не это основное. Главную ставку Ленин делал на обеспечение подлинного народовластия, на реальное участие людей труда в уп-

равлении государством, контроле за исполнительной властью, на подлинную гласность, на повышение общей культуры всего народа. Не народ должен зависеть от аппарата, а, наоборот, аппарат от народа. Ленин с горечью писал: «Законов написано сколько угодно! Почему же нет успеха в этой борьбе? Потому, что нельзя ее сделать одной пропагандой, а можно завершить, только если сама народная масса помогает». Все это верно. Но, думается, с высоты сегодняшних знаний и опыта мы должны сказать, что и этого недостаточно.

Условно говоря, во второй половине двадцатых годов возникли и существовали две альтернативные концепции. Одна (ее олицетворял Бухарин) исходила из достаточно умеренных темпов развития (как индустриализации, так и кооперирования) и вторая — делавшая ставку на беспрецедентный скачок в промышленности и сельском хозяйстве. В лице Сталина эта альтернатива нашла наиболее полное выражение. Осуществить такой скачок едва ли было возможно, опираясь лишь на экономические методы. Здесь необходимы были административно-силовые приемы, которые с неизбежностью рождались, насаждались, упрочивались широким бюрократическим слоем. Поскольку решение этих задач предполагалось осуществить главным образом за счет крестьянства, насилие было предопределено, как бы запрограммировано. Можно предполагать, что какие-то административные меры (разумеется, не репрессии!) в качестве кратковременной меры допустимы. Сталин не мог не знать, что и Ленин писал: «Величайшая ошибка думать, что н э п положил конец террору. Мы еще вернемся к террору и к террору экономическому».

Подчеркиваю, я рассматриваю возможности, а не выражаю свое согласие с подобным вариантом. Однако Сталин, безжалостно словив сопротивление своих оппонентов, сделал ставку на силовую альтернативу, которая уже автоматически начала быстро создавать бюрократическую систему. Ставка на внеэкономическое принуждение родила целое сословие, которое прямо не зависело от количества и качества продукции, но в огромной мере — от политических установок. Бюрократия также автоматически выдвинула на первый план идеологические и политические рычаги воздействия на массы и лишь где-то на второй-третий план — экономические. Социализм быстро утратил даже слабые черты демократического облика.

Надо сказать, что многие лидеры большевиков с самого начала ориентировались на диктатуру без демократии. Л. Троцкий в 1922 году писал, что «если бы русская революция, при избытке социальных отношений внутри, при крутых и всегда опасных переменах извне, связала себя путями буржуазного демократизма, она давно бы уже лежала на большой дороге, с перерезанным горлом». О социалистической демократии он пока и не говорит, считая, что ее можно осуществлять, лишь когда пожар революции перекинется и на другие страны. Поэтому, продолжает Троцкий, «когда мы расстреливаем врагов, мы не говорим, что это поют эоловы арфы демократии. Честная революционная политика прежде всего исключает пускание массам пыли в глаза». У большевиков, «замешанных» на идее диктатуры пролетариата (прийти к власти тогда иначе, возможно, было и нельзя), существовала популярная установка на силовое разрешение чрезвычайно сложных проблем. Радикализм был визитной карточкой революционности. К великому несчастью для русской революции, история остановила вопреки воле Ленина и интересам будущего свой выбор на Сталине — идеальной кандидатуре певца и творца бюрократии и террора.

Ограниченность и слабость борьбы с бюрократизмом в двадцатые годы объяснялись не только узостью этой программы, но и поверхностным пониманием ее сути. Впрочем, в обыденном сознании и до наших дней под бюрократизмом понимаются лишь волокита, казенщина, формализм, бумаготворчество, канцелярищина. А тогда бюрократизм понимали именно так даже многие вожди революции. Л. Троцкий, выступая на III Всесоюзном совещании рабселькоров 28 мая 1926 года, вначале как будто излагает верную посылку: «Бюрократизм у нас есть, и жестокий. Вытекает он из некультурности, вытекает он из неумелости, из целого ряда исторических и политических причин». А затем сводит его к доста-

точно узкому феномену угодничества, приспособленчества, консерватизма традиций и так далее. Все это так, но глубинная суть бюрократизма — подмена народовластия всесилием аппарата, который становится неподконтрольным массам — не раскрывается.

Коренная особенность бюрократизма сталинского типа заключается в том, что он становится тотальным. В чем это выражается? По его неписаным законам начинают действовать все государственные, партийные, судебные органы, общественные организации. Бюрократия их как бы синтезирует в нечто общее, вязкое, всепроникающее, цепкое, неуязвимое. Пути бюрократии пеленают все. Каждый орган, элемент системы, отдельный человек могли делать лишь то, что предписано, разрешено, указано. В этой системе господствуют власть указаний, директивы, постановления; она несет угрозу кары, наказания, осуждения, остракизма; поощряет самоотверженных исполнителей и бдительных чиновников; в конце концов все это принимает вид коллективной бюрократии. Тотальная бюрократия независима от экономической целесообразности. Ее культ во всесильности аппарата.

Еще до недавнего времени у нас было так: плохо со снабжением овощами — создается министерство овощепродуктов. В печати появилось несколько критических замечаний о плохой упаковке продуктов, промышленных товаров — создали НИИтары. Ухудшилось качество промышленной продукции — создали над заводским ОТК целую систему государственного контроля. Чем больше издаются постановления о сокращении управленческого аппарата, тем он быстрее растет. Ведь с административной системой бороться административными методами бесполезно. Без включения в эту терапию экономических, социальных и политических методов вылечиться от бюрократии нельзя, тем более что она исключительно многолика: от бесчисленных званий, степеней, чинов, рангов до загадочной иерархии высших эшелонов, где часто за необъятной коллегиальностью невозможно найти конкретного ответчика. Сталин отлаживал эту систему долго, тщательно, настойчиво, жестоко.

Надо сказать, что бюрократическая система, постепенно формируясь, воспитывала в духе своих канонов все общество. Люди стали ее частью. Более того, они привыкали к ней, и многие по сей день видят в ней наличие «преимущества» социализма. Вопрос этот непрост. Было бы неверным отрицать многое, что достигнуто обществом в социальной, культурной жизни страны, — всеобщая занятость, гарантированное социальное обеспечение, хотя и на очень низком уровне, всеобщее образование довольно невысокого качества, приобщение широких масс к азам, основам духовной культуры, бесплатное, но и малоудовлетворительное медицинское обеспечение, низкие цены на предметы первой необходимости, исключительно невысокая стоимость за проживание в малоудобных государственных квартирах, по сути, бесплатное (символическая оплата) содержание детей в пионерских лагерях, детских садах и яслях, целый ряд других существенных социальных завоеваний советского народа. Очень большой популярностью в народе пользовались акции правительства по снижению цен на продовольственные и промышленные товары. Пусть все это обеспечивало жизнь людям чуть выше уровня всеобщей бедности, но сама тенденция постепенного, но неуклонного продвижения вперед вдохновляла их.

Мне совсем не хочется объяснить это «успехами» сталинского руководства. Просто самоотверженный, тяжелый труд советских людей не мог не давать определенных плодов. В обществе не было широкой и всепроникающей коррупции, морального разложения значительных групп руководителей, что во весь голос заявило о себе через два-три десятилетия после смерти Сталина. Общая атмосфера была такой, что могло сложиться впечатление наличия нравственного здоровья и социального благополучия общества. Тотальный бюрократический «порядок» как бы устраивал и широкие массы населения. По нескольким причинам. В сталинское время выросло уже несколько поколений. Они не знали «другого» социализма, как и не знали из-за прочного идеологического занавеса реальной картины жизни в «том» мире. Подавляющее число людей искренне верило в беспро-

светность жизни рабочих в капиталистическом мире, их «относительное» и «абсолютное» обнищание, тюремные нравы в государствах Запада, полное превосходство СССР по большинству параметров над «свободным миром». Такое представление было устойчивым.

Нельзя не сказать, что тотальный бюрократизм для людей, которых не воспитывали в духе свободомыслия, правды и открытости, по-своему удобен. Да, именно удобен: в жизни все расписано, определено, установлено. От работы, твердого заработка до того, по какому поводу выражать восторг и восхищение, когда и что сеять, какой рапорт готовить «наверх». Система заботилась обо всем: давала окончательную оценку тому или иному произведению, фактам истории и современности, твердо говорила, что хорошо и что плохо, с самого начала знала, какое решение, форум, выступление вождя являлись историческими. Обеспечивалось в значительной мере уравнильное распределение. Тотальный бюрократизм удобен для исполнителей, «винтиков», как удобен и для руководства всех уровней. Система способствовала формированию уравнильного элементарного мировоззрения. Расширение роли общественных фондов наряду со многими положительными моментами часто уравнивало людей вне зависимости от их вклада в общее дело. На первый план все больше выдвигался не конечный результат труда, а должность, положение, ставка, попадание в номенклатуру. Профессор Оксфордского университета Алекс де Жонж в своей книге «Сталин и создание Советского Союза» пишет, что диктатор создал совершенную тотальную пирамиду правления в целом: «Ни у кого не было возможности поправить своего начальника. Каждый начальник становился маленьким Сталиным по отношению к своим подчиненным. Каждый обращался плохо с теми, кто был ниже его, косил взглядом на равных себе и льстил всем, кто был выше».

Не только развитие тоталитарных тенденций и царистских традиций способствовало упрочению сталинского цезаризма, но и состояние всеобщего ослепления, укоренившейся веры в то, что социализм таким и должен быть, что подлинное грядущее процветание возможно только на этом пути. Постепенно имя Сталина стало почти мистическим: оно внушало одновременно ужас и любовь, страх и преданность, покорность и обожание. Бюрократическая машина, которая функционировала в такой атмосфере, еще больше превращала человека в незаметный «винтик».

На соображения, характеризующие эрозию человека как творца, демиурга бытия при тотальном бюрократизме, обычно высказываются возражения: был порядок, уверенность в завтрашнем дне, безусловном выполнении планов, медленном, но заметном росте жизненного уровня. Ну что же, можно поспорить. Бюрократическо-казарменные атрибуты бытия, связанные с постоянной угрозой карательных санкций, репрессий, способны поддерживать экономические структуры, производство, функционирование всех институтов государства на уровне утвержденных, «спущенных» планов. Думаю, что и сегодня (это просто абстрактное рассуждение), нависни над человеком, руководителем, предприятием дамоклов меч сталинской кары, план был бы безусловно выполнен. Любой ценой. Точнее, страшной ценой утраты человеческого достоинства, пребывания в атмосфере страха, молчания, слепого повиновения. Но кто сегодня согласился бы на такое?

Самым страшным порождением сталинского бюрократизма стал всемогущий аппарат карательных органов, который до XX съезда партии был, по существу, подотчетен только одному лицу. Дело даже не в насилии, которое олицетворяли, как именoval Сталин, «карательные органы», а в проникновении их во все поры, ячейки государства — политическую, экономическую, культурную, идеологическую. Благодаря Сталину многое из позитивных традиций Дзержинского было утрачено, хотя уже и тогда признаком «революционности» считалось пренебрежение законом.

Россия не была богата демократическими традициями, но в отношении традиций полицейских дело обстояло лучше. Хотя, конечно, то, что создаст Сталин, не пойдет в сравнение с «дилетантизмом» самодержавия. Но все же... Обычно

говорят: суды и законы нужны, чтобы закрепить господство правящего класса. Но думаю, что во все времена правящие классы меньше нуждались в законах, чем те, кто был бесправен и обездолен. Возможно, традиции тайной полиции в России восходят к моменту создания Николаем I Третьего отделения его канцелярии, которому подчинялся корпус жандармов. С тех пор во весь голос заявила о себе и политическая цензура. Хотя и при ее наличии подавляющее большинство книг из-за рубежа доходило до читателей беспрепятственно. Правовая основа преследования инакомыслящих была создана в 1845 году специальным Уложением, в котором говорилось о преступлениях государственных и против порядка управления. В нем, в частности в статьях 267 и 274, излагалось:

«За составление и распространение письменных или печатных сочинений и за произнесение публично речей, в коих, хотя и без прямого и явного возбуждения к восстанию против Верховной Власти, усиливаются оспаривать или подвергать сомнению неприкосновенность прав ее, или же дерзостно порицать установленный законами образ правления, или порядок наследования Престола, виновные в том подвергаются: лишению всех прав состояния и ссылке в каторжную работу на заводах на время от четырех до шести лет».

Интересно сопоставить: через восемьдесят лет, уже после смерти Ленина, в Уголовном кодексе РСФСР 1926 года было записано:

«Пропаганда и агитация, содержащие призывы к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти... а равно распространение или изготовление или хранение литературы того же содержания, влекут за собою лишение свободы со строгой изоляцией на срок не ниже шести месяцев». Почти те же идеи, за исключением неизвестных во времена Николая I слов «пропаганда», «агитация» и довольно гуттаперчевых — «не ниже шести месяцев».

Самодержавная власть уделяла главное внимание армии и полиции, хотя по нынешним меркам численность карательного аппарата была небольшой. В 1895 году, например, департамент полиции имел 161 служащего, корпус жандармов около десяти тысяч человек и несколько десятков тысяч полицейских. Но власти давали полиции, особенно политической, весьма большие права. Как писал глава департамента полиции (1902—1905 годы) А. А. Лопухин, «население России ставилось в зависимость от личного усмотрения чинов политической полиции». Виновность часто устанавливалась на основании субъективных мнений полицейских чиновников. Самодержавие широко практиковало ссылку неугодных, отладило институт каторги. Например, на пороге XX века в Сибири было около 300 тысяч ссыльных разных категорий и около 11 тысяч заключенных, приговоренных к каторжным работам. Правда, лишь пять — десять процентов ссыльных и каторжных были «политическими». Значительная часть ссыльных (ввиду мягкости режима), иногда до половины, «отсутствовала», то есть находилась в бегах.

Полицейский режим, хотя и был достаточно широким, не был чрезмерно жестким (например, выезд за границу был делом весьма свободным). Для поездки за границу нужно было лишь написать заявление местному губернатору и внести небольшую сумму пошлины. В 1900 году, например, около 200 тысяч русских провели по несколько месяцев за рубежом. Поэтому нет ничего удивительного в том, что главные ниспровергатели царизма находились за рубежом. Многие из них хорошо знали слабости департамента полиции и при формировании после революции новой системы безопасности пошли гораздо дальше в деле ужесточения порядка и правил, определяющих лояльность конкретного лица к Советскому государству.

Таким образом, революционная партия, придя к власти, располагала слабыми демократическими традициями, которые стали бы препятствием быстрому росту бюрократии, однако имела перед глазами полицейский опыт царского самодержавия, которое она низвергла. Поэтому неудивительно, что уже вскоре после Октября стали широко практиковаться репрессивные меры в отношении противников нового строя, меры, выходявшие за рамки революционной законности. То была страшная опасность для свободы, за которую так ожесточенно боролись большевики. Незаметно, исподволь расчищалась тропа для будущего Цезаря.

В архиве М. И. Калинина сохранилась выписка из Протокола Политбюро № 110 от 9 марта 1922 года. Уншлихт докладывал по вопросу борьбы с бандитизмом. Заслушав, Политбюро постановило:

«Принять следующее предложение Уншлихта: предоставить ГПУ право непосредственной расправы (разрядка моя.— Д. В.) а) с лицами, уличенными в вооруженных грабежах, уголовниками, рецидивистами, пойманными с оружием; б) ссылки в Архангельск и заключение в Архангельске подпольщиков-анархистов и левых эсеров...

Секретарь ЦК Молотов».

Расправа без суда... Дальше — больше и больше.

Прочтите, например, такой документ:

«Москва, В. Лубянка 2

№ 243 511

Секретарю ЦИК СССР тов. Енукидзе

ОГПУ просит разрешения на внесудебный приговор (разрядка моя. — Д. В.)

1. Дело Бабина М. И., он же Рубин — меньшевик правой группировки «Зарист», обвиняемый по 62 ст. Уголовного кодекса.

2. Дело Абрикосовой и других, в числе 56 человек, обвиняемых по ст. ст. 61, 66 и 68 Уг. кодекса — крупная шпионско-фашистская организация.

Личный доклад по обоим делам сделает зам. нач. СООГПУ тов. Андреева. 5.IV.1924 г.

Ягода.

Дерibas».

Ниже приписка: «Прокурор Караньян возражает по второму делу. Ягода». Тогда еще можно было возражать...

Беззаконие, которое, видимо, можно понять в контексте революции, гражданской войны, не было искоренено, несмотря на усилия Ленина, а после его смерти стало едва ли не обычным атрибутом нового образа жизни, достаточно лишь было выдвинуть обвинение во враждебных действиях по отношению к новому строю. Бюрократия усвоила это правило жестокой игры раньше других. Постепенно новые поколения работников органов смотрели на общество, советских граждан через призму потенциальных противников строя. Такое видение давало постоянные плоды. О них редко писали в печати, но в поселке, на заводе, в институте, министерстве люди, узнав о раскрытии нового «гнезда антисоветчиков», как-то еще больше внутренне сжимались, замыкались в себе, с подозрением смотрели на окружающих, были готовы поддержать любую новую «установку», «линию» руководства. Потенциальная, а часто и реальная, угроза кары духовно лечила людей.

Сталину шло множество докладов о политических настроениях, о наблюдениях за подозрительными элементами, о выявлении новых антисоветских групп. Вот, например, извлечения из одного такого донесения «Антисоветские группы среди интеллигенции и молодежи», которое легло Сталину на стол вскоре после окончания войны:

1) Дело антисоветской группы инженерно-технических работников НКПС в Москве: Д. Д. Терембецкий, В. Д. Бирюков, С. А. Бабенков... (следует еще ряд фамилий. — Д. В.). Осуществляли антисоветские высказывания. Группа ставила задачу в момент подхода гитлеровских войск поднять восстание. Дело находится в Особом Совещании.

2) Антисоветская группа студентов московских вузов (5 человек), в т. ч. Медведский Л. А. — студент химико-технического института; Вильямс Н. И. — сын академика Вильямса, МГУ; студент Гастев Ю. А. — сын врага народа, троцкиста Гастева А. К. Мать и родной брат репрессированы, — тоже студент МГУ и др. Ведут антисоветские разговоры. Изъяты у членов группы стихи антисоветского содержания.

3)

4) Антисоветская группа средней школы станица Старо-Михайловская Краснодарского края в составе: Ковда Б. А., бывший учащийся. Находился на окку-

пированной территории; Духно Р. Н., учащийся 9 класса; Богва Н. Г. — учащийся 9 класса. Создали что-то вроде кружка «борьбы за справедливость». Поддерживались антисоветски настроенными учителями Якович С. М. и Яровым Д. К. Следствие продолжается.

Далее следует перечисление еще не одного десятка подобных «антисоветских групп». Если в 15—16-летних школьниках, чей романтический и патриотический порыв свободы духа еще не был погашен, увидели угрозу строю, то что говорить о других «группах». Сталинский бюрократизм, повторяем, не мог обходиться без жертв.

Многие вопросы, которые, казалось бы, являются сферой политики и идеологии, тоже были полностью отданы на откуп ведомствам, которые для Сталина теперь были, очевидно, важнее, чем партия. Вот еще один документ:

«8 сентября 1945 г.

Товарищу Сталину И. В.

Мавзолей В. И. Ленина полностью готов для допуска посетителей... При этом представляем на Ваше утверждение проект распоряжения Совнаркома СССР об открытии мавзолея В. И. Ленина с воскресенья 16 сентября 1945 года.

Л. Берия,

В. Меркулов».

Тело Ленина, доставленное из Тюмени, где оно находилось в годы войны, НКВД готовило для помещения в Мавзолей. Бюрократия распорядилась «заботиться» бериевскому ведомству о памяти Ленина, не снимая с него и прямых обязанностей, которые при Сталине весьма «перевыполнялись». Например:

«Товарищу Сталину И. В.

товарищу Молотову В. М.

товарищу Берия Л. П.

МВД (НКВД в 1946 году было преобразовано в Министерство внутренних дел. — Д. В.) докладывает о ходе выполнения постановления ЦК ВКП(б) и Совмина № 1630 от 27 июля 1946 года о мерах по обеспечению сохранности государственного хлеба. Есть результаты: в декабре 1946 года было привлечено к уголовной ответственности 13559 человек (за один месяц! — Д. В.), то в январе 1947 года — 9928 человек...

С. Круглов».

Когда Сталин не придает значения информации, он просто в верхнем углу ставит не то галочку, не то латинское «V». Бюрократическое мышление полагает, что человеку с уникальной профессией — «любимый вождь» — интересно знать буквально все о своем народе. Круглов, достойный выученик Берии, засыпает Сталина всевозможными сообщениями: от действий «антисоветских групп», о которых мы говорили выше, до явлений святых:

«По сообщению МВД Украинской ССР в начале августа с. г. среди населения Рава-Русского района Львовской области распространились слухи о том, что одна бродячая монахиня видела явление «богоматери». Якобы облако опустилось и исчезло, а на земле остались следы крови». На вождя, атеиста, вышедшего из семинаристских кругов, это сообщение, естественно, не произвело впечатления своей явной мистификацией, но «галочки» своей он его удостоил. Это, правда, мелочи...

Государственная бюрократия, держа за колючей проволокой постоянно несколько миллионов людей (кто сейчас скажет, какой процент безвинно?!), превратила их в фактор «созидания» нового общества. Сталин был инициатором и твердым сторонником максимально широкого использования труда заключенных в социалистическом строительстве. Это для него было делом принципа. Вождь поручал строительство крупнейших промышленных объектов, дорог НКВД, МВД. Даже создание ядерного оружия было, мы помним, возложено в основном на это ведомство. Часто сроки для исполнения работ определялись такие, что они сегодня кажутся просто фантастическими. И обычно эти задания и сроки не срывались. Ведь исполнители понимали, что их жизнь в постоянном залоге «директивного» органа. Приведем одну иллюстрацию к этой мысли.

После распоряжения Сталина в июле 1945 года ускорить работы по созданию атомной бомбы были приняты экстренные меры. Затем еще дополнительные. И вот какие:

«Магадан. Начальнику Дальстроя тов. Никишову Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР 13 октября 1945 года Вам было поручено организовать работы по разведке урановых руд. Дело это является исключительно важным.

Необходимо принять все меры к тому, чтобы энергично развернуть поиски уранового сырья и уже в текущем году (разрядка моя.— Д. В.) организовать добычу руды и выпуск концентратов урана... Прошу через каждые две недели сообщать о принимаемых мерах по выполнению задания...

Л. Берия».

Мы уже упоминали, что практически все министерства заваливали МВД заявками на тысячи, десятки тысяч граждан социалистического общества, ставших, по лагерной терминологии, зэками. Заключение вносили свой вклад не только в строительство дорог, мостов, добычу угля, поставку лесоматериалов, но и в разработку урана, строительство ядерных реакторов, высотных домов, величественных гидроэлектростанций.

Никогда не забуду, как в 1952 году мне с группой комсомольских работников довелось побывать на строительстве Куйбышевской ГЭС. Масштабы стройки поражали. С верхней площадки плотины было видно, что везде копошатся, снуют, двигаются сотни людей в серых робах и бахилах. Когда проходили мимо одной из таких групп, худой длинный парень, разогнувшись, негромко, но внятно произнес, обращаясь к нам:

— Расскажите на воле, как мы трудимся на великих стройках сталинской эпохи!

Мы переглянулись, но, увидев стоявших рядом нескольких часовых, все поняли. Меня, правда, удивила выпренность слога заключенного. Но вскоре я понял, почему он так говорил. Мне в руки попала в мягком переплете книжка «Великие стройки сталинской эпохи», написанная академиками А. В. Топчиевым, Г. М. Кржижановским, А. В. Винтером, В. А. Обручевым, В. С. Немчиновым, И. А. Шаровым, другими учеными. Что верно, то верно: очень многие, если не большинство, «великие сталинские сооружения» возводили заключенные. Думаю, что эта грань тоталитарного бюрократизма особенно цинична. Но донесения подобного рода Сталин любил:

«Товарищу Сталину И. В.
товарищу Молотову В. М.
товарищу Маленкову Г. М.
товарищу Берия Л. П.
товарищу Хрущеву Н. С.

2 февраля 1951 г.

Постановлением Совета Министров от 30 июля 1949 года на Министерство Внутренних Дел СССР возложено проектирование и строительство Куйбышевской гидроэлектростанции на реке Волга с окончанием работ в 1955 году. Строительство идет по плану...

Постановлением Совета Министров от 16 августа 1950 года на МВД СССР возложено также проектирование и строительство Сталинградской гидроэлектростанции и магистрального канала для обводнения северной части Прикаспийской низменности. Ведутся большие подготовительные работы...

С. Круглов».

Сталин лаконичен: «Регулярно докладывайте о ходе работ». Не только ликующие массы трудились на этих величественных сооружениях, но и многие десятки тысяч заключенных. Это одна из самых мрачных глав в фолианте сталинской бюрократии. Но она, бюрократия, пронизавшая все поры общества, не оставила и человеческое святилище — сферу мысли. Ведомство Берии—Круглова проводило даже творческие конкурсы, которые обычно бывают турнирами талантов. Но здесь все было по-другому. Бюрократическая заданность определяла ко-

нечные результаты. Но, впрочем, прежде чем реализовать результаты конкурса, надо доложить вождю:

«20 марта 1951 г.

Товарищу Сталину

Совет Министров обязал МВД провести закрытый конкурс на архитектурное решение (оформление) Волго-Донского водного пути. Привлечены были архитектурные мастерские: Полякова Л. М., Душкина А. Н., Фомина И. И., Приймак И. И., Гидропроекта МВД.

Наиболее удачным оказался проект т. Полякова Л. М. (архитектурная мастерская № 6), который взят за основу. Гидропроект МВД (все-таки он! — Д. В.) разработал с учетом замечаний жюри новый проект. Величайшая роль товарища Сталина будет отражена постановкой монументальной скульптуры на высоком берегу Волги у входа в Волго-Донской канал. Мы намерены провести еще один закрытый конкурс на монумент.

Прошу Вашего согласия.

Министр внутренних дел СССР С. Круглов.

Главный архитектор Гидропроекта МВД Л. Поляков».

Сталин скромно соглашается с очередным монументальным увековечением своей персоны, на которое прикажет выделить несколько десятков тонн цветного металла.

Бюрократия не любит слова «права человека». Для нее они — фикция или буржуазная диверсия. Думаю, едва ли когда удастся установить точно не только число граждан Отечества, приговоренных к смерти (сколько из них безвинно?!), но и как много их погибло в лагерях.

...Я вырос в глухом селе юга Красноярского края, Ирбейского района, в Агуле. Вдали величественные сопки Саян, отроги хребтов тянутся к рекам Енисею, Кану, Агулу. Везде поистине дремучая тайга. То был край кержаков, коренных сибиряков, пришедших из западных губерний России полтора-два века назад. В тридцать седьмом или тридцать восьмом годах понаехало в наш глухой Агул военных! Затем потянулись колонны заключенных. Застонала тайга. Стали городить «зоны». За полгода выросли лагеря не только в Агуле, но и в других таежных поселках: Кессе, Пунчете, Нижне-Сахарном, Верхне-Сахарном, Соломатке. Колочая проволока, высоченные заборы, за которыми едва видны бараки, вышки для стрелков, овчарки. Скоро жители стали замечать: колонны изможденных людей идут и идут (от железной дороги более ста километров), как будто лагеря резиновые... Но поняли, в чем дело: за околицей поселков везде стали расти длиннущие рвы, куда ночами везли на дрогах или санях покрытые брезентом трупы. Много умирало от лагерных тягот. Расстреливали в тайге. Борис Францевич Крещук, живший тогда тоже в Агуле и у которого за острый язык расстреляли отца-кузнеца и старшего брата, рассказывал, как он ходил с соседскими мальчишками «шишковать» (за кедровыми орехами). Неподалеку услышал треск выстрелов.

— Ровно холст большой рвали, — говорил он. — Мы туда. Видим, как из-за кустов несколько стрелков сваливают в яму убитых зеков, человек двадцать. Мы сколько мочи оттуда. До сих пор помню, как один руками за пожухлую траву цеплялся, не убит, видно, был.

Моя мать была директором семилетней школы. К ней с разрешения начальства ходили двое заключенных, они приводили в порядок библиотеку — подклеивали обложки, что-то переплетали. Мать приносила им иногда полдюжины картофелин в «мундире» да полкрынки молока — сами жили очень трудно, особенно после того, как забрали отца, а нас заслали сюда. Поскольку мы жили в Приморском крае и сослать дальше на восток было некуда (разве что в Японию?), нас привезли на запад, в этот Агул. Учителей не было, и матери, окончившей после революции университет, разрешили учительствовать. Так вот, один заключенный, который называл себя паном Худерски, пришел этапом недавно и прожил недолго. Болен был и однажды в школу не пришел. Фамилию другого не помню (мне было десять лет), но мать с ним иногда подолгу разговаривала, когда никого близко не было. Однажды (только много позже осознал значение

увиденного) этот зек вытащил из-за пазухи тюремной фуфайки тряпицу. Быстро развязал ее и показал матери. Я был неподалеку, в низкой длинной комнате, где была библиотека, и из любопытства, поднявшись на цыпочки, заглянул через спину матери в руки зеку. Он держал небольшую фотографию на плотном картоне, какие делали раньше, с вензелем и иностранными словами внизу. Несчастный негромко сказал:

— Были мы тогда в эмиграции, в Швейцарии. Вот сидит Ленин, рядом я с женой, а это два немецких коммуниста.

Невольно с недоверием взглянул на грязного, худого мужчину с большими, полными тоски глазами: этот человек лично знал Ленина? Он что-то еще объяснял матери, бережно заворачивая в тряпицу фотографию. Еще раза два его, расконвоированного, отпускали в школу, затем и он сгинул. То ли умер (слаб был очень), то ли как тех, в лесу...

Эти детские впечатления остались навсегда. Когда я читаю строки Шекспира из его «Сонетов», мне кажется, что это о судьбе моей семьи. Но нет, не только — это о судьбе очень, очень многих людей, которых обожгло преступное беззаконие Сталина:

Когда на суд безмолвных, тайных дум
Я вызываю голоса былого,—
Утраты все приходят мне на ум
И старой болью я болею снова.
Веду я счет потерянному мной
И ужасаюсь вновь потере каждой,
И вновь плачú я дорогой ценой
За то, что я платил уже однажды!

Мать умерла еще довольно молодой вскоре после войны и своим трем детям, борясь за наше выживание, многого не рассказала. Похоронили мы ее на деревенском кладбище, недалеко от места, где закапывали заключенных. Уже тогда могилы-рвы сровняли с землей. Безымянные, немые места, свидетели долгой трагедии народа. Но молчание этих могил для нас должно звучать подобно крику. Выжило, думаю, там, где были эти лагеря, совсем немного. В семье моей, кроме отца, не вернулись из лагерей два дяди, простые крестьяне, имевшие неосторожность говорить вслух то, что многие тогда думали.

Возможно, кто-то, прочитав сейчас эти строки, злорадно скажет: «обиженный сынок», «из репрессированных», «откровенная месть». Нет и еще раз нет. Я был молодым танкистом-лейтенантом, когда умер Сталин. Думал, упадет небо. Ведь, когда забрали родных, не понимал ничего. Да и позже совсем не связывал эту трагедию с именем Сталина. Сказали: «Отец умер». Мать украдкой плакала. Но впервые я почувствовал, что «мечен», лишь в июле 1952 года. После выпускного праздничного обеда в столовой училища, со скрипящими португепями, золотом погон, собирали свои бесхитростные фибровые чемоданчики, чтобы навсегда разлететься по частям, куда мы были назначены. Перед расставанием с друзьями ко мне подошел один товарищ из того же взвода, где был и я, и, отведя в сторону, сказал:

— Поклянись, что никогда этого никому не скажешь!

— Конечно.— Удивленно и непонимающе глядел я в лицо однокашнику.

— Я три года «пас» тебя и докладывал, что ты говоришь, ну, в общем, подглядывал за тобой. Прости, отказаться не мог.

— Что же ты говорил? — все еще не придя в себя, уставился я на товарища.

— Раз ты кончил училище, да еще с отличием, значит, ничего плохого. Ну, всего тебе. Не помни лиха. Знай, могут ведь и еще,— заглянул мне в глаза собеседник.

Не называю фамилии только потому, что где-то, наверное, он трудится и сейчас, а я ведь дал слово...

Видимо, я слишком отвлекся от размышлений о сталинском бюрократизме. Но об этом хочу сказать вот почему: истории мстить бессмысленно, как и смеяться над ней. Что было, не изменить. Но ее надо знать и помнить. Например, то, что, когда моего отца не стало, ему было всего тридцать семь лет...

Знали ли в Кремле, что творилось в Агуле, Соломатке, Кессе, тысячах других мест? Знали. Очень хорошо знали. В архивном фонде Берия множество писем-криков о боли, помощи, призывах разобраться, вмешаться, посмотреть беспристрастно на дело того или иного человека. Вот одно из многих писем, которое дошло до вождя (адресовано оно было: «В ЦК ВКП(б) Сталину»). Нашелся, видно, добрый человек, вынес из лагеря и послал письмо. «Оттуда» такие послания вождю доходили очень редко. В письме есть такие строки:

«Речь будет идти о лаготделении № 14 лагеря НКВД № 283 и шахте № 26. Тяжело положение заключенных. Средневековая инквизиция показалась бы раем. Бывшие бойцы и партизаны содержатся вместе с полицией и немецкими прислужниками. Срок заключения никому не известен, и это не легче расстрела. Избивают регулярно. Ходим вшивые в каких-то лохмотьях. Кормят отвратительно, часто в пищу попадают мыши. Капусту обрабатывают конной молотилкой, при этом там падает конский помет. Конвоиры избивают заключенных. Штаты подбирают из людей свирепых...

В этом письме нет и капли лжи. Но подписаться — это сразу на каторгу».

Сталин передал письмо Маленкову, и тот набросал: «т. Берия и Чернышеву». А Берия просто расписался: «Л. Берия». Круг замкнулся. Еще никто не знает, что труднее: героизм самопожертвования в бою или долгое мученичество? Поражает и невиданное, поразительное долготерпение советских людей. Может быть, прав Гегель, утверждая, что «скорбная пассивность... цепляется за свои лишения и не противопоставляет им полноты силы». Феномен безропотности, когда Сталин и его подручные уничтожали миллионы людей, а все молчали, потрясает. Невинных людей заставляли верить в то, что они виновны. Или в крайнем случае: «Здесь ошибка конкретных людей, но не Сталина».

Бюрократия сталинского типа носит мантию беззакония. Нет, законов, указов, распоряжений было много, но большинство из них было «беззаконными». Что касалось обязанностей рядовых членов общества (да и не только рядовых), попустительства не было. А вот в отношении прав... Они не были даже на положении Золушки. Изучая документы и поражаясь апофеозу беззакония сталинской бюрократии, тем удивительнее встречать порой редкие попытки подать слабый голос протеста лиц, находящихся на высоких ступенях государственной пирамиды. Это было очень небезопасно. В личном фонде В. М. Молотова есть любопытный документ, направленный Сталину и Молотову министром юстиции СССР Н. Рычковым в мае 1947 года. Там говорится:

«В соответствии с указаниями Правительства СССР и приказом Наркома юстиции и Прокурора СССР (№ 058 от 20 марта 1940 года) оправданные (здесь и далее разрядка моя.— Д. В.) лица по делам о контрреволюционных делах не подлежат немедленному освобождению, а возвращаются в места заключения и могут быть освобождены лишь по получении от НКВД сообщений об отсутствии к тому препятствий с их стороны. Этот порядок приводит к тому, что освобожденные лица продолжают месяцами оставаться в тюрьмах.

Так, 5 апреля 1946 года военная коллегия Верховного Суда СССР по протесту Генерального прокурора СССР отменила приговор военного трибунала 89 стрелковой Таманской дивизии, по которому гражданка Литвиненко была обвинена в измене Родине и осуждена к расстрелу (приговор трибуналом Отдельной Приморской армии заменен на 10 лет лагерей). Военная Коллегия Верховного Суда СССР прекратила дело за недоказанностью преступления. 6 мая 1946 года определение направлено в СибЛАГ МВД, где содержалась заключенная. Там документ направили для согласования определения в 1-й спецотдел МВД; те — в Таврический военный округ. Дело тянется месяцы...

Таких фактов немало. Это подрывает авторитет суда. Прошу отменить приказы НКЮ СССР и Прокурора СССР № 058 от 20 марта 1940 года.

Министр юстиции СССР Н. Рычков».

Реакция Сталина неизвестна. Молотов начертал на докладной резолюцию: «Спросить тт. Горшенина, Круглова, Абакумова. В. Молотов. 17.V.47». Но

пройдет очень много времени, прежде чем «спрошенные» согласятся на отмену абсурдных решений. Однако таких проблесков в бюрократической, карательной практике сталинского бытия было очень немного. Бюрократия постепенно приучила людей верить в то, что любые действия властей разумны и верны. Подлинное право, как и правовое сознание, фактически отсутствовало. Это является одним из условий существования тотальной бюрократии. Сталин и система, которую он выпестовал, приучали людей терпеть, безмолвствовать, покоряться. Бюрократия не может господствовать без подавления воли. У лидера воля стальная, у всех остальных воля, присвоенная им, послушная. Только с этим люди, особенно в ГУЛаге, могут терпеть до конца. Сталин это понимал лучше других. И еще раз вспомним Гегеля: «Мужество выше скорбного терпения, ибо мужество, пусть даже оно окажется побежденным, предвидит эту возможность». Правда, немецкий философ не мог знать, что такое ГУЛаг, да и в России никогда не могли в самом кошмарном сне представить этот земной ад. Ведь Сталин и сталинизм за тридцать лет уничтожили людей во много раз больше, чем все русские цари за трехсотлетнюю историю Романовых. Вот к чему привела Сталина уверенность в универсальном могуществе силы. Но, как писал Поль Валери, «сила слаба тем, что верит только в силу». Не знал вождь и того, что далеко не всегда меч может быть сильнее пера. В истории не раз бывало, когда сильная, верная идея, «стекающая» с кончика пера, посрамляла меч.

Люди тогда не очень размышляли над этим. Во всяком случае, очень многие не думали и не знали всего ужаса, который скрывался за занавесом тотальной бюрократии. Наверное, и Александр Фадеев тоже ничего не знал, когда через несколько дней после смерти вождя опубликовал большую статью «Гуманизм Сталина». Только потрясение рабов или слепота нашей души могли родить слова, которые вышли тогда из-под его пера. Но эти чувства разделяли, наверное, миллионы. Сегодня же эти слова звучат как чудовищное кощунство. Талантливый писатель, чье сознание было тоже схвачено обручем сталинского догматизма, писал, что мы можем считать Сталина «величайшим из гуманистов, которых когда-либо знал мир». Фадеев утверждал в статье, что «великий и простой человек, несгибаемую силу души которого выражало его имя, добрый учитель человечества и отец народов закончил свой жизненный путь, но дело его непобедимо и бессмертно». Может быть, когда в мае 1956 года Фадеев сам лишился себя жизни, его мучила боль прозрения?

В истории нередки случаи ослепления целого народа. Крестовые походы, религиозные войны, националистический угар и фанатичная вера в цезарей истории — результат не только проявления социально-экономических и политических причин, но и затмения разума, питающегося мумиями догматизма. Но затмение не может быть вечным: когда оно проходит, то цезари в сознании умирают, хотя часто слишком медленно.

Физическая смерть пришла к Сталину раньше, чем ее ждал вождь, — здесь он мало чем отличался от большинства людей. Но политическая смерть его еще ждет — реликты сталинизма еще существуют. Смерть историческая, наверное, так и не придет — люди никогда не смогут забыть всего, что связано с его именем.

Земные боги смертны

В последние год-полтора своей жизни Сталин постепенно менял заведенный много лет назад регламент своей жизни. Старость, годы, полные борьбы, потрясения, нечеловеческая слава и воспоминания (да, воспоминания!) все больше давили на плечи вождя. Теперь все чаще случалось, что, встав, как всегда, в 11 часов дня, Сталин не ехал в Кремль, а вызывал к себе Поскребышева, сосал холодную трубку, подходил к окну и подолгу смотрел на стылую полосу свинцового неба над темной кромкой леса, на голые деревья парка, над которыми кружилась стая воронья. Как-то подумалось, что у Николая II одним из любимых увлечений была стрельба во время прогулок по воронам.

Однажды, уже после войны, вспомнив, что в «Красном Архиве» публиковались отрывки из дневников последнего русского царя, Сталин захотел их посмотреть в полном объеме.

На другой день Берия (всеми государственными архивами ведало МВД) вместе с Поскребышевым занесли в кабинет несколько десятков тетрадей в сафьяновом переплете. Сталин, перебросившись о чем-то по-грузински с Берией, отпустил вошедших и начал медленно листать тетради. Несколько раз углубившись в чтение, затем ускорил просмотр. Сталин был поражен: полсотни толстых тетрадей не содержали, на его взгляд, ничего интересного. Самодержец, похоже, больше ценил саму идею постоянства записей (за 36 лет не выпал ни один день!), чем их содержание. Погода, беседы, миллиард, чтение, именины, приемы, отношения с Аликс, охота... Вот, пожалуй, об охоте больше, чем о чем-либо. Тетрадь, датированная 1895 годом, подытоживает охотничью удачу царя: «За все время убито мною 3 зубра, 28 оленей, 3 козы, 8 кабанов, 3 лисицы = 45». Стрелять царь любил: «Гуляя и убил ворону» (8 ноября 1904 года). Император на воронах оттачивал глаз, бил метку. Сталин еще быстрее стал перелистывать тетради — везде одно и то же. Не везло России с царями, мог подумать первый консул, — не туда стреляли.

Что будут говорить о нем после его смерти? Люди любят ревизовать отгоревшие жизни, не понимая, что ушедшее время изменить нельзя. Неужели кто-то найдет и у него будет что-то искать ложное, ошибочное? Нет, это невозможно. Была «Россия во мгле», стала могучей державой-победительницей. Все отлажено. Еще один-два фантастических рывка — и государство будет диктовать всем свои порядки. Цепкий неподвижный взгляд между тем улавливал, что даже в черной стае сначала одна ворона снималась с криком с ветвей, и лишь потом за ней вся стая. Везде так, подумалось, и в природе, и в обществе, и в истории. Поскребышев не раз заставлял его неподвижно стоящим у окна в столовой или сидящим в кресле кабинета, обращенным в сторону парка. О чем думал вождь, понимая, что кривая его судьбы миновала вершину и при всем своем величии он смертен, как все?

До конца своих дней Сталин в минуты размышлений нередко обращался вслух или мысленно к религиозным текстам, используя их не по существу, а как метафору, крылатое выражение, библейский афоризм. Думаю, его мысль могла бы соотносить на закате дней собственную жизнь с тем, что было сказано в Священном Писании. Трудно ему вспомнить все, но у Екклесиаста, пожалуй, верно сказано: «И меня постигнет та же участь, как и глупого: к чему же я сделался очень мудрым? И сказал я в сердце моем, что и это — суета; мудрый умирает наравне с глупым... Всеу свое время, и время всякой вещи под небом. Время рождаться, и время умирать... Все идет в одно место; все произошло из праха, и все возвратится в прах... Ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?»

Да, что будет после него? Передерутся его «соратники» или сожрет их всех его подручный в пенсне? Нужно подумать об этом по-настоящему. Но зачем такая спешка? К чему этот пессимизм? Разве он не спустился с Кавказских гор с его славой долгожителей? Все его соперники давно истлели, а он по-прежнему на самом высоком холме власти. Надо поменьше слушать этих врачей, а больше доверять народной медицине.

Вглядываясь в голые верхушки зимних берез, диктатор мог бы словами великого писателя поставить перед собой «неразрешимый разумом вопрос»: «Какой смысл имеет моя жизнь?.. Ответ должен быть не только разумен, ясен, но и верен, т. е. такой, чтобы я поверил в него всею душою, неизбежно верил бы в него, как я неизбежно верю в существование бесконечности». Толстой осуждающе говорил, что есть люди, которые видят смысл жизни в своем личном благе, но тогда «живет и действует человек только для того, чтобы благо было ему одному, чтобы все люди и даже все существа жили и действовали только для того, чтобы ему одному было хорошо». Сталин наверняка бы возмутился, если бы эти слова отнесли к нему: разве он что-нибудь, говоря о благе, желал толь-

ко для себя, разве не знают в народе, как он неприхотлив и скромн, как он безжалостно отправил на Колыму известную певицу и ее мужа-генерала, когда те решили кое-что прихватить лишнего из поверженной Германии? Разве народ не убежден в том, что в с е, что он делает, для общего блага?

Диктатор был уже давно не способен признаться даже самому себе, даже шепотом, даже мысленно, что у него есть лишь одна, вечная, непреходящая, ненасытная страсть. Нет, не к женам, не к тем немногим женщинам, связь с которыми он держал в особой тайне, не к марксистским идеям, которые так долго и тщательно препарировал, не к народу, который так обескровил (во имя его же блага!), нет. Он любил все эти тридцать лет т о л ь к о в л а с т ь, свою волю, возведенную в закон. Его воля к власти оказалась самой сильной. Ницше он знал плохо, но, наверно, был бы для немецкого философа идеальным объектом для исследования его уникальной в о л и к власти. Он и сейчас как будто чувствует ее стальные мышцы на теле огромного государства. Ну, а разве она, эта фантастическая власть, которую он мог проявить росчерком всего двух-трех слов или легким взмахом высохшей руки, разве она использовалась не для народа? Великое и постыдное славословие уже давно убедило вождя, что его ум и твердая рука ошастливливают народ. Разве не он выдвигает все новые и новые идеи улучшения «материального благосостояния» народа, укрепления мощи государства? Вот вчера, например, доложили о начале реализации еще одной его идеи:

«Товарищу Сталину И. В.

В связи с тем, что Вы, товарищ Сталин, интересовались состоянием работ по проектированию гидроэлектростанции, МВД СССР докладывает о проделанной работе. Во исполнение Вашего распоряжения ведутся широкие гидрологические, топографические, геологические изыскания на участке р. Урал от г. Уральска до Чкалова (протяженностью 500 километров). Рассматривается два варианта расположения гидроэлектростанции и плотин в районе поселков Голицын и Красный Яр. Предполагаемая годовая выработка составит 390 млн. квт/часов. Водохранилище будет емкостью от 7,7 до 11 миллиардов кубических метров. Окончательный проект задания будет готов к 1 апреля 1953 года.

11 дек. 1952 г. Министр вн. дел СССР С. Круглов».

Он, конечно, не знал, что в апреле 1953 года его уже не будет и еще один «исторический» сталинский проект не будет осуществлен. Но разве его идея плоха, когда берега множества искусственных морей, созданные по его воле, будут залиты электрическим полководьем? Правда, однажды подумалось, что этими бесчисленными рукотворными морями можно затопить всю гигантскую равнину страны, ее лучшие уголья, погрузив тысячелетнюю культуру народов в мрак миллиардов кубометров холодной воды, но он отогнал эту непрошеную мысль.

Эти утренние часы нередко уносили Сталина куда-то в мглу давно ушедшего времени. То было пиршеством его памяти. Немые расплывшиеся черно-белые кадры воспоминаний выхватывали из пропасти ушедшего отдельные лица давно исчезнувших людей: его робкой Като, суровой труженицы матери, Шаумяна, Каменева, отдавшего ему свои теплые шерстяные носки, когда они тряслись в семнадцатом году в выставших вагонах от Ачинска до Петрограда... При чем здесь носки? Неожиданно вспомнил свое первое крупное ободрение, поддержку Ленина, которые помогли ему поверить в себя. Но почему историки ничего не писали об этом? Ах, какая преступная промашка! Кто же смел утаить этот исключительный факт? Даже он в сумятице борьбы не использовал его в двадцатые годы, сражаясь с Троцким, Зиновьевым, Каменевым, Бухариным. Завтра же надо поручить Берии разыскать эти документы. Следует в очередных, готовящихся томах его сочинений еще раз напомнить людям, что Ленин выбрал его с а м; не судьба, не случай, а вождь революции.

Действительно, в истории остался незамеченным один любопытный эпизод. На дворе был декабрь 1917 года. Под натиском грозно растущих проблем эйфория революционной победы постепенно стекала с митинговых улиц Петро-

града, Москвы, множества других городов России. 23 декабря шло очередное заседание Совета народных комиссаров. Председательствовал Ленин. Присутствовали: Шляпников, Урицкий, Виноградов, Прошьян, Шлихтер, Менжинский, Аксельрод, Сталин, Петровский, Трутовский, Алгасов, Дыбенко, Бонч-Бруевич, Карелин, Луначарский, Коллонтай, Козьмин. Рассматривалось, как всегда, множество вопросов: проект декрета о Турецкой Армении, конфликт между Комиссариатом внутренних дел и Высшим советом народного хозяйства из-за Варвары Николаевны Яковлевой, о прекращении оплаты купонов, о вермишельной комиссии, об упразднении общегосударственного Комитета и передаче всего дела в руки Всероссийского союза увечных воинов и многие другие. Был и такой вопрос: «О предоставлении отпусков тов. Ленину на 3—5 дней, тов. Дыбенко на 2 дня, Прошьяну на 1 день и о замене Председателя Совета за время отсутствия тов. Ленина.

Постановили:

Отпуск разрешить. Председателем Совета Народных Комиссаров назначается т. Сталин, а заместителем его — т. Шляпников».

Сталин помнит, что он, замещая Ленина, провел два или три заседания Совета Совнаркома (тогда правительство для обсуждения бесчисленных проблем собиралось едва ли не ежедневно). Помнится, Горбунов поставил вопрос о допуске на заседание Совета корреспондента из Бюро печати, Прошьян докладывал о борьбе с саботажем Почтово-телеграфного ведомства и предлагал ввести для «почтарей» трудовую повинность; сам Сталин сделал сообщение о положении на Дону, о колебаниях в казачьей массе; по ходатайству Алгасова решали вопрос о выделении средств в сенатскую типографию, что-то, кажется, докладывал Свердлов. Как все это было давно! Но Ленин не мог же случайно оставить его вместо себя? Ведь сколько блестящих революционеров было в поле зрения вождя! Почему же этот аргумент в своей борьбе он в прошлом не использовал? Ну, да бог с ним, аргументом. Победителю теперь он нужен только для его «исторической биографии».

Сталину было трудно даже предположить, что Ленин, оставляя решением Совета народных комиссаров вместо себя Сталина, не придавал этому акту текущей работы того значения, как это могло показаться. Вождя беспокоило, что в составе Совета почти нет представителей национальных окраин; черносотенцы, бежавшие на юг, кричат все громче, что Ленин сформировал «еврейское правительство». В этих условиях его шаг, поддержанный Советом Народных Комиссаров, о временном замещении Председателя наркомом национальностей Сталиным был естественным. Но Сталин, как и во всем, что делалось в аппарате власти, видел, кроме очевидного, и потаенный смысл, выгодный ему...

Очнувшись от воспоминаний, Сталин посмотрел на вошедшего. Но это была не привычная фигура Поскребышева, которого в ноябре 1952 года по долговременному настоянию Берия Сталин согласился наконец отстранить от работы у себя, как раньше и Власика. Накануне Берия, который становился ему день ото дня все подозрительнее, что-то говорил насчет того, что, «возможно, Поскребышев связан с делом врачей и его придется проверить». Пусть проверяет. Для Сталина стало давно органической частью всей его жизни непрерывное подозрение и проверка всех, кто дает к этому хоть малейший повод. Так же, как проверяли недавно все ленинградское руководство и его выдвиженцев в Москве и других городах, как проверяли дело, связанное с Еврейским антифашистским комитетом, возглавляемое Соломоном Абрамовичем Лозовским, которого Сталин хорошо узнал за войну (он возглавлял Совинформбюро), как это возникшее недавно дело «врачей-отравителей». Слава богу, он старается обходиться без их помощи. Сколько императоров, королей, президентов, вождей в истории придворная лекарская курия незаметно отправила на тот свет! Кто скажет? Главное — не доверяться этой публике, которую наверняка обрабатывает и сам Берия.

На пороге вместо Поскребышева стоял его новый работник для поручений с папкой бумаг. Поскребышева заменить было трудно, и Сталин уже три месяца

ца не мог сделать окончательного выбора, кто сможет быть для него таким же оруженосцем, как опальный помощник.

Кивнув головой на стол, куда В. И. Малин положил папку с документами, подготовленными в его Секретариате (за ним сейчас наблюдал по его поручению сам Маленков), Сталин, не отвечая на приветствие, бросил:

— Пусть позвонит мне Маленков.

— Будет исполнено, товарищ Сталин!

Через две-три минуты в трубке звучал голос его фаворита, исторгающий наивысшую готовность выполнить любую волю вождя.

— Вечером я схожу в Большой. Проследите. Бумаг больше не присылайте, а завтра вечером вы, Хрущев, Берия... — Помолчав, добавил: — И Булганин, приезжайте ко мне.

— Хорошо, товарищ Сталин! Все прослежу, рассмотрю документы, передам ваше распоряжение указанным товарищам. Все будет сделано!

Сталин, не дослушав захлебывающейся от усердия скороговорки Маленкова, положил трубку. Предательская слабость, легкое головокружение не проходили. Хотя он всего месяц-полтора как приехал из Сочи, обычного облегчения, свежести не наступило. Рассмотрев документы, Сталин стал изучать газеты, журналы, переводы зарубежных статей и книг. Вечером он в сопровождении дюжины телохранителей отправился в Большой театр на балет «Лебединое озеро». Наверное, в двадцатый или тридцатый раз на этот спектакль. Около ложи его ждал директор, комендант театра, работник МГБ А. Т. Рыбин. Сев в угол пустынной ложи (иногда он, бывало, приглашал Молотова или Жданова), Сталин отрешенно смотрел на сцену, зная до мелочей каждый предстоящий нюанс хореографии и музыки спектакля. Не дожидаясь окончания последнего акта, уехал. Смутная тревога не покидала диктатора: усиливающаяся слабость пугала. Он не был мистиком, но всю жизнь видел эфемерные контуры личных опасностей. Сейчас чувствовал, что одна из них рядом. И, видимо, она реальна.

Двадцать восьмого, встав позже обычного, Сталин ощутил, что незаметно вошел в норму, настроение поднялось. Почитал сводки из Кореи, протоколы допросов «врачей-отравителей» М. С. Вовси, Я. Г. Этингера, Б. Б. Когана, М. Б. Когана, А. М. Гринштейна, немного погулял, а поздно вечером, как он и распорядился, на дачу приехали Маленков, Берия, Хрущев и Булганин. Долго ужинали. Переговорили (считай, решили), как всегда, уйму вопросов. Булганин подробно обрисовал военную обстановку в Корее. Сталин еще раз убедился, что ситуация там патовая, и решил назавтра посоветовать через Молотова китайцам и корейцам «торговаться» на переговорах «до последнего», но в конце концов идти на прекращение боевых действий.

Долго говорил Берия. Он чувствовал, что отношение Сталина к нему исподволь изменилось; вождь, будучи еще более хитрым человеком, чем он, кажется, заподозрил в нелояльности своего заплечных дел мастера. Поэтому Берия сегодня старался вовсю.

— Рюмин неопровержимо доказал, что вся эта братия — Вовси, Коган, Фельдман, Гринштейн, Этингер, Егоров, Василенко, Шерешевский и другие — давно уже потихоньку сокращает жизнь высшему руководящему составу. Жданов, Димитров, Щербаков, список жертв мы сейчас уточняем — дело рук этой банды. Электрокардиограмму Жданова, например, просто подменили... Скрыли имевшийся у него инфаркт, позволили ходить, работать и быстро довели до ручки... А самое главное — это все агентура еврейской буржуазно-националистической организации «Джойнт». Нити тянутся глубоко: к партийным, военным работникам. Большинство обвиняемых признались...

Сталин вспомнил, что «дело врачей» началось, собственно, с профессора В. Н. Виноградова, который во время своего последнего визита к нему в 1952 году обнаружил у него заметное ухудшение здоровья и порекомендовал максимально возможный уход от активной деятельности. Сталин пришел в бешенство. Виноградова к нему больше не допустили и вскоре арестовали. А недовольство Сталина врачами стали активно прорабатывать в МГБ, где один из следовате-

лей, Рюмин, решил сделать карьеру на этом деле. События развивались быстро. Чувствуя желание Сталина, готовили громкое дело с панорамой широкого «медицинского заговора» откровенно антисемитского характера. Наверняка был бы процесс, были бы жертвы, и, кто знает, как далеко простиралась бы эта новая кровавая жатва? Лишь неожиданная смерть Сталина не дала дойти новой трагедии до логического сталинского конца.

В тот последний вечер вождь раза два-три интересовался ходом следствия. Наконец, спросил еще раз чрезмерно услужливого в последнее время заместителя Предсовмина, курировавшего МГБ и МВД:

— А как Виноградов?

— Этот профессор, кроме своей неблагонадежности, имеет длинный язык. У себя в клинике стал делиться с одним врачом, что-де у товарища Сталина уже было несколько опасных гипертонических приступов.

— Ладно,— оборвал Берия Сталин.— Что вы думаете дальше делать? Врачи сознались? Игнатьеву скажите: если не добьется полного признания врачей, то мы его укоротим на величину головы.

— Сознаются. С помощью Тимашук, других патриотов завершаем расследование и будем просить вас разрешить провести публичный процесс.

— Готовьте! — бросил Сталин и перешел к другим делам, «югославским».

Сталин был недоволен прогнозами Берии, который еще два-три года назад утверждал, что «режим Тито скоро падет; народ и партия его не поддерживают», а вышло все наоборот. «Правда» печатала статьи: Г. Георгиу-Дежа «Югославская компартия во власти убийц и шпионов», Матьяша Ракоши «Югославские троцкисты — штурмовой отряд империализма», В. Кирсанова «Борьба югославского народа против фашистской клики Тито», В. Панкова «Книга, разоблачающая банду предателей» и многие другие, а Югославия и СКЮ только от этой недостойной брани становились крепче. Сталин уже давно понял, что здесь он здорово «промахнулся», и уже не раз выплеснул всю свою горечь на Молотова и Маленкова — его главных советчиков в этом вопросе. Был еще один, Жданов, но с мертвого что возьмешь?

Сидели до четырех утра 1 марта. К концу ночной беседы Сталин был раздражен, не скрывал своего недовольства Молотовым, Маленковым, Берией. Досталось и Хрущеву. Только по отношению к Булганину он не проронил ни слова. Все ждали, когда Хозяин поднимется, чтобы уехать. А Сталин долго говорил, что, похоже, в руководстве кое-кто считает, что старыми заслугами можно решать новые задачи. Ошибаются. Сталинские слова звучали зловеще. Его собеседники не могли не знать, что за этим раздражением вождя может стоять какой-нибудь новый замысел. Может быть, и такой: убрать всех «старых» членов Политбюро, чтобы свалить на них все свои бесчисленные прегрешения. Сталин понимал, что судьба не даст ему много времени. Но даже он не мог знать, что эта гневная тирада была в его жизни последней. Песочные часы жизни были уже почти пусты. Из сосуда вытекали последние песчинки. Оборвав свою мысль на полуслове, Сталин сухо кивнул на прощание и ушел к себе. Все молча вышли и быстро разъехались. Было еще темно. Маленков с Берией вновь сели вместе в одну машину.

Как вспоминал в беседе со мной Алексей Трофимович Рыбин, 1 марта в полдень «обслуга», как он выразился, стала беспокоиться: Сталин не появлялся, никого не вызывал, а идти к нему без вызова было нельзя. Тревога нарастала. Но в восемнадцать тридцать в кабинете у Иосифа Виссарионовича, рассказывал Рыбин, зажегся свет. Все вздохнули с облегчением. Ждали звонка: вождь не обедал, не смотрел почту, документы. Все это было необычно, странно. Но шло время, а вызова не было. Наступило двадцать часов, затем двадцать один, двадцать два часа — в помещениях Сталина полная тишина. Беспокойство достигло крайней точки. Среди помощников и охраны начались споры, нужно идти к вождю, зрели дурные предчувствия. Дежурные сотрудники — М. Старостин, В. Туков, подавальщица М. Бутусова — стали решать: кому-то надо идти.

В двадцать три часа пошел Старостин, взяв почту как предлог, если Хозяин будет недоволен нарушением установившегося порядка.

Старостин прошел несколько комнат, зажигая по пути свет, и, включив освещение в малой столовой, отпрынул, увидев на полу лежащего Сталина в пиджамных брюках и нижней рубашке. Он едва махнул рукой Старостину, но сказать ничего не смог. В глазах были ужас и мольба. На полу валялась «Правда», на столе стояла открытая бутылка «Боржоми». Видимо, Сталин лежал здесь уже давно — в столовой свет не был включен. На вызов Старостина прибежала потрясенная челядь. Несколько раз вождь, поверженный ударом и перенесенный на диван, пытался что-то произнести, но из горла вырывались лишь какие-то неясные звуки. Кровоизлияние в мозг парализовало не только речь, но скоро и сознание. Может быть, в эти минуты Сталин вспомнил о трагедии Ленина, обреченного на долгую страшную немочу?

По словам Рыбина, охрана и порученцы стали звонить в КГБ Игнатьеву. Тот не смог на это среагировать иначе, чем посоветовать звонить Берии, Маленкову. Берию нигде найти не могли, а Маленков без Берии не решался предпринять никаких мер. Один из самых могущественнейших за всю историю людей на планете в критическую минуту оказался отгороженным от элементарной медицинской помощи частокором собственных бюрократических инструкций и запретов. Вождь стал заложником своей системы. Как оказалось впоследствии, без разрешения Берии к Сталину врачей вызывать было нельзя, так было записано в одной из бесчисленных инструкций. Наконец, в одном из правительственных особняков в компании новой женщины разыскали сталинского монстра, и в три часа ночи Берия и Маленков приехали. Берия был заметен под винными парами, а Маленков зашел к умирающему Сталину в носках с новыми ботинками под мышкой, которые он снял, видимо, чтобы они не скрипели. Человек, лежащий на диване, с неповторимой профессией «вождя народов», издавал хрипы умирающего. Берия, не принимая мер к вызову врачей, тут же напустился на «обслужу»:

— Что вы паникуете? Не видите, товарищ Сталин крепко спит! Марш все отсюда и не нарушайте сон нашего вождя! Я еще разберусь с вами!

Его не очень решительно поддержал Маленков. Складывалось впечатление, убежденно говорил А. Т. Рыбин, что Сталину, который уже после инсульта лежал без помощи шесть — восемь часов, никто не собирался оказывать помощь. Похоже, что все шло по руслу, которое устраивало Берию. Выгнав охрану и прислугу и запретив им куда-либо звонить, соратники с шумом уехали. Лишь около девяти часов утра вновь приехали Берия, Маленков, а также Хрущев, а затем и другие члены Политбюро с врачами.

В своей книге дочь Сталина Светлана так описывает агонию: «В большом зале, где лежал отец, толпилась масса народу. Незнакомые врачи, впервые увидевшие больного (академик В. Н. Виноградов, много лет наблюдавший отца, сидел в тюрьме), ужасно суетились вокруг. Ставили пиявки на затылок и шею, снимали кардиограммы, делали рентген легких, медсестра беспрестанно делала какие-то уколы, один из врачей беспрерывно записывал в журнал ход болезни. Все делалось как надо. Все суетились, спасая жизнь, которую нельзя было спасти». Все были полны торжественной, печальной, государственной значимости, хотя ни у кого не возникало сомнений, что это конец. Глубокий инсульт сразил вождя. Но Берия, этот беспощадный инквизитор и коварный царедворец, то и дело подходил к врачам и громко, чтобы слышали все, спрашивал:

— Вы гарантируете жизнь товарища Сталина? Вы понимаете всю вашу ответственность за здоровье товарища Сталина? Я хочу вас предупредить...

Смертельно испуганные профессора, врачи, медсестры что-то неслышно лепетали, суетились, чувствуя, что за смертью вождя может последовать и их кончина. Берия не мог скрыть торжествующего выражения лица, на котором можно было прочесть понимание кульминации его личной судьбы.

Все в Политбюро, включая Маленкова, боялись этого выроodka. Смерть вождя сулила продолжение новых кровавых оргий. Устав от бесчисленных распоряжений, показной заботы, убедившись, что Сталин уже фактически находит-

ся по ту сторону невидимой линии, которая делит жизнь и смерть, Берия умчался на несколько часов в Кремль, оставив политическое руководство страны у смертного одра вождя. Я уже высказывал версию, что первый заместитель Председателя Совета Министров СССР Лаврентий Павлович Берия форсировал большую политическую игру, которую он задумал давно. Его срочный выезд в Кремль был связан, возможно, со стремлением изъять из сталинского сейфа документы диктатора, где могли быть, и чего боялся Берия, распоряжения в отношении и его судьбы. Сталин мог, по-видимому, оставить завещание, и в то время, когда его авторитет был огромным, едва ли бы нашлись силы, которые оспорили бы последнюю волю умершего.

Вернувшись через несколько часов, Берия, еще более уверенный в себе, откровенно диктовал свою волю подавленным соратникам. Он распорядился срочно подготовить Правительственное сообщение о болезни Сталина, опубликовать Бюллетень о ее течении. В Правительственном сообщении, переданном по радио и опубликованном в газетах, в частности, говорилось: «В ночь на 2-е марта у товарища Сталина, когда он находился в Москве в своей квартире (а был он на даче.— Д. В.), произошло кровоизлияние в мозг, захватившее важные для жизни области мозга. Товарищ Сталин потерял сознание. Развился паралич правой руки и ноги. Наступила потеря речи. Появились тяжелые нарушения деятельности сердца и дыхания... Лечение товарища Сталина проводится под постоянным наблюдением Центрального Комитета КПСС и Советского Правительства (мы упоминали выше, как Берия осуществлял «постоянное наблюдение».— Д. В.)... Тяжелая болезнь товарища Сталина повлечет за собой более или менее длительное неучастие его в руководящей деятельности».

Успели после первого бюллетеня обнародовать еще два сообщения на 2 часа и на 16 часов 5 марта. Медицинские светила А. Ф. Третьяков, И. И. Куперин, П. Е. Лукомский, Н. В. Коновалов, А. Л. Мясников, Е. М. Тареев, И. Н. Филимонов, И. С. Глазунов и другие (после не оконченного пока «дела врачей» Берия позаботился, чтобы Сталина лечили академики и профессора лишь одной национальности) не скрывали: катастрофа рядом. Зловещее шипение монстра над ухом врачей не изменило их вывода: «острые нарушения кровообращения в венечных артериях сердца с очаговыми изменениями в задней стенке сердца», «тяжелый коллапс», «состояние продолжает оставаться крайне тяжелым». Они еще не знали, что периодические расстройства мозгового кровообращения уже создали ранее множественные мелкие полости (кисты) в ткани мозга, особенно в его лобных долях. Изменения в этой сфере, как полагают сегодня специалисты, вызвали нарушения в психической сфере и наслаивались на деспотический фон характера Сталина, усугубляя и без того тиранические наклонности вождя. Но, я думаю, это может быть у многих стариков. Несмотря на чудовищную нравственную аномалию, Сталин, по моему мнению, не был человеком, которым должны заниматься психиатры. Его «болезнь» другого, социального рода,— цезаризм и тирания. Можно, пожалуй, сказать и по-другому: «больным» был не только лидер, но и все общество.

А у постели умирающего заканчивался последний акт драмы вождя, которая только через годы позволит обнажить глубину трагедии народа, связанную с жизнью этого человека. Тогда казалось, что трагедия в его смерти, а через годы поймут — в преступлениях его жизни. Несколько раз в зале появлялся его сын Василий, выкрикивавший пьяным голосом: «Сволочи, загубили отца!», здесь же стояла окаменевшая дочь, сидели в креслах, на диване уставшие от бессонницы и надвигавшейся неизвестности члены Политбюро. Ворошилов, Каганович, Хрущев и еще некоторые плакали. Берия несколько раз подходил к Сталину и громко говорил:

— Товарищ Сталин, здесь находятся все члены Политбюро, скажи нам что-нибудь!

Берия вел себя как наследник, как страшный принц гигантской империи, способный распорядиться жизнью любого ее обитателя. Тот, кому он служил, кто дал ему бесконтрольную власть, Берия уже не интересовал. Для него Ста-

лин отошел в прошлое. Берия был весь устремлен в ближайшее будущее. Конец вождя не заставил себя долго ждать. Думаю, о последних мгновениях жизни диктатора лучше всех поведала его дочь: «Агония была страшной. Она душила его у всех на глазах. В какой-то момент — не знаю, так ли на самом деле, но так казалось — очевидно, в последнюю уже минуту, он вдруг открыл глаза и обвел ими всех, кто стоял вокруг. Это был ужасный взгляд, то ли безумный, то ли гневный и полный ужаса перед смертью и перед незнакомыми лицами врачей, склонившихся над ним. Взгляд этот обошел всех в какую-то долю минуты. И тут, — это было непонятно и страшно, я до сих пор не понимаю, но не могу забыть — тут он поднял вдруг кверху левую руку (которая двигалась) и не то указал ею куда-то вверх, не то погрозил всем нам. Жест был непонятен, но угрожающ, и неизвестно, к кому и к чему он относился... В следующий момент душа, сделав последнее усилие, вырвалась из тела». Было 9 часов 50 минут 5 марта 1953 года.

Перед соратниками, сразу притихшими, застывшими перед вечным таинством смерти, лежал их властелин, кумир, судья, хозяин, благодетель и палач. Большинство испытывало одновременно и печаль, и облегчение. Ушел человек, который, кроме обожествления, постоянно внушал всем иррациональный страх. Любой из его соратников мог оказаться в его окружении лишним, как это произошло недавно с Вознесенским и Кузнецовым.

Всех подспудно сверлила мысль: оставил ли вождь завещание? Если оставил, то что в нем? Он наверняка скажет там и о людях, которым продолжать «его» дело...

Многие утирались платками, неподдельно скорбя, вглядываясь покрасневшими глазами в строгий, как-то сразу побелевший знакомый профиль. На коленях у тела, положив голову на грудь ушедшего вождя, по-бабьи редела в голос Валентина Васильевна Истомина, экономка Сталина, которая около двадцати лет заботилась о нем, сопровождала его всегда во время отдыха на юге, и даже на двух из трех международных конференциях, которые состоялись с его участием. Оцепенение, вызванное смертью земного бога, однако, быстро прошло. Вдруг все сразу как-то засуетилось, заговорили и гурьбой повалили к выходу: Политбюро надо было засесть, решать государственные дела и первым среди них наряду с похоронами — кому передавать дела, если умерший сам об этом не распорядился. Большая столовая, где Сталин часто сидел у камина или за столом, в узком кругу четырех-пяти приглашенных «соратников», сразу опустела. Отныне здесь больше никогда не будут решать вопросы, связанные с рождением нового закона, назначением министров, послов, присуждением Сталинских премий, созданием новых лагерей, строительством электростанций, выселением целых народов. Кончилась эпоха тиранического единовластия. Впрочем, тогда еще никто не мог сказать, кончилась ли? Может быть, все «дело» Сталина «завещано» Берии? Мчась в длинных черных лимузинах в Кремль, многие лица, приближенные к Сталину, не могли не допускать эту страшную мысль. Хватило ли бы окружению мужества сразу воспротивиться последней воле вождя? Едва ли. Тогда вряд ли, спустя три месяца — другое дело.

На следующий день состоялось необычное совместное заседание трех органов: Центрального Комитета, Совета Министров и Президиума Верховного Совета СССР. Никаких распоряжений Сталина на случай его смерти обнаружить не удалось. С момента болезни вождя в кабинете Генералиссимуса один раз был только Берия, после чего он приказал опечатать помещение. Нужно было решать вопрос о преемственности власти. Для демократической системы — это обычная процедура: все в соответствии с конституционными нормами. Там, где демократия была эфемерной, где в эпицентре государства был такой человек, как Сталин, это всегда неизвестность и таинственность. Вел заседание Г. М. Маленков, но решение трех органов было оговорено еще до заседания в узком кругу «окружения».

Один пост Сталина — Председателя Совмина, — было решено передать Г. М. Маленкову, который последние два-три года был заметным фаворитом

вождя. Первыми заместителями к нему определили Л. П. Берия, В. М. Молотова, Н. А. Булганина, Л. М. Кагановича. Среди других вопросов, связанных с перестановками в государственном руководстве, следует выделить такие: вновь было объединено Министерство государственной безопасности и внутренних дел. Разросшееся гигантское МВД опять возглавил Берия. Он и раньше был фактически руководителем двух министерств, а теперь, сохранив пост первого заместителя (и, видимо, буквально первого) Председателя Совмина, взял рычаги управления ведомством, которое на протяжении четверти века фактически бесконтрольно стояло над всеми другими. Берия, судя по всему, намеревался не только сохранить существовавшее при Сталине положение, но и усилить роль министерства при решении не только внутренних, но и внешнеполитических вопросов. По сути, в его руках находился аппарат, с помощью которого он мог в последующем прийти к власти. Молотов был назначен министром иностранных дел, а Булганин — военным министром. Законодательная власть претерпела также существенные персональные изменения: Н. М. Шверника, бывшего Председателя Президиума Верховного Совета, отправили «на профсоюзы», а его место занял К. Е. Ворошилов, пребывавший уже долгие годы после войны в немилоусти у вождя.

Не менее существенные изменения произошли и в высшем партийном органе. Руководящее ядро, собравшись ночью накануне этого памятного заседания, менее чем через полсутки после смерти Сталина решило по предложению Молотова, поддержанного остальными «соратниками», резко сократить Политбюро, которое после XIX съезда партии стало называться Президиумом ЦК. Сталин к концу жизни, по всей вероятности, вел дело к тому, чтобы освободиться от своих многолетних соратников — Берии, Ворошилова, Кагановича, Микояна, Молотова, Хрущева и, возможно, некоторых других. Устранить их всех сразу — это было бы «хлеще», чем в тридцатые годы. Нужно постепенно, но у него, Сталин чувствовал, было немного времени.

Изощренный ум вождя, как всегда, нашел неожиданный ход. Он предложил (конечно, в старом Политбюро все сразу согласились) увеличить состав Президиума до 25 членов и 11 кандидатов. Состав секретарей был расширен до десяти человек! Таким образом он сразу «растворил» своих старых «соратников» среди новых функционеров, на которых делал ставку в будущем. Думаю, если бы Сталина не сразил инсульт, он нашел бы повод для обвинений Молотова, Микояна, Берии, некоторых других, чтобы устранить их из руководства, попутно возложив на них вину за многое, очень многое, что, как чувствовал стареющий вождь, отягощало его исторический портрет. Но старые аппаратчики хорошо изучили вождя. Через несколько часов после его смерти они предрешили в интересах «обеспечения бесперебойного и правильного руководства» первым делом отодвинуть от главного рычага власти новоявленных выдвиженцев.

Совместное заседание утвердило предложение «ядра» — более чем в два раза сократить численность Президиума, довести его до десяти членов и четырех кандидатов. К старой «сталинской гвардии» Г. М. Маленкову, Л. П. Берии, В. М. Молотову, К. Е. Ворошилову, Н. С. Хрущеву, Л. М. Кагановичу, А. И. Микояну — были присовокуплены лишь трое: Н. А. Булганин, М. З. Сабуров и М. Г. Первухин. Некоторые деятели, мелькнув по прихоти Сталина в составе Президиума на протяжении менее чем пяти месяцев, исчезли с высокого политического небосклона, чтобы больше никогда там не появиться, — В. М. Андрианов, В. А. Малышев, Л. Г. Мельников, Н. А. Михайлов, П. К. Пономаренко, Д. И. Чесноков, А. Г. Зверев, И. Г. Кабанов, А. М. Пузанов, И. Ф. Тевосян, П. Ф. Юдин. Пока и Л. И. Брежнев тоже не удержится в этой высокой партийной обойме — его отправят, освободив от высоких постов кандидата в члены Президиума и секретаря ЦК, начальником Политуправления Военно-морского министерства.

После 1934 года официально на должность Генерального секретаря ЦК никто не избирался. Всем и без того было ясно, что первым лицом, полностью господствующей личностью в государстве, обществе, партии был Сталин. После

его смерти человека, близкого по авторитету к сталинскому, не было. Маленков, который последние годы вел по поручению вождя дела в ЦК, был назначен Предсовмина. Решили неопределенно, словно давая испытательный срок: «Признать необходимым, чтобы тов. Хрущев Н. С. сосредоточился на работе в Центральном Комитете КПСС и в связи с этим освободить его от обязанностей первого секретаря Московского комитета КПСС».

Страна, погрузившаяся в официально объявленный четырехдневный траур, не придавала значения этим тонкостям в перераспределении власти. Однако многим было ясно, что новые политические фигуры, призванные заменить Сталина, обладают лишь тенью того гигантского авторитета, каким пользовалось лицо, стоявшее три десятилетия во главе партии и народа. В те дни народ с жадностью ловил сообщения, исторгаемые хриплыми динамиками радио, как капли воды, похожие друг на друга. Восприняли спокойно и решение ЦК и Совета Министров поместить саркофаг с телом И. В. Сталина в Мавзолею на Красной площади, рядом с саркофагом В. И. Ленина, и соорудить Пантеон — памятник вечной славы великих людей Советской страны. «По окончании сооружения Пантеона перенести в него саркофаг с телом В. И. Ленина и саркофаг с телом И. В. Сталина и останки выдающихся деятелей Коммунистической партии и Советского государства, захороненных у Кремлевской стены». Все воспринималось как должное.

Языческий восточный древний обычай бальзамирования и мумифицирования владык, против чего в свое время так протестовала Н. К. Крупская и на чем настаивал Сталин, казался уже тоже естественным. Люди с годами привыкают ко многому. Даже к тому, что с ними на земле живет бог. Но что этот бог, как все смертные, умер, воспринималось с трудом. Алексей Сурков в своей статье «Великое прощание» в «Правде» описывал, как «три дня подряд, не иссякая ни утром, ни вечером, извиваясь по улицам Москвы, текла и текла живая река народной любви и скорби, вливаясь в Колонный зал». Он только не написал (да это ему и не позволили бы), что усопший вождь остался верен себе — и мертвый он не мог допустить, чтобы жертвенник был пуст: А скопление народа было столь велико, что в нескольких местах на улицах Москвы возникли ужасные давки, унесшие немало человеческих жизней.

Новый военный министр Булганин издал приказ войскам Советской Армии, где одно за другим следовали слова «великий», «гениальный», «бессмертный». В час погребения в столицах союзных республик, городах-героях и некоторых других прозвучали тридцать залпов. Маршалы Соколовский, Буденный, Говоров, Конев, Тимошенко, Малиновский, Мерецков, Богданов, генералы и адмиралы несли ордена и медали Генералиссимуса. Вся страна была в глубоком трауре. Скорбь была неподдельной. Миллионы людей не ведали, что в акте похорон они обретают начало освобождения от одной из самых страшных тираний не только XX века.

На похороны прилетели Чжоу Эньлай, Г. Георгиу-Деж, К. Готвальд, Б. Берут, М. Ракоши, О. Гротеволь, Ю. Цеденбал, В. Червенков, У. Кекконен, многие другие политические и государственные деятели со всех концов света. Человечество понимало, что ушел человек, роль которого в мировой истории непросто будет оценить. Но в те дни дипломатические представительства в Москве слали депеши в свои столицы главным образом с оценками случившегося для гигантской страны, прогнозами на будущее. Все ждали, что скажут на торжественной траурной церемонии похорон преемники Сталина. Солировала четверка: Хрущев как председатель комиссии по организации похорон (именно ему было поручено памятным заседанием «сосредоточиться на работе в ЦК»), открывший траурный митинг, Маленков, Берия и Молотов. Политические аналитики расценили, что именно эти люди — центральные фигуры в сжавшемся по составу новом руководстве.

Выступавшие, по сути, в одних и тех же словах и выражениях подчеркнули полную приверженность народа и страны сталинскому курсу. Маленков, назвав Сталина «величайшим гением человечества», выразил уверенность, что

у СССР «есть все необходимое для построения полного коммунистического общества». Берия, естественно, напомнил, что, идя сталинским путем, мы должны «неустанно повышать и оттачивать бдительность партии и народа к пронкам и козням врагов Советского государства. Теперь мы должны еще более усилить свою бдительность». Молотов через выбранный рефрен — что значит «быть верными и достойными последователями Сталина?» — пытался сформулировать главные направления дальнейшего укрепления позиций руководства внутри страны и на международной арене. Соратники буквально клялись, что все останется так, как было при Сталине. Нюансов в выступлениях лидеров страны на траурном митинге не было, если не считать, что хитрый Берия в ситуации, когда он не занял единоличного места в руководстве (я не сомневаюсь, что он вынашивал такие планы), решил оказать максимальную поддержку наиболее близкому ему человеку — Маленкову. В своем выступлении (Молотов этого не сделал) Берия заявил, что в ряду «чрезвычайно важных решений, направленных на обеспечение бесперебойного и правильного руководства всей жизнью страны» является «назначение на пост Председателя Совета Министров Союза ССР талантливого ученика Ленина и верного соратника Сталина Георгия Максимилиановича Маленкова».

После траурных церемоний тело умершего вождя внесли в Мавзолей, однако еще восемь месяцев он был закрыт для посещения — происходил процесс бальзамирования. Мумия должна была, по идее, находиться здесь века. Рядом с Лениным лежал теперь человек, который при его жизни узурпировал право на понимание и трактовку его наследия. Два тела: Ленина — в темном костюме без наград (никто не мог представить его с «иннокостасом» орденов, как одного из генсеков спустя много лет), и Сталина — с орденскими планками из платины, — притягивали взгляды людей, а история оценила и оценивает их, не оглядываясь на «суету сует». Кто мог знать, что уже 31 октября 1961 года мумия Сталина навсегда покинет Мавзолей? Проницательные люди, а они были всегда, могли вспомнить слова А. И. Герцена из письма к Александру II об Аракчееве: «Гадкий, желтый, оскорбительный на ворохе розг, окруженный трупами засеченных». Но куда Аракчееву до Сталина!

В печати, на радио неделю-другую продолжался поток соблезнований, искренних, горестных. Думаю, что даже известные своим антисоветизмом буржуазные деятели были искренни, связывая со Сталиным целую эпоху развития одного из могущественных государств, без учета позиции которого ныне нельзя было решать многие мировые проблемы. Советская печать не могла найти эпитетов, чтобы выразить роль Сталина в современной цивилизации. «Правда» писала, что его руки «лежали на руле истории человечества». Скажем, однако, что встречались иногда и материалы, за строками которых можно было прочесть и иной смысл.

Пролетарский немецкий поэт И. Бехер в своем стихотворении «Бессмертному» писал:

«Могуче задышала грудь земли,
 На ней посевы Ленина взошли.
 Сказал народ: «Смотрите, Сталин
 клятву
 Исполнил. Люди, начинайте жатву!»
 И снова Сталин в души пролил свет
 В то утро величайшей из побед,
 Погибших память чтит он, скорби
 полный,
 Среди народа — то был плач
 безмолвный».

Вечная тьма поглотила вождя. Он ушел, оплаканный удачливыми соратниками (неудачных вождь уничтожил), сопровождаемый их стенаниями и заклинаниями в верности «его делу». Внешне ничего не изменилось. Люди думали как прежде. Бюрократическая машина, вращая своими массивными шестернями, так же неумолимо исторгала директивы, указания, занималась «подготовкой, изучением и расстановкой кадров», все так же принимали приветственные письма на каждом торжественном собрании, обращенные в адрес «самых-самых». Но те же люди, которые начинали и кончали свои речи и статьи упоминанием о «гениаль-

ности» Сталина, постепенно начали менять тон. Как-то незаметно стала сползать пелена с глаз и души. Менее чем через месяц прекратили «дело врачей», а Рюмина, главного исполнителя затеи Берии, как было принято и раньше, расстреляли. Прошло совсем немного времени, и осмелевшие соратники провели «дворцовую операцию» по устранению, а затем и ликвидации Берии. Через год после смерти Сталина определением военной коллегии Верховного Суда СССР под председательством Чепцова было прекращено «ленинградское дело» как «сфабрикованное бывшим министром Госбезопасности СССР и его сообщниками». А. А. Вознесенский, Н. А. Вознесенский, М. А. Вознесенская и десятки их «подельцев», сложившие головы по воле умершего в марте 1953 года сатрапа, были реабилитированы. В следующем году уже «Правда» сообщила, что на открытом заседании Военной коллегии в Ленинграде лица, виновные в фальсификации «ленинградского дела», В. С. Абакумов, А. Г. Леонов, В. И. Комаров, М. Т. Лихачев, были приговорены к высшей мере уголовного наказания — расстрелу, а другие — к тюремному заключению на различные сроки.

То, что казалось незыблемым, застывшим, вечным, монолитным, еще до официального осуждения культа личности начало расплываться, таять, подвергаться незаметной эрозии, исчезать. Старая, как мир, истина, которую лаконично сформулировал Томас Манн: прижизненная слава — вещь сомнительная, — быстро стала находить свое подтверждение.

Сталин умер, миновав апогей своей славы и величия. Смерть вождя совпала с нарастанием глубокого кризиса советского общества. Система застыла: все форумы, съезды, слеты носили формальный характер, ибо их итог заранее был определен диктатором. Идеология принизила культуру до роли имитатора послушного «воспитателя». Все заметнее, несмотря на прорыв в ядерной области, накапливалось широкое техническое отставание от Запада. Сельское хозяйство все больше деградировало. Обществоведение занималось комбинированием цитат. Естественные и технические науки подпали под влиянием процессов мракобесия, подобных лысенковщине и походу против кибернетики и генетики. Бюрократическая система контролировала в обществе почти все. Хотя официальная пропаганда непрерывно говорила о новых и новых триумфах «сталинской внутренней и внешней политики», на огромных пространствах лежала молчаливая страна, которая могла ждать в любой момент нового приступа насилия своего верховного предводителя. Кремлевский старец с подозрением смотрел на угасание энтузиазма народа, привыкшего повиноваться, исполнять и надеяться. Он недовольно вглядывался во внешне энергичные, но по существу малоэффективные действия созданной им бюрократической прослойки. Шестерни государственной машины вращались с заданной вождем скоростью, но он чувствовал: вместо ускорения движения идет его замедление. Кризис назревал.

Не лучше положение было и в делах международных. Конфликт с Тито показал всем: Сталин не всесилен. Созданный им Коминформ в параличе. Холодная война высвечивает контуры возможного нового мирового конфликта. Сталин плохо чувствовал, что мир на пороге новых перемен. Нужно новое мышление, новые подходы, новые альтернативы, признающие приоритет общечеловеческого над классовым. Вождь был совершенно не способен к такой эволюции. Каждый год жизни Сталина, не случись с ним удар, лишь углублял бы тяжелый политический кризис страны. Судьба распорядилась иначе — смерть вождя открыла новые возможности для преодоления того, что позже люди назовут сталинизмом. Как сказал Вергилий: «Каждому назначен свой день». И он, этот день, пришел. Великие права и свободы, завоеванные трудящимися в борьбе, оказались серьезно урезанными и не могли выйти из сталинской колеи. Но диктатор оказался не в состоянии все деформировать; многое выжило, хотя и в усеченном виде. На фоне кризиса, который мы смогли в полной мере рассмотреть лишь спустя десятилетия, нельзя отрицать жизнеспособность социализма.

...Однажды, когда Джугашвили еще только вступал в пору отрочества, духовник в семинарии читал наставление по основам Евангелия. Большими глазами Съсо смотрел на священника, пытавшегося его убедить, что Иисус не желал

земной власти, а стал гонимым странником, предпочитая славе страдания и смерть. А за несколько часов до Голгофы назвал он себя Мессией. Бог, соединившись с людьми, стал богочеловеком и разделил участь всех гонимых за правду.

Юный семинарист не мог понять, почему Бог отказался от власти на земле? Если бы он ее взял, то мог бы изменить участь не только «гонимых», но и всех, кого счел нужным... Страхнув с себя библейские коларии, когда светская жизнь захватила его в свой водоворот, он, однако, еще с юношества сохранил устойчивый взгляд на власть, которая способна человеку дать такую силу и волю, которая сродни божественной.

Жизнь и смерть Сталина подтвердили ряд вечных истин. Пропасть истории одинаково глубока для всех, но эхо падения ушедшего туда может доноситься как свидетельство или Добра, или Зла. Чем больше мы узнаем о Сталине, тем сильнее убеждаемся, что ему суждено стать в истории одним из самых страшных олицетворений Зла. Никакие благие намерения и программы не могут служить оправданием актов бесчеловечности. Сталин своей жизнью еще раз показал, что даже благородные, высокие человеческие идеалы можно вывернуть наизнанку, если политика отказывается от союза с гуманизмом. Сталин при всей тотальности своих устремлений выпустил из поля зрения главное — человека. Для вождя человек всегда был и оставался составной частью массы, а это почти ничто. Жизнь и смерть Сталина подтвердили, что единовластие как выражение диктатуры одного лица исторически исключительно хрупко. Оно гибнет, исчезает вместе со смертью единодержца. Сталин никогда не мог и не хотел понять, что подлинно свободное общество — это не платформа для пирамиды, на вершине которой находится один человек, а ассоциация, где каждый волен принимать участие в выборе собственной судьбы.

Жизнь и смерть Сталина показали, что отсутствие гармонии между политикой и моралью всегда в конечном счете приводит к краху. Исторический маятник событий в нашей стране поднял Сталина на высшую точку своих колебаний и опустил его к самой низшей в силу абсолютного примата политических ценностей диктатора над нравственными. Жизнь и смерть Сталина рельефно высветили, что судьба человека, верящего только в могущество насилия, может идти лишь от одного преступления к другому. Декорации, созданные диктатором из его славы, «мудрости», «прозорливости», почитания, рано или поздно рушатся. Сталин показал собой, что его претензии на совершенство управления оказались призрачными. Его способность овладевать сознанием людей, превращать их в бездумных исполнителей является грозным предупреждением — к чему может вести власть бесконтрольная, абсолютная и сконцентрированная в одних руках. Но это историческое предупреждение нами в полной мере еще не осознано; надежных гарантий недопущения обожествления первого лица в государстве и обществе пока не создано. Триумф Сталина и трагедия народа — вечное предостережение тому. История Сталина обвиняет. Смерть не стала его оправданием.

Сталинское наследие

Мы говорили, что сталинизм родился на марксистской почве, но Сталин смог так перепахать и удобрить ее, что на ней стали произрастать социальные и нравственные уродцы в виде бюрократии и догматизма, которые и поныне еще обычны в ландшафте нашей жизни. Но мне хотелось бы еще раз подчеркнуть, что не ленинизм «виноват» в появлении феномена сталинизма. Это антипод, сумевший ловко закамуфлироваться в марксистские одежды. Об этом мне хотелось с полной определенностью сказать, ибо все чаще раздаются голоса, пытающиеся генезис сталинизма усмотреть еще чуть ли не в «Коммунистическом манифесте». На одной и той же почве могут произрастать, мы это знаем, самые различные растения. Сталин вырастил плоды, многие из которых повергли бы в ужас тех, кто мечтал задолго до Октября о «царстве справедливости и счастья». Симптоматично, как в своей речи на Красной площади во время похорон вождя Берия

произнес слова, что Сталин «оставил нашей партии и стране великое наследие, которое надо беречь, как зеницу ока, и неустанно его умножать». Становится страшно, если бы монстру дали возможность умножать «великое наследие».

Глубоко убежден, что, проживи Ленин еще хотя бы пять—десять лет, многое могло развиваться бы совершенно по-иному. Это не абсолютизация роли личности, а тех сил, которые держали в умах и руках великую идею. К сожалению, она, эта идея, родившись почти полтора столетия назад, пока так и не смогла в максимально полной форме материализоваться в вечных чаяниях людей. Но это не значит, что в ней, идее, все утопично. Однако деяния Сталина заставили слишком многих усомниться в возможности гуманистической ее реализации. Поэтому, говоря о том наследии, которое оставил Сталин, следует сказать, что великие мыслители — Маркс, Энгельс, Ленин — неповинны в той большой тени, которая надолго накрыла их идеи.

Благодаря Сталину марксизм как бы «обмелел», мы перестали видеть его подлинную глубину. Эта глубина, по моему мнению, не одномерна, а многомерна. Одномерное видение марксизма, к чему за четверть века Сталин и его машина постепенно приучили миллионы людей, стало им представляться как набор догматов, которые привели не только к «обмелению» теории, но и самой революции. Ленин бы страшно содрогнулся, представь он хоть на минуту, хоть на одну сотую то зло, которое принес его делу следом идущий за ним человек. Жан Жорес, излагая историю Французской революции, написал знаменательные слова: «Великие вершители революции и демократии, трудившиеся и сражавшиеся более века назад, не ответственны перед нами за дело, которое могло быть выполнено только несколькими поколениями. Судить о них так, словно они должны были завершить драму, словно истории не предстояло продолжаться после них, — сущее ребячество и несправедливость. Их дело неизбежно было ограниченным; но оно было великим». Суд над Сталиным кощунственно превращать в суд над Лениным, как это порой пытаются ныне делать, ибо он не «ответствен перед нами за дело, которое могло быть выполнено несколькими поколениями».

Эти поколения, вопреки воле Ленина, повел тот, кто совершил самое страшное преступление уже тем, что поставил знак равенства между великой идеей и собственной властью. Все преступления Сталина производны от этого главного преступления. Эта констатация определяет характер и содержание сталинского наследия и его роль в истории. Трудно не согласиться с Милованом Джиласом, который приходит к выводу, что «Сталин — один из наиболее чудовищных насильников в истории». Сталинское наследие можно было бы выразить формулой: страдания, несчастья, гибель миллионов во имя «счастья» остальных. Сталин считал это нормальным выражением того «прогресса», к которому он стремился. Главной жертвой сталинизма стала свобода. «Вождь народов» не был императором, но, наверное, ни один монарх не обладал такой степенью неограниченной власти, как он.

Нельзя не признать, что Сталин, положив свои сухие, но цепкие руки на руль управления обществом и государством, тоньше, чем другие, уловил не только социальные, экономические и идеологические факторы, которые помогли ему сначала удержаться, а затем и прочно стать на ноги, но и национальные особенности русского народа. Д. С. Мережковский еще в начале века писал, что «одна из глубочайших особенностей русского духа» заключается в том, что «нас очень трудно сдвинуть, но раз мы сдвинулись, мы доходим во всем, в добре и зле, в истине и лжи, в мудрости и безумии, до крайности». Можно оспаривать это категорическое утверждение известного русского писателя, но нельзя не признать, что всю свою жизнь Сталин как руководитель тонко использовал этнические, исторические особенности народов, и русского прежде всего.

Набрасывая последние штрихи на политическом портрете человека, который оставил такой глубокий шрам в истории советского (да и только ли его?!) народа, необходимо сказать, что собственно в сталинском наследии и не осталось и не могло остаться ни одной «ценности», которая могла бы

иметь какое-то позитивное значение. То, что мы ценим, что есть у нас непреходяще важного, нужного, создано и существует не благодаря Сталину. Одержавший, казалось, так много личных «побед», он в конечном счете потерпел вечное историческое поражение. Чтобы оценить его наследие, реликты которого дают о себе знать и сейчас, хотелось бы напомнить некоторые выводы и оценки последнего сталинского съезда.

XIX съезд ВКП(б) — так партия называлась при его открытии — отделяет от предыдущего целых тринадцать лет. Сталину давно уже не нужны были партийные форумы. Жизнь ЦК после войны стала еще более бедной. По сути, этот орган руководства партией между съездами при Сталине исполнял роль партийной канцелярии; назначались кадры, давались указания республиканским и областным партийным организациям, принимались постановления, по духу поразительно похожие одно на другое. Большинство этих постановлений было по сельскому хозяйству: о мерах по ликвидации нарушений устава сельхозартели в колхозах; об обеспечении сохранности государственного хлеба; о колхозном строительстве в Литовской, Латвийской и Эстонской ССР; об укрупнении мелких колхозов и задачах партийных организаций в этом деле; о постановке дела пропаганды и внедрения достижений науки и передового опыта в сельском хозяйстве и другие, тому подобные попытки оживить чахнущую деревню.

За долгими ночными разговорами на ближней даче Сталина, где сидели рядом с вождем такие «аграрии», как Молотов, Берия, Маленков, рождались лишь волевые, однообразные в своей настойчивости идеи, которые все дальше загоняли в тупик сельское хозяйство. В этой обстановке, когда Сталин чувствовал, что деревня ему отвечает долгой неосознанной, пассивной, но неумолимой местью за его надругательство над хлеборобом, животноводом, он хватался часто за эфемерные, призрачные возможности. Именно по его инициативе в гору пошел Лысенко, по его предложению вновь, как и накануне войны, было принято в сентябре 1946 года постановление Совмина и ЦК ВКП(б) о проверке и изъятии «незаконно захваченных земель как со стороны отдельных колхозников, так и организаций и учреждений для подсобных хозяйств». Виновные, говорилось в документе, будут «отдаваться под суд как нарушители закона и враги колхозного строя». Именно Сталин предложил (и, естественно, провели это в постановлении) создавать в министерствах сельского хозяйства СССР и республик управления сельскохозяйственной пропаганды во главе с первыми заместителями министра... Все напрасно. Волевые, надуманные решения, имеющие в своем арсенале лишь методы административно-репрессивного, кабинетного характера, отзывались немым равнодушием села.

Шли годы. Центральный Комитет не собирался. После февральского Пленума 1947 года, обсудившего те же вопросы «подъема» сельского хозяйства, следующий состоялся лишь летом 1952 года. На нем были решены организационные вопросы, связанные с созывом XIX съезда партии. Даже информационные сообщения об этих пленумах в печати давались в загадочной форме: «На днях (?) в Москве состоялся очередной (?) Пленум ЦК ВКП(б)». Кто делал доклад, каковым было обсуждение вопроса, когда состоялось это «на днях», читателю приходилось лишь догадываться. Бюрократия не может обходиться без секретности, ведь это один из ее важнейших устоев. Сталину партийные форумы были не нужны, но без съезда ему не хотелось производить крупные изменения в партийном руководстве. Он знал, что съезд пройдет по его сценарию и полностью проштампует его решения. Дело зашло уже так далеко, что совесть людей была давно загнана в глухую резервацию. Партия стала его орденом. Сталин, уверовав в свое духовное бессмертие, решил оставить наследникам материалы для долгого пережевывания — «Марксизм и вопросы языкознания», «Экономические проблемы социализма в СССР», свою речь на XIX съезде партии, два новых тома собственных сочинений, которые специально готовились к изданию. Стареющий, больной вождь одновременно хотел, как мы уже говорили, подготовить почву для устранения ряда своих многолетних соратников, которые слишком много знали и могли тем не менее стать после съезда удобными козлами отпущения.

Для политического портрета Сталина, характеристики его наследия XIX съезд дает немного нового, но вместе с тем и достаточно симптоматического материала. Маленков в течение августа—сентября несколько раз докладывал вождю о подготовке к съезду; знакомил с содержанием Отчетного доклада о работе ЦК ВКП(б), Директивами съезда по пятому пятилетнему плану, другими документами и выступлениями. Сталин пролистал проекты выступлений членов Политбюро, но они его интересовали мало. Все соревновались в поисках новых восхваляющих его эпитетов, проявлений его заслуг, добродетелей, не распознанных раньше талантов. Вождь не делал письменных пометок, а при встречах с подбострастным Маленковым высказывал ему коротко замечания, звучащие как непреложные указания. Значительно большее внимание он уделил собственному выступлению. По его плану Суслов с небольшой бригадой подготовил несколько вариантов речи, но окончательную доводку он осуществил сам.

За несколько дней до съезда Сталин вдруг предложил открыть его... в семь часов вечера. Собственному личному распорядку он подчинил и высший форум партии. Президиум съезда был небольшим, но появилось новшество: все переместились от центра стола на левый край президиума. Сталин сел в одиночестве справа — ни рядом, ни сзади никого не было. «Великий вождь» не хотел растворяться даже среди высших представителей партии. Бесконечные упоминания в речах делегатов съезда его имени прерывались бесчисленными овациями, вставаниями, скандированием. Прищуренными, полужакрытыми глазами вождь смотрел на экзальтированный психоз нормальных как будто людей, не спускавших с него глаз, полных преданности, любви и неподдельного подбострастия. Утомившись от выслушивания обвала ухищренных славословий, Сталин в перерыве уходил и подолгу не появлялся. Кажется, только в день открытия и день закрытия он был на всех заседаниях. Два-три дня не появлялся вообще. Думаю, дело тут не в нездоровье. Для Сталина эти форумы, в которых нет борьбы, загадок, неясностей, давно стали неинтересны, но он и не хотел других. Съезд был как «демократическое» обрамление его единовластия. К тому же мало осталось в живых членов ЦК, избранных на XVIII съезде, надо было пополнить состав Центрального Комитета. Роль вождя в обществе была уже такой, что весь съезд ничего не значил по сравнению с интересовавшей всех мыслью: будет ли выступать Сталин?

Уже давно в общественном сознании он превратился в живой миф — средоточие мудрости всех земных благостей и провидчества. Всеобщее ослепление было столь велико, что любое обычное слово, мысль, идея, принадлежащие Сталину, как-то подсознательно облекались в форму, наполненную особым, оригинальным, неповторимым смыслом. Люди уже не видели, что обычные банальности, простенькие истины, часто плохо увязанные с реалиями жизни, принимаются ими чуть ли не за божественные откровения. Делегаты до последнего дня не были уверены, скажет ли им что-либо вождь.

На заключительном заседании, когда увидели, что Сталин поднялся из-за стола президиума и медленно пошел по ковровой дорожке к трибуне, зал, стоя, устроил ему долгую овацию. Он вновь предстал перед ними не в военной, а в «партийной» форме, лишь с одной Звездой Героя, умело поддерживая в сознании людей образ скромного лидера. Речь его была короткой. Пожалуй, аплодисменты, которыми она прерывалась, заняли больше времени. Сталин ни слова (!) не сказал о внутренних делах страны, партии, остановившись лишь на том, что ныне, с образованием народно-демократических стран, новых «ударных бригад», как он выразился, нашей «партии легче стало бороться, да и работа пошла веселее».

Обратившись к делегациям компартий капиталистических стран, Сталин выдвинул два весьма сомнительных лозунга. Оба основаны на том, что в современных капиталистических странах якобы выброшены за борт знамена буржуазно-демократических свобод и национальной независимости и суверенитета. Коммунистические и демократические партии он призвал «поднять» эти знамена. Сталин вновь, как в старые, коминтерновские, двадцатые годы, выразил уверенность

«в победе братских партий в странах господства капитала». Одномерное мышление Сталина как бы застыло. Ни одной новой идеи. Не случайно, что вскоре после окончания съезда в «Правде» появилась статья «Сборище социал-предателей в Милане» об очередном конгрессе социалистического Интернационала. «Главари», «провокаторы», «преступники», «предатели» — таков лексикон статьи. Наследие Сталина в области комдвижения, борьбы трудящихся за свои социальные права, как и международных отношений вообще, характерно крайней застылостью, консерватизмом, непониманием необходимости радикальных перемен. На своем последнем съезде Сталин лишь рельефнее зафиксировал устаревшую традиционную позицию коммунистов, явно отстающую от тех изменений, которые начали происходить в мире.

Наиболее пронзительные люди, а мне довелось беседовать с некоторыми делегатами XIX съезда партии, почувствовали, что Сталин уже открыто думает, что останется после него, как распорядятся его наследием. Очевидно, именно этим объясняется его необычно большая речь на Пленуме ЦК, избранного на съезде. В злых выражениях, с обвинительной интонацией он как бы выразил сомнения в том, смогут ли после него его соратники продолжить взятый курс? Не капитулируют ли перед внутренними трудностями, империализмом? Проявят ли мужество и твердость перед новыми испытаниями?

Мы сегодня знаем, что Сталин в своей последней публичной речи обрушился на Молотова и Микояна, как бы давая понять, что в его старой гвардии не все достойны доверия как руководители. Сталин просто боялся, что его главное наследие — мощная, угрюмая, застывшая в своей долгой неизменности держава — может оказаться в руках людей, недостойных его памяти. Вождь понимал, что его имя, дела, идеи могут сохраниться лишь в системе, которую он создал, любая другая отвергнет его постулаты. Тоталитарное государство, которое, по сути, создавал все эти долгие годы диктатор, функционировало по его жестким рецептам: высочайшая централизация, демократический антураж единовластия, ставка на силу как главный фактор движения к коммунизму. Для упрочения материальной базы такого государства, считал до конца своих дней Сталин, необходимо обеспечить преимущественный рост производства средств производства и подъем колхозной собственности до уровня общественной.

Ведущим элементом сталинского наследия стала несвобода людей. Да, не было эксплуатации в прежнем, «капиталистическом» понимании, люди были в основном равными в своей бедности, огромной зависимости от аппарата, имели возможность «самоотверженно трудиться». Пока не начал иссякать огромный заряд Октября — социальный энтузиазм, — люди часто достигали вершин производственного, научного, художественного творчества. Но все более широкое использование изоцированной системы запретов, ограничений, принуждения вселяло в сознание людей, их дела социальную пассивность, равнодушие, инертность. Массовое использование подневольного труда, высылки, всеобщий контроль за умами, угроза постоянной кары за любое проявление малейшего инакомыслия создали общество, в котором несвобода людей стала естественным состоянием. Разумеется, о ней не только не говорили — было опасно и думать.

В сталинском наследии свое место занимала партия, но партия не в нашем сегодняшнем понимании, а как синоним огромного идеологического ордена. Сталин до конца дней любил говорить: «Мы, большевики...», «Нет таких крепостей, которые могли бы устоять перед большевиками», «Большевики — люди особого склада»... Это уже были поколения людей, выросшие на преклонении перед Сталиным, его идеями. Пожалуй, в центре всех мировоззренческих установок стоял так называемый «классовый подход». Марксисты, видимо, всегда абсолютизировали его, вгоняя все социальные явления под схему, что борьба классов — главная движущая сила развития. Сама идея гуманизма, общечеловеческих ценностей, морали объявлялась еретической, буржуазной. Для партийца классовое сознание — жесткая непримиримость ко всему чуждому, ко всему тому, что не согласуется с его убеждениями. Абсолютизация классового подхода оправдывала жестокость, насилие, нетерпимость. Партийный орден, а Сталин часто называл

его и «армией», постепенно превратился в разветвленный, универсальный аппарат власти. Партия, которую оставил Сталин, в значительной мере утратила ленинские черты. Послушное, автоматическое единодушие, единогласие, однодумство превратили членов когда-то революционной ленинской партии в массу исполнителей. Печаль сталинского творчества видна здесь так же отчетливо, как и в других областях. Нельзя не признать, что не только Сталин и его окружение, но и партия, повторяем, несут ответственность за появление и функционирование такого явления, каковым является сталинизм.

Наконец, сталинское наследие выглядело бы неполным, если бы при анализе реликтов былого мы не учитывали ту роль и место, которые диктатор уготовил карательным органам. Знакомство с томами «Сталинской переписки», я повторюсь, показывает, что главными корреспондентами вождя были НКВД — НКГБ — МВД — МГБ. В результате сталинской селекции руководство этих органов целиком составляло касту лично доверенных людей, которым Сталин безоговорочно верил. Берия, Круглов, Абакумов, Кобулов, Серов, Меркулов, другие жрецы сталинской безопасности были властны над жизнью любого гражданина страны, незаметного труженика или известного человека. Приведу такой пример.

Один из зловещей обоймы бериевского окружения, И. Серов, в своем доносе Сталину и Берии после войны пишет: «Я уже докладывал о необъективном отношении члена Военного Совета группы оккупационных войск в Германии генерал-лейтенанта Телегина к работникам НКВД. Телегин начал выискивать различные «факты» против отдельных представителей НКВД и преподносить их т. Жукову в искаженном виде. Например, сообщил об отправке 51 эшелона с трофеями в адрес НКВД... Мы имеем десятки фактов, когда генерал Телегин пытается скомпрометировать работников НКВД. Я пришел к выводу, что генерал Телегин очень озлоблен на НКВД». Сталин, естественно, поручил НКВД «хорошенько разобраться». Исход нетрудно было предвидеть. Вскоре Телегин был отозван в Москву, отправлен на курсы усовершенствования политсостава, пока в органах готовили дело и показали его Сталину. С одобрения вождя К. Ф. Телегин, прошедший всю войну, был арестован «за вражескую деятельность». Приговор военной коллегии гласил: «За антисоветскую пропаганду, на основании Закона от 07.08.32 г. и по статье 58-12 УК РСФСР подвергнуть лишению свободы в ИТЛ сроком на 25 лет с конфискацией всего имущества». Только смерть Сталина распахнула перед Телегиным двери лагеря. Малейшее трение, косой взгляд, легкое непочтение представителя карательных органов квалифицировались как тяжкое преступление.

Каждый из истории берет то, что созвучно его мировоззренческим установкам. Изучая Великую французскую революцию, Ленин увидел в этом грандиозном потрясении центральную идею: народовластие, его несовершенство и противоречивость, но и непреходящую историческую надежду. Троцкий, обращаясь к Французской революции, был поражен неумолимостью попятного движения, возможностью безжалостной ликвидации пламени народной свободы. Для него слово «термидор» стало символом реставрации старого, контрреволюции, предательства, обмана всех лучших надежд революционеров. Один из «выдающихся вождей» это слово употреблял обычно в соседстве со словом «Сталин». А другой «выдающийся вождь» больше всего усвоил в летописи Французской революции ту опасность, которая, по его мнению, ее погубила. Она, эта опасность, была конкретной и выражалась во «врагах народа». Этот печальный для русской, советской истории термин пришел в нашу трагическую действительность из событий конца XVIII века. Для Сталина «врагами народа» были все, кто прямо или косвенно, хотя бы потенциально, мог представлять угрозу единовластию. Все свои помыслы он направил на его укрепление, выдавая их, естественно, за «упрочение социализма». А для этого потребовалась большая карательная машина, которую он лично создавал, направлял и контролировал.

Над народом, государством, партией раскинула свои щупальца страшная сеть карательных органов. Абсолютизация насилия вылилась у Сталина в создание огромной системы надзора над каждым гражданином страны, полностью без-

защитным перед угрозой карательного произвола. Сталин, извратив, доведя до абсурда идею классово́й борьбы, превратил ее в инструмент постижения «высшей истины» как предпосылку «подготовки перехода к коммунизму». По сути, все его наследие, независимо от того, касается оно государственной, общественной или идеологической сторон, связано с возможностью и необходимостью насилия. Переход, который осуществил Сталин от революционного народовластия в форме диктатуры пролетариата к автократическому, цезаристскому режиму, окончательно (при жизни диктатора) закрепил самые консервативные тенденции развития. Сталин допускал реформы, лишь пропущенные через его сознание, исключаящие какие-либо радикальные перемены. Всей своей деятельностью вождь защищал институты, созданные при его участии, поддерживал и насаждал самые ортодоксальные взгляды, означавшие веру в социальную инерцию движения без его революционного стимулирования.

Но он явно переоценивал стабильность созданного им общества. Буквально через считанные часы после кончины Сталина, наследники начали нарушать его заветы. В марте 1953 года началось десятилетие советского реформизма, которое затронуло буквально все области жизни. Значение реформ этих лет нельзя переоценить. Особенно решения поистине исторического XX съезда партии. Характерной чертой всех реформ этого периода являлись их незавершенность, половинчатость, «недосказанность». Но самое главное было сделано: положен конец террору, который бесценно стоял в повестке дня почти четверть века. Свобода получила шанс реализовать себя. Однако все это наступит после того, как начнет быстро размываться и подвергаться эрозии сталинское наследие.

Сегодня на Сталина и сталинизм мы смотрим пока с высоты птичьего полета истории. Думаю, спустя десятилетия эти мрачные страницы летописи советского народа с большей временной дистанции будут во многом видаться глубже, основательнее, вернее. Ретроспектива сегодня слишком близка и держит нас самих за фалды. Но одно ясно уже сегодня: Сталин — лишь вершина айсберга. Описав ее, вершину, мы не претендуем на то, что увидели весь айсберг.

Выскажу еще одну еретическую мысль. Суть ее вот в чем. В начале века, как мы знаем, Д. С. Мережковский написал нашумевший памфлет-пророчество «Грядущий Хам». Тогда он был расценен, да и сейчас, думаю, едва ли на это произведение многие смотрят иначе, как своеобразный антиреволюционный манифест. Приведем его, пожалуй, центральную идею. Мережковский, не обделенный талантом, но склонный к мистике, пророчески писал: «Не бойтесь никаких соблазнов, никаких искушений, никакой свободы, не только внешней, общественной, но и внутренней, личной, потому что без второй невозможно и первая. Одного бойтесь — рабства и худшего из всех рабств — мещанства и худшего из всех мещанств — хамства, ибо воцарившийся раб и есть хам, а воцарившийся хам и есть черт — уже не старый фантастический, а новый, реальный черт, действительно страшный, страшнее, чем его малюют, — грядущий князь мира сего, Грядущий Хам».

Критики под рабами сразу усмотрели пролетариат и, думается, напрасно, ведь писатель ведет речь, как явствует из памфлета, о «духовном рабстве», а в нем, как пишет Мережковский, могут пребывать и самодержцы, «мертвый позитивизм казенщины, китайская стена табели о рангах», как и «мертвый позитивизм православной казенщины», как и «черная сотня». По сути, рабство и хамство для него — синонимы антисвободы. Возможно, писатель и не пытался заглянуть так далеко за горизонты бытия, наивно надеясь спасти Россию лишь «религиозной общественностью» и возрождением интеллигенции, но волюно или неволюно он выразил очень глубокую мысль: погнание свободы всегда создает угрозу пришествия «князя мира сего, Грядущего Хама». Во все времена, когда свобода становилась прерогативой лишь владык, императоров, диктаторов, тиранов, над людьми нависал призрак Грядущего Хама. Сталин всей своей жизнью, деяниями, устремлениями доказал, что Хам антисвободы может быть кровавым, чудовищно страшным. Рецепты Мережковского, боявшегося

пришествия «реального черта», достаточно наивны, но не без рационального смысла: он верил в особую роль человеческого интеллекта. Сегодня мы знаем, что Хама насилия, бюрократии и догматизма можно не допустить, если ему противостоят в тесном союзе Демократия, Закон, Культура.

Может быть, мои размышления здесь достаточно абстрактны, умозрительны. Но об этих идеях хотелось бы напомнить потому, что чем меньше уважения к демократии, закону, культуре, тем всегда отчетливее возникает призрак Хама антисвободы. Эта истина была верна и для начала XX века, думаю, будет верной и в веке XXI. Возможно, долгосрочности своей идеи не знал и сам Мережковский. Очевидно, сегодня мы читаем его иначе, чем тогда, у подножия века, в сполохах кровавых классовых сражений. Дело в конце концов не в Мережковском. Есть общечеловеческие истины, которым не противостоит многое и в традиционном марксизме, основывающиеся на гуманизме, вере во всецелое человеческое разума и неистребимую волю человека к социальной и моральной справедливости. Наследие Сталина абсолютно не вписывается в эти рамки.

Грядущий Хам находит свое наиболее злое проявление в диктаторстве, исключая свободу. А начиналось все, казалось, с мелочей: концентрации власти в руках слишком узкой группы лиц, которая в итоге ради пресловутого единства отдает ее одному лицу. Эту грозную опасность видел еще Плеханов. Протестуя против чрезмерного сосредоточения власти, он писал: «ЦК всюду «раскассировывает» все недовольные им элементы, всюду сажает своих креатур и, наполнив этими креатурами все комитеты, без труда обеспечивает себе вполне покорное большинство на съезде.. Тогда у нас, действительно, не будет в партии ни большинства, ни меньшинства, потому что тогда у нас осуществится идеал персидского шаха». Далее Плеханов, упомянув крыловскую басню, когда лягушки просят себе царя, пишет: «Если бы наша партия, в самом деле, наградила себя такой организацией, то в ее рядах очень скоро не осталось бы места ни для умных людей, ни для закаленных борцов; в ней остались бы лишь лягушки... да Ц е н т р а л ь н ы й ж у р а в е л ь, беспрепятственно глотающий этих лягушек одну за другою». Сегодня мы уже знаем, что «Центральный журавель», глатавший отнюдь не «лягушек», весь смысл своего существования, деятельности посвятил не утверждению и развитию народовластия, а цементированию цезаризма.

Когда сам Сталин почувствовал, что старость и болезни готовы скоро доконать его, он еще раз осуществил проверку благонадежности нового ЦК. В своем выступлении на последнем в его жизни Пленуме ЦК он вдруг заговорил о старости и необходимости освобождения его от обязанностей секретаря ЦК. Сталин заранее знал, чем кончится весь этот спектакль: конечно, новые члены ЦК не могли и помыслить, чтобы «освободить» вождя. Для них эта мысль была кощунственной! Даже если предположить невозможное — Сталин уходит с поста секретаря (должность Генерального секретаря незаметно была «опущена», так как Сталин в ней не нуждался) — он все же оставался Предсовмина. Думаю, что с высоты этого поста он вскоре бы учинил кровавую баню тем, кто согласился на его уход. Но это предположение совершенно нереально, и Сталин это знал больше других, тем не менее за несколько месяцев до смерти он решает еще раз проверить верноподданность окружения и нового ЦК. Эту, с т а л и н с к у ю, проверку новые члены Центрального Комитета, по его мнению, выдержали. До последних дней диктатор любил только Власть. Народ, государство, общество, партия были для него лишь элементами, которые синтезировали власть в руках одного человека. В этом все дело. Сталина, повторяем, никогда не интересовал человек как таковой, как социальный феномен, «мера всех вещей», как цель социалистического развития.

Человек для него (без этого нельзя понять суть сталинского наследия) был интересен лишь как союзник, враг, исполнитель, «винтик». В конце жизни его, правда, еще интересовали высокие особы, заметные лица, люди с «голубой кровью» или с известными фамилиями. В этом случае Сталин проявлял к ним неподдельный интерес, отдавал соответствующие распоряжения или просто наслаждался возможностью распорядиться их судьбой. Приведем два-три примера.

Фельдмаршал Паулюс, содержащийся на «спецобъекте» под Москвой, сотрудничал с советскими властями в области передачи и обобщения военного опыта. Он несколько раз обращался к Сталину с просьбой разрешить ему вернуться на родину, тем более что его отношение к СССР в корне изменилось в лучшую сторону. Но годы шли, а Сталин не выпускал пленника. Наконец однажды утром Сталин нашел у себя на столе донесение министра внутренних дел Круглова:

«В ночь на 26 февраля 1952 года у бывшего фельдмаршала германской армии Паулюса Фридриха произошел обморок с кратковременной потерей сознания... считал бы целесообразным рассмотреть вопрос о возможности репатриации Паулюса в ГДР».

И Сталин дал согласие проработать «порядок репатриации Паулюса». Десять лет в его руках был символ одной из его самых блестящих военных побед, и он с трудом решил с ним расстаться.

Когда Сталин узнал, что в Саксонии, в деревне близ замка Россла, в ноябре 1945 года найдена вдова Вильгельма II Германа фон Прайзен, он, поразмыслив, распорядился: «Создайте нормальные условия для жизни. С кем общается?»

Немногим раньше вождю доложили, что в концлагере г. Ораниенбурга обнаружен бывший президент Испанской Республики Франсиско Ларго Кабальеро и находится он в состоянии крайнего истощения. Сталин имел с ним дело в конце 30-х годов. Ограничился распоряжением: «Сообщите в Испанию семье, что жив». Как никак президенты, монархи, полководцы — люди «его круга». Здесь он позволял себе проявлять даже благосклонность.

Пожалуй, приведем еще пример участия Сталина в судьбе одного монарха — императора Маньчжурии Пу-И. После разгрома Квантунской армии императора с семьей и прислугой отправили в Читу, а затем в Хабаровск. С ним, видимо, активно идеологически «работали», о чем свидетельствует обращение бывшего маньчжурского монарха к Сталину в середине 1949 года. Приведу отрывки из этого письма, доставившего, по-видимому, тщеславному вождю удовольствие, если он не уловил признаков того, что НКВД опять «перестаралось»:

«Генералиссимусу Сталину.

Для меня высокая честь писать это письмо. Я всегда испытывал к Вам чувство глубокой любви и восхищения, вследствие чего хочу сообщить о своей надежде быть оставленным на жительство в СССР. В прошлом японская военщина ограничивала мою личную жизнь. Я не мог знать истинного положения в СССР... Впервые за 40 лет я прочитал Вашу книгу «Вопросы ленинизма» и «Историю ВКП(б) — краткий курс». Теперь я узнал, что СССР действительно самая демократическая и самая прогрессивная страна в мире, путеводная звезда малых и угнетенных народов... Правительство СССР отменило смертную казнь. Это новая эра для СССР в охране гуманности...

В прошлом я просил об оставлении меня в СССР. До сего времени еще нет ответа. Я хочу работать здесь. Желая Вам неизменного здоровья и счастья.

Айсиньцзюэло пуи».

Сталин прочел перевод, долго с любопытством рассматривал целый ковер иероглифов и бросил Берии: «Передадим, наверное, императора китайцам?». Судьба императора — куда ни шло, можно опуститься до личного решения. А так? Лучше решать судьбы людей списками. Большими списками. Бесконечными...

Сталин, уничтожив в обществе любые альтернативы, кроме своей собственной, превратил свое наследие в одномерно-негативное. Едва ли он догадывался, что начало его исторического поражения совсем близко. Оставляя в углу документов, — в последние месяцы он стал рассматривать их значительно меньше — свои лаконичные резолюции, он поднимал ладонь левой руки к уху, как будто загораживался от солнечных лучей. Привычка! На одной ранней фотографии (похоже, 1917-го или 1918 года) Сталин сидит в такой же позе

у краешка стола, небритый, в стоптанных сапогах, засаленном старом пальто, с нечесаными волосами. Но рука — прячет глаза от света... Сейчас он Генералиссимус и, наверное, самый могущественный диктатор на земле. Но этот жест — нет, не от солнца спасает он вождя. Сталин, не зная сам того, хочет спасти себя от грядущего исторического поражения.

Историческое поражение

На трибуне был Хрущев. Но чем дальше люди слушали доклад, повергнувший всех в состояние шока, тем больше расплывалась сцена с президиумом и казалось, что на ней солируют двое: Хрущев и до боли знакомый (и теперь незнакомый!) призрак. Именно такое могло сложиться впечатление у 1436 делегатов XX съезда партии, когда 25 февраля 1956 года Первый секретарь ЦК КПСС Н. С. Хрущев делал свой знаменитый «секретный» доклад. Почти полторы тысячи делегатов из зала и из президиума съезда напряженно, в мертвящей тишине, прерываемой иногда возгласами возмущения и потрясения, смотрели на человека, стоящего на трибуне. Но чем дальше он перелистывал страницы доклада, тем отчетливее каждый из присутствующих в Кремлевском Дворце видел призрак, появляющийся то справа, то слева от Хрущева. Характерный говорок Первого секретаря незаметно, но одновременно и быстро лепил совершенно новый образ «вождя народов» Сталина. Скоро в центре зала осталась как бы одна сцена, на которой были двое: новый лидер партии, один из бывших верных соратников умершего около трех лет тому назад диктатора, и абсолютно знакомый всем в профиль и анфас немой вождь, который прямо здесь, на действительно исторической арене, становился совсем другим — Кровавым, тираническим, страшным. То были редкие часы подлинно исторического значения.

Могло показаться, что Хрущев вызывал духов из потустороннего мира. Видимо, прав был Н. А. Бердяев, заявивший в своих лекциях в Москве, в Вольной Академии Духовной Культуры, что «в обращении к прошлому есть всегда какое-то совершенно особое чувство приобщения к другому миру, а не только к той эмпирической действительности, которая нас со всех сторон давит, как кошмар, и которую мы должны победить, чтобы подняться на какую-то новую высоту». Буквально за несколько часов до доклада никто не мог и предположить, что партия после долгих лет стагнации и деформации способна подняться на эту «новую высоту». Как бы мы ни относились к Хрущеву, ответственному, как и все окружение Сталина, за годы беззакония и террора, тогда он совершил настоящий гражданский, исторический подвиг мысли, политики, действия.

Сразу же после смерти Сталина в руководстве партии начались едва заметные подспудные процессы, направленные на освобождение от пут сталинизма, которые ускорились после ареста и расстрела Берии. Эта акция позволила новому руководству глубже и масштабнее посмотреть, что творилось за сталинскими кулисами, хотя многое соратникам было хорошо известно и ранее. Вскоре после того, как была определена дата XX съезда, первого после смерти Сталина, Хрущев на одном из заседаний Президиума неожиданно предложил создать комиссию по расследованию злоупотреблений прошлых лет. Первый секретарь пошел на этот шаг не только по «зову сердца и совести», как он всех стал уверять позднее. Дело в том, что, как только забальзамированного Сталина положили рядом с Лениным в Мавзолею, в ЦК, правительство, в различные государственные инстанции пошел все увеличивающийся поток писем от тех, кто был надолго упрятан за колючую проволоку зон; от родных и близких, разыскивающих своих отцов, матерей, братьев и сестер. То была стихийная волна протеста и надежды, мольбы и веры в восстановление попранной справедливости.

Хрущев распорядился подготовить несколько обзорных записок по этим обращениям, которые в сочетании с дезавуированным «ленинградским делом», некоторыми ересмотренными делами отдельных заключенных, сумевших выйти на ЦК, убедительно показали преступную фальшь многих обвинений. Стало ясно, что, когда в ближайшие год-два у огромного количества осужденных по различным пунктам пятьдесят восьмой статьи закончатся сроки, этих людей надо бу-

дет вернуть домой. Они принесут вечную боль, недоумение, а затем и требования наказать виновных. Теперь, после смерти Сталина и Берии, никто не возьмет на себя преступное решение продолжать, как было раньше, гноить этих людей в лагерях и прятать в ссылках. Другими словами, Хрущев почувствовал, что партия и страна поставлены перед исключительно ответственным выбором.

Уже само предложение о создании комиссии вызвало яростное противодействие Молотова, Кагановича, Ворошилова. Но Булганин, Микоян, Сабуров, Первухин, при колеблющемся пока Маленкове, создали Хрущеву перевес. Комиссия была создана, ее возглавил П. Н. Поспелов, долго работавший главным редактором «Правды», а затем директором Института Маркса — Энгельса — Ленина. Хрущев распорядился допустить комиссию к материалам МВД, МГБ. И, надо сказать, Поспелов потрудились основательно, так же, впрочем, как и несколько лет назад составляя вместе с Г. Ф. Александровым, М. Р. Галактионовым, В. С. Кружковым, М. Б. Митиным, В. Д. Мочаловым «Краткую биографию» вождя. Когда о выводах комиссии накануне съезда Поспелов доложил Хрущеву и всем членам Президиума, Первый секретарь наконец понял, что этот документ или проломит бетонный панцирь лжи, мифов, легенд, связанных со Сталиным, или политически похоронит его самого.

Хрущев несколько раз возвращался к докладу Поспелова, спрашивал коллег: что будем делать? Как доведем выводы комиссии до делегатов съезда? Кто это сделает? Может быть, Поспелов? Молотов, Ворошилов, Каганович долго и упорно, иногда с яростью сопротивлялись. Ход этих ожесточенных споров не протоколировался, но по воспоминаниям самого Хрущева, некоторых других товарищей у противников доклада было несколько «стальных» аргументов: кто нас заставляет выворачивать грязное белье? Не лучше ли потихоньку поправить перегибы? Понимает ли сам Хрущев, какие могут быть последствия доведения выводов комиссии до делегатов съезда? И, наконец, разве все члены Президиума ЦК в той или иной мере не причастны к беззакониям прежнего? Разве можно не учитывать все эти опасения? Но Хрущев победил: 13 февраля Президиум ЦК решил предложить Пленуму, а в случае его одобрения и съезду, сделать доклад «О культе личности и его последствиях». В этот же день состоялся Пленум ЦК, принявший это предложение.

Самого Хрущева тоже не раз охватывали сомнения, но он вспоминал письма заключенных, возвращался памятью к безумию прошлых лет и все тверже приходил к выводу: результаты столь массового террора, беззакония, страшных злоупотреблений долго утаивать не удастся. Рано или поздно правда станет известна людям. Надо взять инициативу в свои руки и сказать эту страшную правду партии. Народу Хрущев, к сожалению, говорить об этом не собирался.

Когда казалось, что очередной, XX съезд благополучно докатился до своего привычного банального конца, чтобы занять место среди других, таких же невыразительных и организованных, сразу же называемых печатью «историческими», наступило главное: делегатам было объявлено о проведении закрытого заседания. Булганин, председательствовавший на нем, предоставил слово Первому секретарю ЦК партии.

Это был звездный час Хрущева. Будучи в свое время ортодоксальным сталинистом, никогда ни в чем не возражавшим вождю, Хрущев неожиданно проявил историческую смелость, гражданское мужество, способность перешагнуть через десятилетиями создававшиеся предрассудки. Как потом выяснится, это было не случайным шагом Хрущева.

Насколько он был незаметным исполнителем в качестве одного из лиц окружения, настолько оказался решительным, а часто и импульсивным политиком, став первым лицом. Кроме «секретного доклада», ряда необычных мер во внутренней политике, в послужном списке Хрущева значатся и такие неординарные шаги, как поездка в «Каноссу» — к Тито, попытка блокирования Берлина, решение разместить ядерные ракеты на Кубе, встреча с президентом Эйзенхауэром, решительные действия во время событий в Венгрии в 1956 году, установление дружеских отношений с Насером, непримиримость к Мао Цзэдуну, поддержка

Вьетнама и многие другие, которые несут на себе печать сложной и противоречивой личности Первого секретаря. Как показывают эти события, Хрущеву не надо было занимать решительности, мужества, готовности взять всю ответственность на себя. Но следует отметить при этом, что он был плохим аналитиком, нередко допускал непоследовательность, явно переоценивал свои интеллектуальные и политические способности. Порой его шаги выглядели просто необдуманно и недалевидными. Ко всему этому прибавилась и старая болезнь, присущая не только Хрущеву, но и советской системе в целом, — абсолютизация роли первого лица. Политические структуры после Сталина по-прежнему не имели иммунитета против цезаризма, возвеличивания руководящей личности, не имели гарантий от появления новой формы культа. Своей деятельностью и шагами в последующем Хрущев лишь подтвердил этот органический изъян системы, не располагавшей подлинными демократическими атрибутами.

Мы, однако, вынужденно отвлеклись. Но без этих отступлений нельзя показать всю историческую значимость той части XX съезда партии, которая нанесла первый страшный удар по сталинизму. Это было начало исторического поражения «победителя», тридцать лет строившего «сталинский социализм». Когда я заканчивал свою книгу, доклад Хрущева спустя более трех десятилетий с момента его изложения все еще не был у нас опубликован, хотя весь мир узнал его содержание еще в июне 1956 года. Сам этот факт — красноречивое выражение косности сталинской системы, реликты которой существуют и по сей день. Не буду пересказывать его положения — теперь он наконец-то опубликован! — а лишь попытаюсь показать, сколь велика была его роль в начавшейся десталинизации и сколь глубокие последствия вызвало его эхо во всем мире.

...На исторической сцене, как мы уже говорили, были два главных действующих лица: неустовый Хрущев и призрачный Сталин. В звенящей тишине зала Первый секретарь переходил от темы к теме. Пospelов со своими помощниками подготовили доклад почти из полутора десятков сюжетов, каждый из которых был элементом целого, но имел и самостоятельное значение. Внутренняя логика была слабой. Так, например, от общеметодологических вопросов о культе личности и взглядах на него классиков марксизма, ленинских оценок Сталина доклад сразу переходил к теме «врагов народа», а затем вновь возвращался к более общим вопросам: Ленин и партийная оппозиция, коллективное руководство. Некоторые сюжеты в докладе неоднократно повторялись: ответственность за террор, геноцид и террор и другие. В докладе «О культе личности и его последствиях» были рассмотрены и такие специальные проблемы, как Сталин и война, конфликт с Югославией, роль Берии и некоторые другие.

Начал Хрущев спокойно: «В настоящем докладе не ставится задача дать всестороннюю оценку жизни и деятельности Сталина. О заслугах Сталина еще при его жизни написано вполне достаточное количество книг, брошюр, исследований. Общеизвестна роль Сталина в подготовке и проведении социалистической революции, в гражданской войне, в борьбе за построение социализма в нашей стране. Это всем хорошо известно. Сейчас речь идет о вопросе, имеющем огромное значение и для настоящего, и для будущего партии, — речь идет о том, как постепенно складывался культ личности Сталина, который превратился на определенном этапе в источник целого ряда крупнейших и весьма тяжелых извращений партийных принципов, партийной демократии, революционной законности». В зале сидели делегаты, которые впервые (!) узнали о ленинском письме к съезду, об оценках, которые он дал Сталину еще в начале двадцатых годов. Это были откровения, позволившие наконец вырваться истине из заточения. Хрущев хотя и заклеил «троцкистско-зиновьевский блок», как и «бухаринцев», однако впервые высказал еретическую тогда мысль, что при Ленине борьба с оппозиционерами велась «на идеологической основе».

Но не эти идеи были главными в докладе. Весь пафос выступления Хрущева был направлен на осуждение сталинских беззаконий: «Ясное дело, что здесь были проявлены со стороны Сталина в целом ряде случаев нетерпимость,

грубость, злоупотребление властью. Вместо доказательств своей политической правоты и мобилизации масс он нередко шел по линии репрессий и физического уничтожения не только действительных врагов, но и людей, которые не совершали преступлений против партии и Советской власти».

Оцепеневший зал был потрясен, когда Хрущев подробно рассказал, как фабриковались дела, что представляли так называемые «враги народа». Он прощательно отметил, что сталинская концепция «врагов народа» сделала возможной применение жесточайших репрессий против любого, кто не соглашался со Сталиным по безразлично какому вопросу, против тех, кто только лишь подозревался в намерении совершить враждебные действия, а также против тех, у кого была плохая репутация. Слушая эти страшные откровения, сидящие в зале видели, как до боли знакомая фигура в маршальском мундире постепенно превращается в палача собственного народа с обгауренными кровью руками.

Хрущеву удалось в течение трех-четырех часов, пока продолжался доклад, сделать, казалось бы, невозможное. Прежде всего докладчик развенчал Сталина как вождя. Хрущев особенно нажимал, что Сталин был некомпетентным руководителем: «Знал страну и сельское хозяйство только по кинокартинам», а во время войны «разрабатывал операции на глобусе», совершенно не учитывал «мнения партийных работников». Первый секретарь, неплохо знавший сельское хозяйство, самые разящие удары нанес призрак на сцене именно в этой области. Он поведал делегатам, что Сталин в последние годы вынашивал намерение повысить налоги на сельское хозяйство в объеме 40 миллиардов (!) рублей, что это была «фантасматическая идея человека, оторвавшегося от действительности». Показывая некомпетентность вождя, его умозрительные решения, он сорвал тем самым со Сталина тогу непогрешимости, мудрости, в которую так долго и старательно кутался вождь.

В докладе Сталин предстал буквально как палач, садист, человек, лишенный каких-либо элементарных нравственных качеств. Коснувшись судеб Косиора, Чубаря, Постышева, Косарева, Эйхе и других видных большевиков, Хрущев всесторонне показал, что Сталин сам был Главным Прокурором во всех этих делах. Сталин не только соглашался на все эти аресты, он сам, по своей инициативе давал распоряжения об аресте. А добыть «признания» — главный аргумент виновности — было делом «техники». «И следователи добывали эти «признания», — заявил Хрущев. — Но как можно получить от человека признание в преступлениях, которых он никогда не совершал? Только одним способом — применением физических методов воздействия, путем истязаний, лишения сознания, лишения рассудка, лишения человеческого достоинства. Так добывались мнимые «признания». Хрущев, приведя большое количество конкретных фактов, связанных с судьбами делегатов XVII съезда партии, а также Кирова, Постышева, Рудзутака, Вознесенского, Кузнецова, Родионова, Попкова, Розенблюма, «мингрельского дела», смог создать новый облик вождя, «вызванного» из потустороннего мира: кровавого, беспощадного диктатора и тирана.

И, наконец, «секретный доклад» Первого секретаря поставил под глубокое сомнение стиль и методы руководства Сталина. Хрущев особо подчеркнул, что отсутствие коллективности в высшем партийном руководстве — прямое следствие злоупотреблений личной властью. Например, он заявил: «За все годы Великой Отечественной войны фактически не было проведено ни одного Пленума ЦК¹. Правда, была попытка созвать Пленум ЦК в октябре 1941 года, когда в Москву со всей страны были специально вызваны члены ЦК. Два дня они ждали открытия Пленума, но так и не дождались. Сталин даже не захотел встретиться и побеседовать с членами Центрального Комитета». Хрущев на протяжении всего доклада проводил мысль, что Сталин, постоянно злоупотребляя своей неограниченной властью, действовал при этом от имени ЦК, не спрашивая при этом мнения не только членов ЦК, но даже и членов Политбюро. Нередко он не информировал их о лично им принятых решениях, касавшихся чрезвычайно важных партийных и государственных вопросов. Одним из примеров пагуб-

¹ На самом деле один Пленум ЦК состоялся в 1944 году.

ности единовластия стал анализ конфликта с Югославией. Хрущев прямо заявил, что Сталин в этой истории играл «постыдную роль».

В докладе Хрущев делал личные отступления. Так и в этом случае он вспомнил об одном из своих посещений Сталина.

— Стоит мне пошевелить мизинцем, и Тито больше не будет. Он падет, — заявил вождь в разговоре с Хрущевым.

В итоге докладчик достиг нескольких целей: показал призрачное «величие» вождя, но обладавшего ни должной компетентностью, ни мудростью, ни пронизательностью; однозначно констатировал, что главная ответственность за злодеяния, преступления, террор лежит на Сталине. Хрущев так же решительно осудил единовластие вождя, явившегося источником многих бед для партии и народа. Это был взрыв в общественном сознании — самое смелое и неожиданное наступление на цезаризм, беззаконие и тоталитарность.

Ход закрытого заседания не стенографировался, прений не было. Приняли постановление «О культе личности и его последствиях», которое затем по решению ЦК было опубликовано. 5 марта Президиум ЦК принял решение ознакомиться с докладом партию и комсомол, а также актив рабочих, колхозников и крестьян. Содержание доклада вызвало у многих шок, подтвердивший мужество Первого секретаря.

Однако Хрущев был и остался сыном своего времени. Его личный вклад в решительное разоблачение культа личности неоспорим, только за одно это его имя навсегда вошло бы в нашу историю. Но доклад, подготовленный старым сталинским придворным теоретиком, не был глубоким — скользя по поверхности явлений и фактов, он почти не касался генезиса сталинизма, причин деформации социализма, более того, эти искажения даже не признавались. Сталинские «заслуги» полностью не отрицались: «Бесспорно, что в прошлом Сталин имел большие заслуги перед партией, рабочим классом и перед международным рабочим движением; причем он был убежден, что это необходимо для защиты интересов трудящихся от происков врагов и нападок империалистического лагеря». Сталин, подвергаясь жесткой критике, одновременно получал и индульгенции перед историей.

Хрущев надеялся, что обсуждения вопроса о культе личности и его последствиях в кругу партии будет достаточно для ликвидации сталинских извращений. Об этом, по сути, докладчик откровенно заявил на съезде: «Этот вопрос мы не можем вынести за пределы партии, а тем более в печать. Именно поэтому мы докладываем его на закрытом заседании съезда. Надо знать меру, не питать врагов, не обнажать перед ними наших язв. Я думаю, что делегаты съезда правильно поймут и оценят все эти мероприятия».

Реформатор, сделав решающий прорыв, не мог понять, что «секретное мышление» — это как раз и есть сталинское мышление, унаследованное от пристраха. «Знать пределы» для Хрущева означало не обращаться с этими еретическими взглядами к народу, тем более к мировой общественности. Человек, еще шесть лет назад выступивший с известной статьей «Сталинская дружба народов — залог непобедимости нашей Родины», не мог, конечно, в одночасье освободиться от всего того, что зрело, росло, формировалось в нем десятилетиями. Хрущев, не перечивший ни в чем вождю при его жизни, разумеется, не забыл, что его воля, как и воля других соратников Сталина, была целиком присвоена диктатором. Они привыкли исполнять, а не рассуждать. Хрущев помнил, что нередко второстепенные, чисто хозяйственные вопросы он сам был не в состоянии решить иначе нежели прямым обращением к Сталину. Это было всегда тревожно — можно нарваться на грубый отказ или какую-нибудь издевательскую реплику, — но все равно обращался:

«ЦК ВКП(б)
товарищу И. В. Сталину

Просьба взять на обеспечение государства истребительные батальоны, действующие против оуновцев. Просим:

керзы для голенищ сапог

— 104300 дцм

юфты для передков сапог	— 775 дцм
кожи подошвенной	— 20380 дцм
бязи для белья	— 196000 м
ниток	— 525 катушек

18.IX.1946 г.

Н. Хрущев.
С. Круглов»

Нетрудно представить, что если обращались к вождю за нитками, то в политических вопросах соратники у него ничего не могли «испрашивать». Хрущев, нанеший первый мощный удар по сталинизму, не мог, естественно, сразу стряхнуть с себя все его постыдные атрибуты.

Вся непоследовательность, половинчатость, недосказанность Хрущева (а в известном смысле и компромисс со сталинистами) нашли отражение в постановлении ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его последствий», принятом 30 июня 1956 года. Но в этом документе, мало похожем на доклад Хрущева, хотя и была сделана попытка вскрыть причины культа личности Сталина, более ярко выражен все тот же компромисс со сталинистами. Постановление утверждает, что «серьезные ошибки» были допущены лишь «в последний период жизни Сталина». Раскрывая «объективные условия» формирования антиленинского феномена, постановление в значительной мере брало аргументы у самого Сталина: «После смерти Ленина в партии активизировались враждебные течения — троцкисты, правые оппортунисты, буржуазные националисты, стоявшие на позициях отказа от ленинской теории о возможности победы социализма в одной стране, что на деле вело бы к реставрации капитализма в СССР. Партия развернула беспощадную борьбу против этих врагов ленинизма...» Далее говорилось, что «приходилось идти на некоторые ограничения демократии, оправданные логикой борьбы нашего народа за социализм в условиях капиталистического окружения». Но все это не столько объясняло, сколько оправдывало культовые уродства. Хрущев вновь возрождает идею «ленинского ядра», которое якобы сразу же после смерти Сталина повело решительную борьбу с культом личности и его последствиями. Мы же знаем, что все было далеко не так.

Постановление вопрошает: «Почему же эти люди не выступили открыто против Сталина и не отстранили его от руководства?» Далее следует констатация, которая, пожалуй, объективна, хотя и страшно горька: «Всякое выступление против него в этих условиях было бы не понято народом, и дело здесь вовсе не в недостатке личного мужества. Ясно, что каждый, кто выступил бы в этой обстановке против Сталина, не получил бы поддержки в народе». Хрущев, Президиум ЦК не захотели сказать, что «выступать» против Сталина нужно было значительно раньше, когда к партии обратился с этим предложением Ленин. Не сказав этого, сняв вину с партии за диктаторство одного лица, в постановлении тем не менее сочли необходимым отметить, что «советские люди знали Сталина, как человека, который выступает всегда в защиту СССР от происков врагов, борется за дело социализма. Он применял порою (?) в этой борьбе недостойные методы, нарушал ленинские принципы и нормы партийной жизни. В этом состояла трагедия Сталина (?)». Оказывается, все это было трагедией не народа, а лишь Сталина. «Было бы грубой ошибкой из факта наличия в прошлом культа личности, — отмечается далее в постановлении, — делать выводы о каких-то изменениях в общественном строе в СССР или искать источник этого культа в природе советского общественного строя. И то и другое является абсолютно неправильным, так как это не соответствует действительности, противоречит фактам».

Когда читаешь далее постановление, изложенное в том же духе, начинает казаться, что Хрущев, ведя дуэль с призраком Сталина 25 февраля 1956 года и нанеся первое, но смертельное поражение поверженному кумиру, сам испугался этой победы. Не случайно ЦК, официальная печать хранили полное молчание по поводу «секретного доклада», как будто их целью было оградить народ от

идеологического потрясения. Однако ознакомление глав делегаций братских партий с текстом доклада, партийной общественности на специально закрытых собраниях неизбежно привело к его «утечке». Уже в начале июня 1956 года текст доклада появился на страницах буржуазной печати в США, Франции, Англии. А у нас, признав даже в конце концов существование этого документа, официальные партийные органы более трех десятилетий делали вид, что этот вопрос абсолютно не актуален, совсем как в романе Дж. Оруэлла «1984»: понимаешь, «он для меня как бы не существовал». То есть это не документ. Да, его нельзя было получить в архивах, не было в материалах XX съезда, не говоря уже об отдельных изданиях. Именно этот поразительный факт свидетельствует, что сталинизм еще жив, видоизменив свою форму, проявляя себя в реликтах. А ведь казалось, что партия, именно партия, начав разоблачение и развенчание сталинизма, должна была и завершить его. С началом нашего обновления на одном из съездов или пленумов следовало бы принять глубокий аналитический документ, который бы отразил полное и всестороннее отношение коммунистов страны к этому чуждому марксизму явлению. Сейчас уже на дворе 1989 год, а такого документа еще нет.

Второе наступление Хрущева на Сталина и сталинизм, предпринятое им на XXII съезде партии уже публично, открыто, лишь потеснило тоталитарно-бюрократический образ мыслей и действий. Потеснило, но не ликвидировало. Затем наступил долгий мораторий в четверть века. Л. И. Брежнев, не решаясь полностью реанимировать Сталина и сталинизм, по совету Суслова и других своих соратников пошел по другому пути: в истории были созданы провалы, пустоты. Как будто не было Сталина, не было злодеяний сталинщины, не было тысяч, миллионов замученных и расстрелянных, не было ГУЛага. Бесплезно искать в изданиях энциклопедических словарей этих лет материалы о Троцком, Бухарине, Зиновьеве, Каменеве, множестве других деятелей революции. Или их нет вообще, а если есть, то как злые духи.

Схемы истории, создаваемые такими людьми, как Пospelов (готовы писать и панегирики Сталину, и его исторические некрологи), были упрощены до предела: Сталина «не было», руководила партия, даже если она не собиралась на свои съезды и Пленумы. А если Сталин и упоминался, то в обойме других сохранных для истории вождей, как один из многих, но только как совершивший «некоторые ошибки». И сам XX съезд, может быть, один из подлинно исторических, на долгие годы впал в полосу идеологического запрета. Так, например, первое десятилетие съезда (февраль 1966 года) партийная печать полностью замалчивает. Второе десятилетие — та же картина... Похоже, призраки сталинизма пошли в незаметное контрастование.

Здесь нет ничего случайного. Сталин умер, а система осталась. Пришли новые люди, пользующиеся ее механизмом. Те две памятные исторические атаки, которые со смелостью романтика-реформатора осуществил Хрущев, позволили пробить крупные бреши в корпусе сталинизма, но его наследники без лишнего шума подвели политические, идеологические и социальные пластыри под эти пробины. Книжки, которые успели написать во время «оттепели» А. Солженицын и некоторые другие писатели и историки, оказались уже не ко времени. Исследования этих лет, обращенные в двадцатые, тридцатые, сороковые да и пятидесятые годы, стали в основном изображениями «кривого зеркала».

Но хрущевский доклад сделал свое дело. В коммунистических партиях начался долгий и трудный процесс мучительной переоценки своей истории, программ, взглядов. Это особая тема. Некоторые партии отнеслись к докладу со старых методологических и мировоззренческих позиций по принципу: не выяснение истины является главным, а то, кто ее выдвигает. А поскольку, как подчеркивалось в постановлении ЦК КПСС, «в буржуазной печати развернута широкая клеветническая антисоветская кампания, поводом для которой реакционные круги пытаются использовать некоторые факты, связанные с осужденным Коммунистической партией Советского Союза культом личности И. В. Сталина», то реакция многих ортодоксально мыслящих руководителей была соответствующей.

В иных случаях, как, например, в итальянской компартии, руководство, и особенно сам Тольятти не довольствовались ограниченными объяснениями феномена сталинизма, а сами поставили вопрос о его природе. Во французской компартии к оценке глубинных вопросов сталинизма, его генезиса и последствий подошли более осторожно.

В КПК вначале солидаризовались с выводами доклада Хрущева, а затем на почве усиливающихся межпартийных разногласий перешли от поддержки к осуждению исторической акции XX съезда. Пожалуй, в концентрированной форме отношение к Сталину было выражено в совместной статье двух партийных китайских органов «Женьминь жибао» и «Хунци». Статья, опубликованная 13 сентября 1963 года, гласила: «На XX съезде КПСС товарищ Хрущев полностью и огульно отрицал Сталина. По такому принципиальному вопросу, имеющему отношение ко всему международному коммунистическому движению, как вопрос о Сталине, он предварительно не проконсультировался с братскими партиями, а после XX съезда, поставив их перед свершившимся фактом, стал называть им решение съезда». Далее в статье делались такие выводы: «Все заслуги и ошибки Сталина — это объективно существующая историческая реальность. Если сопоставить заслуги и ошибки Сталина, то у него заслуг больше, чем ошибок. Правильное в деятельности Сталина составляет его главную сторону, а его ошибки занимают второстепенное место. Каждый честный, уважающий историю коммунист, подводя итоги теоретической и практической деятельности Сталина в целом, видит прежде всего эту его главную сторону. Поэтому, правильно познавая, критикуя и преодолевая ошибки Сталина, необходимо защищать главную сторону его жизни и деятельности, защищать марксизм-ленинизм, который он отстаивал и развил». Здесь консервативная позиция, но аргументированная. Была реакция и иного рода.

К столетию со дня рождения Сталина в Тиране Э. Ходжа опубликовал книгу «Со Сталиным», где подробно описывал свои пять встреч с вождем. В книге нет аргументов, обосновывающих неприятие решений XX съезда партии албанским руководством, но есть яростное, эмоциональное неприятие самой идеи осуждения вождизма. «Никита Хрущев и его соумышленники, — писал Ходжа, — в «секретном» докладе, с которым они выступили на своем XX съезде, облили грязью Иосифа Виссарионовича Сталина и постарались унизить его самым отвратительным образом, самыми циничными троцкистскими методами».

По существу, каждая компартия по-своему «переваривала» доклад Хрущева на XX съезде. Потрясение, растерянность, но и оживление теоретической мысли, переосмысление прошлого опыта, как и ренегатство, идущее рядом со стремлением к обновлению, новым формам политической и социальной деятельности, — все вместе это в высшей степени противоречиво отражало происшедшее в Москве на XX съезде. Думаю, что едва ли сам Хрущев мог предполагать, сколь многосторонними и неоднозначными будут последствия его прорыва. Он едва ли представлял себе, что сцена дворца, где он делает доклад, скоро расширится до планетарных масштабов. На этой арене развернется долгая борьба (которая и сейчас еще не закончена) различных концепций социализма. С одной стороны — ортодоксальной, жесткой, бюрократической, силовой, бескомпромиссной, одномерной, готовой оправдать даже преступления во имя торжества идеи, с другой — демократической, гуманной, многомерной концепции, исходящей из принципа, что высокая идея может опираться лишь на чистые, человеческие методы и средства, одобряющей исторические компромиссы и сосуществование различных систем и идеологий. Конечно, у Хрущева еще не было тех концептуальных взглядов, которые мы приобретаем сегодня. Но осмелюсь сказать, что если не сводить «новое мышление» только к современному осмыслению грозных реалий ядерного мира, а понимать под ним принципиально новое прочтение великих идей гуманизма, то нужно сказать, что Хрущев приоткрыл дверь общественного сознания социалистического мира для проникновения туда вечных духовных ценностей, которые и ныне кое-кому кажутся ересями. Хрущев сдернул мантию непогрешимости с тирана, в котором, как в кривом зеркале, отразились

сложнейшие противоречия эпохи. Этот человек, насквозь «просвеченный» хрущевским докладом, оказался непревзойденным мастером соединения высокой идеи с чудовищным абсурдом.

Вернусь еще раз к Н. Бердяеву, который, может быть, глубже других сумел постичь тайны философии истории, которые позволяют через призму вечно пульсирующего бытия найти многие разгадки той или иной личности или по крайней мере надеяться постичь их. «Каждый человек,— писал Бердяев,— по своей внутренней природе есть некий великий мир — микрокосм, в котором отражается и пребывает весь реальный мир и все великие исторические эпохи».

Исследователь, преодолевая пласты времени и пытаясь понять то, что безвозвратно ушло, одновременно имеет шанс увидеть «оттиски», иногда очень слабые, порой кричаще-громкие, работы мысли, воли, страсти человека, чей портрет мы хотим воссоздать. Иногда этому помогают «раскопки» реликтов былого, отшумевшего, страшного. Реликты сталинизма требуют долгого осмысления. Иногда, кроме анализа конкретных фактов, мы были вынуждены прибегать к методам философии истории, предстающей в этом случае как пророчество, опрокинутое назад. Только постигнув прошлое, люди будут способны на пророчества, обращенные в грядущее.

Вместо заключения. Вердикт истории

В начале 1945 года, когда исход войны был уже ясен, во время одного их вечерних докладов Берия молча положил перед Сталиным лист бумаги, написанный аккуратным почерком, в старой орфографии. Рядом — этот же текст, перепечатанный на машинке в ведомстве наркома внутренних дел. Сталин знал, что ему не приносили пустых «бумажек». Посмотрев внимательно на Берия, патрон углубился в чтение:

«Глубокоуважаемый Иосиф Виссарионович,

Мы, внуки писателя Льва Николаевича Толстого, Илья Ильич и Владимир Ильич Толстые с семьями, освобожденные от немецкой оккупации войсками Красной Армии на территории Югославии, где мы жили 23 года как эмигранты, просим о разрешении нам вернуться на Родину, чтобы принять участие в войне.

В полном сознании ошибочности и преступности своей эмиграции мы просим дать нам право и возможность включиться в ту гигантскую борьбу, которую ведет наш народ под водительством Советской власти за счастье своей Родины. Помогая Красной Армии в ее боевой работе в районе нашего местожительства, мы сердцем уже с нею слились и теперь хотим только отдать свои силы и жизни своей стране.

Мы надеемся, что Вы, как человек, почувствуете и поймете всю естественность и искренность нашего стремления и не откажете нам.

С глубоким уважением

Илья Ильич Толстой,
Владимир Ильич Толстой.

20 января 1945 года.
Новый Бечей, Югославия».

Сталин поднял голову и посмотрел на Берия. «Сколько волка ни корми,— подумал Верховный Главнокомандующий.— И здесь дворянская гордыня: «...ту гигантскую борьбу, которую ведет наш народ под водительством Советской власти». Хорошо, что власть признали, но не его, вождя... Ход мыслей Сталина прервал Берия, что-то уже торопливо говоривший:

— ...Этот Илья, бывший помещик, в шестнадцатом году окончил Военно-морской корпус царской армии. В гражданской войне воевал на стороне белых. Бежал после разгрома Колчака в Харбин, оттуда через Японию и Италию — в Югославию, где и проживает с двадцать первого года. С тридцать третьего года член антисоветской организации «Младоросская партия», а накануне войны руководитель отделения этой партии в Белграде. До тридцать девятого года со-

трудничал в белогвардейской газете «Русское дело», печатавшей измышления по адресу советского руководства, пропагандировал монархические идеи. Сильно бедствовал материально, работал счетоводом, вместе с сыном сапожничали, делали куклы. Сейчас сын Никита пошел с одной из частей Красной Армии вперед...

— А что другой Толстой? — перебил Сталин.

— Владимир Толстой... Образование получил в Первом Московском корпусе. До семнадцатого года был добровольцем на германском фронте. Затем — на стороне белых. С войсками Врангеля бежал в Константинополь. Зарабатывал на жизнь в Югославии трудом строительного рабочего, был поденным огородником, служащим на табачном складе в Македонии.

— А антисоветская деятельность?

— Данных пока нет. При немцах сидел в их концлагере за симпатии к СССР.

Сталин молчал. До него дошло слабое эхо гражданской войны, выпустившей в ходе междоусобицы реки крови. Не без злорадства подумал: сколько теперь таких кающихся будет? История всем доказала его силу и правоту. Осколки прошлого... Берия, словно расслышав мысли вождя, ввернул:

— В Югославии должно быть немало бывших белогвардейское офицере, казачки. Как в Чехословакии и Болгарии. Думаю, и этих братьев Толстых надо проверить в лагере. Почему мы им должны делать исключение?

Но Сталин, помолчав еще с минуту, неожиданно не согласился со своим заплочных дел мастером:

— Бог с ними. Передайте письмо Молотову. Разрешите въезд в страну. Пусть их судит история.

Лишь через четыре с половиной месяца на заявлениях Толстых появится наконец резолюция: «Надо разрешить вернуться обоим в СССР. В. Молотов. З.И.45 г.». А в октябре семьи внуков великого русского писателя получили советское гражданство.

«Пусть их судит история». Необычное заявление Сталина — он привык судить сам. Вождь давно уже уверовал, что история может судить всех, кроме него. Диктатор полагал, что он как бы возвысился над прошлым, настоящим и будущим временами, хотя понимал, что прошлое пожирает многих, а в конечном счете всех, но едва ли это относил к себе. Христианин, ставший атеистом, знал, что эта великая религия славит воскресение, но ему оно было не нужно. Он верил, что память о нем не придется искусственно оживлять. Однако суд... Сталин давно пришел к умозаключению, что история будет его не судить, а изучать, возвышать, делать его имя легендарным и вечным. Ведь сделанный им — могучее государство, монолитная партия, сплоченный народ, одержавший под его руководством столько побед, — видят все. Нет, Сталин не мог даже думать о каком-то суде истории над собой. Это невероятно. Будет лишь великое воздаяние его памяти за бессмертные заслуги.

Вначале казалось, что все именно так и будет. Через два года после его смерти Государственное научное издательство «Большая Советская Энциклопедия» в огромной апологетической статье своего трехтомного энциклопедического словаря сообщало, что «Сталин — верный ученик и соратник В. И. Ленина, великий продолжатель его бессмертного дела, вождь и учитель Коммунистической партии Советского Союза, советского народа и трудящихся всех стран». Но этой инерции апологетики хватило ненадолго.

Сегодня мы знаем, что гласный суд над Сталиным начался с февраля 1956 года и идет уже несколько десятилетий. Но было бы неверно считать, что в годы единовластия не было людей, которые уже тогда не только мысленно, но иногда и открыто высказывали свое неприятие сталинской политики. Вот несколько примеров. В военных архивах имеется немало политдонесений в Политуправление РККА, свидетельствующих, например, что кровавый террор 1937—1938 годов вызвал не только слепое, механическое одобрение, но и растерянность, подавленность, а иногда и моральный протест. Приведем выдержки из политдонесений корпусного комиссара Говорухина, дивизионного комиссара Вол-

кова, бригадного комиссара Круглова (в донесениях, как часто тогда бывало, инициалы не указаны):

— лейтенант 101-го артполка беспартийный Шкробат в разговоре с красноармейцами сказал, что «не может верить Сталину» в том, что «Якир и Тухачевский враги народа»;

— красноармеец Зубров: «При Николае не хватало виселиц, а теперь не хватает патронов. Но всех не перестреляют»;

— преподаватель артшколы Трушинский: «Не является ли сам Сталин троцкистом?»;

— краснофлотец Клепалов выразил сомнение в том, что «Бухарин и Троцкий враги народа»;

— командир корабля Кириллов: «Не верю, что Бухарин и другие — враги народа и социализма. Просто они хотели заменить руководство партии».

Таких фактов в донесениях приводится немало. Как правило, здесь же в них сообщается: «такой-то передан в органы НКВД для следствия». Недоумение, слабый протест тут же подавлялись.

Сам помню, уже после войны, где-то в конце сороковых годов, наш сосед в деревне Прокоп Мочалов негромко говорил моему дяде: «Замордовал Сталин колхозы. Это надо же, довел до того село, что уж сколько лет как хлеб едим только по праздникам. Все отбирают, одни налоги. Какой же это социализм?» Дядя промолчал, опасливо посмотрев вокруг. Такие, как я, и не ведали, что люди могут и должны жить лучше. Ведь никакой другой жизни, кроме как в нужде, вечных нехватках, ограничениях, мобилизациях, мы и не знали.

Всеобщая бедность, регламентация и заданность бытия стали нормой. «Судить» Сталина могли те, которые могли с чем-то сравнить свою сегодняшнюю жизнь. Мне документально известны и другие случаи прямых и «эзоповских» антисталинских высказываний ряда рабочих, крестьян, инженеров, писателей, ученых, чье сознание не было полностью замутнено и совесть не деформирована. Это были мужественные, но обычно неслышные в высоких стенах огромной державы голоса осуждения Сталина. Эта тема социального, духовного протеста у нас еще должным образом не изучена.

Вердикт — решение «присяжных» истории — выносит прежде всего народ, который три десятилетия шел за человеком, жестоко поправшим великую идею. Этот суд все сильнее меняет политический облик Сталина. Я уже говорил, что мне, возможно, с первого раза и не удалось написать портрет этого тирана. Но пусть моя попытка ограничится лишь созданием одного из эскизов, пользуясь которым, другие напишут этот портрет точнее. Однако уже сегодня ясно, что говорить и писать о Сталине — это значит пристально взглянуть в эпоху, на щите которой этот человек оставил столь глубокую и кровавую вмятину. Едва ли возможно решить эту задачу одной книгой. Но сделаем еще несколько завершающих «мазков» на нашем портрете (эскизе?). Они не плод умозрительности, а результат того суда нашего времени, который еще не закончен, а продолжается. Исторический вердикт, который в конце концов будет людьми вынесен, касающийся деяний этого человека, поможет ответить на ряд вопросов.

Был ли революционером Сталин? По-видимому, да, был. Но до какого рубежа? Годы подполья, ссылки, тюрем, время революции и гражданской войны, влияние подлинного вождя революции Ленина сформировали в этом человеке черты, которые были присущи в то время многим: веру в истинность идей марксизма, убежденность, что действительность можно преобразовать в соответствии с идеями, склонность к радикализму, абсолютная приверженность классовым критериям, нигилистическое отношение к демократическим и гуманистическим ценностям. В силу своей малозаметности в Октябрьской революции Сталин не дал слишком много пищи историкам. Он был эпигоном революции, ее статистом, хотя и числился в руководящем звене. Но есть свидетельства, о которых ранее нам не было известно, говорящие, что Сталин был способен и тогда и на самостоятельные решения, что не мог не оценить Ленин. Так, на заседании Совета Народных Комиссаров 28 ноября 1917 года, на котором

председательствовал Ленин (присутствовали Троцкий, Стучка, Петровский, Менжинский, Глебов, Красиков, Сталин, Бонч-Бруевич и некоторые другие), среди вопросов обсуждался и такой. Сделаем выдержку из протокола:

«Слушали:

...2. Проект декрета (вносит тов. Ленин) об аресте виднейших членов ЦК партии, врагов народа (кадетов.— Д. В.) и предании их суду революционного трибунала.

Постановили:

Принять и утвердить (принято единогласно против одного Сталина)».

Такое поведение Сталина может сегодня показаться невероятным. Возможно, таким образом он хотел заявить о себе? Документы — вещь упрямая. Просто этот малоизвестный факт свидетельствует, что Сталин проделал довольно причудливую эволюцию в своем развитии революционера. Он не всегда был вампиром. На первых порах эта эволюция была достаточно позитивной, если Ленин согласился на выдвижение Сталина Генеральным секретарем партии и позднее мог его охарактеризовать как одного из «выдающихся вождей». Мы уже говорили, что, по имеющимся у нас данным, на пост генсека Сталина выдвинул Л. Б. Каменев, хотя официальные сообщения на этот счет иные. Например, Л. Б. Мехлис в газете «Правда» 9 апреля 1949 года прямо утверждал, что Сталин оказался Генеральным секретарем «по предложению В. И. Ленина», но Мехлис слишком одиозная фигура, чтобы его заявления брать на веру.

С позиций сегодняшнего дня мы знаем, что высокий пост начал быстро менять Сталина. В истории замечено, что власть лучше всякого рентгена высвечивает людей. Генсек стал преображаться, быстро проявил свой негативный безнравственный потенциал. Многие порочные склонности, дремавшие в этом малозаметном человеке, быстро проснулись — Сталин «высветил» себя. Ленин уже менее чем через год после назначения Сталина генсеком обнаружил, что у того глубокие политические и нравственные изъяны.

Со смертью Ленина в Сталине начал быстро умирать революционер и рождаться диктатор. В начале тридцатых годов это был уже первый консул, а затем и цезарь. Говоря словами Жана Жореса, пытавшегося ответить на вопрос: «Как судить революционеров?», — отныне «свет Революции будет мерцать в мрачной атмосфере Термидора». В тиране уже трудно узнать бывшего революционера. Разве можно было предположить 28 ноября 1917 года, когда Сталин выступил против ленинского предложения о предании суду лидеров партии кадетов, что незадолго до своего семидесятилетия, только в течение одного месяца — сентября 1949 года, Сталин будет способен спокойно, без единого замечания одобрить целую пачку приговоров Особого совещания при МВД СССР?

Вот кусочек зловещей хроники:

«2 сентября — 30 человек к 20 годам каторжных работ;
10 сентября — 52 человека к 20 годам каторжных работ;
16 сентября — 31 человека к 20 годам каторжных работ;
24 сентября — 76 человек к 20 годам каторжных работ...»

И так все последующие месяцы нескольких лет, что еще судьба отвела диктатору. Подавляющее большинство этих людей не были преступниками. Свидетельство тому — реабилитация осужденных «тройками» и особыми совещаниями. На 1 июля 1989 года уже реабилитировано около четверти миллиона человек. Разве не походит теперь Сталин на безжалостного палача собственного народа? Разве можно обойтись без этого характерного штриха на портрете без риска его исказить? Таковы полюсы тридцатилетней эволюции человека, начавшего революционером и кончившего жизнь кровавым тираном.

Сталин был радикалом, но ему никогда не были присущи революционный романтизм и смелый полет мысли. Когда все лидеры большевистской революции во главе с Лениным надеялись на то, что пролетарский мировой пожар разгорится, то Сталин был достаточно холоден к этой идее — он не очень верил в нее. И, помним, насмешливо улыбался, когда Бухарин на IV конгрессе Коминтерна внес предложение о правомерности проведения пролетарским государст-

вом «красной интервенции», ибо «распространение Красной Армии является распространением социализма, пролетарской власти, революции». Первый генсек ВКП(б) весьма скептически смотрел на революционность Европы, как, впрочем, и Азии, — его больше устраивал социализм в одной стране.

В Сталине были сильны настроения изоляционизма. Придет время, и он создаст «железный занавес». Посещение человеком даже по служебным надобностям за границы считалось при его режиме, как, впрочем, и позже, достаточно подозрительным фактом. Если в 20-е годы капиталистические страны создавали кордоны, которые могли препятствовать «большевистской заразе», то в последующем об этом заботился уже Сталин, правда, потому, что боялся реальностей. Как можно было, например, поддерживать миф об «абсолютном обнищании» пролетариата на Западе без изоляции советских людей от правды? Сталину требовалась лишь революционная фразеология. Для диктатора сама революция становится теперь подозрительной, если она не санкционирована им.

Каким был Сталин как государственный деятель? Мне могут возразить, что Сталин лишь 6 мая 1941 года занял пост Председателя Совета Народных Комиссаров, хотя, правда, в начале своей головокружительной карьеры занимал сразу два поста — народного комиссара по делам национальностей и наркома рабоче-крестьянской инспекции. Сталин не тратил времени на утопические, по его мнению, рассуждения об «отмирании государства». Он, если и говорил об этом, как на XVIII съезде партии, то только в таком ключе: будущее отмирание государства произойдет через его всемерное укрепление и усиление. Для «революций сверху» — а после Октября он признавал только такие — нужна сильная, железная власть, не обремененная демократическими атрибутами. Государство было для него средством получить и удержать власть навсегда. Ему никогда не приходило в голову, что через определенное количество лет народ путем свободного волеизъявления при наличии обязательных альтернатив должен давать мандат на правление вновь избранным представителям народа. Придя к власти, Сталин сразу же решил, что это пожизненно. В государстве он превыше всего ставил аппарат, больше других ценил ведомство внутренних дел. Даже партию за очень короткое время смог превратить в разновидность специфического аппарата или, может быть, государственного идеологического ордена.

В государстве Сталин сразу увидел инструмент власти, позволяющий ей быть всегда правой. Он не опустил до тривиального: «государство — это я», но, даже не будучи до 1941 года главой правительств, обладал абсолютными прерогативами законодательной и исполнительной власти. Государство стало для него средством обеспечения безраздельного единовластия. Этот человек никогда не был знаком с «Государством» Платона, но если бы прочитал это произведение, мог бы страшно удивиться, по каким старым рецептам он действовал. Платон писал: «Установив законы, объявляют их справедливыми для подвластных, а преступающего их карают как нарушителя законов и справедливости... Во всех государствах справедливостью считается одно и то же, а именно то, что пригодно существующей власти. А ведь она — сила, вот и выходит, если кто правильно рассуждает, что справедливость — везде одно и то же: то, что пригодно для сильнейшего».

А чтобы народ понимал, что только государство может определить, что справедливо, а что нет, нужно быть беспощадным по отношению к тем, кто в этом сомневается. По старой привычке, до конца его дней из гигантского потока писем Сталину выбирали ежедневно несколько характерных. Тут многое зависело от Поскребышева и его аппарата. Но почти никогда Сталин не давал повода подумать, что государство «ошиблось».

Как-то помощник вложил в папку письмо от родственников Юрия Анатольевича Пестеля, правнука декабриста, о том, что он сидит уже десять лет, безрукый. Сжалось. Ведь фамилия Пестеля для России так много значит... Если бы что-нибудь другое попросили... И Сталин просто отложил письмо в сторону. А вот еще:

«Мои четыре сына, бывшие орденосцы и заслуженные мастера спорта братья Николай, Александр, Андрей и Петр были арестованы 21 марта 1939 года и приговором военной коллегии Верховного суда СССР осуждены по ст. 58-10 УК к 10 годам лишения свободы каждый.

Разрешите оказать милость моим сыновьям сражаться на фронте.

Старостина Александра Степановна.

12 марта 1944 года».

Сталин письмо тоже отложил в сторону — пусть разбирается Берия. Он знает его, вождя, установку: государство зря не карает. Сталин никогда не прислушивался к голосу человеческих чувств (а может быть, их у него и не было?). Разве не так должен поступать настоящий государственный деятель? Ну, и наконец, разве народ не ценит его твердость и непреклонность? Воля вождя для него, народа, закон. Об этом он даже как-то публично сказал, кажется, Черчиллю: «Легко быть лидером на службе у такого народа».

Почему единовластие Сталина так быстро расширило и утвердило тотальную бюрократию? Дело в том, что в годы правления единодержца наше общество, вопреки заявлениям Сталина, не построило «полного социализма», а находилось лишь на мучительном переходном этапе, отягощенном множеством проблем. А бюрократия как раз способна загонять противоречия, проблемы вглубь, но не решать их. Проблемы власти, села, культуры, общественной мысли, прав человека благодаря бюрократии долгие годы выглядели решенными. Во внутреннем плане государство всячески стимулировало рост бюрократии: все больше была нужда в надсмотрщиках, понукателях, контролерах, цензорах, планировщиках, нормировщиках, инспекторах. Внешнеполитическая ситуация также способствовала цементированию бюрократии — чем больше терпело поражений революционное движение, усиливалась угроза войны, тем более обоснованными выглядели шаги по «закручиванию гаек». В конце концов в стране выявился Главный победитель — бюрократия, надолго одержавшая верх над идеей, партией, народом. В храме бюрократии находился ее главный Жрец — «Великий Сталин». По существу, «вождь народов» стал персональным выражением тотальной бюрократии. Революционная лава, извергшаяся из октябрьского кратера, была остужена холодом и равнодушием сталинской бюрократии. Пройдут долгие годы, прежде чем история предъявит свои векселя к оплате.

Социализм и диктатура личности несовместима, а Сталин добился их синтеза. Сам этот факт уже дает материал для исторического вердикта: диктатор — это несвобода миллионов и свобода лишь одного деспота. Надо признать, что недруги Сталина и сталинизма заметили и сказали об этом раньше, чем большевики в партии. Еще в 1932 году в Париже вышла книжка Александрова «Диктатор ли Сталин?», пытавшаяся ответить на вопрос о природе сталинизма и характере государственной власти деспота. Сталин, писал автор, «не захватил в свои руки власть, а корону — лидерство преподнес ему созданный им железный, преданный ему аппарат во главе группы видных новых вождей партии, во всем согласных с ним». Партия не может снять с себя ответственности за прошлое, связанное со Сталиным. Догматизм и бюрократия поразили не только государство, общество, но и их институты.

Сталин всегда верил в силу государственной машины и с подозрением взирал на малейшие проявления общественной самостоятельности. Любая попытка создания самой безобидной самодеятельной общественной организации, не предусмотренной инструкциями аппарата, расценивалась им как враждебное деяние. Сталин смог соединить единовластие и социализм. Правда, от этого социализм стал, по сути, а б с о л ю т и с т с к и м.

Был ли Сталин большевистским партийным лидером? Этот вопрос также ставит нам время. Я бы ответил так: Сталин не мог быть лидером большевистской партии, об этом прямо заявил Ленин в своем письме с предложением переместить генсека. Съезд не вынял предостережению вождя и проявил беспечность, однако Сталин сделал для себя важные выводы. Главный из них — он начал процесс изменений в самой партии и, по сути, к концу

двадцатых годов это была уже организация, во многом отличная от той, что функционировала в ленинское время. Генсек стал лидером во многом другой партии. В чем выразились эти изменения? Прежде всего в ее составе. Если сделать глубокий ретроспективный взгляд на историю КПСС, то она предстает в небольшой степени как история борьбы идей различных групп, как тогда говорили фракций, уклонов, оппозиций. Думаю, что разномыслие и раньше и потом излишне драматизировалось. Борьба за единство в значительной мере была борьбой за однодумство. Для этого в партии были нужны чиновники духа, ранжированные функционеры. Без возможности свободно высказывать свое мнение с одновременной готовностью бороться за исполнение принятого решения революционная партия стоит перед угрозой перерождения. Возникла номенклатура, утвердилось абсолютное право ЦК (так прикрывалась часто воля Сталина), демократический централизм переродился в централизм бюрократический. В этих условиях партия действительно превращается в монолит. Но что это означает? А вот что: социальный, политический вес ее огромен, а творческий потенциал сокращается до минимума. В. И. Ленин в своих письмах В. М. Молотову в марте 1922 года выражает беспокойство разбуханием партии, настаивает на ужесточении приема: «Если у нас имеется в партии 300—400 тысяч членов, то и это количество чрезмерно, ибо решительно все данные указывают на недостаточно подготовленный уровень теперешних членов партии».

Однако стараниями Сталина и Зиновьева условия приема в партию были еще более облегчены, она стремительно росла, и, как докладывал генсек на XIV съезде, в 1925 году ее численность перевалила за миллион. Уже к 1928 году две трети состава партии определяли вступившие в нее после 1921 года, в период нэпа, а коммунистов с дореволюционным стажем осталось чуть больше одного процента. Революционный авангард растворился.

В партию пришло немало людей без должной политической закалки, с низкой культурой и образованием, увидев в партийности способ поднять свой социальный статус. Одновременно был ужесточен подход к приему «спецов» — бывших инженеров, учителей, военных. Компетентность партийцев, их социальная зрелость заметно снизились. У новых членов партии особенно ценилась готовность исполнять директивы Центра, одобрять партийные установки ЦК и его Генерального секретаря. После смерти Ленина за пять-шесть лет партия по своему составу существенно изменилась, стала более послушной, начав приобретать очертания огромного специфического аппарата, похожего, как мы уже говорили, на идеологический орден. Сталин стал еще больше подходить на роль лидера этой, сильно изменившейся партии, тем более что и в руководящем звене к началу тридцатых годов значительная часть из ленинского окружения с помощью Сталина успела, по его словам, «выпасть из тележки».

Новый партийный лидер, и об этом мы как-то мало говорим, не мог стать единодержцем, цезарем, диктатором в государстве и партии без глубокого изменения состава, структуры и функций партийных органов и организаций. Это ему тоже удалось. Когда последние представители «ленинской гвардии» наконец забеспокоились, спохватились, все было кончено — практически на всех постах стояли личные выдвиженцы генсека. Поэтому на вопрос, который мы поставили выше, — был ли Сталин большевистским партийным лидером? — ответим однозначно: он был вождем сталинизированной партии, очень многое утратившей из ленинского арсенала. Остался централизм без демократии, дисциплина без размышлений, нетерпимость к инакомыслию, недопустимость свободы мнений.

Центральный партийный аппарат уже в середине 20-х годов полностью взял в свои руки назначения партийцев на самые различные должности. Сталин держал под особым контролем эту сферу деятельности. Так, например, в сороковые годы Г. М. Маленков, ведая кадрами, предreshая выдвижения, назначения, снятие партийных функционеров, регулярно докладывал вождю об изменениях в среднем и высшем слое теперь уже «сталинской гвардии». Ознакомление с фондом Маленкова, его перепиской, донесениями Сталину показывает, что через этот канал непрерывно поступал «раствор» для цементирование огромной бюрократи-

ческой системы, синтезировавшей в одно целое партию, государственные органы, Советы, органы безопасности, другие организации. В фонде Г. М. Маленкова бесконечные списки: Н. В. Штанько, И. Л. Мазурин, П. И. Панфилов, А. И. Иванов, В. А. Парфенов, И. И. Олюнин, Л. С. Буянов, Н. М. Иванов, множество других фамилий, освященных резолюциями Сталина. Отныне эти люди очастливлены выдвижением благодаря воле вождя.

Сталин смог возглавить партию, потому что сделал общество однородным. Это заметили наши недруги тоже давно. Так, некий эмигрант Р. Н. Куденгове-Калерги в 1932 году в книге «Большевизм и Европа» отмечал, что Сталин создал свой порядок. «Там,— писал он,— господствует одна воля, одно мирозерцание, одна партия, одна система. Весь Советский Союз — это одна-единственная плантация, все население — единственная рабочая армия». Сказано зло, так говорят обычно побежденные, но подмеченная однородность общества, которая выглядела в те годы как олицетворение силы, позже подверглась эрозии. История, формулируя свой вердикт, сегодня это подтверждает. Многообразие и плюрализм более способствуют социальному, интеллектуальному и нравственному творчеству, нежели унылое и холодное однообразие, которое так любил Сталин.

Бывший семинарист никогда не был пророком, хотя верил в утопии. Он смотрел только прямо перед собой, как через амбразуру дота. Одна из тайн его «триумфа» (как и трагедии народа) заключается в том, что когорту революционеров он смог постепенно заменить армией чиновников. Неверно говорить, что только Сталин создавал бюрократию. Они были нужны друг другу. Бюрократия тотальная не могла бы процветать без такого лидера, каким был Сталин. Повторимся: Сталин не был пророком. Он односторонне понимал и прошлое, иначе бы ему стала ясна еще одна тайна его вознесения. Любая революция рождает контрреволюцию, сильную или слабую. Октябрьская революция тоже родила контрреволюционную реакцию. Для ее гашения понадобилась ответная, вторая волна революции. Она была затяжной, в целое десятилетие, и подняла на свой гребень много новых людей. Выше всех эта волна вознесла Сталина. Генсек смог удержаться на этом гребне, одновременно подталкивая в бездну одного за другим своих потенциальных соперников. Когда наконец революционный отлив произошел, выше других на берегу оказался Сталин в окружении сонма мандаринов бюрократии, прочно оседлавших все ключевые узлы создающейся системы. Как заметил эту реальность Л. Д. Троцкий: «свинцовый зад бюрократии перевесил голову революции». Отныне строительство социализма стало рассматриваться не как социальная, а как административная задача. Раньше мы думали, что история поставила лишь один знак — восклицательный — и глубоко ошибались...

В результате проведенного нами анализа сегодня можно сказать, что Сталин «насквозь» политическая фигура. Этот человек на весь окружающий мир смотрел через призму своих политических интересов, политических приоритетов, политических заблуждений. Сталин считал возможным достижение утопического «земного рая» ценой невероятных страданий и жертв миллионов людей. По сути, политика Сталина исходила из того, что вся предыдущая история — лишь подготовка к «подлинной» истории. Мол, блаженство тех далеких, будущих поколений, которые достигнут земли обетованной, оправдывает муки и горечь бытия всех людей, прошедших по земле ранее, как и живущих сегодня. Сталин готов был жертвовать прошлым и настоящим народа во имя эфемерного будущего. Но, как справедливо говорил Бердяев, прошлое призрачно потому, что его уже нет, а будущее призрачно потому, что его еще нет. Сталин никогда не мог в политике преодолеть разрыв между прошлым и будущим, полагая, что сегодня — это только «предыстория».

Сталин, безрассудно торопя время («мы отстали на сто лет, должны их пробежать за десять лет»), был готов уничтожать миллионы людей, чтобы план коллективизации «выполнить досрочно»; считал естественным повергнуть в небытие тысячи своих товарищей-партийцев, чтобы достигнуть в «кратчайшие сроки» полного «единодушия». Сталин, похоже, верил в абсолюты, в свою способ-

ность «осчастливить» миллионы будущих сограждан путем бесчисленных преступлений сегодня. Его политика «творения будущего», какими бы благими намерениями ни камуфлировалась, глубоко ущербна. Для ее реализации Сталин считал допустимым уже сегодня распоряжаться будущим миллионов своих сограждан. Вот выдержки из одного документа, где Сталину, Молотову, Берии, Маленкову сообщается о ходе реализации принятых ранее решений вождя:

«МВД докладывает, что по состоянию на 1 января 1950 года на учете состоит 2 572 829 выселенцев и спецпереселенцев (вместе с членами семей). В Казахстане 894 432 человека, остальные примерно поровну распределены и размещены в Средней Азии, на Урале и в Сибири. 278 636 семей имеют собственные дома; 625 407 семей имеют свои огороды и домашний скот. В 1949 году 1932 выселенца осуждены Особым Совещанием за побег с мест размещения на 20 лет каторги каждый. В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета от 26 ноября 1948 года все эти люди расселены в местах поселения навечно». Расселены навечно... Какая фатальная обреченность! И... социализм? Словно в далекие царские времена: ссылка, каторга, безвестье, но масштабы несравнимы. Видимо, прав Бердяев. Вернемся еще раз к нему, к его работе «Духи русской революции», где он пишет, что «нет народа, в котором соединялись бы столь разные возрасты, который совмещал бы XX век с XIV веком, как русский народ». Но, пожалуй, средневековую жестокость привнес в двадцатый век не народ, а тот, чей портрет мы пытались написать. Печальному опыту исторической неудачи, которую мы олицетворяем со Сталиным, противостоят деяния и дух народа, сумевшего сохранить нечто такое, что изначально отторгало сталинизм. Эта тенденция улавливается при внимательном анализе жизни всех слоев советского общества.

И сейчас есть люди, которые, правда, уже не столь убежденно, как несколько лет назад, говорят: «Мы шли в бой со словами: «За Родину, за Сталина!», «Разве можно отрицать, что люди его любили?». Нет, отрицать нельзя — люди действительно его любили. Но он не любил их! Более того, он коварно обманул миллионы, олицетворив себя с социализмом. Вера в социализм была автоматически перенесена и на него. Думаю, это самый парадоксальный случай «затмения» целого народа. Точнее, утонченного использования колоссальной тяги миллионов людей к социальной справедливости, счастью, процветанию в самых циничных целях. Массовый энтузиазм, героизм, подвижничество служили Сталину для создания системы, в которой пульт управления ею был только в его ведении. Единодержец превратил государство в «сталинскую державу», в которой имели «историческое значение» только его идеи, указания и воля.

Мы будем еще долго и многократно оглядываться назад в поисках глубинных причин утверждения «вождизма», а затем и «цезаризма» как специфической формы власти, которую Сталину удалось выдать за социалистическую. Отсутствие, а точнее уничтожение всех разумных альтернатив сделало шансы Сталина столь чудовищно великими. Нельзя сомневаться в том, что Сталин раньше других соратников познал тайны власти в руках единственного вождя. Читая книгу С. Г. Лозинского «История Древнего мира», он еще в конце двадцатых годов подчеркнул несколько красноречивых фраз (я давно убедился, что единодержец подчеркивал только то, что имело значение лично для него). Читая об Августе Октавиане, он выделил карандашом слова: «первый гражданин», «верховный правитель». Изучая текст о Цезаре, фиксирует выражение «вождь-победитель». В книге «Курс русской истории» подчеркнул фразу: «Чингисхан перебил много людей, говоря: «Смерть побежденных нужна для спокойствия победителей». Да, он был победитель, который, как это станет ясно много позже, исторически «промахнется». Но для его спокойствия понадобится столько смертей, что это не могло даже присниться ни одному самому кровавому диктатору. Эти дополнительные штрихи еще и еще раз убеждают: Сталин знал, что хотел. Его оппоненты знали это хуже. Изначальная слабость противостояния вождизму простекала не только из целого комплекса причин, о которых мы говорили еще в первой книге, но и отсутствия альтернатив в революционном плюрализме. Только он смог бы, возможно, не допустить сталинского монизма.

Конечно, пирамида из человеческих черепов с вороном наверху, изображенная Верещагиным в его «Апофеозе войны», могла бы стать символом сталинского личного единовластия. Но этот символ был бы слишком упрощенным: пирамида скрывает выживший народ, обманутый в своих надеждах и вере, народ, для которого трагедия минувшего — это его собственная история... А ей нельзя ни мстить, ни смеяться над нею. Мы не можем и не должны отрицать того, что принадлежит социализму. А то, что привнесено в нашу жизнь сталинизмом, отдается суду истории. Долгому, мучительному, но очищающему. Слова Ленина и сегодня актуальны: «Надо уметь признать зло безбоязненно, чтобы тверже повести борьбу с ним».

Да, зло сталинизма мы постепенно преодолеваем. Здесь нет никакого вопроса. Но, думаю, на этой почве нельзя отрицать социализм вообще. Даже после крупной исторической неудачи (а для народа сталинизм — трагедия) преждевременно говорить о «бесплодности» пути на социалистических рельсах. Обновление, к которому мы приступили, и весьма неудачно, особенно в сфере социально-экономической, пока не дало убедительного ответа: в чем исторический шанс социализма? Некоторые шаги и решения сегодняшнего дня пока выглядят социальной импровизацией, половинчаты и непоследовательны. Думаю, в немалой степени это происходит потому, что мы слабо осмыслили свой исторический опыт: неудачи и достижения. Мы, наверное, плохо учились у других народов и обществ. Возможно, материализовать социалистические идеалы можно совершенно на новых подходах в экономической, социальной и духовной сферах. Нужна новая концепция социализма, которую наивно ждать от очередного пленума или выступления того или иного государственного деятеля. Демократизация общества постепенно вовлекает народ в социальное творчество, только на этом пути могут быть новые решения, достойные надежд и ожиданий. Наш народ слишком велик, чтобы довольствоваться малым. Отторгнув сталинизм, он имеет право рассчитывать на лучшую судьбу.

Суд истории и ее вердикт возможны благодаря народной памяти. По сути, она всегда является основной формой «реставрации» прошлого. Думаю, что вечность, о которой так много говорят философы, историки и писатели, не может существовать иначе, чем в памяти. Это извечная попытка людей преодоления всякого конца. Именно она, память, дает в конечном счете беспристрастную оценку эпохе, событию, лицу, позволяет сохранить связь времен. Благодаря памяти мы сегодня знаем о Сталине больше правды, чем во время его жизни. Памятью — в союзе с совестью — можем глубже высветить страшную истину об этом человеке. С помощью памяти способны пройти очищение через покаяние; мы многого еще не сделали, чтобы вытряхнуть из души сталинское оцепенение. Только память поможет воздать должное миллионам мучеников — жертв Сталина и сталинизма.

Некоторые могут сказать: автор книги ограничил палитру красок при написании портрета только темными, мрачными тонами. У меня не было особого предубеждения к этому человеку, просто когда я начал собирать десять лет назад материалы к книге, еще не мог представить, в какие низины человеческого духа и безздравственности мне придется заглянуть. После посещения архивов, встреч с людьми, прошедшими муки сталинского ада, меня часто подолгу преследовали беззвучные голоса тоски, муки, ужаса людей, у которых нагло и жестоко отобрали жизнь. Я не мог писать иначе.

Эволюция нашего прозрения прошла несколько этапов. Думаю, что, когда не останется лиц, живших непосредственно в тени вождя, где-то в XXI веке отношение к Сталину будет более спокойным. Возможно, слово «спокойным» неудачно. Он сохранится в памяти истории как один из величайших деспотов человеческой цивилизации, но временная дистанция сделает вечную боль более глухой. Время не только лучший редактор и биограф, но и целитель. Однако людей всегда будет поражать, как в условиях беспощадной диктатуры народ сохранил (не только из страха!) свою приверженность идеям справедливости и гуманизма, способность на подвижничество и долгое мученичество. Мгла прошлого, к сожа-

лению, не поглотит тирана, но мы должны сделать все, чтобы не утонули в забвении и его жертвы.

Понимаю, что портрет такой личности, которая, хотим мы того или нет, останется навсегда в истории (как Тамерлан, Чингисхан, Гитлер, другие тираны и диктаторы), нельзя понять без постоянной опоры на экономические, социальные, политические и духовные параметры. Я старался это делать. Но, думаю, главное в том вердикте, который вынесет история, будет связано с моралью. Что именно?

Самая высокая политика вне союза с нравственностью — драгоценность фальшивая. Сталин, будучи жестоким политиком, наполнил ею все свое существование, не оставив абсолютно места даже для элементарных нравственных ценностей. Преступное пренебрежение моралью жестоко отомстило «триумфатору» — историческое поражение этой личности рано или поздно было предрешено и стало неизбежным. Таков, думаю, будет один из пунктов исторического вердикта.

«Триумф» Сталина и трагедия народа ярко высветили старую истину, что первой жертвой несправедливости всегда бывает правда, истина. Сталин, и это, возможно, его самое страшное преступление, смог деформировать многие великие идеи и подменить их своими мифами. Истолковав по-своему ленинизм, диктатор совершил преступление против мысли. Всей своей жизнью и деяниями Сталин доказал, что Ложь — это универсальное зло. Все беды начинаются со Лжи. Насилие, единовластие, бюрократия, догматизм, цезаризм — все освещалось ложью. Любой союз с ней всегда грозит бедой. Это тоже, думаю, будет отмечено в историческом вердикте.

Попытка написать политический портрет Сталина позволила до боли остро почувствовать, что многое свершившееся в нашей истории произошло из-за пренебрежения свободой. Она была целью Великой Октябрьской социалистической революции, но, завоевав ее, простые люди не смогли ею распорядиться. Сталин отверг свободу на том основании, что она опасна. Свобода живет лишь в условиях подлинной демократии. Если ее нет, свобода присутствует в виде тени, идеологического рабства, культовых мифов и штампов. Сталин не любил даже говорить о свободе. Предполагалось, что она имеет лишь один источник — социальный. Однако только в союзе с духовной свободой может проявить себя и социальная грань свободы. Исторический вердикт по поводу сталинской судьбы, думаю, это тоже напомнит нам всем.

В этой книге я часто, может быть, слишком часто, обращался к совести. Такие люди, как Сталин, совесть считают «химерой». Речь идет не о совести диктатора — ее у него просто не было. Но все, что совершил Сталин преступного, делали люди, часто понимая, что они творят зло. К великому несчастью, слишком мало было тех, кто пытался использовать свой шанс совести. У очень многих в той системе отношений, которая была создана, совесть как бы, говоря словами В. Короленко, «застыла». В результате великий народ позволил загнать совесть в резервацию, дав возможность Великому Инквизитору долгие годы творить свое черное дело. То, что мы не лишились всего, сохранили веру в высокие идеалы, оказались способными на покаяние, стремление к возрождению и обновлению, — не в последнюю очередь зависит от того, что мы освободили свою совесть от пут постыдной несвободы. Лейтмотив моей книги был: шанс совести существует всегда, даже когда «триумф» одного человека сопровождается трагедией миллионов. Свобода не имеет альтернативы. Теперь я в это верю более чем когда-либо.

Закончу книгу словами, какими завершал введение к ней: суд людей может быть призрачным, суд истории вечен.



Н о с т а л ь г и я

* * *

Небо низкое давит уныло,
снег — как отруби сквозь решето.
Все не так, как задумано было,
все не то, все не то, все не то.

возлюбя в конуре захоластной
все, чем скрашена песья судьба,
и меня погружая в искусство
выживанья, как в искус раба?

В разрушении, как наши души,
древний храм, где брожу, как смурной,
где разит от застойности лужи
на полу, позаросшем травой.

Мы с тобой здесь, у пакостной лужи,
словно связаны цепью одной,
словно цели божественной служим,
отрешившись от цели земной.

В этой луже, как в зеркале, вижу
неба хмурь, беспросветную сплошь,
снег, кружащийся в храме без крыши,
где забвенья уже не найдешь.

Мы с тобой словно в замкнутом круге,
где развалины да пустыри,
где висит, как знамение скуки,
полумрак от зари до зари.

Посторонний, пророк или странник,
кто я нынче в родимом краю?
Пес прибившийся, словно охранник,
стережет боль-кручину мою.

Даже робкая тень просветленья
ощущается как неприязнь,
как инстинкт у детей подземелья —
их щемящая светобоязнь.

Я храним не дворнягою жалкой
из ватаги безродных бродяг,
а матерой немецкой овчаркой
из породы державших ГУЛАГ.

И не тянет уже без отчета
на завидный и бешеный свет.
Знать, к нему поотбили охоту
то дозволенность, то запрет.

Ты кого от меня охраняешь,
от кого ты меня сторожишь?
Или к жизни меня приобщаешь,
к той, которой в душе дорожишь,

И как цепко жива обреченность
грустной тяги к родным берегам,
где убожество и безысходность
словно псы стерегут
тут и там.

Отец и сын

Памяти Ю. К.

Как слабый свет свечи
в сгустившейся ночи,
ребенка взгляд невинный.
Как давит эта ночь,
как трудно превозмочь
ее напор лавинный.

Бесчестья пошлый мрак
ужасен, как бардак.
И как невыносимо
однажды осознать,
что надо выпускать
в такую темень сына.

Погрязшая во лжи,
как в сделках — торгоши,
калеча детям души,
она тиха, как стон
за скрытностью окон,
не слышимый снаружи.

Отец умен, как те,
кто даже в темноте
находит нить дороги.
А каково тому,
кто, сделав шаг во тьму,
себе ломает ноги?

Вот главная из дум,
что жжет отцовский ум
тревогою глубинной,
когда молчит в ночи,
как слабый свет свечи,
ребенка взгляд невинный.

Найдет ли он в отце
(как тот в его лице)
опору в век крошечный —
единственный просвет,
чтоб жизнь ввести в сюжет,
уже небезутешный?

Но иногда отца,
трудягу-мудреца,
так мрак берет за глотку,
что он, впадая в бред,
взгляд сына, словно свет,
теряя, глушит водку.

И, этим сам себя
спасая и губя,
он гонит в край пустынный,
где не взойдет в ночи,
как слабый свет свечи,
ребенка взгляд невинный.

Бирюк

Шепнет следов цепочка,
что здесь прошли свои...
А я, волк-одиночка,
признаюсь в нелюбви
и к этой волчьей стае,
с которой я, бирюк,
знаком был, заступая
в ее владений круг.
Общинное общенье
я сроду избегал,
за что знавал в отмщенье
улыбки злой оскал.
Мне, волку-одиночке,
отвратен стаи вой,

и в этой заморочке
участвовать — уволь.
Конечно, чует стая,
как ушло зверье,
что, стаи избегая,
чужой я для нее,
и тоже сторонится,
к тому ж боясь стыда:
вдруг лучшая волчица
мне взглядом скажет «да».
Но баловень свободы
почти всегда — изгой.
...И вновь азарт охоты
окрасится тоской.

Клиника

У клиники особые права.
Болит, как с перепоя, голова
у пациентов, собранных сюда
как под покров родимого гнезда.
Куда ни глянь — кривые зеркала,
подрезанные, рваные крыла
у птиц, что бьются в мытое стекло,
которое, как время, обтекло
беспечно процветающий дурдом,
где слом ума, и поведенья слом,
и слом души, прожившей под замком,
воссоздают Гоморру и Содом.
Здесь вводит в кровь больных телеэкран
инъекций всекалечащий дурман
и одурманенной толпе на правый суд
безвинного виновного ведут.
«Распни его!» — кричит судье толпа.
«Распни», — как будто вторит ей судьба.
За что? За все намеренья добра,
что вновь страшат и нынче, как вчера.
И всех пьянит спланированный суд,
как свадьба, фейерверк или абсурд,
пьянит, как единения восторг,
как вновь священно выполненный долг.

На белом фоне

Мы давно туда не ездим. А когда-то ездили часто. Всегда зимой. Поэтому и вспоминается то время только зимним, и людей память рисует на белом фоне — такой белой зимы я, пожалуй, и в Сибири не видела. Может быть, потому, что жила в городе, где снег всегда пересекают, перебивают другие краски. Город и зимой многоцветен.

Здесь же была усадьба — барственный дом с колоннами, а вокруг белизна, режущая глаз в яркие дни и матово мерцающая по вечерам. То, что не было собственно снегом, было облито им, как гончарные изделия поливой. Снег громко скрипел под ногами. Скрип его опаздывал, как опаздывает звук самолета.

Позади большого дома тянулся овраг с переброшенным через него мостиком, а за оврагом, на горке, стояли в ряд деревенские дома. Неподалеку проходило шоссе. Напрямик от дома — заснеженный лес, белые поляны. В лесу можно было заблудиться. Порой это и случалось.

По ближней поляне тянулась накатанная лыжня, как рельсы однокорейки. На белом знатоки читали следы зайцев, лис, а то и волков. В ту зиму волки, обнаглев, загрызли собачку неподалеку. Мороз стоял лютый, звери з в е р е л и.

А в доме было тепло, мягкие ковры скрадывали звук шагов. Сквозь плотные двери комнат едва различимо доносилось прерывистое стрекотание пишущих машинок. В паузах, то коротких, то более длительных, почти физически ощущалось напряжение мысли, ищущей выхода...

Там работали. Поднимая взгляд от белого листа бумаги, смотрели в окно и видели белое...

По вечерам в доме загорались тяжелые люстры, золотисто-оранжевый свет обещал глядящему снаружи тепло и уют. Невольно думалось о жизни, знакомой по книгам, о старых усадьбах с их зимним уединением, располагающим к сладкой дремоте или самоуглубленным занятиям — в зависимости от нрава владельца. Тогда, в пятьдесят шестом году, Дом этот — он существовал и прежде, но был много скромнее — только что открылся после долгого ремонта.

Те, кто населял его, хорошо знали друг друга по книгам, но не всегда в лицо. (Теперь чаще наоборот!) А тут познакомились, начиналось общение, которым так дорожит почти всякий пишущий у нас в России.

Это взаимное притяжение, свойственное нашей братии, не раз удивляло западных литераторов. Конечно, и у нас есть затворники. Но их меньшинство.

Справедливости ради надо сказать, что не все в Доме работали. Иные приехали сюда отдохнуть, закончив большую работу. Другие нуждались в лечении. Врач щедро назначал уколы витаминов, очень тогда модное средство, — В¹ особенно. Согласилась покорно и я на эти уколы. Как-то встретила в полуподвале, перед дверью, где совершалась экзекуция, Солоухина. Он пришел с улицы, стоял, запахнувшись в шубу с бобровым воротником, на ногах валенки. Лицо румяное с мороза, пышущее здоровьем.

— Володя, а тебе-то зачем? — спросила.

Он по-ямщицки переступил с ноги на ногу, плотнее запахнул шубу и, поведя плечом — его характерный жест, — сказал, выпятив «о»:

— Не помешает!..

Я тогда только что закончила повесть. Катаеву она понравилась, — журнал «Юность» собирался открыть ею год.

В ожидании Нового года и выхода повести я приехала в этот Дом. И все мне здесь нравилось. И эта усадьба, затерянная среди снежной белизны. И люди, ее населявшие, были мне интересны, — Александр Бек, Вера Инбер, Вениамин Каверин...

Был тут и Юрий Олеша, переживавший в ту пору триумф возрождения, — после многих лет молчания вокруг его имени издательство «Художественная литература» выпустило в свет его однотомник «Избранное». Вошел в него и роман «Зависть», созданный еще в двадцать седьмом году. Роман, некогда прославивший автора. Сам Олеша очень его ценил.

Жили здесь и Леонид Утесов, и Эльдар Рязанов — это имя еще не было на слуху. Впрочем, откуда-то было известно, что он талантлив. Что он снял потрясающую комедию и собирается ее здесь показать.

Кинозал был хороший, фильмы показывали каждый вечер. Снабжать нас ими входило в обязанность культурника Юры, — он отвозил в Мойжайск, в контору кинопроката, заявку каждые две недели.

Да, как ни странно, при Доме был и культурник. Он ведал и лыжами — выдавал их желающим. Ракетки и шарики для пинг-понга тоже были в его владении.

Других обязанностей у Юры не было. И странно звучало самое определение его должности, скорее подходившее какому-нибудь молодежному лагерю.

Культурник был тихий, очень скромный человек. Он слегка прихрамывал. Говорили, что он учится заочно на историческом факультете.

А тогда, в канун Нового года, он растерялся. На него возлагались большие надежды, — он должен был подготовить новогодние увеселения и аттракционы: ожидался большой съезд гостей. Юра, и без того бледный, совсем поблек. Пришлось нам, живущим в Доме, взяться за дело. На время были отложены рукописи, зачехлены пишущие машинки. Кандидатура Деда Мороза не вызвала сомнений. В этом звании был утвержден Александр Бек — большой, с крупными чертами лица, с веселым, наивно-плутовским взглядом из-под рыжеватых бровей.

Снегурочкой согласилась быть Вера Инбер. Не сразу, правда.

— Ну, что вы, какая я Снегурочка? — говорила она чуть жеманно. — Скорей уж Баба-Морозиха...

Она не ощущала своего возраста. Миниатюрная, со вздернутым носиком и седыми буколками, она казалась девочкой, загримированной временем под пожилую даму, как называли бы ее теперь в родной Одессе. И хотя давно она там не жила, ни Париж — ее первая книжка вышла в Париже, — ни Москва, ни даже блокадный Ленинград не смогли до конца истребить в ней дух Одессы. Он посверкивал из-под седых буколек живостью, любопытством, а порой и озорством. Мне всегда казалось, что в жизни она была не тем, кем ей хотелось быть. Верней, не так, — она считала нужным быть не такой, какую была на самом деле. Лучше всего сказала об этом она сама:

Например, я хотела бы помнить о том,
Как я в Октябре защищала ревом
С револьвером в простреленной кожанке.
А я, на диван опершись локотком,
Писала стихи на Остоженке.

Ее ранние книги стихов, то изысканно-печальных, то гротесково-шутливых, были с небрежной грацией южанки брошены ею на солнечном берегу.

Так сбрасывают одежду, перед тем как войти в море.

Смерть Ленина была ею пережита. И возникли стихи, выразившие ощущение потери, людских толп, текущих к Колонному залу, «чтобы взглянуть на профиль желтый и красный орден на груди». Это были не просто стихи, в них запечатлелась История. Те пять дней и бессонных ночей, с их лютой стужей и тоже бессонной яркой луной: «И был торжественно-печален луны почетный караул... Стихи, ставшие хрестоматийными.

Она потом много еще написала гражданских стихов и поэму «Пул-

ковский меридиан», посвященную ленинградской блокаде. Но те четыре строфы остались. Возможно, только они...

И вот мы готовимся к встрече Нового года. Сочиняем шуточные послания в стихах — от Деда Мороза.

И наша Снегурочка оживилась, глаза ее загорелись.

Парфразировав Пушкина, она тут же сочинила послание Марку Лисянскому:

Едва ль в России вы найдете
Три пары стройных женских ног...
Когда бы Пушкин Вас узнал,—
Он этих строк бы не писал.

Дело в том, что Марк Лисянский славился еще тридцать пятым размером ноги. Бытовала тогда кем-то из писателей пущенная в ход шутка: «Высший шик — пить шампанское из тувельки Лисянского».

Сочиняли мы наперебой. Естественно, все это хранилось в тайне от других участников встречи — и частушки, и послания. Среди них были удачные, были и послабее. Запомнилось послание Афанасию Салынского, — он жил в Доме, много работал, ходил на лыжах. Жена собиралась приехать к нему на праздники. В московских театрах шли две его пьесы — «Опасный спутник» и «Далекий друг». Все это попало в частушку:

Про товарища Салынского
Судачат все вокруг:
На лыжне — опасный спутник,
А в Москве далекий друг...

Дом наполнился нарядными гостями. Население его удвоилось. И настроение было праздничное, приподнятое. Не было розни, неприязни среди собравшихся вместе. Два-три человека выпадали из общей дружеской доброжелательной атмосферы. Но они, к общему удовольствию, перед Новым годом отбыли в Москву.

Новогодняя встреча удалась. Было много тостов, импровизаций. Вера Инбер — Снегурочка — в голубом вязаном платье с пришитыми к нему снежинками вынимала из сумки Деда Мороза — Александра Бека — послания и, развернув, читала их, придав голосу некую торжественную в о л ш е б н о с т ь:

Юрий Карлович Олеша!
Вот Вам срочная депеша:
«Разошлась мгновенно «Зависть»,
Прекращаем в Лавке запись».

Имелась в виду «Книжная лавка» писателей на Кузнецком мосту, где книгу Юрия Олеша буквально расхватали и на которую, видимо, даже заранее записывались.

Олеша сидел слева от входа. В глазах сквозило удивление юноши, случайно очутившегося на балу.

Казалось, он впитывал, вбирал в себя этот нарядный зал, музыку, стихотворные послания. И, когда прозвучало ему посвященное, вскинул голову. Блеснула улыбка. Нет, не случайно он здесь. Его ждали...

Я запомнила это так отчетливо, потому что Олеша был мне особенно интересен. Олеша и все, что его касалось.

Олеша был другом дяди Филиппа, младшего брата моего отца. Оба были одесситы. Потом, когда Юрий Карлович приезжал в Одессу уже из Москвы, они с Филиппом часто жили в гостинице, снимали вместе номер. На стене у бабушки Веры и дедушки Алеши — родители отца незадолго до войны перебрались в Харьков, ближе к старшему сыну — висела фотография в рамке: Филипп и Юрий Карлович сидят в креслах на балконе гостиницы «Лондонская».

Других фотографий на стенах не было, а эта висела. Не столько ради Олеша, сколько ради Филиппа, пребывавшего в ту пору вдали от всех близких, на Кольме.

Потом Филипп рассказал мне, что накануне того навсегда памятного ему апрельского дня тридцать седьмого года они с Олешей были в зоопарке. Пойти туда скорей всего предложил Олеша.

Решетки зоопарка накануне решеток Бутырской тюрьмы. В этом была какая-то зловещая символика.

«Я уже давно собираюсь написать о звериных метафорах. /.../ В жи-

вотном любого вида таятся неиссякаемые художественные возможности». (Из книги «Ни дня без строчки»).

«Я пошел в зоопарк, поставив себе целью увидеть только тигра. /.../ Итак — только тигра. Да, но тигр не сидит же в одной из первых клеток. Это гвоздь, это целое отделение, это финал третьего акта...».

Полагаю, что Олеша был в зоопарке не однажды. Но возникает слово «апрель»: «Тепло, мокро. Это похоже на апрель, но только нет того полета, который охватывает тебя в апреле, нет внезапного появления в небе голубиной, нет ледка, тающего, как сахар...»

«...похоже на апрель, но нет того полета, который охватывает тебя в апреле...» Какой потаенной грустью звучит у Олеша запись тех дней. И чуть дальше: «Сегодня во второй половине дня началась весна».

Они близко дружили, писатели разного ранга. Несомненно дарования. Кроме того, Олеша был старше. Но объединяло их многое: любовь к отточенной фразе, выдумке, эксцентрике, — отсюда любовь к цирку. Чувство юмора. Некоторый озорной авантюризм, свойственный одесситам.

Филипп восхищался Олешей и, хотя говорил ему «вы», называл по имени, Юрой. Он всегда боготворил его — и в пору шумного успеха «Зависти» и «Трех толстяков», и в долгие годы молчания, почти забвения.

Читая вслух указ о награждении кого-либо из писателей, помещенный в газете, Олеша заключал: «А нам с вами, Филипп, опять ничего не дали!..»

Или: «А нас с вами опять не упомянули!..»

Он говорил «нас с вами», имея в виду, конечно, себя.

Между тем его оттеснили. То, что он мог и умел делать, было не нужно. Неуместно. А по-другому — о другом — он писать не умел.

Олеша говорил: «Филипп, у вас замечательно получаются посредственные вещи! Когда я хочу написать посредственную вещь, у меня выходит просто ерунда...»

Смеялись оба. Филипп ценил юмор Олеша. Его афоризмы, неожиданные в равной степени для собеседника и для самого Олеша.

Самый совершенный инструмент нуждается в уходе. Олеша нуждался в таком искреннем восхищении, какое чувствовал, общаясь с Филиппом. У Льва Толстого сказано где-то, что писатель пишет и пишет, но наступает такой момент, когда ему нужно, чтобы его похвалили.

У Олеша такая потребность возникала не однажды. Филипп в какой-то мере утолял эту потребность.

Спустя многие годы мой дядя опишет то время, когда они с Олешей в Одессе вдвоем снимали номер в «Лондонской» с видом на Приморский бульвар и синий залив с кораблями, стоявшими на рейде. И как весь пол был усыпан листами бумаги — авансовый договор на сценарий Олеша заключил с несколькими студиями одновременно. На каждой странице повторялась одна и та же фраза: «Входит очень элегантная домработница».

Они дружили всю жизнь. Юрий Карлович постоянно бывал у дяди, — сам Филипп по болезни из дому уже не выходил.

Филипп рассказал мне: когда-то он, Олеша и Бабель ужинали на веранде ресторана Дома Герцена. Заказали коньяк. Выпили по рюмке. Олеша тут же наполнил их снова. Темп, предложенный им, был такой, что Бабель вскоре воскликнул:

— Юра, не спешите! Я теряю собеседника!

Мне не повезло. Часто бывая у дяди, я ни разу не застала у него Олешу. Только папку с рукописью, которую в последние годы он носил с собой и, когда ночевал у Филиппа, оставлял ее там до новой встречи. Иногда Филипп сам не отдавал ее другу, опасаясь, что тот ее потеряет.

И Олеша, уходя, показывал пальцем на свою канцелярскую папку и говорил многозначительно: «Филипп! Миллион! Миллион! Миллион!...»

Это означало, что папка ценная, и относиться к ней надо бережно. Филипп это знал и сам. И Олеша знал, что Филипп это знает. Потому и оставлял.

А я, зайдя к дяде — в гости или мимоходом, — погружалась в таинственный мир, в котором слово, поставленное рядом с другим, значило больше, чем оно значило само по себе. Потому что это было искусство.

Однажды Филипп запишет на пленку голос Олеси — первая, едва ли тогда не единственная запись. Голос Олеси — в жизни и в литературе — мало кого интересовал*.

И я буду слушать его голос, эту прозу, похожую на стихи.

«Мне никто не объяснил, почему бабочки летят на свет — бабочки и весь этот зеленоватый балет, который пляшет возле лампы летом, все эти длинные танцовщицы. Я открываю окно во всю ширь, чтобы они хоть случайно вылетели, я тушу лампу... Я жду пять минут — уже как будто их нет в комнате... Куда там! Зажигаю лампу, и опять вокруг лампы хоровод серфид — равномерно приподымающийся и опускающийся, точно они соединены невидимым обручем, — иногда постукивающий по стеклу абажура... Почему это так? Что этот свет для них?» Голос звучал глуховато, но каждое слово он произносил отчетливо, как бы любясь фразой, показывая ее нам, как показывает коллекционер собранную им редкостную коллекцию.

Олеса всю жизнь оставался учеником. Юношей. Он страдал оттого, что Катаев, его друг и ровесник, рано ощутил себя Учителем. Мэтром. Дружба оборвалась, а ведь им было что вспомнить. Олесе часто хотелось сразиться с ним, помериться силами, не скрестить интеллекты, а обменяться разящим блеском метафор, — оба владели в совершенстве этим искусством. Для обоих это был «оружия любимейшего род».

Книга «Ни дня без строчки» сложилась из отдельных картин, зарисовок, набросков. Каждый из них мог стать началом большого повествования. Но не стал. И, сложенные вместе, эти бесчисленные начала образовали одну законченную книгу.

После смерти Олеси его знаменитый друг, мэтр, стал его учеником. И уже намеренно складывал свои повести и романы из множества начал.

То, что было бедствием для одного, стало для другого стилем...

Я начала писать об Олесе, и трагическая фигура художника, не состоявшегося в полную меру своего таланта, заслонила собой картину новогоднего празднества. Оно затмилось, притенилось, как бывает в пору затмения.

Повествование утратило свою соразмерность.

Но как знать: не ради ли этой одной фигуры стоило прорисовывать снежный фон той новогодней ночи?

Между тем она все длилась, звенели бубенцы под окнами, — желающих катали на санях. В верхнем зале стояла высокая украшенная елка. Она стояла несколько одиноко, поскольку в этом зале не было ничего другого. Пустой зал — и посредине елка. Праздник кончился, а она все стояла, словно ждала чего-то. И однажды зазвучали детские голоса, столь непривычные в этих стенах, где пуще ока берегли «рабочую» тишину. Об этой «рабочей» тишине знали и дети сотрудников Дома, жители соседних деревень. Встречаясь с нами на лесной тропке или на дороге, они негромко здоровались, как принято было в деревнях здороваться со встречным. (Взрослые соблюдали этот добрый обычай уже не всегда.) А детям, видимо, нравилось. Чинно здоровались и, разминувшись, вновь брались хотеть и тузить друг дружку сумками.

В Дом они вошли степенно, едва ли не на цыпочках поднялись в зал, где скучала нарядная елка, сбросили платки и шубейки. В костюмах из крашеной марли, в вывернутых мехом наизнанку тулупах, вскоре они закружились по залу — Красные Шапочки, Серые Волки, Снежинки... Взнялась откуда-то музыка, и мне показалось на миг, что я обо всем этом где-то читала. И когда они уходили, покрасневшие, довольные, держа в руках кулечки с «подарками» — конфетами и мандаринами, — чувство какой-то неловкости не покидало меня. Может быть, потому, что эта марля, выкрашенная чернилами, и дедовские тулупы напоминали о какой-то другой жизни, отличной от помпезности нашего Дома с его колоннами и ложноклассическим портиком. Подспудно совстило, что мы из-

* Пленку с этой записью голоса Олеси Филипп Гопп передал вдове Юрия Карловича Ольге Густавовне Суок. Один экземпляр был послан в Одесский литературный музей. Потом его голос записали еще раз в связи с оперой В. Рубина «Три Толстяка».

менили традиции встречать Новый год дома, со своими. Предстал перед глазами бревенчатый, уже ветхий от времени подмосковный домишко при больнице, где работал отец. И то, как родители мои, уложив спать шестилетнюю нашу дочь, а свою внучку, занавесив ее от света, сидя за скромным столом, встретили этот год без нас, но с нами в душе и желали нам счастья. А старенькой бабушке моей, встречавшей Новый год с ними, оставалось жизни три месяца...

Отшумели праздники, и тишина стала слышнее. Ваншенкин принялся за работу. А я отправлялась с утра в лес на лыжах. Я любила ходить одна. Постоять — отдышаться, оглядеться. Неземная красота окружала меня. На полянах снег искрился, крахмально скрипели его белые скатерти. Деревья похрустывали суставами. На кустах покачивались, краснели наши северные попугаи — снегيري.

Выдавались вьюжные дни. На улицу не манило. Разве что посидеть под навесом у крыльца. Здесь любила сиживать Вера Инбер. К ней часто приезжали то ее дочь Жанна, уже немолодая женщина с нездоровым цветом лица, то муж Веры Михайловны, профессор, «И. Д.», как она называет его в своем блокадном дневнике. В войну они прожили в Ленинграде почти три года, — ее дневник так и называется. Профессор был высок, благообразен. Вера Михайловна была в него влюблена.

— Ах, какой он смелый! — говорила она, глядя ему вслед. — Люблю смелых мужчин!..

В метельные дни мы часто беседовали с ней, помнится, я читала ей свои ранние стихи, — ведь начинала я со стихов и в Литературный институт была принята как поэт. Она слушала не столь одобрительно, сколь благосклонно.

Однажды спросила: «Инна, вы член партии?»

И, услышав ответ, заметила веско: «Напрасно, вы бы писали еще лучше...»

Возникал Александр Бек в просторном сером пальто, припорошенном снегом. Он любил задавать неожиданные вопросы, и трудно было понять, спрашивает всерьез или шутит. Почему-то он упорно считал, что стихи «К портрету» — о девушке-связистке в военной форме — Ваншенкин посвятил мне. Хотя к началу войны я перешла в седьмой класс и уже по одному этому на фронте не была.

И сколько я ни возражала, говоря, что это не обо мне, Бек вновь и вновь, встречая меня — это было позднее, — обращался ко мне со словами:

— Инночка, а Костя хорошо про вас написал! Про медали на груди...

И опять приводил эти стихи. Шутил?..

Его дочь, Татьяна Бек, талантливая поэтесса, написала о нем в одном из лучших своих стихотворений:

...Вечное пальто из драпа,
Длинное,
эпохи РАППа...

Портрет отца передан ею с поразительной точностью и болью.

...Но глядят уже из Леты
Сверлышки любимых глаз...

По вечерам, уже в темноте, слабо подсвеченной снегом, мы совершали длинные прогулки с Кавериным. У Вениамина Александровича было несколько излюбленных маршрутов, ходил он легко, быстро, неутомимо. Порой изрядно нас выматывал. Как-то, гуляя с нами, сказал:

— Я всегда дружил с людьми старше себя. Привык быть самым молодым... И вот подумал сейчас, — я старше вас обоих!.. Я самый старший!

Сказал с удивлением.

Мне не было тридцати, Ваншенкину чуть за тридцать. Конечно, Вениамин Александрович был много старше нас. Но возраст над ним был не властен. Если он и ощущал его иногда, то, видимо, всякий раз с удивлением...

Жизнь в Доме с колоннами шла размеренно. Солнечные дни чере-

довались со снежными. Днем работали, по вечерам смотрели кинофильмы или прогуливались.

Но как-то глубокой ночью мы проснулись от истошного мужского вопля:

— По-мо-ги-те!..

Вопль доносился снаружи, — форточка была открыта. Первой мыслью было — волки!

Проснулись, видимо, все, но первыми по военной привычке быстро оделись Турков и Ваншенкин. Сбежали вниз, — мы жили на втором этаже. Ваншенкин крикнул с крыльца в морозную белизну:

— Кто звал?

В ответ тонко, с подвизгом, залаяла собачка.

— Никто не звал, — тут же откликнулась сторожиха. — Все спокойно.

Почудилось? Но не могло же почудиться всем одновременно?!

Я тоже оделась, вышла в коридор. Увидела Туркова и Ваншенкина. Еще возбужденные, они, возвращаясь, обсуждали случившееся. Приоткрылась одна из дверей, и показалась Вера Инбер, — голова в папильотках и длинный халат.

Спросила: «Товарищи, что происходит?»

Все выяснилось на другой день, когда в один из соседних с нами номеров проследовали врач и медицинская сестра. Говорили, что важного, немолодого писателя во сне душили кошмары. Нам же показалось, что крик доносится с улицы, потому что и у него была открыта форточка...

Виновник незапланированной «учебной тревоги» не появлялся на людях несколько дней. Оказалось, что он объелся пельменями. Врач называл это деликатно: о т р а в и л с я.

Близилась пора разезда. Одни исчезали незаметно, другие прощались со всеми — целовались, обнимались. Некоторые пышно праздновали свое отбытие, как будто не предстояло встретиться с ними вскоре в Москве...

Впрочем, в Москве не будет такого общения и такой близости.

Москва похищает людей друг у друга. Москва — большая!..

Эльдар Рязанов сдержал обещание — в один из вечеров показал нам свою «Карнавальную ночь». Комедия еще не вышла на экран. Потом ее будут показывать очень часто, особенно в праздничные дни новогодий. С Рязановым мы не были знакомы. Знали, что он работал в документальном кино. Картину никто из нас не видел, разве что те, кто был причастен к миру кино.

Рязанов, еще не тучный, но уже крупный, плечистый, похожий на тяжелоатлета, и его тоненькая большеглазая жена притаились в последних рядах темного зала. Оба волновались. Эльдар даже вставал иногда и ходил по проходу.

Помню некоторое свое разочарование — ожидала большего. Может быть, потому, что готовилась увидеть большее. Какой-то качественно другой юмор, как в рязановском «Берегись автомобиля», например. Фильм, который не устаешь смотреть, сколько бы его ни показывали. Но этот фильм у Рязанова был еще впереди. А «Карнавальная ночь» запомнилась веселой буффонадой, сыгранным Ильинским тупым Огурцовым, ставшим символом бюрократа. Тогда же взошла на небосклоне кино звезда Людмила Гурченко, исполнявшей в фильме главную роль. Актриса музыкальная, пластичная — поражала ее тонкая талия, — она танцевала и пела, как бы приняв эстафетную палочку у кумира нашего детства Любови Орловой. «Талант с каскадом», — говорили встарь о таких актрисах.

Людмила Гурченко... Это имя запомнилось. Но и ее лучшие роли были впереди. Роли серьезные, без «каскада». Она научится быть красивой и не стесняться этого. И напишет биографическую повесть о девочке, выросшей на Украине в том же городе, что и я. Повесть о себе, но главным образом о своем отце. Напишет неприукрашенно, пронзительно...

Рязанов зря волновался — «Карнавальная ночь» имела успех. Зал громко аплодировал, его вызывали. Он вышел, раскланялся. И потом еще долго принимал поздравления.

Близился старый Новый год. А за ним и наш отъезд. Незадолго до

этого нас позвали «послушать Рязанова». Оказалось, что он играет на гитаре и охотно поет в компании. Такая компания подобралась. Пригласили и нас. Когда после ужина все приглашенные собрались в чьем-то просторном номере и Эльдар взял в руки гитару, вошла Вера Инбер в голубом вязаном платье.

— Я вам не помешаю?

Она устроилась в уголке у двери. И вскоре все забыли о ней, слушая старинные романсы, городской песенный фольклор, — еще не существовало такого понятия, как «авторская песня». И песен Булата Окуджавы мы еще не знали. А скорее их еще и не было...

Некоторые из собравшихся тут слушали Рязанова не впервые. Посыпались заказы. И хотя лоб Эльдара уже оросили капельки пота, а рубаха взмокла — топили жарко, — он покорно исполнял просьбы спеть ту или иную песню или романс.

— Нагасаки! — выкрикнул кто-то.

И другие подхватили: «Нагасаки! Нагасаки!»

Рязанов смущенно покосился в сторону двери. Там сидела Вера Инбер. Он даже проговорил что-то, как бы заранее извиняясь перед ней за песню, которую вынужден спеть.

Нет, не все забыли о том, что здесь с а м а Вера Инбер. Интеллигентная, пожилая поэтесса...

Но продолжали спрашивать. И Рязанов запел:

Он юнга. Родина его Марсель.
Он обожает ссоры, брань и драки.
Он курит трубку, пьет крепчайший эль
И любит девушку из Нагасаки...

Эльдар опять покосился в сторону двери и, поперхнувшись от неловкости, продолжал:

У ней такая маленькая грудь,
На ней татуированные знаки...
Но вот уходит юнга в дальний путь,
Расставшись с девушкой из Нагасаки...

У-уф!.. Оставалось теперь спеть до конца. Конец, как и подобает песенке такого сорта, был самый мрачный. Не лишенный, впрочем, социальной окраски:

Приехал он. Спешит, едва дыша,
И узнает, что господин во фраке
Однажды вечером, наевшись гашивша,
Зарезал девушку из Нагасаки.

Он кончил петь, и от дверей раздался протяжный, мечтательный возглас-вдох: «А чьи слова-а?..»

Да, то были стихи Веры Михайловны Инбер. Стихи, напечатанные в Одессе, в двадцать втором году. В книге, названной ею «Бренные слова». Она есть у меня. Величиной с ладонь, без обложки, пожелтевшая книжица. С пометкой букиниста на последней странице. Я обнаружила ее уже после. Прочтя заголовок, вспомнила зимний вечер, песни под гитару и подумала о тщете споров о вечном и бренном...

Накануне нашего отъезда Олеша, встретив Ваншенкина, сказал, что всегда читает его стихи, они ему нравятся, и тут же предложил зайти к нему, — он хочет подарить свое «Избранное».

Был первый день старого Нового года. Юрий Карлович сделал надпись на обороте своего рисованного портрета:

«Константину Ваншенкину со всем признанием его таланта — и жене его, Инне Гофф — товарищу по искусству.

Ю. Олеша. 1957 г. 14 января».

Думаю, что он моих вещей не читал. В журналах я еще не печаталась. Книг к тому времени было всего две. Вряд ли он их видел.

Я не сказала ему, что его друг Филипп — мой дядя. Не хотела, чтобы он смотрел на меня сквозь призму их давно сложившихся отношений. Вообще быть в литературе чьей бы то ни было племянницей, внучкой или правнучкой — не лучший удел.

Но Олеша был щедр. Он узнал, что я тоже пишу, и назвал меня товарищем по искусству.

Товарищ по искусству! Как эти слова обзывают! Как много они

в себя вмещают—надежду, ободрение, чувство локтя, приверженность единому избранному делу!..

Часто ли мы, пишущие, вспоминаем о том, что мы товарищи по искусству?

Часто ли—пусть даже мысленно—мы произносим эти слова? Ставим их рядом?..

...Та далекая зима.
Белизна снега.
И люди на белом фоне.
Товарищи по искусству...

В конце маршрута

Был пасмурный весенний день. Деревья ждали теплого дождя, чтобы разом изменить скучный пейзаж городского двора.

— От меня останется Вася и эта книга,— сказала она вдруг. Сказала строго, серьезно. Словно завещала кому-то—кому?—своего сына. И свою книгу...

В полумраке комнаты ее глаза лихорадочно блеснули.

В обычном разговоре она чаще называла его нежно Васькой. Как звала маленьким...

Василий Аксенов... Он был ее сыном, ее ребенком, которого четырехлетним силой вырвали из материнских рук.

Теперь он стоял у окна, за которым разворачивалась весна. Смотрел во двор, на голые деревья и кусты в каплях влаги, словно в слезах.

Он снова терял мать. Уже навсегда. Навеки. Его широкая спина выражала крайнюю степень горя.

Он любил ее. И она это знала.

Не знала лишь того, что книга ее вернется на родину, а сын окажется на чужбине...

Не помню, как мы познакомились. Помню только, что еще до того, как я прочла ее «Крутой маршрут». Рукопись ходила тогда по рукам, и много было о ней разговоров. Говорили даже, что она сильнее «Ивана Денисовича»...

В это заранее не верилось. Повесть Солженицына была потрясением. Она была подобна воротам тюрьмы, распахнутым настежь. Но не свободу она несла, нет. То была первая возможность для нас, кому выпала доля случайно уцелеть в гибельное время, проникнуть в зону, минуя колючую проволоку и сторожевые вышки, ощутить себя где-то там, в середине колонны, под неусыпным оком конвоя,— шаг вправо, шаг влево считается побегом...

Одним из зеков, таких же, как ты, ни в чем не повинных, неправых людей. Усвоить тюремный лексикон: баланда, шмон, параша...

Ощутить все это физически. В этом была главная сила повести, которую Твардовский в своем предисловии назвал документом искусства.

Чудом было явление этой повести в нашей печати. Чудом было и самое время, оказавшееся столь скоротечным.

Книга Евгении Гланзбург—ее жанр четко обозначен автором: «Хроника времен культа личности»,—осталась за пределами чудо-времени. Журналы, еще не опомнившиеся от пребывания в солженицынской зоне, отвергли «Крутой маршрут». Книгу, как это случилось, издали за рубежом. А нам осталась рукопись, ходившая по рукам, и ее автор, вновь впавший в немилость.

Мы встречались нечасто. Наши отношения нельзя назвать дружбой или приятельством. Скорее тут уместны слова—дружеское расположение. Темноволосая, темноглазая. Широкое, чуть скуластое лицо. Нежный, женственный подбородок. Доброжелательный, веселый взгляд.

Да, веселый, несмотря ни на что...

Она ожидала смертного приговора. Ее привезли из Бутырок в Лефортово. Военная коллегия Верховного суда приговорила ее к десяти годам тюремного заключения.

«...Он сказал... Я не ослышалась?.. К десяти годам тюремного заключения со строгой изоляцией и поражением в правах на пять лет... Все вокруг меня становится светлым и теплым. Десять лет! Это значит жить!.. И с конфискацией всего лично ей принадлежавшего имущества...»

Жить! Без имущества! Да на что оно мне?..».

Несколько строк из «Крутого маршрута». В них ее характер. Это он помог ей выжить. Сохранить юмор и оптимизм. Неистребимую веру в то, что все еще сбудется. Состоится. Образуется.

Она была замужем дважды. С первым мужем, Павлом Васильевичем Аксеновым, ее разлучила тюрьма. Крупный партийный работник, он тоже был арестован.

В лагерях она встретила и полюбила доктора Вальтера. Потеряв и его — уже на воле, — осталась одна.

И она вновь вышла замуж. В третий раз. Он был седой, благообразный, с ясными голубыми глазами. Вдовец. Я видела их потом вместе, неторопливо идущих по улице, у него в сумке — хлеб, кефир. Со стороны они были похожи на дружную семейную пару, прожившую вместе долгую жизнь.

Историю их знакомства она рассказала мне, смущенно посмеиваясь.

Это было в самый разгар толков о ее рукописи, уже отвергнутой издателями. Тем не менее она попала к читателю и пошла гулять по Москве. Не щадя зрения, люди вглядывались в истертые машинописные строчки пятых экземпляров. Впитывали жестокую, беспощадную правду лагерной хроники.

Она устала бороться за судьбу своей книги. И вообще устала. Ей посоветовали прокатиться по Волге. Послушалась. Купила путевку на теплоход.

Гуляя по палубе, она часто ловила на себе взгляд высокого седого человека. На вид ему было лет под шестьдесят. Встретясь с ней глазами, он поспешно отворачивался. Потом они обменивались незначущими фразами.

Когда подплывали к Казани, она обо всем забыла. Сердце сильно билось.

Казань... Город, где она жила до всего, что случилось... Любила и была любима... Мама, сыновья... Алеша и Васька... Особенно Алеша!.. Его больше нет! Не дождался... Возможно, будь она рядом...

Казань!.. Начало ее беды...

Она не заметила, что он подошел, стоит у поручней рядом с ней.

И вдруг услышала его голос:

— Здесь жила Евгения Гинзбург... Вы о ней слышали? Читали ее?

— Нет, не читала!

Сказала, как оттолкнула. И он отошел, и весь день не подходил к ней. А вечером почти подбежал:

— Оказывается, вы и есть Гинзбург! Простите меня, Евгения Семеновна... Я так плохо думал о вас весь день. Думал, что вы не признаете Евгению Гинзбург, не хотите ее знать, и даже разговор о ней вам неприятен... Я был так возмущен, что даже решил узнать вашу фамилию. И мне сказали...

Он смотрел на нее влюбленно, уже не прячась, и его голубые глаза сияли.

Несколько лет они прожили вместе. На шутливые вопросы приятельниц, как ей с ним, отвечала:

— Мы читаем друг другу вслух...

Я встретила их в Дубултах. Они снимали комнату неподалеку от нас, иногда мы вместе гуляли. Евгения Семеновна любила вечерние прогулки вдоль моря, окрашенного в цвета заката, — из них ни один не поворачивался. В тихую, ясную погоду залив был как натянутый серо-голубой шелк, приборенный у берега мелкой приливной волной. В другой раз ветер растрепывал серую кудель редких облачков. Они кудрявились по голубому, таяли, а на горизонте сквозь серое ложились одна над другой длинные золотые полосы.

Ходила она легко, жаловалась только на сердцебиение. Гуляя, мы беседовали. Помню ее рассказ о посещениях кладбища в Риге. Как все кладбища в Прибалтике, оно было опрятно, торжественно. Трогало внима-

ние к ушедшим, к их последнему приюту. Может быть, в этом было больше внутреннего обязательства, чувства долга, чем любви и религии. Но тем не менее это было.

На глаза ей попала братская могила — надгробная плита с высеченными на ней именами погибших в Отечественной войне. Возможно, сюда перенесли их прах уже после Победы.

Какая-то молодая пара, военный с девушкой, остановилась у могилы. Он стал читать фамилии вслух. Фамилии были русские, латышские. Попалась еврейская.

Он произнес ее с особым смаком — выделил голосом. Словно хотел сказать: «И тут эти еврей»...

И хотя он этого не сказал, Евгения Семеновна не могла смолчать. Сказала, как бы вторя ему:

— Да, подумать только! И сюда они пролезли!

Только сейчас военный глянул на Евгению Семеновну. Проговорил:

— Вы меня не так поняли!

Спутница, сильно покраснев, тянула его за руку, спеша увести.

Стоял февраль семьдесят седьмого года. В том феврале в Переделкине мы виделись каждый день. Она жила на даче, принадлежащей драматургу Н. Заодно прислеживала за его кошкой, весьма, как мне помнится, гулящей особой.

Приезжал Вася, иногда вместе с женой Маей. Он возил мать к докторам — она была тяжело больна. Проходила курс облучения — уже в третий раз.

Я носила ей боржом. Под вечер, запасшись в буфете двумя бутылками, я направлялась к Евгении Семеновне. Она меня ждала — в окнах дачи горел неяркий свет.

Темнело рано. Мы выходили и прогуливались под фонарями по заснеженной улице. Главной препоной на пути было скользкое, заледеневшее крыльцо, — у нее болели ноги, и она очень боялась упасть.

Звали Толю Приставкина. Он скалывал с крыльца лед. Он же, вооружась слегой, сбивал длинные сталактитоподобные наросты, свисавшие с крыши.

Я крепко держала ее под руку. Мы ходили взад и вперед под мелким, щекопавшим лицо надоедливим снежком. Она была блестящая рассказчица. Ей свойствен был артистизм, и она прекрасно передавала речь татар, украинцев, немцев, французов. Мы гуляли, и она развлекала меня рассказами о Париже, где недавно побывала с сыном. Она была счастлива и полна впечатлений. Но и тут преобладал юмор. Очень забавно описывала она русский ресторан, где гарсоны в расшитых рубахах (кажется, красных), одетые «а ля казачок», предлагали ей русские блюда, «ле боршч» и «ле каша». И как она просила принести ей «ле боршч», нон «каша». И спрашивала: «Бу компранэ»?

Говорила о Шагале — они с Васей были у него в Ницце. Их проводила к нему монашка. Показывая им свои работы, старик очень резво вставал (на стул? на лесенку?) и снимал картину со стены...

Вспоминала о встрече в Париже с Галичем — они снялись на фоне скромного загородного дома. И тут же, на улице, напевала его песни. Она их много помнила наизусть.

Как-то вернувшись в дом, мы вновь стали разглядывать цветные глянцевитые фотографии. Она шуточно комментировала каждую.

Говорила о себе: «Вот богатая дама входит в бистро...» Или: «А это она же у входа в Гранд Опера...»

Молодая хорошенькая женщина тут же домывала пол. Вдруг она распрямилась, тыльной стороной ладони убрала светлую прядь со лба.

Сказала: «А мне мама привезла шикарную французскую шубу!»

Лицо Евгении Семеновны осветила улыбка. Она знала, что это сказано для нее. Всю жизнь она любила делать подарки. Как долго она была лишена этой радости.

Впрочем, только ли этой?

— Вы не знакомы? Это моя Тоня..

Я давно знала, что у Васи Аксенова, кроме сестры по отцу, есть еще одна, доставлявшая близким много хлопот. Он звал ее Тонькой.

— Тонька опять отколола номер!..

На другой день я напрямик спросила о ней.

Евгения Семеновна рассказала, что взяла ее маленькой девочкой из детского лагерного барака. Кто были ее родители, она точно не знает. Скорее всего мать была указницей, а отец из прибалтов.

Тоня росла трудным, своевольным ребенком. Мучились они с ней ужасно. Подруга Евгении Семеновны, психиатр, посоветовала открыть девочке тайну ее удочерения. И они ей все рассказали.

Это было подобно шоку. Тоня выслушала молча. Молча ушла в другую комнату и сутки не выходила. А выйдя, сказала:

— Так вот! Я этого ничего не знаю и знать не хочу!.. Ты моя мама и останешься мамой на всю жизнь!

Но после этого разговора ее как подменили.

— Теперь она актриса — играет в Ленинградском театре комедии...

Меньше всего говорила она о своей смертельной болезни. Только боль в ногах ее очень мучила.

Она сама готовила себе обед: всыпала в кипяток сухую смесь из пакетика — привезла из Франции. Получался грибной или куриный бульон.

Ее беспокоило лето. Что будет, если хозяева дачи откажут ей от комнаты?.. Как тяжело ей придется летом в городе!..

Мне грустно было, уходя, оставлять ее в доме одну. В одиночестве, в тоске, наедине со своими мыслями, которые не могли не посещать ее в этой полутемной чужой зимней даче.

Она вообще любила людей. Нуждалась в общении. Она провела в лагерях восемнадцать лет. Но везде, где бы она ни была, рядом с ней были люди.

Она боялась лефортовских одиночек и уже как до мной рвалась оттуда в бутырскую общую камеру — к людям...

Ее третий брак давно распался. Она переоценила свои душевные силы, свою способность начать новую жизнь.

Ей не дано было начала, лишь продолжение...

Они расстались по ее желанию. Он не перенес этого удара и вскоре ушел из жизни. Ушел добровольно. От нее это скрыли.

Теперь она вновь была одна.

Однажды я спросила: почему после лагерей она не вернулась к своему мужу? Ведь он вышел на свободу раньше нее, хлопотал о ней...

Почему осталась с доктором Вальтером, обретенным в заточенье?..

Она сказала, усмехнувшись: «Мне надо было выбирать между двумя большими стариками... Я выбрала того из них, кто мне в ту пору стал ближе...»

Ей остались продолжения... Уже было написано продолжение «Крутого маршрута». Вторая часть. Расставаясь со мной — в марте я уезжала из Переделкина, — она дала мне увесистую папку с условием, что верну ее в апреле.

И вот настал апрель. Двадцать шестое. Серенький, ветреный день.

Я позвонила Евгении Семеновне — она была в Москве. Спросила ее о здоровье. (Знала, но нельзя было не спросить.)

Она ответила:

— Плохо... Мне все чаще вспоминаются строчки:

Похоронят, зарюют глубоко.
Бедный холмик травой порастет.
И услышим: далеко, высоко
На земле где-то дождик идет...

На мой вопрос, что ей принести, сказала:

— Не знаю... Ничего не хочется... Вот разве, может быть, пирожки с капустой...

Я напекла пирожков и поехала к ней. У нее были Вася с женой. Евгения Семеновна сидела за столом. В светлой вышитой кофточке и черной юбке.

Мы не виделись почти два месяца, и меня поразил ее вид. Желтизна, больной лихорадочный блеск темных глаз. Их страдальческое выражение.

Пирожки были еще теплые. Она надкусила один. Похвалила. Сказала, что потом возьмет еще, — хотела сделать мне приятное.

Ее окружали фотографии. Но не те, нарядные, снятые во Франции. На этих — вся ее жизнь: она с детьми перед арестом, ее муж, доктор Вальтер, в шляпе.

Заговорили о второй части «Крутого маршрута». И о вещи в целом. Она спрашивала, понравилось ли то, это... А эпилог? Он нужен?..

Я сказала, что самая краткая рецензия может звучать так: «Человек ищет и находит человека в нечеловеческих условиях».

Она оживилась. Даже слегка порозовела. Мне кажется, ей особенно было приятно, что это сказано при ее сыне. Что он это слышит.

Вася звал прокатиться на машине в Химки: «Поедьте все!». Но она уже устала, и мы помогли ей лечь. Она легла поверх одеяла, как была, в светлой кофточке и черной юбке.

Вот тогда она и произнесла, словно итожа свою жизнь:

— От меня останется Вася и эта книга...

Когда-то Евгения Семеновна Гинзбург написала отзыв на мою книгу «Юноша с перчаткой». Его поместил журнал «Семья и школа». Было это в январе семьдесят пятого года. Я долго ничего об этом не знала. Кто-то случайно прочел и сказал мне — с тех пор прошло уже несколько месяцев.

Я кинулась искать журнал. Статья называлась «Глаза в глаза».

Внизу стояла подпись: «Е. Аксенова».

Меня поразила и обрадовала точность и тонкость ее оценок. Чувство близости, п ó н я т о с т и, что случается не часто и потому так дорого.

Я не избалована вниманием критики. Да и с годами важна уже не столько самая похвала, сколько то, от кого она исходит.

Позвонила, стала благодарить. Услышала:

— А я уж думала, вам не понравилось...

— Мне только жаль, что это не в «Литературной газете», — шутили во посетовала я. — Там бы все прочли...

— Что делать!.. Я печатаюсь там, где меня печатают...

Напечататься в те годы ей было опять нелегко. Ее перо вновь оказалось как бы под запретом.

В моей книге она выделила то, что было главным для меня.

И для нее тоже.

«...человек должен знать правду! Почему-то считается: если отец герой — это воспитывает, а если он подлец — это только омрачает жизнь. Нет, это тоже воспитывает! И закаляет против подлости. Только надо знать правду!»

Знать правду!..

Этим заняты мы теперь. Этим озабочены. В это устремлены.

Нам в глаза смотрит крутая правда ее маршрута.

Про Шкловского

Человек, придумавший выражение «гамбургский счет» применительно к литературе. Раз в году в Гамбург съезжались борцы и, выходя на ковер, без зрителей боролись, выясняя — для самих себя, — кто из них сильнейший.

Шкловский в своей книге «Гамбургский счет» смело ступает на борцовский ковер. Он уверен в себе. И он побеждает. Почти всегда.

Впрочем, чаще выступает в качестве арбитра.

Его оружие — парадокс. Парадокс разрешает несуразное. Более того, по Далю, парадокс — «...мнение странное, на первый взгляд дикое...».

Лысая, блестящая, словно отполированная голова в форме эллипса. Голова, обточенная потоком мысли. Так море обкатывает голыши.

Купол лба, как купол некоего храма. В храме тесно, мысли толпятся, наползают одна на другую. Рвутся наружу...

Речь от этого становится прерывистой, комковатой. Сиплый, сдавленный голос выталкивает фразу, уже готовую, с проставленными знаками препинания.

В живых глазах любопытство четырехлетнего мальчика.

Кстати, о знаках препинания. Как-то весной, в Ялте, Шкловский попросил у меня что-нибудь почитать. «Ваше!» — добавил он.

У меня недавно перед тем вышла книжка. Он вернул мне ее спустя несколько дней. Похвалил. Смеясь, пересказывал мне мои рассказы, обсуждая со мной героев, как если бы это были наши общие знакомые.

Потом открыл рассказ «Очередь за керосином». Виктор Борисович отредактировал его, правда, очень деликатно, карандашом. Точки возникли в самых неожиданных местах. Фраза была мелко нашинкована.

Он сказал, что разбивать фразу таким образом его научил Александр Грин.

Так он сказал в мае шестьдесят девятого. И я записала тогда же наш разговор. А теперь думаю: не оговорился ли он? Может, не Грин, а Бабель?

Ведь Бабель писал короткими фразами, объясняя это своей астмой. (Я прочла об этом уже позднее.)

Шкловские, как обычно, жили на верхнем этаже. Веранды этого этажа не имеют крыши. Поднятые над покатым парком, они напоминают палубу корабля, с которой в отдаленье видно море и другие корабли, то возникающие, то гаснущие в пространстве.

На веранде у Шкловских стояла плетеная мебель, топчан, кресло, круглый столик. Однажды на столике забыли часы Виктора Борисовича и вороны утащили их. Они обитали поблизости, в парке. Это были знакомые вороны. Шкловские даже назвали их в свою честь — Сима и Витя.

А все же часов было жалко..

Слева от дома, в тени каштанов, стояли длинные садовые скамьи. Такие ставят перед открытой летней эстрадой. На них всегда кто-нибудь сидел. Появление здесь Шкловского уже само по себе было приглашением к разговору.

К нему тут же подсаживались. Задавали вопросы. Он отвечал.

Гроссмейстер давал сеанс одновременной игры.

Каждый ответ — шахматный ход.

Афоризм.

Казалось, он ими сорит, как семечками. Но это было обманчивое впечатление. Многие он потом сам запомнит, запишет.

Как-то, прочтя подряд две мои повести, он сказал:

— В каждой из них в конце кто-нибудь уезжает — в поезде или на самолете.

Похожесть, которую я сама не замечала. Он заметил это потому, что мысль о сюжете его тогда занимала. Он писал книгу о сюжете. О переосмыслении сюжета. О завязках, началах и концах вещей — произведений.

Это названия глав из его книги «Энергия заблуждения». В ней я встречаюсь с тем, что он высказывал в Ялте.

«Оказалось, человек или умирает, или уезжает.

Потом это стало для автора невыносимо.

Вот от этой тяготы уже Гоголь заставил своего героя выскочить в окно.

Так Чехов в «Вишневом саде» заставил оставленного в запертой даче человека сказать: «Меня забыли».

А тогда, под каштанами, словесный турнир все длился...

Виктор Борисович думал вслух. Его мысли перескакивали, мчались дальше, обгоняя собеседников. И те, притихнув, уже просто слушали его, в н и м а л и, получая наслаждение от самого процесса мышления, что вершился у всех на глазах.

Цепь ассоциаций, воспоминаний, характеристик современников. Часто резких.

Не любил Катаева, но старался судить о нем объективно. Прочтя его «Кубик» в «Новом мире», сказал:

— Там есть хорошие вещи... Например, сцена купанья в начале. Он ведь очень талантлив!.. Но эта вставная новелла в духе Мопассана, о Николь... Для него, если она ему возвратила деньги, то любовь доказана...

Лев Толстой... Любимая, непреходящая тема.

— Толстой описывает, как женщина идет по росистому лугу и ее длинное платье оставляет след на росе...

И тут же, с ходу он обрушивается на Бунина, у которого черная карета под зеленым деревом выглядела зеленой... Кто-то возразил, что это, в общем, одно и то же. Виктор Борисович отмахнулся:

— Ничего похожего!..

К Бунину он равнодушен. Однажды сказал, что не считает его большим писателем.

Я потом доискивалась причины. И как будто нашла,— в отсутствии у Бунина мыслительного начала, равного по силе Бунину-художнику...

Парадокс требует мысли. Огниву нужен камень, чтобы высечь искру.

— У Толстого сказано в одном наброске, как, отправляясь в горы, в Швейцарии, он взял с собой мальчика лет четырнадцати, чтобы не думать о себе... Толстой говорит, что спастись от памяти о себе можно посредством любви к другим...

(— Это нашла Серафима Густавовна, — отметил он.)

Мягкая, женственная, элегантная...

Сестры Суок. Три сестры—Лидия, Серафима, Ольга. Всем трем была уготована участь стать женами писателей.

Лидия Багрицкая, Серафима Шкловская, Ольга Олеша...

Юрий Олеша был первым мужем Серафимы Густавовны—Симы. Она оставила его, и он долго страдал. Не о ней ли самая нежная и грустная его строка: «Вы прошумели мимо меня, как ветвь, полная цветов и листьев».

Он страдал. Потом женился на ее сестре Ольге. И когда придумал девочку-куклу, дал ей имя Суок.

Виктор Шкловский—ее третий муж. (Второй, Нарбут, редактор литературного альманаха «Тридцать дней», погиб в лагерях.) С Шкловским было много прожито и пережито. Слова Толстого, которые она нашла, это чтобы не думать о себе, были и о ней, живущей в постоянных заботах о Викторе Борисовиче—Вите. В дружеском участливом служении ему. Его делу.

Об этом—посвящение в его книге «Тетива»:

«С. Шкловской.

За помощь, терпение, сомнения; догадки, переделки; за дни и месяцы труда, спасибо, дорогая...».

Когда она умерла, это могло стать эпитафией.

Толстой Шкловским прочитан с лупой. Все рассмотрено. Укрупнено. Случается, впрочем, что под его лупой загорается от солнца бумага.

Так бывает не только со Львом Толстым.

Годы спустя я прочла интервью со Шкловским в рубрике «Писатели о творчестве», записанное Ольгой Панченко незадолго до его смерти.

Пушкин, Маяковский, Тынянов, Эйхенбаум... «Гениальный Поливанов... Знал, кажется, все языки. Был человеком невероятным. Хотел написать общую теорию языков. В третьем классе положил руку под колесо паровоза»... Путешественник Никитин, Гоголь...

Так вот о Гоголе:

«Переосмысление—сердце поэзии. Оно присутствует у Гоголя... в «Тарасе Бульбе», когда на вопрос: «Слышишь ли ты меня?»—ответает: «Чую».

И—поехало, понеслось, закрутилось...

«Я остался один из людей своего поколения.

Все ушли. Я не слышу, что они говорят. Но я—чую.

И Блок чувствует, и Пушкин чувствует, и Хлебников чувствует...

И вещий Боян, когда, как соколы на лебедях, на струны бросает пальцы, когда он поет о великом походе, когда он поет о победе—он чувствует».

Вот чем обернулось украинское чую—слышу...

Вряд ли не знал он его украинского значения... Скорее, хотел выбрать из него второй, русский смысл.

Однако сам Гоголь этого не замышлял. И когда в одном из вариантов заменил «слышу» на «чую», то лишь затем, чтобы ответ прозвучал по-украински. После чего написал Н. Я. Прокоповичу, державшему корректуру его второго тома:

«Да вот что самое главное: в нынешнем списке слово «слышу», произнесенное Тарасом перед казнью Остапа, заменено словом «чую». Нужно оставить по-прежнему, то есть: «Батько, где ты? Слышишь ли ты это?»—«Слышу». Я упустил из виду, что к этому слову уже привыкли читатели и потому будут недовольны переменою, хотя бы она была и лучше». (Н. В. Гоголь «Письма».)

Да и что же тут чувствовать отцу, когда сына казнят на его глазах?..

С ним было интересно. И читать его интересно.

Его книги о литературе—не учебники. И не литературоведение.

Они—итог размышлений вдумчивого читателя.

Его мышление экспериментально.

Остроумно.

«Критический романс». Определение жанра. Подзаголовок статьи. В ней о Бабеле: «Пафос был ему необходим, как дача».

Он не беспорен. Не претендует на конечную истину. Он размышляет вслух. Иногда смеется, радуясь находке. Это как найти гриб. Рос у всех на виду, но никто до тебя не заметил.

Однажды вечером в Ялте мы с Виктором Борисовичем о чем-то разговаривали. Меня позвали к телефону. Телефон стоял в маленькой каморке под лестницей. Звонили из другого города. Вскоре я вернулась, но своего собеседника уже не застала.

На другой день я посетовала на то, что он меня не дождался.

— Но вы там просто свили гнездо! — воскликнул он.

За ним хотелось записывать. Иные это и делали. Легкий хлеб.

Для этого надо было только сесть рядом.

Я мало записала, инстинктивно чувствуя, что его мысли принадлежат ему. Что он сам записывает за собой.

«Я привык ставить в начале книги пейзаж», — пишет он.

И далее: «Ялта.

Конец апреля.

...К сожалению, доцветает миндаль...».

Он ставит это вначале.

Я этим кончу.

Вика

Только он мог носить это короткое, из детства пришедшее имя. Только он, Виктор Некрасов, мог придать этому имени, несколько инфантильному, женственному, мужское звучание.

И когда я потом встретила на страницах одной книги с Викою Конечким, душа отпрынула, словно от плагиата.

Обаяние мужества. В его облике и в его прозе. Оно действовало гипнотически, равно на мужчин и женщин. Он предпочитал общество мужчин, нечто среднее между окопным братством и рыцарским орденом. Впрочем, и с женщинами дружил тоже. Двух я знала. Это были милые, очень интеллигентные женщины, достойно несущие груз повседневных забот. Они его боготворили. Он отвечал им нежной привязанностью.

Не знаю другого человека, в ком потребность любви была бы столь сильной и неутолимой. В Некрасове эта потребность была сродни кислородному голоданию. Друзья—они тянулись сквозь всю его жизнь, часто с детства,—щедро одаряли его своей любовью. Иногда он влюблялся сам. Но в отличие от сильного, ровного пламени дружбы такая внезапная его влюбленность так же внезапно и гасла. И тогда недавний кумир уподоблялся тому, кто всерьез бы принял чеховское: «Если тебе понадобится моя жизнь, приди и возьми ее...»

Нет, Некрасов не готов был внутренне отдать свою жизнь тому, кто уже собирался прийти и взять...

Самой сильной любовью его была Зинаида Николаевна. Мама. «Правда, у меня хорошая мама?»— часто спрашивал он. Вопрос-утверждение.

Небольшого роста, полноватая, в очках, в панаме, постоянно с книгой в руках—такой я ее помню.

Внимательные глаза. В голосе нестарческая энергия.

Как-то зимой в Малеевке, где мы оказались одновременно, я рассказывала ей о Франции, откуда мы с мужем недавно вернулись. Подошел Некрасов.

— Вика, в июне мы едем в Париж,—объявила она. Как о деле решенном.

— Хорошо, мама,—сказал он.

Не стал говорить, что это сложно. Почти немислимо в ее возрасте,—ей шел восьмой десяток. Кто пустит?!

«Хорошо, мама...».

Вместо бессмысленных споров и обсуждений, в которые я пустилась бы на его месте. Это надолго стало мне уроком.

«Не надо спорить со стариками»,—сказал поэт. С любимыми стариками—добавлю я.

У себя дома, в Киеве, он скажет одному из своих друзей, прислушавшись к легкому шарканью за дверью: «Неужели наступит день, когда э т о г о не будет?!»

Его интересовали люди. Он открывал их для себя, как открывают страны. Они с Ваншенкиным познакомились в Киеве в мае пятьдесят четвертого. Он стал бывать у нас на Арбате. Часто заглядывал мимоходом. Я быстро собирала на стол что есть. Всегда находилось чем угостить, хотя не было ни холодильников, ни запасов,—покупали, готовили и тут же съедали...

Он любил застолье—шумное, с разговорами о жизни вообще, о литературной жизни в особенности. Любил спрашивать о ком-нибудь малознакомом:

— Что он за человек?

Живя в Киеве, ему трудно было ориентироваться в лабиринте московских отношений. И он доверял оценке друзей.

— Он полное дерьмо?—спрашивал он о ком-то, кто ему сильно не нравился.

Пожалуй, это самое грубое из того, что я от него слышала.

В нашей тесной квартирке в дни рождений мужа я устраивала мальчишники. Мы недавно обзавелись своим первым жильем, и мне, молодой хозяйке, нравилось приглашать гостей, угощать. И чтобы хвалили...

К слову сказать, за разговорами мой красивый, продуманный стол быстро разрушался,—молодые варвары, друзья студенческих лет, участники наших пирушек в общепитии, не страдали отсутствием аппетита и без разбора уничтожали все подряд (рубáли—так это называлось у нас). Только Некрасов всегда замечал, что он ест, и отдавал должное моим кулинарным талантам. Похвала его выражалась иной раз лишь мимикой, глазами, поднятыми к потолку. В такие минуты он очень походил на итальянского киноактера Тото.

Узкое смуглое лицо с темными усиками. С чуть сентиментальным взглядом темных глаз. Его голос—баритон с теноровыми нотками, окрашенный бернесовской интонацией. Распахнутый ворот рубашки.

По своей натуре он был южанин. Его темперамент располагался юж-

нее Киева. Может быть, ближе к Одессе. (К Марселю?) Интеллигентность переплеталась в нем с некой изящной раскованностью, почти с босячеством.

Мы с мужем были им пленены. И его к нам влекло.

Когда разговоры затягивались, он оставался у нас до утра.

Вспоминая о Некрасове, муж рассказал об одной из встреч. О том, как они были у Юрия Трифонова. Мне недавно попало письмо, в котором Ваншенкин пишет мне—я была в Томске—о второй их поездке к Трифонову тогда же, зимой пятьдесят пятого.

«Едва я приехал вечером из пригорода, как вкатился Некрасов со своим боевым другом и сказал, что нас ждет Юрка Трифонов, которому он звонил.

Было девять часов. Ну, поехали к Юрке. Нины нет, полная беспомощность, никакой закуски. Опять съели все детские яблоки. Потом приехала Нина с концерта. (...) Виктор разругал Юркину повесть. Юрка обиделся, Нина вмешивалась в их разговор, что их обоих очень злило. (...) Потом Виктор поехал к нам ночевать».

Привожу этот отрывок из письма, живо передающий атмосферу тех лет, с прямой суждений, скудностью быта, тягой к общению.

Мне кажется, он ценил во мне, что я не вмешивалась в мужские споры. В застольной беседе он отводил женщине отнюдь не первое место. Это не мешало ему, впрочем, интересоваться моим мнением о предмете разговора. А также и тем, что я пишу. К тому времени я была автором двух повестей и нескольких рассказов, опубликованных в журнале «Огонек».

Услышав, что я собираюсь вступить в Союз писателей, он вызвался дать мне рекомендацию. Всего их требовалось три, и одна, Катаева, у меня уже была.

Недавно я перечитала рекомендацию Некрасова... В ней он, в частности, пишет: «У Инны Гофф хороший глаз, она умеет видеть и умеет рассказать интересно об этом. Язык у нее ясный, простой, хороший... (...) От своего имени рекомендую принять Инну Гофф в члены Союза писателей СССР».

Подпись и дата— 21 апреля 1955 года.

Итак, умение видеть, простой, ясный язык... Перечитывая Некрасова, можно сказать, что для себя он ставил те же задачи.

Он не просто любил путешествовать. Это было его страстью с мальчишеских лет и осталось в нем до конца. Будучи вынужден покинуть свою страну, он, скучая по ней порой до сердечной боли, утешался тем, что может свободно ездить и смотреть... Недаром путевые заметки стали его излюбленным жанром.

Но бывало и другое.

Мы жили тогда в высотном доме у Киевского вокзала, на бывшей Дорогомиловской. В нашей однокомнатной квартире на девятом этаже было полукруглое, почти во всю стену окно с низким подоконником. Из него открывался ничем не заслоненный вид на Москву, на ее крыши, башни и купола.

Некрасов, придя к нам сюда впервые, был поражен зрелищем, открывшимся его взору.

Старые домишки внизу, вокзальная башня с часами были уже в тени, но ослепительно сияло вдали озаренное заходящим солнцем высотное здание университета.

Вскоре и оно погасло, но расплавленная медь заката еще долго отражалась в стеклах домов.

Некрасов молчал, стоя у окна, потом примостился на низеньком подоконнике.

Сказал: «Я бы мог так просидеть всю жизнь!..»

Однажды я послала ему рассказ. Просила прочесть и, если понравится, передать в редакцию «Нового мира». Мы с Некрасовым не виделись перед тем года два. Я знала об отношении к нему в журнале. К тому же в «Новом мире» попадались смелые по тем временам вещи.

Рассказ назывался «Путейцы». Его написал Анатолий Кузьмин, товарищ моих школьных лет. Жизнь его сложилась нелегко. Семнадцатилетним был призван в армию. После войны стал шахтером, — незадолго перед тем в шахте погиб его отец. Многие годы жил на руднике, работал в сменах.

Одаренный человек, он не собирался стать писателем, и мне стоило немалого труда заставить его взяться за перо. Изредка свои рассказы он присылал мне. Некоторые потом были напечатаны.

И вот «Путейцы». Мне очень захотелось, чтобы этот рассказ прочел Некрасов. Даже если в «Новом мире» не напечатают... Все равно. Важно было знать его мнение.

Рассказ был о нелегком труде солдат-путейцев вскоре после конца войны. В одном взводе, и даже в одном отделении, служили недавние дети, получавшие «сахаром» вместо махорки, бывший артиллерийский майор, разжалованный в рядовые после плена, отсидевший срок урка...

Тупой сержант, командир отделения, презрительно спрашивал майора:

— Шпалу-то подымеешь?

И слышал:

— Когда-то по две носил... в каждой петлице.

Юмор в рассказе соседствовал с грустью.

Ответ от Некрасова пришел скоро:

«Дорогая Инна!

Этот чудесный рассказ прочел тут же и, лежа на диване, смеялся. Завтра увижу Асю (она приезжает на несколько дней в Киев) и покажу ей. А дальше посмотрим.

Привет Косте. Вика».

(Ася — Анна Самойловна Берзер, друг Некрасова. Работала в «Новом мире» редактором в отделе прозы.)

И — Анатолию Кузьмину:

«...Вы написали превосходный рассказ. Постараемся тиснуть его в «Новый мир». Что получится, посмотрим. Читал с большим удовольствием.

Жму руку. В. Некрасов».

Обе почтовые открытки он отправил одновременно 27 сентября шестьдесят седьмого года.

Но «оттепель» сходилась на нет, задул северный ветер. И в «Новом мире» рассказ не появился. Лишь спустя двадцать лет, в пору гласности, он был напечатан в еженедельнике «Литературная Россия» и даже отмечен среди лучших публикаций года.

С возрастом душа его не старела. Интерес к жизни не иссякал. В нем были даже какие-то черты остаточного детства, выразившиеся в любви к игрушкам. Некрасов привозил их сыновьям своих друзей из-за границы.

Дети его друзей часто были его друзьями. «Мой московский друг, четырнадцатилетний Павлик», — говорит он в своих записках «Месяц во Франции».

Старики, дети, солдаты...

Солдаты в особенности. Его сердце до конца оставалось с ними, наполнилось нежностью к их стриженным головам. То была верность дням Сталинграда. Верность Валеге. И себе самому.

Как-то они с Ваншенкиным столкнулись случайно на улице. Отметим встречу в «стекляшке» вблизи Планетария и приехали к нам — мы жили давно уже на Ломоносовском. Сразу стало шумно. Все были вовлечены в споры: наша дочь Галя, шестиклассница, моя близкая подруга, оказавшаяся в тот день у нас, и моя мама. С ней Некрасов обращался особенно нежно, и в этом тоже чувствовалась его любовь к Зинаиде Николаевне. («Правда, у меня хорошая мама?»)

Над ним уже нависли тучи. К нему придирались, все ставя ему в вину. Даже его выступление на стихийно возникшем митинге в годовщину Бабьего Яра...

Под угрозой был выход двухтомника.

Он был возбужден. Но не жаловался. Он еще на что-то надеялся...

Некрасов до конца оставался самим собой. И за это его уважали. Даже те двое, что пришли к нему с обыском. Он рассказывал потом, как, не имея права выйти из дома, пока они не закончат, попросил одного из них сходить в книжную лавку, где ему был отложен однотомник Булгакова.

— И он, представьте, принес мне Булгакова, а заодно купил все, что я велел, — колбасы, кефира... Нет, что ни говорите, а люди меняются, — заключил он с невеселой улыбкой.

Мы часто вспоминали его. Иногда нам казалось, что он не уезжал. Иногда — что он обязательно вернется. Его не стало 3 сентября 1987 года. И он вернулся...

Ножницы

Зима сорок третьего года. Война. Сибирь. Наш девятый класс самый старший в школе, — десятого не набралось. За окнами поздний февральский вечер.

В школе пустынно и гулко. Лишь здесь горит свет, — мы с подружкой Риммой трудимся над стенгазетой. Я редактор. Римма — художник. Вот и вся редколлегия, если не считать Галку Зубкову, в обязанность которой входит выбивание заметок в наш школьный орган. Галка ленива, заметки писать никто не соглашается, и мы пишем их сами, стараясь разнообразить стиль.

Учителя выступают в стенгазете охотней, особенно наша географичка по прозвищу Кнопка. Она любит употреблять слово «нынче»: «Наша школа нынче трудится...» или «Нынче каждый обязан...»

Мы не уйдем, пока не закончим. Завтра День Конституции. Расстелив ватман на полу, мы ползаем, наклеивая заметки. Заголовок уже написан. Получается красиво, — тут и рисунки, и карикатуры на драпающих фрицев. И, конечно, стихи. О Сталине, естественно. Какая же праздничная газета без стихов о Сталине?..

Я сама сочинила их вчера на уроке химии. Сочиняла вдохновенно. Не потому, что была сталинисткой. Сталинистами в той или иной степени тогда были все, принявшие самое имя Сталин как некий высший знак.

И я была как все.

Сталин, простое короткое слово,
Но если его ты произнесешь...

Далее сообщалось, что все-все самое дорогое вмещает в себя это слово. Шел перечень:

Нашей отчизны озера и реки,
Город родной и любимых людей.
Лето, проведенное в Артеке,
Лозунги праздничных площадей.

Наши военные, строгие будни,
Армию нашу, советский народ...
С именем этим погибнуть нетрудно,
С именем этим победа придет.

Наконец газета готова, и мы тащим ее, развернутую, и укрепляем на стенде. На часах в учительской половина двенадцатого. Ночь, а сна ни в одном глазу. На нас нападает беспричинный смех. Нам весело, — мы выполнили свой долг!.. Смех странно звучит в пустой темной школе и вскоре уже на улице, тоже темной, слабо подсвеченной зимней белизной. На углу мы расстаемся. Снег скрипит под моими пимами. Иногда звук отстает, и кажется, кто-то догоняет меня. Оглядываюсь — никого нет. И все же невольно ускаряю шаги.

На другой день завуч вызывает меня с урока. Выйдя из класса, я вижу рядом с ней еще двух учителей, литераторшу и Кнопку. Все трое чем-то чрезвычайно взволнованы. В голове мелькает: уж не случилось ли чего дома? Но вскоре я понимаю, что это я сама натворила нечто ужасное.

Они ведут меня к стенгазете. Завуч спрашивает:

— Это чьи стихи?

— Мои, — признаюсь я.

Впрочем, хоть автор и не указан, все трое догадываются, что их сочинила я. Ведь у меня ампула школьного поэта.

— Да ты понимаешь, что ты тут написала? — спрашивает завуч, понизив голос.

— Ты прочти, прочти! — вторит ей литераторша.

Я тупо смотрю на свое стихотворение. Зачем мне его перечитывать? Я знаю его наизусть. И лишь силюсь понять, что тут не так.

— «С именем этим погибнуть нетрудно...» — с выражением цитирует Кнопка. Вид у нее испуганно-потрясенный.

— «...погибнуть нетрудно», — говорит литераторша полупшепотом. — Как это можно понять? Это можно понять только так — легко погибнуть!

— Газету сейчас же снять! — распоряжается завуч.

И газету снимают.

Прошли годы. Эпизод, казавшийся мне раньше забавным, вспоминается теперь по-другому. Три перепуганные учительницы, отвечавшие за нашу школьную печать, не кажутся больше смешными.

Они боялись... Ими владел тот навечно поселившийся в душах «повальный страх тридцать седьмого года», как определил его мой сокурсник в Литературном институте поэт Наум Коржавин (в ту пору — Эмка Мандель.)

Мы с Эмкой были дружны. Правда, взирал он на меня чуть свысока, — я была недавняя школьница, а он фронтовик, во что многие верили с трудом: уж очень он был безалаберен, неприбран... Его стихи, те, что спустя сорок лет пришли к нашим читателям, мы знали наизусть. Стихи, в которых ни грама крамолы, лишь естественность и свобода. В сорок восьмом его арестовали...

У меня сохранились две его фотографии, — снимался для паспорта. На одной из них он написал: «Инночке, девочке, попавшей случайно и преждевременно в Литинститут». На другой, где он забыл причесаться:

«Инночка, выздоровей.
И пригладь этот проклятый клок скорей».

Видимо, я болела.

Наум Коржавин давно живет за границей. В Америке. Слепнет и тоскует по России. Говоря о нашей студенческой жизни в повести воспоминаний «Превращения», я не могла не сказать о нем, — без него картина тех лет не была бы полной. Я его вывела под именем Венька. Он был выписан отчетливо, портретно. Конечно, его все узнали. И хотя на дворе стоял восемьдесят третий год, страницы, ему посвященные, уцелели.

Правила игры были соблюдены.

О, мы, пишущие, хорошо усвоили эти правила. Часто сами облегчали работу редакторам и цензуре, так называемому Главлиту. Писали, избегая запретных тем. О чем-то умалчивая. Что-то опуская. Но правда ломилась в повествование, рвалась наружу. С приходом зрелости мы уходили от вымысла, черпая вдохновение в живой, окружающей нас жизни. И тогда правила игры рушились...

Получив в журнале или издательстве верстку, вычитывая ее, я вдруг замечала, что пропущен целый абзац, а то и несколько. Так спохватываешься, обнаружив, что в толпе у тебя вытащили кошелек.

В редакции иногда шепотом ссылались на Главлит. С Главлитом спорить было бесполезно. Да и как с ним спорить? Он был где-то там, над всеми, всесильный и невидимый вооруженным глазом. Однако карандаш у Грозного Невидимки был явно намагничен, — его притягивало именно то, драгоценное для автора, в муках рожденное слово правды.

Цензура... Для меня это понятие связалось с войной. Со штемпелем на каждом конверте — «Просмотрено военной цензурой».

«И наша любовь, просмотренная военной цензурой», — пишу я в одном из рассказов.

Необходимость, продиктованная войной.

И не о ней речь.

Лет восемь назад мне рассказал заведующий редакцией одного журнала о разговоре, который ему довелось услышать в Главлите.

Старший цензор наставлял своего подчиненного:

— Мало ли что цитата! Да чья бы ни была! Хоть классика марксизма! Для чего-то ведь существуют ножницы!..

Но до цензуры был еще редактор. И тут надо сказать о Верочке Острогорской.

Верочка — так все называли ее и тогда, когда сын ее вырос и она сделалась бабушкой, — работала в издательстве «Советский писатель». Редактировала прозу. Роста меньше маленького, смуглая, с жесткими, как бы проволочными, волосами и колким взглядом черных глаз, с неизменной сигаретой, Верочка отличалась железным характером.

Ее суждения были прямы и нелюбезны. Опыт и стаж позволяли ей быть капризной в выборе авторов, — она соглашалась редактировать лишь то, что считала литературой. В редакционном заключении нередко писала: «Рукопись почти не нуждается в редактуре», не боясь навредить своему престижу.

Иной редактор готов искалечить рукопись бессмысленной правкой, лишь бы показать, что над текстом он работал.

Верочка любила свое дело. И своих авторов. Если случалось их защищать, отстаивать, дралась за них самоотверженно. Почти физически страдала, когда по соображениям, чуждым литературе, приходилось жертвовать страницами или строками.

Был конец шестидесятых. Время «оттепели» завершилось резким похолоданием. И опять уже нельзя было упоминать аресты и лагеря. В ту пору в «Советском писателе» печаталась моя новая книга. В нее входил рассказ, написанный от первого лица, — о детстве, увиденном на расстоянии лет «из окна гостиницы». Рассказ нес на себе отпечаток довоенного времени с его светом и тенью.

Мы с Верочкой Острогорской готовили рукопись к сдаче в набор. Обычно она приглашала меня к себе, в свою однокомнатную квартиру у метро «Аэропорт». И вот мы сидим рядом за низким столиком и пролистываем страницу за страницей. Наконец, этот рассказ.

Однако он изрядно исчеркан!..

«В Москве идет первомайский парад. Человек в кителе и сапогах поднимается по ступенькам Мавзолея. Человек, которого и потом, в его семьдесят лет, дети не решались называть дедушкой».

Мне кажется это находкой. В самом деле, Ленина называли дедушкой, когда ему было пятьдесят!..

Однако рядом стоит уже чья-то «птичка». Рецензента, должно быть. Верочка задумывается на мгновение и, затянувшись сигаретой, решает:

— Ну, и уберем его! Шут с ним! — И с легкостью вычеркивает человека в кителе и сапогах.

Нет, она не будет бороться за эти строчки.

Листаем страницы. Снова пометка на полях.

«Жизнь бесконечная и прекрасно-загадочная ожидала нас впереди. Жизнь, о которой мы так мало знали...»

Машина с притушенными фарами, еще не тревожа наш сон, летучей мышью скользила по Пушкинскому въезду, причаливала к Дому специалистов. Три человека входили в дом и выводили четвертого...».

Верочка задумывается. На этот раз надолго. Смысл пометки нам обем ясен — убрать!

Рука с сигаретой отведена в сторону. Пепел сыплется на пол.

— Сделаем так, — говорит она. — «Три человека входили в дом, а выходило четверо». Вдруг пройдет?!

И — прошло. На удивление многим — прошло...

В ходу выражение «прорабы перестройки». Верочка Острогорская была ее разведчиком. Доживи она до этих дней, как бы она радовалась Времени Больших Публикаций и Возвращенных Имен.

На пути Правды стояли не только бдительный цензор и осторожный редактор. Но и сам читатель.

Писателя отучали писать правду. Читателя отучали ее читать...

В 1975 году я написала повесть «Советы ближних». Первоначально она называлась «Дембель — семьдесят пять», поскольку герой повести Виктор Звонцов только что демобилизовался из рядов Советской Армии. И хотя в центре вещи семейный конфликт: родители возражают против женитьбы сына, — тема армии, воспоминания о воинской службе занимают в ней немалое место.

Дембельский альбом — слово «дембель», производное от «демобилизация», незадолго перед тем вошло в обиход, — с фотографиями друзей, рисунками, афоризмами. С лозунгом на первой странице: «Два года, 24 месяца, 730 дней, 17 520 часов, 1 051 200 минут, 63 072 000 секунд — без капремонта!»

Масленные «календарики», — кто-то из остряков подсчитал, сколько масла съедает солдат за два года, и по утрам они зачеркивали масло. Эта игра утешала салаг-первогодков.

«Салага, Солобон, Салапет. Год прослужил и ты на полпути к дому. Ты уже не салапет какой-нибудь, а Шнурок, Черпак, Фазан!.. И служить тебе веселей. Но дни идут, и вот ты уже Старик, а там и Дед — это уже после того, как опубликован приказ министра обороны об увольнении в запас твоего призыва...»

Наша армия до Афганистана. До понятия д е д о в щ и н а, столь мрачного, а порой и трагического.

«Ура! Я Дед авиации! Через два месяца буду дома! Когда я думаю о себе, то вижу, что много получил за эти годы»...

Все, что касалось службы в армии моего героя, включая его письма, приведенные в повести, было документально. И никак не ждала я, что гром грянет...

В феврале 1977 года повесть появилась в журнале «Юность». Тут же «Красная звезда» напечатала реплику двух полковников о том, что повесть вредная, что она искажает истинное лицо нашей армии. И что-то еще, в том же духе.

Немного спустя в редакцию «Юности» прибыл адъютант маршала Толубко, в ту пору заместителя министра обороны, с письмом на имя главного редактора. В нем говорилось, что, напечатав мою повесть, журнал совершил «непоправимую ошибку»...

В пору было задрожать. Покаяться. Но Борис Николаевич Полевой был человек неробкого десятка. Его ответ маршалу Толубко начинался так: «В письме, подписанном Вами...». Наверху стояло: «Копия в ЦК КПСС».

И снова прибыл адъютант, уже с извинениями. Тем и кончилась эта «перестрелка». К счастью, в издательстве не потребовали изменений. Вряд ли из принципа, скорей из неведения...

Дедовщина, как болезнь, тогда, видимо, уже исподволь начиналась. Не зря блюстители нравов армейской жизни всполошились, распознав в повести ее симптомы. Но они предпочли закрыть глаза на правду.

Понесла потери моя повесть воспоминаний «Превращения». О некоторых жалею до сих пор.

В реестр запретов попала поэма Твардовского «Теркин на том свете». Из главы «Две встречи» — об Александре Трифоновиче — изъяли все, что касалось этой поэмы.

Приведу здесь этот отрывок. Для читателя, незнакомого с моей повестью, добавлю, что разговор происходит в мае 1955 года на Арбате, где мы с Ваншенкиным получили свое первое жилье в старом одноэтажном флигеле. Туда часто приходили наши друзья, бывал у нас и Алеша Фатьянов. В тот раз он пришел с Твардовским. Узнав, что мужа нет дома, они хотели уйти, но потом остались. Тогда-то и случился навсегда памятный мне разговор.

«...А тут еще «Теркин на том свете». В ту зиму эта поэма, набранная, но не пропущенная в печать, ходила в списках. Стоило раз или два

прочитать ее вслух — читали близким, друзьям, каждый читал, как бы гордясь, словно сам это сочинил, — и стихи легко и сразу запоминались. Поэма разбиралась уже на афористические строчки, как некогда «Горе от ума».

Я набралась смелости и сказала о поэме «Теркин на том свете» — какая это удивительная вещь, на что Александр Трифонович ответил, что для него самого непонятно, как он ее написал.

Помню его фразу: «Но она меня спасла».

Он сказал, что до того, как написал ее, уже подумывал: все, надо кончать. Я не привожу тех фраз Твардовского, которых не помню дословно. Но сказано это было так мрачно, что я не поняла, — кончать жизнь или писание стихов».

Как легко вопреки пословице вырубалось тогда на п и с а н н о е п е р о м. И не топором — взмахом ножниц Грозного Невидимки.

Не у всех найдутся роман или повесть, ожидавшие лучших времен. Честь и хвала им, заранее обречшим себя на длительное «молчание». Рисковавшим — увы, со всем основанием! — не дожить...

Но у многих, наверное, как у меня, набралась коллекция вымарок и купюр, накопившихся в папках за многие годы. Хорошо бы собрать их и обнаружить.

В той же повести воспоминаний есть глава под названием «Внутренняя речь». Ее начало мне хочется здесь привести.

«Этот термин я услышала недавно. Детский невропатолог сказал о годовалой Кате: «Она скоро заговорит. Ее внутренняя речь уже полностью сформировалась».

Внутренняя речь. Человек все понимает. Словарь сформировался.

А у писателя? Сформировался замысел. Внутренняя, произнесенная речь. Все понял, осмыслил, но пока молчит. И если будет молчать, его никто не услышит.

Внутренний монолог героя был моден еще недавно и звучал за кадром. Я не об этом.

О внутренних, никогда не написанных книгах.

Об ораторах, которые молчат, набросив платок на роток. Об их внутренних ярких речах.

Молчат, хотя все понимают.

Они — заговорят ли?»

Это написано в восемьдесят первом. Время гласности еще не пришло. И я не надеялась, что это останется.

Но это осталось. Возможно, случайно.

А быть может, и там, в Главлите, были разведчики перестройки?..

Юбилей без юбиляра

«Событие — это только повод для того, чтобы по этому поводу, самое главное, — не позубоскалить, а может быть, даже скорее — попечалиться. Даже — если в смешной форме.

Владимир Высоцкий».

Был юбилей Высоцкого. Юбилей без юбиляра...

Воистину — событие, чтобы попечалиться.

Его голос звучал по радио и с экрана, его лицо смотрело со страниц газет, бесчисленно повторяясь, как в системе зеркал, — он и его гитара...

Книга «Нерв». Альбомы с его песнями на пластинках фирмы «Мелодия». Звучали воспоминания о нем людей близких и тех, кто «хочет примкнуть»... Такие всегда находятся. Вторя истинным друзьям, они тоже называли его Володя, как бы показывая, что и они были с ним на коротке.

В этом хоре и те, кто мешал, портил жизнь, отравлял кровь...

Теперь и они «пе-ре-жи-ва-а-ют...».

Именно это слово настойчиво, назойливо даже жужжит, не дает мне покоя... Из его шутилой песенки про то, как аборигены съели Кука, — событие, чтобы попечалиться. «Даже если в смешной форме».

Я эту песенку услышала в Ялте. Восьмидесятый год. Октябрь. Не прошло еще трех месяцев, как его не стало. Мы приплыли в Ялту на теплоходе «Грузия». Капитаном его был наш друг Анатолий Гарагуля. Он дружил с Высоцким. Он же нас с ним познакомил.

Едва мы ступили на борт, еще в Одессе, Гарагуля сказал: «Как жаль Володю...»

Смерть Высоцкого он переживал как личную свою утрату.

В Ялте на корабль пришел Тимур Гайдар с женой Ридой (Ариадной). Друзья капитана и наши, они в ту пору здесь отдыхали. Режиссер Ялтинской киностудии пригласил нас всех к себе на дачу — посмотреть видеоролик передачи о Высоцком, снятой для телевидения незадолго до его смерти.

Сам Высоцкий эту передачу так и не увидел...

И вот мы в небольшой комнате. Окна занавешены от солнца. Садимся кучно. Капитан, Тимур с женой, мы с Ваншенкиным. Тут же друг Высоцкого Вадим Туманов.

Загорается экран. На сцене стул. Ничего больше. Высоцкий выходит. Снимает кожаную куртку, вешает на спинку стула. Возможно, он делает это не сразу, чуть спустя. Мы все слишком взволнованны, чтобы четко запоминать его действия, их последовательность. Но сразу удивляет его волнение. Е Г О!..

Сколько раз на него была направлена кинокамера, сколько раз он стоял на сцене с гитарой в перекрещенном свете софитов...

И вот все, как в первый раз!.. «Монолог». Гитара на широком кожаном ремне. Он поет песни — знакомые и незнакомые (новые?). Звучит хриловатый баритон, на шее напрягаются жилы. Он поет стоя. Уже начав петь, иногда прерывает себя. Рассказывает. Объясняет. Он волнуется.

Почему он волнуется?..

И вдруг озаряет: это его дебют! Первый случай говорить сразу со всеми. Со всей страной!..

Он поет много, щедро. Уже не для передачи, для съёмочной группы. А они продолжают снимать. Тоже для себя. То, что останется за пределами эфира. «Непроходное». По тем временам.

Ах, это непроходное!.. Восславим же тех, кто снимал это «непроходное» для себя. И, значит, для нас. (В полном своем варианте передача оказалась почти вдвое длиннее.) А тогда Высоцкий пел уже только для этих людей.

Он расковался. Волнение ушло. Лицо стало мягким. Он пел для тех, кто собрался в телестудии, — для режиссера, помрежа, операторов, ассистентов. И он спел песенку про Кука, которого съели аборигены. Не знаю, когда он ее сочинил. Но я ее прежде не слышала. «Любили Кука — и съели Кука».

А после —

...И дикари теперь заламывают руки,
Ломают копыя, ломают луки.
Сожгли и бросили дубинки из бамбука:
Переживают, что съели Кука.

Сколько презрительной иронии было в его протяжном «пе-ре-жи-ва-а-ют». Какой прищур во взгляде!..

На корабль мы возвращались грустные. А для меня все звучало: «Любили Кука — и съели Кука»...

Не о ком-нибудь, о себе писал. Все предвидел. Отсюда это — «пе-ре-жи-ва-а-ют...»

Он был прекрасный актер. Мне посчастливилось видеть его в «Гамлете». Говорят, что с течением лет Гамлет Высоцкого становился все глубже, безысходней. Все сильнее проступала в нем безжалостная судьба, та, что не внемлет воплю отчаяния, — «чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее...».

Гамлет, которого я видела, был еще далек от края пропасти. Трактовка его Гамлета тогда легко прочитывалась. Он был близок подростковым мальчишкам военных лет, сиротам, шпане московских дворов, если хотите. Но шпане благородной, со своим кодексом чести. Его принц Гамлет,

по словам Высоцкого, «воспитывался с детства быть королем». Вольно или невольно этот его Гамлет был в родстве с погибшим на войне Ленской Королевым, которому звание «короля» присвоил арбатский двор.

Был король как король,
Всемогущий, если другу
Станет худо иль вообще не повезет,
Он протянет ему свою царственную руку...

Но эта песня Булата Окуджавы достаточно известна. И в ней та же щемящая нота, что оставалась после спектакля, где метался юноша, почти наш современник, мучимый непосильными вопросами, которые жизнь ставила перед ним...

Высоцкого-Гамлета позднего, уже постигшего многое и жаждущего познать истину, разгадать загадку жизни, Гамлета-философа мне видеть не довелось...

Мы не были коротко знакомы. Но у нас были общие друзья. И вот случилось несколько встреч в тесном кругу, о которых хочется рассказать.

Это не воспоминания. Слово «впечатление» тут более уместно.

В Москве Анатолий Гарагуля с женой Валерией (вслед за капитаном мы зовем ее дружески Валерой). У него отпуск, как правило, зимой. И он приезжает в столицу. Начинаются встречи, перезвоны, уговоры — кто, когда, у кого, во сколько. Обычно капитан поселяется в гостинице, реже — у кого-нибудь из друзей. Все рады повидать его, а заодно и друг друга, — Москва!..

У всех свои дела, заботы. Да и расстояния!.. Нужен сильный магнит, чтобы собраться вместе. Толя Гарагуля был таким магнитом.

Человек героический, военный летчик, ставший затем капитаном дальнего плавания, надежный, даже суровый в деле, сентиментально-нежный в дружбе, великодушный рассказчик, Гарагуля притягивал к себе людей самых разных. Но особенно людей искусства, к которым и его тянуло.

Для нас же он являл собой тот, с детства вымечтанный образ моряка. Мы дорожили дружбой с ним. Дорожил ею и Высоцкий, которого влекло к сильным, ярким личностям.

Январь семидесятого. Третье января. Утром нам позвонил капитан и сказал, что Володя Высоцкий оставил в кассе Таганки на его имя шесть билетов — для них с Валерой, Булата с Олей и для нас с Костей. Какая пьеса?.. Какой-то «Сезон»...

Мы решили, что это премьеры. После выяснилось, что «Сезон» — это «Добрый человек из Сезуана», спектакль по пьесе Бертольта Брехта, весьма уже заигранный. Естественно, все, кроме Гарагули, его смотрели. Но все же пошли.

Высоцкий сказал:

— Потом встречаемся у театра и едем к Абдуловым... — На чье-то: «А это удобно?» — добавил: — Нас там ждут...

— Тебе же надо разгримироваться... — начал Булат.

— Это минута!..

И действительно он не заставил себя ждать. Разместились в двух такси: Высоцкий с Толей и Валерой, мы с Окуджавами. Он подбежал к нашей машине, сказал шоферу адрес и как ехать.

— В общем, следуйте за нами...

Было темно, но шофер сразу узнал его и все же спросил, боясь поверить удаче: «Это Высоцкий?»

В квартире Абдуловых шел ремонт. В прихожей — покрытые лаком, еще не вполне просохшие полы. Согласитесь, не лучшее время для приема гостей.

Но там нас действительно ждали. Надевая по очереди большие «насреддиновские» тапочки прямо на ботинки или сапоги, один за другим мы пробираемся — местами по дощатым настилам — в глубь квартиры. Сваливаем пальто и шапки на какой-то диван. Тем не менее стол накрыт скатертью, на нем — закуски, салаты. Нас встречает улыбкой милая элегантная блондинка, вдова известного артиста Абдулова, и его сын Всеволод

Абдулов, интеллигентный, несколько застенчивый. Он артист МХАТа, ближайший друг Высоцкого. И еще какая-то незнакомая нам пара.

Комната небольшая, всю ее заполняет накрытый стол, и, приглашаемые гостеприимными хозяевами, мы протискиваемся между столом и диваном, усаживаемся, кто где может.

И тут из прихожей доносится серебристый смех и в проеме дверей, как в кадре, снятом крупным планом, возникает Марина Влади. Просто-волосая, в коричневой шубке-макси. Она улыбается сразу всем, но видит только его. А он уже рядом, и они страстно целуются, забыв про нас. Нам говорят, что Марина прилетела только что из Парижа.

Они садятся рядом. Теперь я могу разглядеть ее. Она в черном скромном платье. Румяное с мороза лицо. Золотисто-рыжеватые волосы распущены по плечам. Светлые, не то голубые, не то зеленые глаза. Звезда мирового кино. Колдунья... Все мы помним фильм «Колдунья» с Мариной Влади в главной роли. И другие фильмы с ее участием. Но сейчас вспоминается этот.

Вот и е г о заколдовала... Приворожила...

Они забыли о нас. Они вместе. Они обмениваются долгими взглядами. Она ерошит ему волосы. Кладет руку ему на колено.

Мы не в кино. Это не фильм с участием Марины Влади и Владимира Высоцкого. Это жизнь с участием Марины Влади и Владимира Высоцкого.

Словно очнувшись, они включаются в общий разговор.

Высоцкий говорит ей: «Посмотри, кто сидит напротив тебя. Узнаешь?» Марина смотрит на Гарагулю и радостно восклицает: «О, капитан! Толя!» Как она может не узнать капитана «Грузии»?..

Много позже в своей книге «Владимир, или Прерванный полет» она напишет:

«Мы улетаем в Одессу, где через несколько часов поднимемся на борт теплохода «Грузия». Настоящее свадебное путешествие... На капитанском мостике нас приветствует Толя Гарагулия (правильно — «Гарагуля». — И. Г.), «хозяин» теплохода. Мы с наслаждением знакомимся с нашей каютой. На столе фрукты, грузинские вина, пирожные. Толя позаботился, чтобы в каюте — редкий случай! — были цветы. Как все сошедшие с ума от счастья, мы охаем и ахаем по каждому поводу...»

Счастливые, может быть, самые счастливые дни в их жизни!..

В 1983 году в журнале «Юность» была напечатана моя «Сага о старом корабле». В ней я хотела отдать дань благодарной памяти прекрасной старой «Грузии», — в ту пору корабля уже не существовало, он был продан на слом в Италию. Рассказать о славном его капитане Анатолии Гарагуле, который «...очень любил этот корабль» и «...всегда помнил тех, кто ушел не из дружбы — из жизни»...

«Сага» кончалась элегически: «И она прошла перед нами белым видением. Мы увидели две ее высокие мачты и между ними сидящую ко-со, как бы с флотским шиком трубу. Увидели различимый издали ее единственный силуэт. Просторные палубы со скамьями вдоль переборок. Тесноватую каюту капитана, где так любили музыку и стихи».

Упоминались друзья. Несколько имен. И, конечно, это:

«Здесь счастливый, обняв за плечи Марину, стоял у борта друг капитана Володя Высоцкий».

В редакции эту строчку сняли. Сказали, что у них уже идет материал о Высоцком. Так часто упоминать его имя не следует. Я настаивала. Мне казалось это несправедливым. Ведь упоминание о Высоцком в связи с «Грузией» было не случайным. Капитан и артист являлись истинными друзьями. К ним обоим в равной степени подходили слова, сказанные в «Саге» о Гарагуле: «Самое слово — Друг — он возвел на неимоверно высокий пьедестал...»

Но — строчку сняли. Сказали — т а м возражают.

Оставалось одно — ждать выхода книги...

Вернемся, однако, к Абдуловым. К оживленной общей беседе.

Булат:

— Володя, ты не устаешь хрипеть?.. Ведь горло напрягается... Как ты это делаешь?

— У меня просто голос такой, — улыбаясь, отвечает тот. — Это мой собственный голос...

Я спрашиваю у него, рисует ли Любимов каждую мизансцену. Уж очень они четко, графически продуманы.

— Обязательно, — говорит он.

Между тем Марина Влади достает из кожаного складного футляра фотографии, те, что у нее всегда при себе. И мы рассматриваем их, передавая из рук в руки.

Ее сыновья. Старшему лет тринадцать. У него грустное лицо одинокого мальчика. И шустрые мордашки младших. С кем они? — «С мамой...»

А вот ее отец, французский летчик Владимир Поляков. Он умер восемнадцать лет назад... И — «а там что?» — она прячет, опять достает, показывает всем издали и снова прячет, лукаво улыбаясь. Любительский снимок: они с Высоцким, веселые, в купальных костюмах, на борту «Грузии»...

И еще одна встреча. Она тоже связана с Гарагулей. С его приездом в Москву. Вернее, с его отъездом. Потому что были проводы...

В тот раз Толя и Валера остановились у Высоцкого. Это было в районе Матвеевской. Старший сын Гарагули, Борис, заехал за нами. Стояли темные осенние дни перед снегом. Район новый, еще не обжитый. Рядом лес. Новый многоквартирный дом. Здесь живут Высоцкий с Мариной. У них еще нет своего жилья. Они поселились здесь временно — владелец квартиры работает за границей.

Они — квартиранты...

Нас встречают шумно. Много знакомых лиц. Григорий Поженян, Андрей Тарковский, Владимир Ивашев. И, конечно, Сева Абдулов. И хирург Рита...

Какие-то женщины (жены?) помогают Валере накрывать на стол. Хозяев дома нет. Высоцкий занят в спектакле. Придет позднее. Марина в Париже. Ее лицо смотрит на нас с больших конвертов — пластинки выпущены во Франции. «Поет Марина Влади». Кто-то берет одну из них, ставит на проигрыватель, и ее голос сливается с нашими голосами...

Поженян, как всегда, разделяет рыбу. Андрей Тарковский по натуре спорщик. Вот и сейчас он уже не на шутку схватился с кем-то. Он бледен, глаза гневно круглятся, жесткие губы сжаты, — сейчас он скажет что-то резкое... Но тут его взгляд встречается со взглядом капитана, Толя подмигивает Андрею, Андрей подмигивает в ответ — и происходит разрядка...

Тарковский хлопает собеседника по плечу и отходит в сторону.

Наш капитан счастлив. Здесь его сын, жена. Здесь его друзья. Они пришли его проводить. Может ли кто другой ценить дружеское общение, как он, проводящий долгие месяцы в плаванье?..

Я осматриваюсь. Странный дом. «Смесь французского с нижегородским». На полу шары-кресла, похожие на гигантские сдутые футбольные мячи. Рядом расписанные красно-золотыми узорами хохломские столики и скамеечки. Впрочем, ведь это временное жильё. Чужое.

Высоцкого все нет. Он приходит как-то незаметно, когда застолье уже в разгаре. С его появлением ничто не меняется. Стол гудит. Как бывает всегда в таких случаях, каждый склонен не столько слушать других, сколько говорить сам.

Владимир садится с торца. У него усталое лицо. Он кажется мне гостем, попавшим в незнакомую компанию. Хозяйки пиршества спешат его кормить. Но он к еде почти не прикасается. Устал... Может быть, ему даже приятно, что всем не до него. Он перемигивается с капитаном. И понемногу осваивается. Как бы постепенно постигая, что он дома. (Жалко, нет Марины!) Что все здесь свои ребята. И что они провожают сегодня Толю Гарагулю...

— Спой, Володя, — просит капитан. — Споешь?..

Кажется, он один из всей шумной компании помнит сейчас об этом

даре хозяина. Все слишком заняты собой. И он бы не стал сейчас петь. Но Толя просит...

Кто-то подает ему гитару. Он перебрасывает через плечо тонкую зеленую тесьму. Берет несколько аккордов... И ждет, когда смолкнет смутный гул разговора. Довольно долго ждет. Наконец все стихает. И он поет, аккомпанируя себе...

Поет «Коней привередливых» — мог ли подумать кто-нибудь тогда, что это будет звучать на его похоронах, когда поплывет над головами друзей высоко поднятый гроб?..

Нет, никто так не думал. И упрек судьбе, что «ни дожить не дает, ни допеть», звучал как некая метафора, обращенная невесть к кому. Но слышались в этой песне такая боль, такой стон души, что все мы пригрюнились, закручинились, жалея того — невесть кого...

И тогда он развеселил нас — диалогом у телевизора — «Приду домой — там ты сидишь». Жанровая сценка, ставшая в его исполнении подлинным шедевром.

Кто же он был? Актер? Поэт? Неподражаемый исполнитель собственных песен?..

Нынче в моде авторская песня. Термин сам по себе нелепый. Все песни — авторские!.. У песни чаще всего два автора: один — музыки, другой — стихов. Народная песня тоже авторская, даже если затерялось имя ее создателя.

Авторов самодеятельной песни стали называть бардами. Звучит роскошно. Особенно если говоришь о себе: «Я — бард».

Владимир Высоцкий не был бардом. Не был он и поэтом в том единственном смысле, который несет в себе это слово. Он был художник. Поэт, драматург, певец, актер соединились в нем, создав явление Высоцкого. Близкое явлению Шукшина.

«Язык героя в литературе — это его образ. Попробуйте отнять у персонажей Шукшина их удивительные по точности языка характеристики. Поистине все эти образы сыграны Шукшиным в литературе».

Я привела эту цитату из своей книги «Превращения», ибо она полностью относится к Владимиру Высоцкому. Каждая его песня — блистательно сыгранный (спетый?) моноспектакль. Сколько песен он спел, столько сыграл ролей. Он сам написал для себя эти песни-роли. И в них — ни одной фальшивой ноты. Или пустой фразы.

«...я люблю слушать то, что мне говорят», — сказал он однажды.

Он услышал современника. И современник признал его своим и принял в свой круг. Круг этот все ширился...

Его любили. Особенно те, для кого тоже «...самое главное — не позубоскалить, а может быть, даже скорее — попечалиться. Даже — если в смешной форме».

Начало

Шестьдесят седьмой год. Ноябрь.

Мы сидим в гостях, куда позваны на звезду, а звезды все нет. Ни ее, ни ее мужа, режиссера Глеба Панфилова. И хозяйка уже нервничает и наконец дает команду садиться за стол, накрытый посреди небольшой, тесноватой комнаты. На столе изысканные яства. Мать хозяйки дома — старая большевичка, и ей положен особый паек. В этот раз он пришелся как нельзя кстати.

Мы все уже проголодались и энергично беремся за дело. Возникает разговор о фильме. Все, кроме одного из гостей, видели фильм. И все им восторгаются. Правда, кто-то из присутствующих говорит, что, собственно, фильм интересен как блестящая актерская работа. Другой гость, поэт, подцепив вилкой скользкий масленок, высказывает мысль о том, что роль Жанны д'Арк по сюжету могла оказаться провалом героини, но фильм от этого бы не проиграл.

Мысль поэта кажется очень интересной пожилой даме-меломанке. Друг дома, грубоватый малый, киношник, ей возражает.

Все словно забыли уже, по какому случаю собрались. Только хозяй-

ка дома, нервно улыбаясь, следит за тем, как исчезают со стола осетрина и миноги, припасенные для з в е з д ы.

— Они уже не придут, — говорит кто-то.

— По-моему, уже пора раздолбать их в дым, — басит гость, не видевший фильма.

— А что в самом деле!.. Слушайте, отличный сюжет! Все собрались чувствовать з в е з д у, но она опоздала и когда пришла наконец, все уже не стесняясь обсуждали ее недостатки, о которых хотели умолчать...

Раздался звонок.

— Они! — сказала хозяйка. И, порозовев, пошла открывать.

Она давно знала их, в трудностях и заботах обыкновенной жизни людей кино, еще не проклюнувших скорлупу, отделяющую их от славы. Защищала их фильмы в годы, которые не принесли им известности, но научили упорству и бесстрашию, необходимым в искусстве не меньше, чем талант.

Мне кажется, они хорошо сделали, что опоздали. Разговор за столом следовал по ветру легкости и веселья, как парусник.

Она вошла, улыбаясь. На ней был зеленый брючный костюм. Зеленый малахитовый браслет на руке.

Вошла, и села рядом со мной, и сказала, что очень любит цветную капусту. Она была сама естественность. Большие глаза, несколько выпуклые, как будто постоянно готовые удивиться или испугаться. И смех рассыпчатый, такой, как в кино. Светлые волосы гладко зачесаны назад. Что-то неправильное в нижней части лица — возможно, крупные десны.

Глеб Панфилов — усталый, принужденно оживленный. В сером ворси-стом пиджаке. У него черные волосы и черные, глубоко посаженные глаза.

— «Мир Глеба», — говорит Чурикова. — Я дорожу тем, что попала в его мир...

— Он один видит свою Жанну д'Арк, и только он может ее написать.

— Существует мнение, что она шизофреничка. Но наряду с этим она обыкновенная и очень практичная деревенская девушка...

— Глеб не позволяет мне превращаться в «актрису»... Он оберегает меня от этого ощущения — оно мешает...

— Я не люблю свою профессию. Каждый раз влюбляешь в себя кого-то. Так трудно потом перестраиваться!.. В фильме «В огне брода нет» мне было легче, чем в этом...

Она рассказывает о кинофильме «Начало», недавно вышедшем на экраны. Это ее второй фильм. Первого я в ту пору не видела. Но и теперь, посмотрев его, считаю, что талант Чуриковой полностью раскрылся в картине «Начало».

Вторая роль для актера, как вторая книга для писателя. Если в первой он заявляет о себе, то во второй утверждается. Всем известно, что вторую книгу написать труднее.

Я слушала ее, не отрывая глаз от ее лица, постоянно переменчивого, как бывает переменчив пейзаж, зависимый от освещения. Источник света был в ней самой.

Мне вспомнилось лето, Дубулты, Дом творчества. Кто-то сказал, что в соседнем городке, в Мелужи, идет фильм, который обязательно надо с м о т р е т ь.

Весь передавалась от одного к другому. Мелужи от Дубулт в трех остановках, если ехать на электричке. Можно и на автобусе, и пешком, вдоль моря. На ш и х набралось почти ползала. Помню, что в Мелужи мы ехали, а возвращались пешком. Чувство, владевшее всеми, не назовешь иначе как ошеломление...

— А режиссера сначала играл Ролан Быков... Это такой лицедей!.. Он меня переиграл. Я с ним становилась деревянная, мертвая... Немела!.. Он по сюжету критиковал мою Жанну, и я не могла отличить его игру от реальности. Верила, что у меня ничего не получается на самом деле. А потом он сказал, что играл свою роль!.. Но его пришлось заменить...

— Я кончала Щепкинское. Там меня научили одной страшной вещи — б е з г р а н и ч н о доверять режиссеру... Потом играла в ТЮЗе. В дет-

ских пьесах. Кто их сочиняет?! Эти слова невозможно произнести! А когда любовь — дети в зале стесняются. Хочется подойти к ним ближе и сказать: «Дети, не стесняйтесь! Я сейчас буду признаваться в любви, но тут ничего такого нет!!!»

— Я в школу свою боюсь зайти. Она тут, рядом. Я не любила ее. А преподавательницу по литературе мечтала взорвать. Перед сном мечтала, план разрабатывала в мечтах...

— Как-то после просмотра какого-то, на окраине, сижу в машине с цветами, жду остальных. Подходят два парня с гармошкой, пьяненькие. Один так по-доброму, с сожалением говорит: «А картина-то дерьмовая... И ты в ней плоха-ая!..» Мне это так было дорого, потому что они от души сказали. С сочувствием...

Спустя недолгое время мы снова встретились, на этот раз в доме у Иона Друцэ. Кроме Инны Чуриковой, Глеба Панфилова и нас с Ваншенкиным, там были Белла Ахмадулина и Геннадий Шпаликов. Панфилов и Чурикова только что вернулись из Венеции, где на кинофестивале был представлен фильм «Начало» и где ей присудили приз «Серебряный Лев».

Инна рассказывала, как после просмотра к ней протиснулась старуха, увешанная драгоценными камнями, и, схватив ее за руку, твердила: «Я русская! Русская!..»

Много лет прошло с тех пор. Сколько сыграно ею в кино и в театре!

А как хороша она в дуэтах!

Дуэт с Куравлевым в фильме «Начало». С Андрейченко — в «Военно-полевом романе». Дуэт матери с сыном в фильме «Курьер». И всюду эта естественность. Эта глубокая внутренняя правда.

Кажется, никакой и г р ы... Просто жизнь.

Мне приходилось слышать не раз от людей, считающих себя знатоками кино, что Чуриковой не х в а т а е т и г р ы.

И всякий раз мне приходил на память разговор двух зрителей в кинозале. Шел фильм Антониони «Красная пустыня». На экране возникли первые кадры. Светлое, чуть тронутое голубизной небо пролилось в зал.

— А мне говорили, что фильм цветной, — сказал кто-то позади меня.

— Он и есть цветной, — отозвался другой голос.



Р. ТИМЕНЧИК

Н е и з в е с т н о е с т и х о т в о р е н и е А н н ы А х м а т о в о й

В рабочей тетради Ахматовой, подготовленной к печати сотрудником Центрального архива литературы и искусства К. Н. Суворовой, есть такая запись:

215 лет. Смерть Баха. (28 июля 1965. Комарово).

Фантазия и fuga. Слушаю.

Боже мой... Сама Чакона!

Играет Игорь Безродный...

но за ней не войдет человек...

Прелюдия и fuga (играет Л. Ройзман).

Вот он, колокольный звон из 17 века. Как все близко! — (и страшно...)

Еще три дня июля, а потом траурный гость — август («столько праздников и смертей»), как траурный марш, который длится 30 дней. Все ушли под этот марш: Гумилев, Пунин, Томашевский, мой отец, Цветаева... Назначал себя и Пастернак, но этого любимца богов увел с собою, уходя, неповторимый май 60 года, когда под больничным окном цвела сумасшедшая липа. И с тех пор минуло уже пять лет. Куда оно девается, ушедшее время? Где его обитель...

Эта спонтанная, импульсивная запись (с описками — семнадцатый век вместо восемнадцатого, тридцать дней вместо тридцати одного) связывает тревожное предчувствие ближайшего будущего (незадолго до этого в Париже в разговоре с Никитой Струве она сказала: «Живут же некоторые до ста лет...») с вереницей воспоминаний. «Чакона» Баха отошла к строкам «Поэмы без героя» о Госте из будущего, так и не вернувшемся из своего Зазеркалья. А затем — за тем, кто «не веет летейской стужей», возникает процессия залетейских теней. Не в первый раз Ахматова задумывалась над дьявольским лукавством календаря. Осенью 1949 года она говорила знакомым (цитируем по записи из дневника Л. В. Яковлевой-Шапориной, опубликованной в недавно выпущенном в Париже «Ахматовском сборнике»): «Отбросив всякие суеверия, все-таки придумаешься» — по поводу того, что Гумилев был расстрелян 25 августа 1921 года, а ее третий муж, Н. Н. Пунин, арестован 26 августа 1949 года.

В этом августовском некрополе первым был отец Ахматовой — Андрей Антонович Горенко.

Мы пока еще мало знаем об этом человеке. Существует несколько внешняя характеристика, принадлежащая перу писательницы и общественной деятельницы Ариадны Тырковой-Вильямс:

«Был хороший чиновник и очень неглупый человек. Любил пожить. Ухаживал, и не без успеха, за всеми хорошенькими женщинами, которых встречал. Был большой театрал. Как-то сказал мне:

— Я человек не завистливый, а вот тем, кто может у Дузе ручку поцеловать, страшно завидую...

Анна унаследовала от отца его важную осанку и выразительное лицо. Не было в ней его жизнерадостности. А жадность к жизни отцовская, пожалуй, и была. В нем не было и тени той поэтической сосредоточенности, которой Анна была обвеена. По какому закону наследственности из этой семьи вышла такая умница, такая оригинальная, глубоко талантливая и прелестная женщина?»

Думается, что будущему биографу не следует удовлетворяться этой характеристикой — новейшие разыскания одесского краеведа Р. Шувалова (статья «Отец поэта» в «Вечерней Одессе» от 14 июня 1989 года) рисуют Андрея Антоновича человеком содержательным и разносторонним.

В августе 1915 года он умирал от грудной жабы. Он заговаривался, и Ахматова потом приводила одну из его фраз: «Николай Степанович — воин, а ты — поэзия». Не из этой ли фразы родилось ахматовское стихотворение, написанное осенью 1915 года:

Тот август, как желтое пламя,
Пробившееся сквозь дым,
Тот август поднялся над нами,
Как огненный серафим.

И в город печали и гнева
Из тихой Корельской земли
Мы двое — воин и дева —
Студеным утром вошли...

Августовский мартиролог неизбежно отсылал к роковому августу четырнадцатого, ставшему всеобщей траурной датой для целого поколения. Но и август сорок первого трагически сплетал совпадения.

31 августа 1941 года, как рассказывает Зоя Томашевская в своих воспоминаниях («Октябрь», 1989, № 6), ее отец и Ахматова, укрываясь от бомбежки, оказались в каком-то подвале, который при последующем рассмотрении был опознан как знаменитая «Бродячая собака». Несколько месяцев спустя в Ташкенте Ахматова узнала от сына Цветаевой, что его мать покончила с собой в последний день августа в Елабуге.

На смерть Цветаевой Ахматова стихотворение не написала, — вернее, не дописала. Одна строфа вчерне была набросана:

Ты любила меня и жалела,
Ты меня, как никто поняла,
Так зачем же твой голос и тело
Смерть до срока у нас отняла.

Здесь, как это часто бывает в стихотворных некрологах, начинается переключка поминальных цитат — «голос и тело» в гумилевском «Заблудившемся трамвае» Ахматова издавна считала отсылкой к ее стихотворению «Умирая томлюсь о бессмертии...». Но в такую же переключку в ахматовском тексте вступили и даты смертей Цветаевой и Гумилева.

Вступление к «Поэме без героя» (сопровождавшееся в раннем варианте пометой «Воздушная тревога»), родившееся из спуска в убежище 31 августа, когда убежище оказалось вместилищем прошлого —

Как будто перекрестилась
И под темные своды схожу,—

это «Вступление» получило потом у Ахматовой дату — 25 августа.

И то же многоголосие мемориальных отсылок встречаем мы в том тексте, на который Ахматова указала в записи 1965 года, указала понятной только ей самой цитатой: «Столько праздников и смертей». Речь идет о еще не публиковавшемся стихотворном наброске:

Август

Он и праведный и лукавый
И всех месяцев он страшней:
В каждом августе, Боже правый,
Столько праздников и смертей.

Разрешенье вина и елея...
Спас, Успение... Звездный свод!..
Вниз уводит, как та аллея,
Где осколок зари алеет,

В беспредельный туман и лед,
Вверх, как лестница, он ведет.

Притворялся лесом волшебным,
Но своих он лишился чар,
Был надежды «напитком целебным»
В тишине заполярных нар...

А теперь! Ты, новое горе,
Душишь грудь мою, как удав...
И грохочет Черное море,
Изголовье мое разыскав.

26 августа 1957. Комарово.

Набросок сохранился в собрании покойного ленинградского коллекционера М. С. Лесмана в числе целого ряда ахматовских черновиков — обзор этих материалов читатель найдет в издающемся сейчас сборнике «Книги и рукописи в собрании М. С. Лесмана» (издательство «Книга»).

Не отредактированное и не введенное автором в корпус своих сочинений стихотворение находится как бы на пересечении нескольких замыслов Ахматовой. Так, упоминание о «той аллее» сближает его с «Приморским сонетом». С другим ахматовским замыслом оно связано многозначными реминисценциями. Его заключение (вариант последнего стиха — «Даже здесь меня разыскав») адресуется к финалу мандельштамовского стихотворения о бессоннице 1915 года:

И море черное, витийствуя, шумит
И с тяжким грохотом подходит к изголовью.

В июле 1957 года Ахматова начала записывать воспоминания о Мандельштаме, и тогда в памяти ее всплыли собственные стихи, которые она некогда читала Мандельштаму, — «Немного географии» со строкой «В трупный запах прогнивших нар». В публикуемом наброске первый, зачеркнутый вариант 14-го стиха — «В смертном сумраке смрадных нар».

Комаровский набросок возвращается к лету 1921 года, к стихотворению, написанному незадолго до ареста и расстрела Гумилева:

Днем дыханьями веет вишневыми
Небывалый под городом лес,
Ночью блещет созвездьями новыми
Глубь прозрачных июльских небес.

«Чудесное», «неизвестное» и «желанное», о котором говорилось в этом знаменитом стихотворении, «лишилось чар» после страшного августа двадцать первого года, отдаленным рефлексом которого был ждановский август сорок шестого.

Ахматовский «Август» 1957 года стал как бы последней створкой стихового тетраптиха, написанного четырьмя поэтами. Идея поэтического квартета, как мы знаем из ахматовского стихотворения «Нас четверо», была ей не чужда. И ее «Август» включался в тот ряд, который составлялся из мандельштамовского этюда о «месяце цезарей» («С веселым ржанием пасутся табуны...», 1915), цветаевского «Август — астры, август — звезды...» (1917) и упомянутого в ее записи 1965 года «Августа» пастернаковского.

И на этот «пир поэтов» автор приводит тень того, чья смерть вызвала это стихотворение: 24 августа 1957 года в Гурзуфе оборвалась жизнь Бориса Викторовича Томашевского.

Ахматовский цикл «Венок мертвым», конечно, завершён авторской волей и расширению не подлежит. Но у этого цикла есть стихотворения-спутники, и теперь в ахматовском стиховом синодике вместе с именами И. Анненского, М. Булгакова, Пильняка, Мандельштама, Цветаевой, Пастернака, Зощенко, А. М. Розен, Пунина, Гумилева мы можем числить и Томашевского, о дружбе Ахматовой с которым рассказано в прекрасных мемуарах Зои Томашевской.

Г. БЕЛАЯ

Третья жизнь Исаака Бабеля

Почему приходится говорить о третьей жизни репрессированных, полузабытых, почти неизвестных многим людям писателей 20-х — 30-х годов? Ведь кажется, что и второй-то у них не было, лишь новые публикации, переиздания, воспоминания друзей вот-вот дадут ей начало.

Но это не так.

Расстрелянные, задвинутые в тень, они на самом деле, как это видно сегодня, имели свою литературную репутацию. Их книги стараниями критиков упрощались, их представления о мире были сознательно искажены. Приведись им воскреснуть и прочесть о себе то, что было написано после их смерти, они вряд ли узнали бы себя в нарочито фальсифицированных портретах. Это длилось годами. Вторая жизнь была хуже первой, потому что она была состряпана, выстроена чужими, фальшивыми руками.

Такая судьба постигла и Бабеля.

Его литературный взлет был стремительным и предвещал неуклонное восхождение. Слава пришла к нему в 1923 году, когда его рассказы были опубликованы в самых известных журналах: «Леф» и «Красная новь». Лучшие из критиков предсказывали, что теперь новая проза «пройдет под знаком Бабеля». «Самое существование «Конармии» является одним из факторов, определяющих развитие литературного искусства», — писал Вяч. Полонский. «Бабель не был похож ни на кого из современников, — замечал А. Лежнев. — Но прошел недолгий срок — и современники начинают понемногу походить на Бабеля. Его влияние на литературу становится все более явным».

К сожалению, это длилось недолго. Литература развивалась иначе.

И Бабель — тоже.

Его уникальный художественный мир и при жизни не был разгадан. В его социальном зрении современники не заметили дара предвидения — предвидения надвигающихся трагедий. Его напряженная борьба с самим собой была истолкована превратно.

В 1939 году Бабель был репрессирован и расстрелян. Теперь наступило время фальсификаций. Восторжествовали те, кто в «Конармии» видел «поэзию бандитизма». После реабилитации писателя эта ситуация почти не изменилась. Редкие попытки критики прорваться к правде или хотя бы полуправде¹ наталкивались на открытое сопротивление официального большинства. Полуправда была не лучше заведомой лжи. Вторая литературная жизнь — не лучше первой. Последние двадцать лет И. Бабель вообще не переиздавался — без его книг выросло несколько поколений читателей.

Но ситуация начинает меняться. В этом году опубликован чудом сохранившийся дневник Бабеля 1920 года — он вел его во время похода Первой Конной². В мае в Одессе прошли первые «Бабелевские чтения». В нынешнем же году вышли в свет дополненные и дописанные «Воспоминания о Бабеле»³. В издательстве «Художественная литература» готовится к выходу двухтомное собрание его сочинений.

С чем же мы встречаем нового Бабеля? Как сложится его третья жизнь? Сколько лет уйдет на опровержение его прежних литературных репутаций, каждая из которых равно далека от истины? И не пора ли не мешкая хотя бы подойти к этой работе?

Не без робости берусь за нее и я. Не без робости, но без претензий. На первых порах хочу снять слой заведомой лжи.

Один из первых восхищенных читателей И. Бабеля критик А. Воронский предположил, что к 1923 году Бабель «не на глазах читателя, а где-то в сто-

¹ И. Эренбург, И. Э. Бабель. Предисловие к кн.: И. Бабель. Избранное. Кемерово, 1966. Л. Поляк. Предисловие к кн.: Бабель. Избранное. М., 1966.

² «Ненавижу войну». Из дневника 1920 года Исаака Бабеля. Публикация А. Н. Пирожковой. «Дружба народов», 1989, №№ 4, 5.
³ Воспоминания о Бабеле. Составители А. Н. Пирожкова, Н. Н. Юргенева. М., Книжная палата, 1989.

роне от него уже прошел большой художественный путь учебы», почему и покоряет читателя не только «нутром» и необычностью жизненного материала, но и «культурностью, умом и зрелой твердостью таланта...».

Он был прав.

Но стремление читать Бабеля буквально и непонимание налета мистификации, который лежал на его рассказах, работали на другой образ. И вот уже Вяч. Полонский, один из самых талантливых критиков 20-х годов, пишет: «В «Конармии» звучит музыка прошлого, романтика, питающаяся томительными мечтами о невозвратном, но еще громче звучит в ней музыка будущего: романтика борьбы и победы. Это — два берега, между которыми путь Бабеля. Великая роль армии Буденного в литературной (и житейской) истории Бабеля заключалась в том, что «Конармия» была мостом, по которому он перешел к нам «с того берега».

Из этой статьи было ясно, что «житейская история» Бабеля была рассказана им самим в новеллах «История моей голубятни» и «Первая любовь». Вяч. Полонский оказался одним из первых, кто тонкую стилизацию Бабеля под автобиографизм принял за буквальную правду, поверил, что будущий писатель родился и жил в подвале, на себе пережил еврейский погром и, не будь революции, навсегда остался бы «в крошечном мирке» одесского быта, где его задушили бы «шелковые ремни дымчатых глаз», как это было с Гедали. Как художник он «зачах бы без того света, ветра и солнца, которые глотал он в годы гражданской войны».

Но на деле все было по-иному.

Исаак Эммануилович Бабель родился в 1894 году в Одессе на Молдаванке, в состоятельной и образованной еврейской семье. Одесса была тогда отнюдь не провинциальным городом: как морской порт она вобрала в себя людей разных языков и национальностей. В городе было 30 типографий, которые выпускали около 600 оригинальных сочинений в год: 79 процентов составляли русские книги. 21 процент — книги на других языках, пять процентов из них — на еврейском.

Как вспоминал позднее Бабель, дома его с утра до ночи заставляли заниматься множеством наук, и до шестнадцати лет он «по настоянию отца» изучал еврейский язык, Библию, Талмуд.

По словам школьного товарища Бабеля М. Н. Беркова, в 13—14 лет будущий писатель прочел все 11 томов «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина, его часто можно было видеть с книгами Расина, Корнеля, Мольера, а на уроках, когда это «было возможно, он писал что-то по-французски, выполняя задания своего домашнего учителя...». Увлечение было настолько сильным, что он и сам начал сочинять рассказы на французском языке. «Я писал их два года, — вспоминал он, — но потом бросил: пейзажи и всякие автор-

ские размышления выходили у меня бесцветно, только диалог удавался мне».

Действительно, не с этих рассказов начался Бабель-писатель. Но и не с «Конармии»: его первый рассказ «Старый Шлойме» был напечатан еще в сентябре 1913 года в Киеве. Он не был замечен. Однако Бабель продолжал писать. В 1915 году, прервав учебу в Киевском коммерческом институте, он бросил все ради литературы и оказался в Петербурге. Не имея прав на жительство за чертой оседлости, он, автор уже нескольких рассказов, оставшихся незамеченными, безуспешно разносил свои сочинения по всем редакциям, пока в 1916 году не попал к М. Горькому.

Вскоре в журнале «Летопись», основанном М. Горьким, были опубликованы рассказы Бабеля «Элья Исаакович и Маргарита Прокофьевна» и «Мама, Римма и Алла». Они до сего дня малоизвестны, а жаль: в них видны начала Бабеля.

Официальные лица увидели в этих рассказах порнографию и «попытку испровергнуть существующий строй». В 1917 году они собирались отдать Бабеля под суд. Рассказы казались криминальными — по теме, героям, ситуациям.

На самом деле в сочувствии проститутки Маргариты Прокофьевны к преследуемому полицией старику-еврею, укравшему у нее на ночь («Элья Исаакович и Маргарита Прокофьевна»), так же как в любовном томлении Риммы и Аллы («Мама, Римма и Алла»), готовых любой ценой выйти на «свободу», не было ничего криминального. Власти, видимо, шокировало другое — намеренное уничтожение границ между «высоким» и «низким». Бабеля уже тогда тянуло заглянуть за край, — он не видел в этом ничего предосудительного. Поэтому так естественна была для героя его раннего рассказа «В щелочку» просьба, обращенная к содержательнице «меблирашек» с двумя «девушками»: за пять рублей он выпросил право подглядывать «в щелочку» за их интимной жизнью. Автора, как и его героя, занимала возможность разглядеть скрытую, тайную сторону человеческой жизни.

Много позже, в 30-е годы, Бабель сказал Л. Утесову слова, жесткие и точные, как формула: «Человек должен знать все. Это невкусно, но любопытно».

Это поистине роковое для него чувство, как мы увидим, многое определило в отношениях Бабеля с реальностью.

Не случайно было и увлечение Бабеля французским языком — он предпочел его английскому и немецкому, которые тоже изучались им в школе: уже тогда подсознательно Бабель искал для своего эстетического чувства опору в традиции. Это становится ясно, когда читаешь написанный им в 1917 году (и тоже с тех пор не переизданный) рассказ *Doifou* («Дуду»): в самом начертании имени героини — по-французски, в ее характере, родственном мопассановской Пышке,

в фабуле рассказа Бабель открыто обозначил свою связь с французской культурой. Тогда же, в 1917 году, Бабель в эссе «Одесса», славя свой город, написал, что русской литературе необходим «наш национальный Мопассан», который будет понимать, какая красота есть в солнце, и в «сожженной зноем дороге», и в «толстом и лукавом парне», и в «здоровой крестьянской топорной девке». Ему казалось, что должны потянуться к югу, морю, солнцу и русские люди, и русские писатели. «Плодородящее яркое солнце у Гоголя» — этого потом не было почти ни у кого, считал Бабель. Даже у Горького, писал он, «в любви... к солнцу — есть что-то от головы...».

Но ссылка на Мопассана имела и иной смысл: свобода в изображении человека — вот чем питала Бабеля французская культурная традиция. В ней издавна господствовал, как писал Флобер, взгляд «на бедную человеческую природу с добродушной и пронизательной полуусмешкой». «Бессмертные и добрые гении» французской культуры, продолжал он, будь то Рабле, Мольер или Лафонтен, «откровенные, свободные, неприужденные, истинно люди в полном смысле слова», которым «дела нет до философов, сект, религий, — они принадлежат к религии человека, а уж человека-то они знают. Они вертели его так и этак, анализировали, анатомировали...» (Разрядка моя. — Г. Б.).

«Религия человека» — ее исповедовал и Бабель. Жизнь, смерть, любовь — о них он хотел знать все. Его завораживала страсть. В октябре 1917 года он увидел ее в революции. В ней он ценил прежде всего энергию, силу. Эта сила заражала.

Не в 1920 году, не во время конармейского похода, но уже в декабре 1917 года Бабель ушел в революцию: он начал работать в Чека, — факт, которому долго удивлялись люди его круга. В марте 1918 года он стал корреспондентом петербургской газеты «Новая жизнь», где печатал свои «Несвоевременные мысли» М. Горький. Последняя корреспонденция Бабеля в «Новой жизни» помечена 2 июля 1918 года, а 6 июля того же года газета была закрыта в числе других оппозиционных изданий.

С тех пор эти очерки не перепечатывались никогда: они противоречили лакировке революции, утверждавшимся канонам ее изображения. Даже в наше время доброжелательные к Бабелю критики договаривались до заведомой неправды: «Идейный тупик, — писал об этих днях жизни писателя Л. Лившиц в 1964 году, — стал для Бабеля и тупиком художественным. После закрытия «Новой жизни» Бабель не пишет о революции (хотя служит ей искренне и самоотверженно), ибо не в силах понять ее». Между строк читалось, что сотрудничество в «Новой жизни» пошатнуло позиции молодого прозаика.

На самом же деле без «новожизнен-

ских» публикаций не было бы зрелого Бабеля. Одним из первых он увидел в революции разлом жизни, разлом историй.

Он писал о напрасно пролитой крови, когда жестоко бьют арестованного мальчишку («Вечер»), о расстрелах, которые стали нормой жизни («Битые»), о разрухе, нарастающей лени и распаде прежних форм русской жизни («О лошадях», «Первая помощь»). «Был завод, а в заводе — неправда, — писал он. — Однако в неправедные времена дымилась трубы, бесшумно ходили маховики, сверкала сталь, корпуса сотрясались гудящей дрожью работы.

Пришла правда. Устроили ее плохо. Сталь потеряли. Людей стали рассчитывать. В вялом недоумении машины тащили их на вокзалы и с вокзалов.

Покорные непреложному закону рабочие люди бродят теперь по земле неведомо зачем, словно пыль, никем не ценящая». («Эвакуированные»).

Бабель осознал все это как разлом бытия и останавливался в недоумении перед вопросом: «Останется ли вообще что-нибудь?»

...Много позже, размышляя о Толстом, Бабель писал: «Перечитывая «Хаджи-Мурата», я думал: вот где надо учиться. Там ток шел от земли, прямо через руки, прямо к бумаге, без всякого средостения, совершенно беспощадно срывая всякие покровы чувством правды...»

Это испытующее чувство правды и вывело Бабеля на дороги войны. В июне 1920 года он добровольно ушел на фронт, в Первую Конную армию.

Бабель приехал на фронт как корреспондент газеты «Красный кавалерист» — Кирилл Васильевич Лютюв, русский. Двигаясь с частями, он должен был писать агитационные статьи, вести дневник военных действий. На ходу, в лесу, в отбитом у неприятеля городе Бабель вел и свой личный дневник. Где-то с обзорм двигались рукописи — многие из них, как и предчувствовал Бабель, пропали. Сохранилась лишь одна тетрадка — уникальный документ, оставленный им у знакомой М. Я. Овруцкой. Неизвестны причины, по которым Бабель «забыл» ее в Киеве, наезжая временами в город. Но дневник пережил репрессии 30-х годов, войну, Бабий Яр... Сегодня он объясняет многое и в революции, и в творчестве Бабеля.

Читая этот дневник, нельзя не заметить, что Бабель ошеломлен: новые впечатления пришли в резкое противоречие с его жизненным и культурным опытом.

Исконно иррегулярное войско, казачество, проходило службу со своим снаряжением, своими конями и холодным оружием. Во время конармейского похода, оторванные от тылов, казаки вынуждены были кормиться сами и сами же обеспечивать себя лошадьми за счет местного населения, что нередко приводило к кровавым инцидентам. К тому же казаки шли по местам, где воевали в первую ми-

ровую войну. Их раздражали чужой язык, чужой быт, чужая культура, попытки евреев, поляков, украинцев сохранить стабильный уклад жизни. Привычка к смерти за долгое время войны притупила в них страх смерти, чувство жизни. И казачки давали выход своей давней усталости, своему анархизму, своему гонору, хладнокровному отношению к своей и тем более к чужой смерти, пренебрежению к личному достоинству другого человека. Насилие встало в обиденный ряд.

Бабель записывал:

«Совещание с комбригами. Фольварк. Тенистая лужайка. Разрушение полное. Даже вещей не осталось. Овес растаскиваем к основаниям. Фруктовый сад, пасека, разрушение пчельника, страшно, пчелы жужжат в отчаянии, взрывают порохом, обматываются шинелями и идут в наступление на улей, вакханалия, тащут рамки на саблях, мед стекает на землю, пчелы жалят, их выкуривают смолистыми тряпками, зажженными тряпками (...). В пасеке — хаос и полное разрушение, дымятся развалины.

Я пишу в саду, лужайка, цветы, больше за все это» (31.8.20)*.

Чувствуя, что на глубине людской психологии жил смутный инстинктивный порыв к свободе и воле, Бабель в то же время остро ощущал незрелость, отсутствие культуры, грубость солдатской массы, и ему трудно было представить себе, как будут прорастать в этом сознании идеи революции.

«Жалкие деревни. Неотстроенные хижины. Полуголое население. Мы разоряем радикально...» (2.9.20). «Клевань, его дороги, улица, крестьяне и коммунизм далеко друг от друга» (11.7.20); «...Так выглядит сначала свобода» (12.7.20)*.

Бабель реагировал на все это обостренно: «Мысль о доме все настойчивее. Впереди нет исхода» (6.9.20).

Пребывание в Первой Конной в качестве русского ставило Бабея в особую позицию. «Еврей среди казаков», он был, казалось, обречен на одиночество. Интеллигент, сердце которого содрогалось при виде жестокости и разрушения культуры, он мог быть обречен на одиночество вдвойне.

Но, судя по дневнику, в душе Бабея роился клубок более сложных мыслей и чувств. Тоска выростала из неприятия насилия и разрушения. Рядом с дружескими заметками о людях, которые его окружают, он записывает с болью: «Я — чужой».

«Почему у меня непроходящая тоска? — спрашивал Бабель. — Потому что далек от дома, потому что разрушаем, идем как вихрь, как лава, всеми ненавидимые, разлетается жизнь, я на большой непрекращающейся панихиде» (6.8.20)

Так в его отношениях с революцией, говоря словами А. Блока, возникла трагическая «нераздельность и неслия-

ность». Не только «нераздельность» — тогда все было бы просто; и нежестокость: «неслиянность» — это тоже не соответствовало истинным чувствам Бабея. А именно вместе: «нераздельность и неслиянность».

Трагедия «нераздельности и неслиянности» наложила сильнейшую печать на художественный мир Бабея. Это ее сложность породила непонимание Бабея — и при его жизни, и после его смерти.

Попробуем же ее понять.

Приступая к работе над «Конармией», Бабель хотел не столько описать, сколько осмыслить то, что он видел, осмыслить художественно. Иначе оно могло приобрести форму очерков, обычных газетных очерков, подобных тем, какие печатал К. В. Лютов в газете «Красный кавалерист». В них был призыв к защите революции, расправе с «жалкими остатками черносотенных денкинских банд» — и только. Однозначность их пафоса была явно уже тех чувств, которые обуревали Бабея: как художник он стремился к более глубокому изображению революции. Как было сказано, отдельные рассказы из цикла «Конармия» начали публиковаться в 1923 году. Но создавались они уже в 1920-м. Разные по материалу, они открывали мир новый и неожиданный. Едва овладевшие грамотой, вчерашние красноармейцы терялись в догадках, потому что «знакомые незнакомцы» «Конармии» были явно из их времени и в то же время разительно с ними не совпадали.

Что, например, представлял собою герой новеллы «Письмо» с его трогательно-уважительным обращением к «любезной маме», расслабляющими душу воспоминаниями о доме и леденящим рассказом о том, как сначала «папаша» «порубал» брата Федора Тимофеевича Курдюкова, а потом брат Семен Тимофеевич, вдоволь надругавшись над «папашей». «кончали» его? Что можно было сказать об авторе письма в редакцию («Соль»), который приютил «представительную женщину с дитем», а потом с той же страстью, кипя ненавистью, убил ее из «верного винта»? Кто прав был в споре Гришука и Лютова, не сумевшего выстрелом добить обреченного на смерть и поругание Долгушова? Чего хотел Гедали, мечтавший о «сладкой революции»?

Конармейцы походили на блоковскую «гольтьбу», что «без имени святого», «ко всему готова» («ничего не жаль») — шла «в даль», но они же были и явно героизированы. Отчасти они еще напоминали героев «Партизанских повестей» Вс. Иванова с их наивно-простодушным и наивно-жестоким взглядом на мир, но было неясно, радуют они или пугают автора...

Все не имело однозначных ответов, все не укладывалось в стереотипы гражданской войны, уже сложившиеся к тому времени.

* Помеченное звездочкой публикуется впервые. Цитируется по рукописи. — Г. Б.

Может быть, поэтому даже самые благожелательные критики защищали Бабеля каким-то странным образом: «Не о Конармии, а о себе написал эту замечательную книгу человек, прошедший увлекательный и жестокий путь боевой страды», — писал Вяч. Полонский. Бабель, считал Воронский, сознательно ограничил себя в отборе материала, и все это для того, чтобы с помощью отдельных случаев, событий, образов «выразить свое художественное мироощущение». Потом их поддержал Д. Горбов. «...Нельзя не признать, — писал он, — что новеллы Бабеля о Конармии явились не столько реалистическим отображением ее быта, сколько проявлением утонченного литературного мастерства Бабеля и раскрытием его собственного художественного мирозерцания на материале, очерпнутом из этого быта».

При чтении этих похвальных и в деталях блестящих статей возникало, однако, недоумение: выходило, что Бабель как бы жертвовал исторической достоверностью реальности во имя литературного изыска. Такое мнение бытует и поныне. С ним трудно согласиться.

В характеристиках А. Воронского, Вяч. Полонского, Д. Горбова, так же, как в редких работах 60-х годов, сегодня ясно различимо желание авторов хоть как-то, но защитить Бабеля от тех, кто видел в «Конармии» «поэзию бандитизма». Особенно ясно это проступает у М. Горького, возражавшего Буденному: он увидел в конармейцах характеры, близкие гоголевским запорожцам, и писал, что конармейцы даже лучше, даже красивее, чем гоголевские герои.

Это двойное непонимание Бабеля — и тех, кто по малой грамотности не мог его адекватно прочесть, и тех, кто способен был его понять, но писал не о главном, а по касательной, смещая объект изображения с реальности на мироощущение самого Бабеля, — не случайно. Прочитанные по бытовому коду, конармейские новеллы действительно способны ввести в заблуждение, ибо созданы по законам фантастического реализма. Что же касается тех, кто это понимал, но считал, что картина реальности в «Конармии» деформирована, то тут, вероятно, имели место разночтения в понимании самой реальности. «Благо революции превыше всего, и иных постулатов у меня нет», — говорил о себе А. К. Воронский. «На моем щите вырезан девиз: «Подлинность!» — говорил о себе Бабель. — Поэтому я так медленно и мало пишу...» Это был совсем другой принцип жизни, принцип творчества, другой угол зрения.

Сравнение дневниковых записей Бабеля и рассказов, которые из них выросли, показывает, как воплощалось чувство «нераздельности и неслиянности» Бабеля с изображаемой реальностью.

В дневнике мы читаем: «Ужасное событие — разграбление костела, рвут ризы, драгоценные сияющие материи ра-

зодраны, на полу, сестра милосердия утащила три тюка, рвут подкладку, свечи забраны, ящики выломаны, буллы выкинуты, деньги забраны, великолепный храм — 200 лет, что он видел (...), сколько графов и хлопов, великолепная итальянская живопись, розовые патеры, качающие младенца Христа, великолепный темный Христос, Рембрандт, Мадонна под Мурильо, а может быть, Мурильо, и главное — эти святые упитанные незуиты, фигурка китайская жуткая за покрывалом, в малиновом кунтуше, бородатый еврейчик, лавочка, сломанная рука, фигура святого Валента...» (7.8.1920).

Все это вошло в рассказ «Пан Аполек», по праву считающийся автоманифестом Бабеля. Но подобия, повторения нет.

...Пан Аполек украсил местный костел и убогие сельские жилища иконами, где в лике святых изобразил окрестных крестьян. Он придал их лицам горделивость и величие. Наивный экспрессионист, он своей страстной кистью разрушил иерархию святости.

«...Я дал тогда обет следовать примеру пана Аполека», — говорит рассказчик. Он клятвенно произносит: «И сладость мечтательной злобы, горькое презрение к псам и свиньям человечества, огонь молчаливого и упоительного мщения — я принес их в жертву новому обету».

«Величественный... пример пана Аполека, — считали вслед за А. Воронским многие критики, — состоял в том, что он, будучи художником-иконописцем, отвернулся от традиционной церковности и начал писать «святоотатственные» иконы по польским деревням и местечкам, где натурщиками и натурщицами были окрестные крестьяне, бедняки, голь, проститутки. Их он награждал семейными иконами; в Иисусах и Мариях они узнавали себя и поклонялись естеству своему...»

Обет следовать примеру Аполека Бабель выполняет пока в точности...».

Если верить Воронскому, то Бабель обожествлял любого человека. Но писатель не был народопоклонником «вообще», о чем свидетельствует разнообразный, далекий от святости ряд его героев-конармейцев. Если верить Воронскому, то окажется, что, преклонившись перед мудростью пана Аполека, Бабель убил в себе всякую оценку, кроме восхищения; что он решил кистью художника освятить то, что у обычного человека вызвало бы чувство «горького презрения к псам и свиньям человечества»; что он навеки зарекся от стремления к возмездию.

Но заметим: в новелле слово имеет «противослово» (М. Бахтин). Это рассказчик говорит: «Прелестная и мудрая жизнь пана Аполека ударила мне в голову, как старое вино», но не автор. «Выдумка» пана Аполека названа «мрачной»; ксендз из расписанного Аполеком костела бежал, бросив своих прихожан; за дверями костела бошует «казацкий раз-

лив», сеющий смерть и разрушение; за окном ночь стоит, «как черная колонна»; «запах лилий чист и крепок, как спирт», но он же сравнивается автором со «свежим ядом», который «вливается в жирное бурливое дыхание плиты и мертвит смолистую духоту ели, разбросанной по кухне». И когда рассказчик идет «ночевать к себе домой» — он идет к оборванным казаками евреям, «отогревая в себе неисполнимые мечты и нестройные песни».

Нет, отношение Бабеля к реальности было много сложнее, чем у пана Аполека. Оно не было равно ни голосу героя, даже если это «прелестный и мудрый», как его вино, пан Аполек, ни вздоху, вырвавшемуся откуда-то из глубин духа автора, ни прорывающемуся откуда-то лирическому отступлению.

Слово и противослово, столкновение смыслов, отражающее стереоскопичность его художественного зрения, — вот закон прозы Бабеля. Так построены все его новеллы.

«Конармия» открывается победным рассказом «Переход через Збруч» («Надив шесть донес о том, что Новоград-Вольнск взят сегодня на рассвете...»). Но с первых же фраз на радость победы ложатся какие-то странные блики. «Поля пурпурного мака, — возвышенно начинает автор, — цветут вокруг нас, полуденный ветер играет в желтеющей ржи, девственная гречиха встает на горизонте, как стена дальнего монастыря». Кажется, природа полна радости, она обращена к человеку.

В следующей фразе сильнее звучат новые ноты — мотив отчуждающейся «от нас», отдаляющейся, уходящей, обессиленной природы: «Тихая Вольнь изгибается, Вольнь уходит от нас в жемчужный туман березовых рощ...», а следом — еще сильнее и определенной — «она вползает в цветистые пригорки и ослабевшими руками путается в зарослях хмеля» (разрядка моя. — Г. Б.).

Еще ослепительно светит раскаленное солнце, но уже кажется, что это «оранжевое солнце катится по небу, как отрубленная голова», и «нежный свет», который «загорается в ущельях туч», уже не может снять тревожного беспокойства, потому что не просто закат, а «штандарты заката веют над нашими головами...». Картина победы на глазах приобретает непривычную жесткость. И когда вслед за «штандартами заката» автор напишет короткую фразу: «Запах вчерашней крови и убитых лошадей каплет в вечернюю прохладу», — этой метафорой он если не опрокинет, то, во всяком случае, сильно осложнит свой первоначальный торжествующий запев. Все это подготавливает финал, где в горячем сне рассказчику видятся схватки и пули, а наяву спящий сосед-еврей оказывается мертвым, зверски зарезанным поляками стариком.

Так же сложна отражающая драматизм

авторского мировосприятия художественная ткань и других новелл «Конармии».

...Когда «надив шесть» Савицкий узнает, что Лютов — «грамотный», «кандидат прав Петербургского университета», когда он кричит ему: «Ты из киндербалзамов... и очки на носу», когда, смеясь, восклицает: «Шлют вас, не спросясь, а тут режут за очки», — он ведет себя так, как только и может вести себя человек, за которым стоит веками копившаяся классовая ненависть («Мой первый гусь»). Но когда победа была, казалось, одержана, когда казаки говорят: «Парень нам подходящий» и Лютов, торжествуя, читает ленинскую речь, его победа ощущается все-таки как странная, как относительная победа. «...Мы спали шестеро там, согреваясь друг от друга, — заканчивает Бабель рассказ, — с перепутанными ногами, под дырявой крышей, пропуская звезду. Я видел сны и женщин во сне, и только сердце мое, обогрешенное убийством, скрипело и текло».

Перед нами — нерасторжимое единство патетики и скорби, лирики и иронии, любви и ненависти. Такое «взаимодействие комического с трагическим, возвышенного с обыденным», пишет Л. Гинзбург, присуще особому сознанию — романтической иронии: «Это сознание не отрицает высших ценностей, но подвергает мучительному сомнению самую возможность их реализации».

В рассказе «Смерть Долгушова» рассказчик сам себе кажется гуманным человеком — не может он добить умирающего. «Афоня, — сказал я с жалкой улыбкой и подъехал к казаку, — а я вот не смог», и эта «жалкая улыбка» в сцене, где вот-вот «наскочит шляхта — на смешку сделает», выглядит как слабодушие. И кажется, ответная реплика только это фиксирует. «Уйди, — ответил он, бледнея, — убью! Жалеете вы, очкастые, нашего брата, как кошка мышку...»

И взвел курок».

...Но через несколько минут другой конармеец протянул Лютову сморщенное яблоко. «Кушай, — сказал он мне, — кушай, пожалуйста...»

В первых вариантах «Конармии» рассказ имел продолжение: «И я принял милостыню от Гришука и съел его яблоко с грустью и благоговением». Бабель снял его, снял потому, что спрашивал: кто прав? кто виновен? кто выше? кто слаб? кто велик?

Он оставлял эти вопросы открытыми — на суд истории. Это время пришло.

«Нераздельность и неслиянность» с революцией — это было трагическое чувство. Но важнее другое — это была трагическая реальность. Ответ трагедии лежал и на героях, и на рассказчике Лютове.

Обогащенный опытом реальной жизни, действительно увидев в революции не только силу, но и «слезы и кровь», Бабель «вертел» человека так и этак, анализировал, анатомировал... Он отвечал на вопрос, который в дни польского по-

хода записал в своем дневнике: «Что такое наш казак?» Давая, казалось, те же, что и раньше, ответы, находя в казаке и «барахольство», и «удальство», и «профессионализм», и «революционность», и «зверину жестокость», он в «Конармии» все перепахал в одном тигле, и «казаки» предстали как исторические типы сознания, как художественные характеры с нерасторжимостью их внутренне сцепленных свойств.

Герой для Бабеля — суверенная и самодостаточная личность. Писателя интересует его самосознание, поэтому духовный облик героев, непостижимые извне импульсы поведения, исконно сложившиеся нравы, огрубленные социальной ситуацией, — все это воспроизведено с помощью собственных «голосов» героев. Так, в сказовой стилистике были написаны новеллы «Соль», «Измена», «Жизнеописание Павличенки, Матвея Родионовича», «Письмо» и др. Это внимание к внутренней логике характера конармейца, исключая грубо тенденциозное вторжение автора в мир героя, является убедительным опровержением упрека Бабелю в субъективизме.

Отметим и то, что характеры его героев были парадоксальны, границы между их душевными состояниями неуловимы, поступки неожиданны. Бабелю важно было показать бесконечную разнородность действительности, способность человека одновременно быть возвышенным и обыденным, трагическим и героическим, жестоким и добрым, рождающим и убивающим. Бабель мастерски играет переходами, акцентами, нажимает на разные клавиши, и наша оценка тоже проходит всю шкалу чувств, колеблясь между ужасом и восторгом.

...Дьяков, «бывший цирковой атлет, а ныне начальник конского запаса — краснорожий, седоусый, в черном плаще и с серебряными лампасами вдоль красных шаровар», эффектно подъезжал к крыльцу, где скопились местные жители, «на огненном англо-арабе...» («Начальник конзапаса»). Но, мгновенно перевернув ситуацию, Бабель дальше показывает, что так по-цирковоу красиво Дьяков подъезжает... к жалким крестьянам, у которых конармейцы отбирают «рабочую скотину», отдавая за нее износившихся армейских лошадей.

Крайне просто было бы сказать, что за ярким оперением Дьякова писатель разглядел убогую душу. Но важно другое: как переворачивается ситуация, как меняются местами «высокое» и «низкое», какое значение получают вариации и оттенки во время этой, казалось бы, игры, как внутренне взаимосвязаны элементы этого конкретно-чувственного, зрелищного языка и что обнаруживается на глубине характеров.

Бабель жаловался на отсутствие воображения; но именно оно рождало необычные ситуации, в которые он ставил своих героев, и живописный колорит, ничего общего не имеющий с бытовым ма-

териалом, лежащим в основе его рассказов. Он не шутил, когда смеясь говорил: «Стилем-с берем, стилем-с!» И еще более серьезен он был, когда говорил, что его стиль «держится сцеплением отдельных частей».

Так оно и было.

Перед нами, в сущности, особый художественный язык — образная система карнавального искусства: «жизнь, выведенная из своей обычной колеи, в какой-то мере «жизнь наизнанку», «мир наоборот». Это давно заметили западные исследователи. У нас идея карнавализации после появления работ М. М. Бахтина стала почти дежурным украшением размышлений о творчестве даже далеких от стихии карнавальности писателей. Боясь повторения этой ошибки, мы все-таки не можем уклониться от объяснения того необычного сплава высокого с низким, священного с профанным, великого с ничтожным, который есть в новеллах Бабеля и который органически связан с его отношением к плоти, к «силе земли и тела», как сказал бы М. М. Бахтин, к «бедной человеческой природе», «истинно людям в полном смысле слова», как говорил Флобер. Эта изначальная «религия человека», исповедуемая Бабелем и открывшаяся ему в ранней юности, объясняет многое из того, что неподготовленным читателям казалось откровенным физиологизмом в «Конармии».

Как знать, будь разгадан этот код, может быть, в 20-е годы критика более глубоко прочла бы Бабеля: очерченная кругом своих постулатов, она ведь интуитивно поняла необычность его художественной манеры и по деталям описала ее точно и подробно.

Но главное от нее еще было скрыто. За пафосом революции Бабель разглядел иной ее лик: он понял, что революция — это экстремальная ситуация, обнажающая тайну человека.

Освобождение же людей из-под власти законов обычной официальной жизни, как мы знаем, делает их «эксцентричными, неуместными с точки зрения логики обычной внекарнавальной жизни». Но именно эта эксцентричность позволяет «раскрыться и выразиться — в конкретно-чувственной форме — подспудным сторонам человеческой природы»¹.

То, что стало дозволенным в экстремальной ситуации революции, показывает Бабель, накладывает печать на будущих людей, во многом предопределяя их перевернутую и укладывающуюся в нечто новое психику.

Именно этим предостережением отличался Бабель от писателей, зараженных коленопреклонным народническим отношением к простому человеку. В тот момент он обогнал свое время. Это тоже мешало ему быть понятым.

Бабелю нередко вменяли в вину чрезмерное спокойствие перед духовно и фи-

¹ Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. ХЛ. 1972. с. 208.

зологически некрасивыми явлениями жизни. В то время жестокий реализм еще не был осознан как расширение границ изображаемого мира. Но с его появлением встал вопрос об ответственности автора за этическую оценку изображаемого.

Бабель это понимал.

В новелле «Письмо» история о том, как «кончали» сначала брата Федю, а потом «папашу», на иерархической шкале жизненных ценностей героя занимает то же место, что и просьба «заколоть ярого кабанчика» и прислать его в посылке, или расспросы о «чесотке в передних ногах» оставшегося в домашнем хлеву любимого жеребчика Степы. Но в самом конце рассказа все освещается другим и резким светом. Автор рассказывает о фотографии, где сняты сыновья — убитые «папашей» и «бывшие «папашу»: оба «чудовищно огромные, тупые, широколобые, лупоглазые, застывшие, как на ученье...» И это — оценка.

Бесстрастно, казалось бы, описана сцена убийства старика-еврея казаком Кудрей. «Прямо перед моими глазами несколько казаков рассредивали за шпюнаж старого еврея с серебряной бородой, — читаем мы знаменитые строчки из рассказа «Берестечко». — Старик взвизгивал и вырывался. Тогда Кудря из пулеметной команды взял его голову и спрятал ее у себя под мышкой. Еврей затих и расставил ноги. Кудря правой рукой вытащил кинжал и осторожно зарезал старика, не забрызгавшись. Потом он стукнул в закрытую раму.

— Если кто интересуется, — сказал он, — нехай приборет. Это свободно...»

Но нельзя не заметить: бесстрастие писателя мнимое. Его отношение к убийству вырастает из вековой гуманистической нормы, осуждающей насилие. Отсутствует любви и симпатии к герою выступает как отчужденность автора и тем самым внутри себя содержит оценку.

До сих пор по-настоящему не понят и Лютов — фигура чрезвычайно важная в художественной системе Бабеля.

Критика 20-х годов, да и позже, оставалась в недоумении перед Лютовым: кто он? Действительно, много новелл было написано от его лица. Он носил фамилию, под которой жил, действовал, писал и печатался сам Бабель в газете «Красный кавалерист». Этого человека, Кирилла Васильевича Лютова, хорошо помнили бойцы Первой Конной, с которыми писатель и после похода сохранял самые дружеские отношения. Может быть, он двойник автора, его alter ego?

Многие склонны были так и думать. Обвиняя Лютова в индивидуализме и приверженности к «этическим нормам общечеловеческого гуманизма», презрительно говоря о его «надклассовом» мироощущении и желании сохранить «интеллигентную добропорядочность»¹, они, в сущности, отождествляли автора с его

героем. Это работало на искажение облика Бабеля.

Конечно, многие чувства и интересы Лютова были дороги автору «Конармии». Его одиночество, его отчужденность, его содрогнувшееся при виде жестокости сердце, его стремление слиться с массой, которая грубее, чем он, но и победительнее, его любопытство, его внешний вид — все это биографически напоминает Бабеля 1920 года. Дуэт их голосов — автора и Лютова — организован так, что читатель всегда чувствует призыв непосредственного голоса реального автора. Исповедальная интонация в высказывании от первого лица усиливает иллюзию интимности, а интимность способствует отождествлению рассказчика с автором. И уже непонятно, кто же — Лютов или Бабель — говорит о себе: «Я изнемог и, согбенный под могильной короной, пошел вперед, вымаливая у судьбы простейшее из умений — умение убить человека».

Лютов в «Конармии» потому, вероятно, и носит эту фамилию, что во многом его мировосприятие тождественно мировосприятию Бабеля. Но Бабелю — автору дневников 1920 года.

Бабель сочувствует Лютову, как может сочувствовать человек себе прежнему. Однако к себе прежнему автор «Конармии» уже относится отчужденно-иронически. Это и создает дистанцию между Лютовым и автором, противостоит идее их отождествления.

Дистанция существует не только между Лютовым и автором, но и между Лютовым и конармейцами. Писатель мастерски использовал эту дистанцию. В силу его позиции извне Лютов видит конармейцев иначе, чем они видят себя. Но и они видят его иным, чем он себя.

Их собственная версия о себе корректируется его восприятием их поступков — и наоборот. Благодаря освещению в разных зеркалах — зеркале самовыражения, самопознания, в зеркале другого сознания, — характеры конармейцев и Лютова приобретают объем больший, чем если бы каждый из них находился только наедине со своим «я». И одновременно высвечиваются те их стороны, которые были бы скрыты при одном-единственном источнике света. Становится ясным, что поведение конармейцев имеет разные импульсы. Они лежат в сфере бытовой, физиологической, социально-исторической, в опыте многовековой истории и в ситуации сегодняшнего дня.

Собственно, на анализе отношений Лютов — конармейцы и Лютов — Бабель кончается обычно вопрос об отношениях между героями «Конармии» и автором.

Но в «Конармии», заметил критик Н. Степанов, есть еще одно «действующее лицо»: повествование все время «прерывается лирическими отступлениями, «пейзажами», данными в другом стилистическом плане, или иронией «автора без кавычек», как бы постоянно стоящего за повествованием». Так, в новелле «Кладбище в Козине» все сказан-

¹ Макаров А. Серьезная жизнь. М., 1962, с. 520.

ное звучит как скорбный авторский рекеивем: «О смерть, о корыстолюбец, о жадный вор, отчего ты не пожалел нас, хотя бы однажды?»

С этим «автором без кавычек», который, конечно, не равен реальному, биографическому автору, но наиболее близок ему по духу, связан символический смысл многих новелл.

И еще. Бабель хотел найти и понять временное и вечное в революции, понять связь индивидуального и общего, социального и экзистенциального. Поэтому он искал форму, где сохранялась бы «вся конкретная материальная полнота слова» и в то же время была бы возведена «в высшую степень его смысловая значимость». Он нашел ее в многосложности притчи с ее иносказательным смыслом, скрытым в глубине повествования, с ее философствованием, которое на первый взгляд кажется непритязательным и наивным. Чем были бы без этого не только рассказы «Пан Аполек», но и «Гедали», и «Путь в Броды», и «Мой первый гусь»? Не в посещении же лавки старьевщика, не в разорении пчелиных ульев и не в угодничестве Лютова перед казаками их соль... При внимательном чтении становится ясно, что «Мой первый гусь» — это еще и рассказ о насилии, совести и революции, в «Гедали» за сомнениями старьевщика стоит философия добра и зла в революции, а «Путь в Броды» — анафема, осуждение варварства и скверны разрушения.

В противовес смерти и разрушению Бабель объявлял самой высокой ценностью жизнь. Он не только не иронизировал над мечтой старика Гедали об «Интернационале добрых людей», но сам тосковал по нему. Потому-то и говорил «автор без кавычек»: «Я кружу по Житомиру и ищу робкой звезды», потому-то подчеркивал он ее неверный свет: «Она мигает и гаснет — робкая звезда»; потому-то и описывал лавку старьевщика, как «коробочку любовательного и важного мальчика, из которого выйдет...» — кто? Не герой и не мученик, а «профессор ботаники». И когда Гедали говорил: «...я хочу, чтобы каждую душу взяли на учет и дали бы ей паек по первой категории», — ответ не случайно пахнул дымом и горечью: «Его кушают с порохом...» — говорил рассказчик об Интернационале, — и приправляют лучшей кровью...»

Подобно многим другим Бабель воспринимал революцию как «пересечение миллионной первобытности» и «могучего, мощного потока жизни». Но трагическим фоном через всю «Конармию» проходит невозможность слиться, отождествиться с новой силой. Потому-то горькая фраза рассказчика «Летопись будничных злодеяний теснит меня неутомимо, как порок сердца» и воспринималась читателями как стон, вырвавшийся из души самого писателя.

...Склонный к метафоричности мышления, уверенный в том, что стиль держится «сцеплением отдельных частей», Ба-

бель написал в одном из рассказов: «И мы услышали великое безмолвие рубки». Он сознательно пренебрег привычными представлениями, где «рубка» не могла быть «великой», пренебрег и реальностью, где «рубка» не могла быть «безмолвной». Родившийся художественный образ был его метафорой революции.

Бабель любил повторять изречение: «Сила жаждет, и только печаль утешает сердце». Эта замороженность силой, оказавшаяся потом, в 30-е годы, губительной для его сознания и судьбы, в годы, когда шла работа над «Конармией», выступала как всеохватывающий интерес к раскрепощенным, вольным, первозданным силам жизни. С этим свойством художественного мышления писателя читатель встречался в самых неожиданных вариантах.

Так, в 1922—1923 годах Бабелем были написаны рассказы «Иисусов грех» и «Сказка про бабу». С восхищением писал автор о своих плодородных, пышущих здоровьем героинях, глаза у которых «синие, стгорьковатоу глазой», «грудь толстая, плечи круглые...» («Сказка про бабу»). Напротив, их кавалеры всегда худосочны, маломощны, физически снижены автором — «забавы в них много, а серьезности нет» («Иисусов грех»).

В рассказе «Линия и цвет» (1923) близорукий Керенский не видит и не хочет видеть ни линию «зрелой ноги» молодой девушки, ни «обледенелых и розовых краев водопада», ни «красных стволос сосен», ни «японской резьбы» плакучей ивы... От куражливого возлюбленного бабы Ксени до умозрительного, социально близорукого Керенского рукой подать. И конец у них один: как дурашливого кавалера баба выбросила в подворотню, так на митинге в июне 1917 года «толпа душила» Керенского «овчинами своих страстей...».

В этих притчевых новеллах Бабель показывает не дух и плоть, как может показаться, а естественность и выморочность. То, что идет от жизни, не может быть грубо: оно теплое, веселое, синеглазое. Выморочное же безрадостно, в нем нет доброты: отсутствие страсти оскорбительно для жизни.

Апофеозом раскрепощенных сил жизни стали «Одесские рассказы» (1921—1923).

Бабель всегда романтизировал Одессу. Он видел ее непохожей на другие города, населенной людьми, «предвещающими грядущее»: в одесситах были радость, «задор, легкость и очаровательное — то грустное, то трогательное — чувство жизни». Жизнь могла быть «хорошей, скверной», но в любом случае «необыкновенно... интересной».

Именно такое отношение к жизни Бабель хотел внушить человеку, пережившему революцию и вступившему в мир, полный новых и непредвиденных трудностей. Поэтому в «Одесских рассказах» он

строил образ мира, где человек был распахнут навстречу жизни.

В реальной Одессе Молдаванкой, вспоминал К. Г. Паустовский, «называлась часть города около товарной железнодорожной станции, где жили две тысячи налетчиков и воров». В бабелевской Одессе этот мир перевернут. Окраина города превращена в сцену, театр, где разыгрываются драмы страсти. Все вынесено на улицу: и свадьбы, и семейные ссоры, и смерти, и похороны; все участвуют в действии, смеются, дерутся, едят, готовят, меняются местами, сходятся; столы поставлены «во всю длину двора», и их «так много, что они высовывали свой хвост за ворота на Госпитальную улицу» («Король»). Если это похороны, то такие похороны, каких «Одесса еще не видала, а мир не увидит» («Как это делалось в Одессе»).

В этом мире «государь император» поставлен ниже уличного «короля» Бени Крика, а официальная жизнь, ее нормы, ее сухие, выморочные законы высмеяны, снижены, уничтожены смехом. Язык героев свободен, он насыщен смыслами, лежащими в подтексте, герои с полуслова, полунамека понимают друг друга, стиль замешан на русско-еврейском, одесском жаргоне, который еще до Бабеля был введен в литературу, в частности С. С. Юшкевичем в начале XX века. Но во владении им, как верно заметил А. Лежнев, «Бабель проявил несравненно больше вкуса и меры, чем Юшкевич, у которого жаргон этот обладал этнографической и анекдотической, но не художественной ценностью».

Живая разговорная структура фразы была знаком раскрепощенного сознания героя, проекцией живого и насмешливого иронического ума автора. Вскоре афоризмы Бабеля разошлись на пословицы и поговорки, они оторвались от своего создателя, обрели самостоятельную жизнь, и уже не одно поколение повторяет: «еще не вечер», «холоднокровней, Маня, вы не на работе» или «у вас в душе осень».

Но одесский же материал помогает сегодня понять эволюцию Бабеля.

Еще до выхода «Конармии» отдельной книгой началась работа над сценариями: «Беня Крик», «Блуждающие звезды» (оба — 1925 г.) и др. Умение видеть мир как зрелище, как сцену теперь оказалось дорогой к новому повороту жизни и работы. Но самооценки его строги и бескомпромиссны: «Бездарно, пошло, ужасно». Так в 1926 году о нем не позволял себе писать никто.

В 1926 году Бабель пишет пьесе «Закат». Ему потом казалось что «ороткая театральная жизнь пьесы связана с неудачными постановками, из которых уходила «легкость комедии». Критика хотела бы видеть в «Закате» то, что было в «Одесских рассказах»: «легкую тонировку» быта, коичность разговорного южного юмора. Получился же, писали критики, «трагический надрыз».

Отчего? Почему? Все терялись в догадках.

Истоки недоразумения были заложены в изменившемся времени. Смысл пьесы был обнажен в названии — «Закат». Название это было символическим предощущением наступающих перемен.

Критика постаралась не заметить мрачных прогнозов писателя. Прочитанная буквально, пьеса трактовалась как тема разрушения старых патриархально-семейных связей и отношений — и только. Но в таком виде она мало кого интересовала. И Бабель был серьезно огорчен.

Талант и слава не принесли ему покоя. Как уже говорилось, над первыми же его рассказами скрестили копыя бюстители «казарменного порядка» в литературе; они увидели в «Конармии» клевету на Красную Армию, намеренную дегероизацию истории. Бабель пытался защищаться, объясняя, что создание героической истории Первой Конной не входило в его намерения. Но споры не утихали. В 1928 году «Конармия» вновь была обстрелена с позиций «унтер-офицерского марксизма»: возмущенная отповедью М. Горького, взявшего Бабеля под защиту, «Правда» напечатала открытое письмо С. Буденного М. Горькому, где писатель был вновь обвинен в клевете на Первую Конную. Горький не отрекся от Бабеля. Это не означало, что спор окончен. Напряжение вокруг имени Бабеля сохранялось, хотя дела его шли, казалось, даже лучше, чем раньше: в 1930 году «Конармия» была переиздана, разошлась в рекордно короткий срок (чуть ли не в семь дней), и Госиздат приступил к подготовке очередного переиздания.

Но что-то происходило в самом Бабеле: он замолчал. Кризис настиг его в зените творческой зрелости. Восхищенные статьи В. Шкловского, П. Новицкого, Н. Степанова и др. не радовали. Он писал о них: «Читаю, как будто речь идет о мертвом, настолько далеко то, что я пишу сейчас, от того, что я писал прежде». Имя Бабеля встречалось в печати все реже. Его переписка с издателями (с Вяч. Полонским, например) выдавала его отчаяние. «... От судьбы не уйдешь», — писал он в 1928 году. Он пытался переписать себя: то принимал участие в работе над коллективным романом «Большие пожары» (1927), то публиковал в альманахе «Перевал» (№ 6) свои старые рассказы. Внутренние причины кризиса он связывал не только со своим максимализмом, но и с «ограниченными возможностями выполнения», — как остроумно писал он в частном письме из Парижа в июле 1928 года. «Очень трудно писать на темы, интересующие меня, очень трудно, если хочешь быть честным», — проговаривался он, далекий от жалости к себе. Задолго до наших дней и эмиграции «третьей волны» Бабель примерил на себя судьбу эмигранта. По семейным обстоятельствам он в 1927—1928 годах прожил какое-то время во Франции.

Но смена впечатлений и даже готовность писать на новом материале не снимали душевной тоски. И, вернувшись в Россию, он писал матери 28 октября 1928 года: «Несмотря на все хлопоты — чувствую себя на родной почве хорошо. Здесь бедно, во многом грустно, — но это мой материал, мой язык, мои интересы. И я все больше чувствую, как с каждым днем я возвращаюсь к нормальному моему состоянию, а в Париже что-то во мне было не свое, приклеенное. Гулять за границей я согласен, а работать надо здесь».

К своей судьбе писатель относился с осознанным стоицизмом. Но в литературных кругах уже рождалась легенда о «прославленном молчальнике», хранящем свои рукописи в наглухо запертых сундуках. Писатель ее не опровергал — он и сам время от времени говорил о своей немоте, о стремлении преодолеть «цветистость» стиля, о попытках писать поновому и о мучительности этих усилий. «Так сильна его склонность к сказочному, нереальному!» — восхищался он талантом С. Эйзенштейна, работая с ним над картиной «Бежин луг». «Но нереальность у нас не реальна», — с горечью добавлял он, сам склонный к «нереальному» изображению реальности. Суетливая критика подстегивала писателя, заверяя, что, как только он окончательно отречется от себя «прежнего», перестанет тратить «годы на завоевание армии слов», преодолет свои «детские ошибки» и прильнет к «новой действительности», все пойдет на лад. Бабель старался, хотя не раз сетовал на невозможность «заразиться литературной горячкой».

К Первому съезду писателей молчание Бабеля на фоне общего восторга перед действительностью выглядело странным. Его репутация начала деформироваться. Стало ясно, что он нуждается в защите. Тогда-то и родилось знаменитое изречение И. Эренбурга, что он «лично плодит, как крольчиха», но отстаивает право слоних беременеть раз в несколько лет. Сам же Бабель на съезде говорил о том, что читателям дают «стандарт» вместо «хлеба искусства», что в жизнь вошли и плотно ее заселили «казенные слова», что это «пошлость», «преступление», «контр-революция»...

Менялась эпоха, менялось время. Из жизни уходил, говоря словами А. Блока, «хмель» революции. Бабелю было трудно смириться с этим. Писать становилось все труднее, сохранять веру в «жизнь, распахнутую настежь», становилось все сложнее. Но писатель не менял ни взглядов, ни поступков. Он утешал себя в письме к своему другу А. Г. Слоним: «...Мне кажется, что медленная моя работа подчинена законам искусства, а не халтуры, не тщеславия, не жадности». В 1929 году вместо поездки в Кисловодск по личным делам Бабель едет в Липецк к сосланному туда по обвинению в троцкизме А. К. Воронскому. Это был граж-

данский поступок. Это был выбор. Это была попытка противостоять времени.

А время шло. Бабель хотел бы жить с ним в ладу и жадно искал новых впечатлений. Он много ездит. В 1931 году он поселился в Молоденове, под Москвой, работая там секретарем сельсовета. В мае того же года в километре от Молоденова на даче поселился М. Горький: возобновив старую дружбу, Бабель получил возможность встречать в доме Горького людей высшей власти. Ему это было крайне интересно: с риском для жизни он заглядывал «за край». По приглашению Горького какое-то время прожил в Неаполе, работая над пьесой «Мария». Но в 1933 году он опять дома, опять мотается по стране.

Сегодня становится ясно, что бесчисленные поездки по стране, ставшие модой на рубеже 20—30-х годов, будь то Донбасс, Кабардино-Балкария, Днепро-строй, совхоз «Гигант» или Киевщина, куда Бабель ездил для сбора материала, или Польша и Германия, где писатель останавливался на пути во Францию как участник Парижского Конгресса культуры (1935), — все это наряду, конечно, с врожденным любопытством к жизни было и фрейдистским замещением, компенсацией подавленных творческих импульсов. Готовить номер журнала «СССР на стройке» на тему «Свекла» — могло ли это увлечь, успокоить его? Нет, конечно.

Критика по-прежнему ждала от Бабеля прямого материала о революции. Но хотя «Конармия» еще переиздавалась, у Бабеля, по-видимому, не оставалось сомнений в том, что неприкрашенное и фантазмагорическое изображение революции уже не ко времени. Лишенный проницательности Бабеля Вяч. Полонский, пребывавший последние дни в должности ответственного редактора «Нового мира», записывал в личном дневнике: «Бабель работал не только в Конной, — он работал в Чека. Его жадность к крови, к смерти, к убийствам, ко всему страшному, почти садистическая страсть к страданиям ограничила его материал. Он присутствовал при смертных казнях, он наблюдал расстрелы, он собрал огромный материал о жестокости революции. Слезы и кровь — вот его материал. Он не может работать на обычном материале, ему нужен особенный, острый, прямой, смертельный. Ведь вся «Конармия» такова. А все, что у него есть теперь, — это, вероятно, про Чека. Он и в Конарию пошел, чтобы собрать этот материал. А публиковать боится. Репутация у него попутническая».

Однако для того чтобы писать о расстрелах, Бабелю не надо было пробираться в подвалы Чека: «слезы и кровь» были вокруг него.

В 1929—1930 годах он близко видел коллективизацию. Тогда же, в 1930 году, он написал рассказ «Колывушка», дав ему подзаголовок из книги «Великая Стрица». Бабель опять столкнулся лбами высокое и низкое, силу могучего духовного

здоровья и агрессивность уродства, изначальную справедливость трудолюбивого человека и ненасытную жажду темной силы к самоутверждению. Как прежде, он дошел до изначальных истоков жизни и их истребление изобразил как трагедию.

В рассказе о раскулачивании Колывушки и его семьи центральным Бабель сделал эпизод, где Колывушка убивает топором любимую жеребую кобылу. Родная для него, она в списках, которые составляются для раскулачивания, будет значиться животным под безликим словом «жданка».

Глаз Бабеля по-прежнему зорок, слово по-прежнему точно, и стиль, как и раньше, рождается из столкновения слов, а вовсе не из страсти к пряному, острому впечатлению и слову. Фразы «Верхняя губа ее запрокинулась в отчаянии», «в рухнувшем животном еще раз повернулся жеребенок», в доме «все отражало мучительную чистоту» так же выразительны, как и фразы «женщины сидели на тюках, как окоченевшие птицы». Ставшая за ночь белой голова Колывушки так же красноречива, как глумление горбуна Житняка, похваляющегося тем, что «баба олады напекла, мы, как кабаны, на шамкались с нею, аж газ пуцали...». Смешное переходит в страшное. Бабель сталкивает ярость и рабство, протест Колывушки и покорность «мира», к которому он взывает. Все это звучит как один удар смычка, и общая тональность — обреченность.

Об убьели революции Бабель писал и в новелле «Фроим Грач», в свое время не напечатанной. Это был мрачный рассказ о попытке налетчиков с Молдаванки подружиться с революцией, о прямоте короля налетчиков, предложившего этот необычный альянс, и о коварном и безжалостном его убийстве. С ним ушла в прошлое «вся Одесса», как говорит один из героев рассказа, ибо времена изменились.

Бабель понимал, что его разногласия с эпохой — отнюдь не стилистического порядка. В письмах к родным он жаловался на страх, который вызывает у редакторов чрезмерная злободневность его рассказов. Однако его художественный потенциал был неисчерпаем. Едва ли не в самые трагические для страны дни — в 1937 году — Бабель создаст еще одну великую притчу — «Ди Грассо». Он опять изобразит смещенный страстью мир. Только теперь эта страсть — искусство.

Как всегда, Бабель возьмет обычную ситуацию и скажет о ней несколько сухих, информативных слов («играли в тот вечер сицилианскую народную драму, историю обыкновенную, как смена дня и ночи»). Потом он перевернет ситуацию и сделает из нее необыкновенное происшествие: трагически тяжелой, гнетущей атмосфере жизни тех лет он противопоставит изображение почти площадной страсти, смех возвысит над нормой казармы, и балаганная комика одержит у него верх

над страшной скукой несвободы. Он внесет свой морализм наверх и не только изобразит, как влюбленный пастух в порыве ревности «поднялся в воздух, перелетел сцену городского театра», опустился на плечи соперника и, «перекусив его горло, ворча и косясь, стал высасывать из раны кровь», но и доскажет за Ди Грассо, что в «исступлении благородной страсти больше справедливости и надежды, чем в безрадостных правилах мира».

Меньше всего Бабель хотел жить в отрыве от времени. И в конце 30-х годов сила по-прежнему завораживала его, порой пробуждая к самообману.

Как он относился к Сталину, к сталинскому режиму?

Документов нет. Через третьи руки до нас доходят противоречивые факты. Б. Суварин, например, свидетельствует, что уже в начале 30-х годов Бабель был разочарован в Сталине¹. С. Б. Рудаков, судя по косвенным данным, напротив, удивлялся тому, что в 1935 году Бабель «относился к массовым ленинградским высылкам как к временному явлению»². М. Н. Берков так же воспринимает свои разговоры с Бабелем в 1938 году: Бабель будто бы говорил ему, что все случайно и скоро кончится.

Верил ли он сам в это? Сомнительно.

За полгода до ареста Бабель писал А. Г. Слоним: «Entere pour soit dit»³ — очень плохо живется и душевно, и физически — не с чем показаться к хорошим людям». Ему хотелось верить, что «рассудок пока не затменен», что «все причины в себе самом и что главная победа — над самим собой».

Но беда была уже рядом.

16 мая 1939 года Бабель был арестован на даче, в Передельнике под Москвой. Писатель обвинялся в «антисоветской заговорщической террористической деятельности и подготовке террористических актов... в отношении руководителей ВКП(б) и Советского правительства»⁴.

27 января 1940 года Бабеля расстреляли.

Через 14 лет в заключении военного прокурора подполковника юстиции Долженко о реабилитации Бабеля будет сказано: «Что послужило основанием для его ареста, из материалов дела не видно, так как постановление на арест было оформлено 23 июня 1939 года, то есть через 35 дней после ареста Бабеля»⁵.

Теперь молчание поглотило не только то, что делалось в душе Бабеля, но и его замыслы, его начатые работы. О чем он хотел писать? Мы почти ничего об этом не знаем. При аресте были изъяты все его рукописи — пять папок. Как полагают вдова писателя А. Н. Пирожкова, это были наброски и планы рассказов, два

¹ Суварин Б. Последние разговоры с Бабелем. «Континент» 1980, № 23, с. 343—378.

² Герштейн Э. Новое о Мандельштаме. — Париж, 1986, с. 144.

³ Между нами говоря (франц.).

⁴ Баксберг А. Процессы. «Литературная газета», 4 мая 1988, № 18, с. 12;

⁵ Там же.

начатых романа, переводы, дневники, записные книжки, личные письма к жене. Их поглотили подвалы Лубянки. Вряд ли они всплывут.

Время 30—50-х годов, жестокое к человеку, работало против Бабеля. После его смерти восторжествовало искаженное представление о его творчестве. Он обвинялся в абстрактном гуманизме, мелкобуржуазном анархизме и мировоззренческой всеядности¹. Эта фальшивая литературная репутация заслонила первую. Она помогала замалчивать писателя. Она продержалась до наших дней и не пересмотрена до сих пор.

За границей о Бабеле написано много книг и прекрасных статей. Бабеля сравнивают с М. Шагалом и К. Малевичем, великими итальянскими живописцами и

¹ Макаров А. Разговор по поводу... (Об апологетических оценках творчества А. Веселого, И. Бабеля, И. Катаева и П. Васильева в некоторых критических статьях). «Знамя», 1958, № 4; В. Архипов. Уроки. «Нева», 1958, № 6.

художниками-экспрессионистами, классиками русской, французской, польской и других литератур. В глубоких исследованиях имя Бабеля рассматривается в контексте величайших имен мировой литературы.

И только мы молчим.

Начиная перечитывать сегодня Бабеля, мы не можем не горевать о его судьбе, не сострадать его внутренним терзаниям, не восхищаться его творческим даром. Его проза не выцвела от времени. Его герои не потускнели. Его стиль по-прежнему загадочен и неповторим. Его изображение революции воспринимается как художественное открытие.

Это значит: смертью смерть поправ, Бабель стал своим «на празднике богов». Началась его третья жизнь, и, может быть, именно ей суждено будет, воздав должное Бабелю, хоть какой-то малостью искупить нашу вину перед убиенным и непонятым художником.

Будем надеяться, будем надеяться,

Отклик

В редакцию продолжают поступать многочисленные письма от читателей и авторов журнала в поддержку нашей позиции по всем вопросам современной жизни и литературы. Суть этих писем можно было бы свести к одному — продолжайте публиковать материалы, работающие на перестройку, на обновление жизни, на консолидацию всех здоровых сил общества. Мы благодарим всех, кто поднял голос в защиту журнала, и ниже перепечатываем отклики общественности на кампанию, развернутую против «Октября» секретариатом правления Союза писателей РСФСР.

Очень простое предложение: в союзе с издательством, а не под пятой ведомства

В мае журнал «Наш современник» (№ 5, 1989, А. Казинцев «Новая мифология») пригрозил журналу «Октябрь», что если он опубликует «Прогулки с Пушкиным» А. Снявского и повесть В. Гроссмана «Все течет», то «найдутся люди, которые воспользуются» правом подать на «Октябрь» в суд за оскорбление национального достоинства.

«Наш современник», чьи издательские планы, как известно, в корне расходятся с планами «Октября», перешел с языка литературной полемики на язык идеологического доноса и демагогии: «Неужели российский журнал считает магистральной линией пропаганду русофобии?» Это отнюдь не вопрос, это обвинительный приговор.

«Люди ниоткуда», космополиты «уже возвращаются»... «Наш современник» задыхается от ярости, сообщая об этом из номера в номер.

Примечательными приемами изобличает этот журнал ненавистного ему А. Снявского: «Терц перечисляет лучшие черты русского человека, всего народа нашего. Он справедливо находит их в Пушкине. Вот за то и ненавидит. Да и не он один». Эх, если бы суд над А. Снявским мог ныне повториться! Теперь обличитель из «Нашего современника» упек бы русского писателя за «русофобию», пользуясь все теми же методами доказательства. И потребовал бы Снявскому кары как «запоздалому сообщнику убийц Пушкина!» Соответственных санкций он добился бы и для редакции «Октября».

Не меньше оскорбляет патриотические чувства «Нашего современника» Иосиф Бродский. «Так вот вам слово поношения всей России. Сегодняшней и вчерашней. России как таковой...» Это написано по поводу строк Бродского: «там одиночка-мать выводит дочку в скверик», «там в церкви образа коптит свеча из воска», «там в моде серый цвет — цвет времени и бревен». Казалось бы, куда меньше того, что позволяли себе Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Некрасов, Короленко, Горький, Бунин, Пришвин с их «странной» любовью к отчизне. Однако суд над Бродским беспощаден: «Отрицание и свечи перед иконой, и матери-одиночки с дочкой на скверике, и русского пейзажа, и русских смертей и рождений», а к тому же все это «исполнено какой-то скучающей ненависти... какую у людей почти не встретишь!» В общем, Нобелевский лауреат Бродский — нечеловек. «Наш современник» готов был бы и его судить вторично — за ненависть «к нашей земле и к нам самим».

Ко всему народу, не более, не менее, обращается зам. главного редактора «Нашего современника», взывая к борьбе с вот такой русофобией, бредом которой он одержим: «Повторю слова, обращенные к народу, которыми я закончил предыдущую статью в «Нашем современнике»: «Вы — сила. Поймите же это наконец». Призыв к «силе» недвусмыслен и крайне опасен. Он не рассчитан, конечно, на «весь народ», он рассчитан только на разогретую низменными националистическими инстинктами и страстями толпу, которая в сущности своей антинародна, поскольку принадлежит к самым темным слоям общества, чья сила в конкретном действии порождает самые жестокие формы насилия и служит орудием кровопролитной ненависти, разрухи и гибели. Мир знал уже подобные призывы к «силе» в XX веке. На практике они закончились катастрофой.

Кампания разворачивается обдуманно, шаг за шагом. Вослед за статьей с угрозами «Октябрю» за публикацию «русофобов» Гроссмана и Снявского тут же появляется в 6-м номере «Нашего современника» трактат И. Шафаревича «Русофобия», сочинение, где утверждается концепция неминуемой гибели «Большого Народа» от «Малого Народа», который среди большого народа завелся как антинарод, люто ненавидящий и окончательно разрушающий все религиозные и национальные основы жизни: «...среда превращается в мертвую пустыню, а с нею гибнет и человек. Конкретнее, исчезает интерес человека к труду и к судьбам своей страны, жизнь становится бессмысленным бременем, молодежь ищет выхода в иррациональных всплесках насилия, мужчины превращаются в алкоголиков или наркоманов, женщины перестают рожать, народ вы-

мирает... Таков конец, к которому толкает «Малый Народ», неустанно трудящийся над разрушением всего того, что поддерживает существование «Большого Народа». Поэтому создание оружия духовной защиты от него — вопрос национального самосохранения. Такая задача посильна лишь всему народу».

Но кто же этот «Малый Народ», одержимый «противорусскими эмоциями», воинствующей русофобией, на священную войну с которым Шафаревич сзывает рать? На этот вопрос Шафаревич отвечает прямо. Малый Народ — это евреи, русская интеллигенция еврейской национальности или с примесью еврейской крови, а также интеллигенция любой национальности, входящая в «некоторый очень специфический круг внутриобразованной части общества, весьма напоминающий «Малый Народ»... Оказывается, авторитеты художников и мыслителей, причастных к этому народу, а также русских, презирающих антисемитизм и антисемитов, основаны «исключительно на силе гипноза». Но Шафаревич гипнозу этого не подвержен. Поэтому он уверен, что «пониманию наших потомков будет недостойно влияние Фрейда, как ученого, слава композитора Шенберга, художника Пикассо, писателя Кафки или поэта Бродского...»

Нет ничего удивительного, что вскоре после этой публикации И. Шафаревич вместе с М. Антоновым и В. Клыковым обратились в секретариат правления Союза писателей РСФСР с гневным письмом, в котором потребовали «немедленно призвать к ответу журнал «Октябрь» за то, что он «угощает читателя очередным русофобским сочинением — повестью Василия Гроссмана «Все течет»; за то, что «именно в «Октябре» опубликованы фрагменты «Прогулок с Пушкиным» А. Снявского; за то, что статья Г. Водолозова «Ленин и Сталин», предвещающая публикацию Гроссмана, «подчеркивает сознательную линию журнала на публикацию подобных произведений».

Так осуществляется майская угроза «Нашего современника», что «найдутся люди, которые воспользуются...», и пр. Люди, как видим, «нашлись», а «судебная инстанция» тоже определилась и уже выразила свою готовность принять дело к слушанию. И вот 31 июля с. г. секретариат правления СП РСФСР рассмотрел письмо трех авторов, постановил срочно опубликовать его в «Лит. России» (публикация вышла через три дня, 4 августа), а также «обсудить работу редакции журнала «Октябрь» на расширенном заседании секретариата правления СП РСФСР 5 октября».

Нашей стране с 30-х годов и ранее превосходно знакомы интонации, ход мысли и «организационных выводов» авторов этого письма: «...каждый журнал, каждое печатное издание является органом той или иной общественной организации, следовательно, выражает взгляды данной организации. Каковы же взгляды Союза писателей России, если судить по последним важнейшим публикациям, например, журнала «Октябрь» — органа республиканского Союза писателей?.. Итак, российский журнал лидирует в доказательствах ущербности русского народа и русских гениев. Что это — позиция главного редактора А. Ананьева или же позиция секретариата правления Союза писателей России?.. Но все-таки за политику журнала «Октябрь» несет ответственность и весь секретариат правления СП РСФСР».

К счастью, вовсе не несет. Взгляды и политика секретариата Союза писателей РСФСР и его правления, напротив, целиком совпадают со взглядами и политикой «Нашего современника», где увидела свет «Русофобия» Шафаревича, где из номера в номер под видом борьбы за национальное достоинство воскрешается образ внутреннего врага-инородца, оплевываются культурные ценности и натравливается один народ на другой.

Давно ни для кого не секрет, что в руководстве СП РСФСР процветают командно-приказные методы, групповая нетерпимость, личные интересы выдаются за общенациональные, общенародные, общепартийные, органы печати насильственно превращаются в рупоры черносотенных «идей», в источники удовлетворения личных интересов. Совсем недавно был «обсужден» и уволен главный редактор «Лит. России», воспротивившийся этим порядкам. Таково понимание консолидации в этих рядах, обеспокоенных «русофобией» А. Ананьева и «Октября», но выражающих благодарность на секретариате СП РСФСР «за добросовестную работу» главному редактору «Нашего современника».

Секретариат СП РСФСР и его орган «Наш современник» хотя и присвоит себе монополию на русский патриотизм. Им якобы невдомек, что горькая правда Пушкина, Лермонтова, Некрасова, любого русского писателя о России — это не русофобия, не оскорбление национального достоинства. Но только истинный русофоб, для которого русская история — лишь карта в карьерной игре, способен толкать русский народ на тотальную ненависть к любому из малых народов, со страниц печати взывая к сплочению в борьбе, направленной на такое противорусское дело. В преддверии выборов в местные Советы, когда народу дана наконец возможность явить свою творческую конструктивную волю, его упорно уводят на гибельный путь сражений с очередным внутренним врагом, чей образ состряпан монополизмами патриотизма, радеющими о каких угодно интересах, кроме народных.

«Группа товарищей» из правления СП РСФСР взяла на себя полномочия

верховой инстанции, чтобы вершить суд и расправу над «Октябрем», обвиняя его в «руссофобии» от имени всех писателей России. Со времен перестройки это первый случай крупномасштабной идеологической «проработки» в духе грозных времен и по старой схеме.

В свете всего этого совершенно ясно, что ожидает редакцию «Октября», в каком духе пройдет его обсуждение в правлении СП РСФСР и какое решение там примут. Пора Ананьева приструнить, а журнал прибрать к рукам, превратив в подголосок «Нашего современника».

Но главный вопрос: как тут быть нам — авторам, читателям и почитателям нынешнего «Октября», который даже публикациями только двух произведений В. Гроссмана сделал неизмеримо больше для понимания русской истории, горькой правды крестьянства, истоков духовной силы народа, чем все вместе взятые члены всех расширенных секретариатов правления СП РСФСР?

У нас есть **КОНКРЕТНОЕ, ПРАКТИЧЕСКОЕ, ОЧЕНЬ ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**. На наш взгляд, это будет самой миролюбивой развязкой, самым естественным выходом из конфликтной ситуации.

Мы считаем, что главный редактор, редколлегия и авторский актив «Октября» сами должны избавить секретариат правления СП РСФСР от мнимой ответственности за все нынешние и все будущие публикации журнала. Для этого нужно всего-навсего снять с обложки указание на то, что «Октябрь» является «органом СП РСФСР», и тем самым журнал выйдет из-под номинального подчинения всем расширенным и нерасширенным секретариатам этой организации, которые не в состоянии трезво отнестись к объективным процессам, ныне происходящим в литературе и в обществе, а также не в состоянии без угроз и судилищ «переварить» публикации Гроссмана, Снявского и даже еще не опубликованные, но объявленные «Октябрем» произведения.

В принципиальном плане «Октябрь» состоит при русской литературе, при русском и широком многонациональном читателе, а не при писательском министерстве, при его секретариатах и пленумах. Произведения Гроссмана, как и любое художественное произведение, принадлежат истории отечественной культуры, а не конторе — даже если б контора эта была не столь агрессивной, а вполне терпимой, даже если б контора понимала в полном объеме, что взгляды редакции не обязательно должны совпадать со всеми взглядами авторов, чьи произведения представляют художественную ценность, и что ни одна административная инстанция не имеет никаких оснований отнимать у редакции это право, привычное для всех цивилизованных обществ.

«Октябрь» никак не обязан ни своим успехом у читающей публики, ни своими слабостями, ни даже самим своим возникновением никакой правящей верхушке Союза писателей РСФСР. Разве что мешали, давили, дергали нервы редакции и авторам — вот и все практическое участие секретариата этой организации в работе журнала. Фактически «Октябрь» — это не орган секретариата СП РСФСР, настала пора прекратить эту путаницу. «Наш современник» — вот орган, выражающий взгляды и проводящий политику руководства этой организации.

Ну хорошо, спросят читатели: если журнал издается СП РСФСР, значит, именно республиканский Союз писателей дает ему деньги, помещение, полиграфическую базу, бумагу и пр.?.. Нет. Журнал существует самостоятельно, приносит немалую прибыль, и партнером его по всем техническим и финансовым вопросам является издательство «Правда». А журнал значит, как заведено у нас, органом вышестоящей конторы и приписан к ней на случай идеологической порки. Это абсолютно дикая, уродливая ситуация времен сталинщины. Многие, свыкшись, не придают ей значения.

Но уж коль так явно хотят загубить хороший и полезный для русской культуры журнал, прибрать его к рукам и превратить во второй «Наш современник», мы советуем, требуем, наконец, от редакции «Октября» совершить разумный, решительный поступок. А именно: стать свободным литературно-художественным и общественно-политическим журналом, а не зависеть от группы руководителей секретариата СП. Журнал «Октябрь» — один из старейших в стране, возник до того, как появился СП РСФСР. Он был приписан к этому Союзу потом, в отличие от «Нашего современника», который действительно был создан для нужд вновь возникшего СП РСФСР и стал органом его секретариата. Журнал «Октябрь» давно уже потерял, судя по письму «трех», всякую творческую и идейную связь с секретариатом СП РСФСР, требующим обращения всех русских писателей и всех русских журналов в веру «Нашего современника».

Очень простое предложение. Перестать числиться органом по ведомству, работу свою обсуждать не там, а со своими авторами и читателями, будучи органом исключительно русской и многонациональной отечественной литературы. Юридическим лицом может стать редколлегия, редакция и авторский актив — автономное творческое объединение «Октябрь» при издательстве. Пример будет и другим ободряющий, в духе истинно русского патриотизма, — ведь русским людям радостно будет узнать, что в России появился нормальный, независимый литературный и общественно-политический журнал, состоящий при

народе, при литературе. Пора кончать с рабской нашей традицией, когда любой журнал или газета зависят на деле даже не от тех или иных организаций, а от кучки чиновников (пусть и литературных), хозяйничающих в этих организациях к своей личной выгоде. Ведь вот «Огонек» (единственный!) — ни за какой конторой не числится, экономически связан только с типографией издательства, творчески — только с читателем. И ничего — живет.

Если бы А. Ананьев, его коллеги и сотрудники приняли такое решение, то это само по себе было бы отрядным событием в истории общества и в истории российской словесности. Поступки нужны ныне, поступки, а не бесконечное отругивание, отвечание и всем изрядно поднадоевшие перебранки.

Мы ожидаем поступка от всего коллектива «Октября». И всячески поможем ему выстоять. И мы уверены в поддержке отечественных читателей, его подписчиков.

Юрий АФАНАСЬЕВ, народный депутат СССР, Леонид БАТКИН, Юрий БУРТИН, Борис ВАСИЛЬЕВ, народный депутат СССР, Игорь ВИНОГРАДОВ, Михаил ВОЛЬКЕНШТЕЙН, член-корреспондент АН СССР, Николай ВОРОНЦОВ, народный депутат СССР, Александр ГЕЛЬМАН, народный депутат СССР, Лидия ГИНЗБУРГ, И. ГРЕКОВА, Николай ГУБЕНКО, Алла ДЕМИДОВА, Ион ДРУЦЭ, народный депутат СССР, Олег ЕФРЕМОВ, народный депутат СССР, Марк ЗАХАРОВ, народный депутат СССР, Вячеслав ИВАНОВ, народный депутат СССР, Вячеслав КОНДРАТЬЕВ, Дмитрий ЛИХАЧЕВ, народный депутат СССР, академик АН СССР, Аркадий МИГДАЛ, академик АН СССР, Юнна МОРИЦ, Виктор РОЗОВ, Рояльд САГДЕЕВ, народный депутат СССР, академик АН СССР, Афанасий САЛЫНСКИЙ, Дмитрий САРАБЬЯНОВ, член-корреспондент АН СССР, Андрей САХАРОВ, народный депутат СССР, академик АН СССР, Анатолий СТРЕЛЯНЫЙ, Лесь ТАНЮК, Владимир ТИХОНОВ, народный депутат СССР, академик ВАСХНИЛ, Зоя ТОМАШЕВСКАЯ, Леонид ШИЛАТОВ, Альфред ШНИТКЕ

Ю. Афанасьев Леонид Баткин Юрий Буртин
 Борис Васильев Михаил Волкенштейн Игорь Виноградов
 Николай Воронцов Александр Гельман
 Лидия Гинзбург И. Грекова Алла Демидова
 Ион Друцэ Олег Ефремов Марк Захаров
 Вячеслав Иванов Вячеслав Кондратьев
 Дмитрий Лихачев Аркадий Мигдал
 Юнна Морич Виктор Розов
 Рояльд Сагдеев Афанасий Салынский
 Дмитрий Сарабьянов Андрей Сахаров
 Анатолий Стреляный Лесь Тянюк
 Владимир Тихонов Зоя Томашева
 Леонид Шилатов Альфред Шнитке

«Книжное обозрение» № 38, 22 сентября 1989 г.

Заявление исполкома русского советского ПЕН-центра

В газете «Литературная Россия» от 4 августа 1989 года опубликованы письмо граждан Антонова, Клыкова и Шафаревича, а также постановление секретариата правления Союза писателей РСФСР, решившего в связи с этим письмом обсудить работу редакции журнала «Октябрь» на заседании секретариата правления СП РСФСР.

Авторы письма утверждают:

«...Каждый журнал, каждое печатное издание является органом той или иной общественной организации, следовательно, выражает взгляды данной организации. Каковы же взгляды по последним важнейшим публикациям, например, журнала «Октябрь», органа республиканского Союза писателей?.. Что это — позиция главного редактора А. Ананьева или же позиция секретариата правления Союза писателей России?»

По этому поводу имеем заявить следующее.

Любое произведение выражает прежде всего взгляды его автора. Попытка поставить творчество писателя в зависимость от позиции той или иной организации является покушением на свободу творчества, попыткой установить ведомственную цензуру. Призывы принять административные меры в отношении главного редактора журнала «Октябрь» нельзя рассматривать иначе, как вызов гласности и демократии, как ностальгию по командно-репрессивной системе. Требование единых взглядов для всех писателей России — это возврат от плюрализма к принудительному единомыслию сталинских времен.

Решение секретариата правления СП РСФСР от 31 июля и его заявление от 1.09.89 г. рассматриваются нами как согласие с позицией авторов письма.

Мы квалифицируем это решение как намерение вернуть литературу на путь грубого административного контроля, попытку запугать писателей и редакторов, превратить органы печати в безмолвных исполнителей своего группового диктата.

Президент ПЕН-центра А. РЫБАКОВ; вице-президенты: А. БИТОВ, А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ, Е. ЕВТУШЕНКО, И. ВИНОГРАДОВ, Ф. ИСКАНДЕР, А. СТРЕЛЯНЫЙ; члены исполкома: Б. АХМАДУЛИНА, С. КАЛЕДИН, А. КУРЧАТКИН, В. ЛАКШИН, Б. ОКУЛЖАВА, Е. ПОПОВ, Т. ТОЛСТАЯ

«Литературная газета» № 37, 13 сентября 1989 г.

Заявление комитета «Апрель»

Еженедельник «Литературная Россия» опубликовал письмо трех авторов, в котором журнал «Октябрь» (напомним — орган российского Союза писателей) и его главный редактор, известный прозаик, народный депутат СССР Анатолий Ананьев обвиняются не менее не более, как... «в русофобии». Вообще этот грозный упрек стал входить в моду на страницах некоторых печатных органов, и весомых доказательств при этом, как правило, не требуется: дескать, такой нынче плюрализм...

Совет «Апреля» тоже за плюрализм мнений. И удивляет нас в данном случае даже не столько само письмо, сколько все то, что ему сопутствовало и за ним последовало. Три автора, как выяснилось, писали не в газету, а в секретариат СП РСФСР. «Рабочая часть» секретариата (5 секретарей из 55 существующих) немедленно дает указание «Литературной России» опубликовать столь нужный документ авторов-нелитераторов. Как только письмо напечатано, та же «рабочая часть» решает провести 5 октября заседание секретариата с обсуждением уже всей работы подведомственного журнала. Обсуждение предполагается, разумеется, расширенным и творческим, но теперь всю эту процедуру, само свое решение уважаемый секретариат называет «сугубо организационным». Ну, а во что может вылиться таким образом подготовленное и организованное обсуждение вышедшего из повиновения печатного органа СП РСФСР, мы все хорошо знаем по недавним откровениям бывшего главного редактора той же «Литературной России» М. Колосова и его бывшего заместителя Ю. Идашкина.

Журнал «Октябрь» под руководством А. Ананьева печатал за последнее время «Реквием» Анны Ахматовой и «Печальный детектив» Виктора Астафьева, «Тяжелый песок» Анатолия Рыбакова и «Школу дураков» Саши Соколова, «Жизнь и судьбу» и «Все течет» Василия Гроссмана. Один этот список позволяет нам не вдаваться в рассуждения о какой-либо «фобии» редакции. Трудно поверить и в возможность расправы под этим соусом над честными и требовательными редакторами. Неужели кому-то сегодня еще мало позора, связанного с изгнанием Твардовского и его соратников из «Нового мира»?

Мы не беремся гадать, как дальше повернется эта история. Но мы абсолютно уверены: плюрализм по-бондаревски, за которым следует командная перестановка кадров, едва ли смогут понять и принять и писатели-москвичи, и основной костяк авторского актива «Октября», и читатели журнала, чья подписка на «Октябрь» за последние два года выросла почти в три раза. Если же нынешнее направление «Октября» на поиск самой серьезной, разнообразной по авторам и месту их проживания, хотя и не всегда бесспорной, литературы решительно расходится с установками сегодняшнего секретариата правления СП РСФСР, надо думать, всему Союзу писателей и московской общественности не составит особого труда найти для удачно сложившейся редакции другого издателя.

«СОВЕТ «АПРЕЛЯ»

«Московский литератор» №№ 30, 31, 15 сентября 1989 г.

Сила объектива

•
А. Иванченко. Яблоко на снегу. М., Советский писатель, 1987. Техника безопасности I. «Урал», 1988, № 1.
•

Он сразу удивил непохожестью на самого себя. Быть в каждой вещи разным: в одной — холодно-расчетливым повествователем, бесстрастно наблюдающим за суетливым передвижением фигурки персонажа по вагонам страшной железнодорожной машины («Техника безопасности I»), в другой — деревенским пацаном, который словно перенес себя в сегодня, дабы прозрачнее вспомнить о вчера, обогатился «взрослым» зрением, но не потерял естественности впечатлений («Яблоко на снегу»), в третьей — несколько вальяжным рассказчиком, у которого очень болит душа за своего героя, но боль как бы маскируется за таким характерным для писателей последних поколений иронизмом («Автопортрет с догом»), — роскошь, что можно позволить лишь после того, как научился быть самим собой. Прихоть, каприз таланта: посмотрите, я и так еще могу...

На самом деле от прихоти здесь гораздо меньше, нежели от необходимости. С высокой частотностью провозглашаемая мечта о цельности личности не может найти явной реализации уже несколько десятилетий, причины чему как бы очевидны: административная машина, требовавшая внешнего соответствия стандарту, отрубала все, что не рифмовалось с пунктами идеальной анкеты («Все это называлось детский сад И сверху походило на лекало. Одна большая няня отсекала Все то, что в детях лезло наугад», — сказал по поводу этой «машины» поэт Александр Еременко, ровесник Иванченко), да и в душу ухитрялась вживлять какие-то мертвящие клетки. В итоге человек оказался как бы неадекватен себе и не мог уже понять, где, собственно, сущностное, а где наносное и насильственно внедренное.

Попутно выяснилось, что простое снятие причин разлада (как ни сложно оно, это «простое снятие») ничего не даст: потеряны основания гармонии, двадцатье — пятидесятые очень поколебали традиционные представления о соотношении добра и зла, судьба шестидесят-

ников не вызывает охоты подражать, семидесятые показали, что бездействие может быть лучше и прогрессивнее действия даже и в относительно спокойные времена. Все смешалось. И «расчленение» души (скажем так: анализ невозможен без расчленения) превратилось из результата действия неласковых обстоятельств в необходимое условие выхода к новому синтезу. Потерянной цельности найти нельзя, ее можно лишь создать заново.

И если для Киреева, скажем, или для Маканина пресловутые раздвоенность и амбивалентность были сами по себе предметами, требующими оценки (но оценке они не поддавались — отсюда «отстраненная», чуть растерянная интонация), то для Иванченко и многих его сверстников такая ситуация является просто рабочей: так есть. Тут стоит заметить, что прорыв к цельности означает и прорыв к свободе — эти категории взаимообусловлены.

Первый опубликованный роман А. Иванченко — «Автопортрет с догом» («Урал», 1984) — себя не «держал», разваливался, буксовал, начинал вдруг жить по каким-то «левым» законам, забывая уроки собственного сюжета и, таким образом, вполне соответствовал тому, что происходило в душе главного героя — Роберта Мамеева. В том, что автор мог оформить материал логично и строго, сомнений нет: за годы работы в стол он научился приручать слова. Но он решил приблизить читателя к месту и образу действия, дать ему возможность окунуться с головой в жизнь этой прозы и посуществовать некое время по ее хромоватым законам... Стиль — это человек, да, но в данном случае стиль не автор, стиль — герой. Как Мамеев живет, так эта проза и существует.

Частная причина «расчлененности» души художника Роберта — а у каждого, конечно, есть, помимо, так сказать, общесоюзных, и сугубо личные причины — состоит в несоответствии интеллектуального потенциала личности и ее воплощения в художественной практике: в пейзажах и натюрмортах, которые были-таки однажды выставлены, но внимания зрителей не привлекли — по заслугам. Интеллектуальный же потенциал достаточно высок и, главное, очень самостоятелен, а именно самостояния большинству персонажей романа и не хватает «Автопортрет» пишется, а скорее ставится с дотошной подробностью старинной сценографии, по вполне классическому принципу: центральная фигура играет окружением. Цитируется-то эта фраза насчет короля и

свиты частенько, но в действительности она очень редко приложима к конкретным текстам: не потому, что принцип технически трудно осуществим, а потому в первую очередь, что обращение к нему должно быть продиктовано художественной потребностью. У Иванченко таковая потребность как раз обеспечена сутью образа: в миру художник Мамеев цельности не обрел, в живописи воплотить — организовать все свои ипостаси в органическое единство — не смог, вот и приходится заниматься этим автору романа: отражать героя в зеркалах его знакомых и родственников. Это позволило создать целостность на уровне сочленения фрагментов, осколков, на уровне мозаики, но то будет лишь внешняя целостность, путь к внутренней еще предстоит.

Населен роман не так чтобы уж очень густо, но каждый персонаж явлен живо, сочно, в развитии, да и оценки в развитии: по ходу автор постоянно себя уточняет и поправляет. Показательный факт: равноправными жителями текста становятся и собаки (дог Дези — очень важную роль играет), и коты, неожиданно попадающиеся за многочисленными поворотами сюжета. О них рассказано столь же подробно, как о людях. Почему, ясно: для автора, в общем, важнее свой взгляд на предмет речи, нежели сам предмет. И добросовестность портретов в романе — именно добросовестность взгляда на себя. Но и портрет остается... Несмотря на явную предвзятость Мамеева, Иванченко не дает читателю увлечься выводами своего героя: пусть «сверхзадача» очередного разговора гостей Роберта (а точнее гостей его жены Алисы) «поистине уникальна: был ли Шекспир гомосексуалистом или не был» — участников разговора она явно не красит, как не красит их и многое другое, за душой у них все же что-то есть, в том числе и хорошего хватает. Нормальные люди, в схему не вписываются. Но и целостности личности, внутренней свободы добиться не могут, не могут организовать в гармоничное единство многообразие мира души, а потому — в итоге — вписываются-таки в схему, в рамки, в роль, определенную ли обстоятельствами, навязанную ли социумом... Это, так сказать, эрзац-цельность — по какому-то одному основанию, а все, что в рамки не влезло, отсекается. «Все это называлось детский сад...» Все прорывы к органичности личности заканчиваются провалом: они возникают либо на уровне весьма несложном (приемная дочь Роберта Катька нашла себя в... военном гарнизоне. «Вместе с дедом она прибывала утром в арт-батарею на утренний осмотр. Проверяла обувь. Воротнички. Тумбочки. Проверяла со взводными, как вычищено оружие. Интересовалась личными делами. Вечером выходила вместе с батареей на прогулку и горланила с солдатами песни...» Вот «цельность», обусловленная социаль-

ной ролью), либо... Москвичка Саша из вставного рассказа, «написанного на центральном телеграфе», пыталась жить наотмашь, не ограничивая себя рамками и ролевыми функциями. Вышло из этого — психиатрическая больница. Полно же, да возможна ли она вообще — свобода личности? Вот как борется за нее еще один персонаж романа: «По выходным Костя стреляет в тире. Говорит, что забывается, когда стреляет. Чувствует себя человеком. Это бунт. Когда жизнь совсем невозможна, он идет в тир, набирает там кучу пистонов и палит по жестяным медведям и лисам до изнеможения своего тощего кошелька. Иногда попадает в самолет. Затем идет в пивбар и берет пару пива. Вторая кружка уже удовольствия ему не доставляет. На него эмансипация кончается, и он допивает пиво, уже предчувствуя взбучку...» Костина жена Лора, загнавшая мужа в жесткие тиски, себе тиски выбрала еще жестче: роль перспективного, «принципиального» юриста. А дальше роль уже определяет всю жизнь человека...

Решая вопрос о возможности свободной, гармоничной личности, Иванченко обращается к самому гармоничному времени жизни, к детству. «Именно в детстве, в силу отсутствия всякого принуждения, перед человеком открывается возможность прожить несколько жизней одновременно...» — слова Андре Бретона вполне могли быть эпиграфом к «Босоногой» повести «Яблоко на снегу». Она может, наверное, быть воспринята в огромном ряду произведений на эту тему, в ней можно заметить длинноты, чрезмерное доверие к собственной памяти (не все ведь из того, что вспоминает герой, непременно интересно читателю), увлечение «технологическими» подробностями — инструкциями по вспашке огорода и кулинарными рецептами. Но в повести много симпатичных кусков, связанных в основном с естественностью впечатлений познающего мир пацана.

Вообще ностальгия по детству (родине души) имеет, видимо, в основании как раз горькую память об утраченной цельности. И произведения о детстве получают именно тогда, когда автор ищет основания когда-тошней гармонии, а не просто предается лакомым воспоминаниям. Так что «Яблоко на снегу» — опосредованное обвинение обстоятельствам, дробящим себе в угоду непорочности гармонии. Ясно, впрочем, что обстоятельства эти — причины лишь внешние, главного социальностью не объяснишь. Но и о внешних писать надо. На расшифровке этой простой формулы спотыкаются многие (в том числе и серьезные художники), ударяясь в газетную патетику и голую публицистичность. Потому мне кажется важным опыт повести Иванченко «Техника безопасности 1», где вполне социальную, вполне нашу, вполне сегодняшнюю концептуальность удалось утвердить, избежав традиционных срывов в газетность,

в редкой в таких случаях камерной тональности.

Человек садится в поезд... Впрочем, нет, сначала он пришел на вокзал: в этой коротенькой сцене — жесткое противостояние социуму (воплощенному в группе ожидающих курьерского пассажира); а точнее, неприятие социумом человека, неприятие, основанное лишь на том, что пришел он с другой стороны, не «со стороны дома этих людей», что уже подозрительно. К тому же «без плаща, без вещей, в светлом летнем костюме. На человеке нет даже шляпы». Этого оказывается достаточно, чтобы толпа ополчилась против него. «Все ближе, ближе окружают его люди, он не заслуживает снисхождения. Женщины и молодежь наиболее активны, другие только поддерживают злость. Бледная женщина в черном, по-видимому, вдова, отомстит за свое несчастье...

На что он надеется, этот человек? Вдова уже положила ему руку на горло».

Тревожная — с первой строки — интонация, нагнетаемое впечатление удушливости (повесть писана в семьдесят девятом), да и, кстати, тот факт, что редакция «экспериментального» «Урала» набрала текст слепым, «душным» же шрифтом, — все это не оставляет сомнений: убийство свершится.

Свершилось бы. Убийство и соблазн перевести повесть в неоригинальный, но подзабытый и сегодня, кажется, актуальный план противостояния личности толпе прерывается приходом поезда: толпа перетекает в вагон, и дальше мелькнувшей в двух строчках персонализация вдовы не двинется. И человек — центр повести, и люди, присутствующие в ней даже не номинативно, а лишь угадываемо, становятся узниками дьявольской железнодорожной машины. «Взведенный механизм поезда замер на путях. готовый разбить красную мишень семафора».

Люди, однако, в поезде вместе. Человек один. Один в тамбуре последнего вагона, куда заскочил на ходу уже: и билет у него вроде был, а не смог вот людски сесть. И дрожит теперь не от холода, а от страха, от ощущения какой-то незаконности своего пребывания (здесь и вообще), от собственной «нелояльности», каковая может быть легко обнаружена, и тогда... Тамбур трансформируется на несколько страниц в тюремную камеру — эдакая материализация «камерной тональности». И здесь он один; остальные узники как бы вместе — по несколько человек сидят, плюс общий коридор, двери в который открыты. Непонятно, правда, разрешено ли узникам пользоваться этими дверьми, но тем не менее...

К середине повести Иванченко конкретизирует источник удушающего страха: на сцене (театральная терминология пронизывает текст, особо часто упоминается некий вершащий события режис-

сер) появляются государственные преступники. Не «государственные» (против государства), а государственные люди в черном. Арестованы должны быть все. Сначала пассажиры. Потом машинист. Потом, когда поезд застыл у пустого вокзала, — занявший место машиниста помощник. Потом — и сами люди в черном: друг друга, по кругу... Человек борется за свою свободу отчаянно. И побеждает. Казалось бы... Ибо и он — самый свободный изо всех персонажей повести — успокаивается лишь после того, как заключает себя в наручники сам.

Такой финал — лучшее предупреждение против плоскопсихологического понимания повести. Иванченко, повторяю, склонен искать причины раздробленности личности, несвободы ее не столько в государственных институтах, сколько во внутреннем мире. Его тексты тонко психологически инструментированы: странности лирические отступления, неторопливые описания переживаний, подробное обозначение — слой за слоем — мотивов поступков. Иванченко пишет длинно и плотно. Нужно отметить — к сожалению, лишь отметить — филологический, так сказать, характер его психологизма: он нетривиально связывает человеческую природу с языковыми и шире — эстетическими закономерностями. Но это уже за пределами рецензии.

А ее закончу цитатой из «Автопортрета с догом», в которой удачно, на мой взгляд, обозначена необходимость целостного человека: «Все непонимание, злоба, ненависть и вражда людей — только из-за того, что они общаются друг с другом лишь на поверхности своего сознания, соприкасаясь друг с другом только перифериями своих индивидуальностей — массой удаленных от центра точек...» А чтобы общаться на уровне сущностном — осознать надо сущность. Стать целостным. Значит, свободным.

Вячеслав КУРИЦЫН

г. Свердловск.

Заботы наши тяжкие

А. Бочаров. Литература и время. Из творческого опыта прозы 60-х—80-х годов. М., «Художественная литература», 1988.

Привычные, стертые в последние десятилетия, вполне обиходные слова — время, ответственность, литература — на-

полняются сегодня тревожным смыслом, требуют много обращения с собой. Изменилась среда их обитания, она стала накаленной.

Приходится заново взглядываться в некоторые общественные представления об отношениях литературы и жизни, критики и литературы. В том числе и в те, что сложились в России почти полтора столетия назад и связаны с просветительскими, разночинскими идеями 40—60-х годов — от Белинского до Писарева. Мы ученически бережно (хотя и не всегда аналитически) несем по жизни эти представления, не замечая в них упрощений, закрывая глаза на то, что крупнейшие писатели второй половины прошлого века (Достоевский, Толстой, Лесков, Писемский, Тютчев, Фет, Чехов) весьма критически относились ко многим положениям предшественников, их просветительски утопическим схемам относительно народа, России, социальной революции, а также чудодейственной роли слова.

Среди этих упрощений — и мысль о социально-прикладном значении литературы в обществе, которая нами в конце концов была сведена к иллюстративно-пропагандной роли, к вульгарно-социологической трактовке художественного творчества (хотя рапповская организация ликвидирована в 1932 году, рапповский дух во многом жив, увы, и поныне, стоит внимательно вслушаться в современные литературные дискуссии).

Критика в последнее время много сил отдает выяснению внутрицеховых отношений, взаимным обличениям. При чтении полемических статей все чаще возникает ощущение, что «нам не до литературы». Многосоставный литературный процесс и на этот раз остается в стороне от наших споров.

По-прежнему выходят серые, посредственные романы и повести; по-прежнему государственные премии присуждаются по критериям отнюдь не эстетическим; по-прежнему лавиной движутся к читателю собрания сочинений, запланированные еще в прошлой пятилетке, — неизвестно зачем... Так что не надо заблуждаться насчет каких-либо серьезных перемен в издательской практике.

А критики... Что ж критики? Они как писали десять лет назад, так и пишут, не очень-то заботясь о серьезных эстетических критериях. Снова усердно похваливают натужную, сырую прозу Виля Липатова и ради мнимого литературного балансирования закрывают глаза на многие слабости в сочинениях «руководящих» стихотворцев.

Полагаю, что не стоит преувеличивать глубины обновления литературной жизни. Для начала неплохо бы провести самый первичный анализ наших собственных, литературно-критических принципов и нравов, иллюзий и предрассудков. Меня не беспокоят уничтожительные суждения Д. Урнова по поводу Ахма-

товой или Пастернака; покойники не нуждаются в нашей защите, они выдержат любые оценки. Меня больше занимает уровень и критерии критиков, которые близки мне и чьи позиции я во многом разделяю.

Вот «Литература и время» Анатолия Бочарова — книга, выпущенная не так давно в издательстве «Художественная литература».

Конечно, одна книга неполно представляет позицию критика, — две-три опубликованные в периодике статьи, уже после сдачи книги в набор, и эта позиция дополняется новыми чертами, видишь, сколько все-таки актуального материала для критического анализа осталось за пределами книги...

Острота и искусство Анатолия Бочарова — полемиста еще раз проявились в его диалогах о состоянии современной литературы с М. Лобановым на страницах сентябрьской «Литературной газеты».

Размышления о «Литературе и времени» предполагают как минимум наличие у автора некоторых общих идей или, говоря словами Бочарова, «развитых взглядов на место человека в мире и обществе». В последние три десятилетия литература предложила ряд социальных концепций, которые противостояли или подвергали сомнению декларативно-догматические схемы, в том числе и те, «разночинские», с которых я здесь начал разговор.

Передовая критика стремится осознать глубинную природу художественной словесности, ее духовно-взрывчатую сущность, сделать ее достоянием современного общественного сознания, воспринять в новом культурном контексте конца XX века. Как в этом контексте выглядит конкретная фигура критика, работающего активно в литературе вот уже пятое десятилетие?

Анатолий Бочаров, мы помним, даже в самые удушливые годы застоя имел мужество выступать открыто против конъюнктурных романов о войне, возрождавших сталинские мифы о начальном периоде Великой Отечественной. И у него есть определенное моральное право сказать о том, что эстетическая мысль в застойные годы во многом была «аморфной и бездейственной», «обедняющей действительные жизненные противоречия».

И в общем он прав! Хотя, с другой стороны, ведь и в те годы общественная мысль не исчерпывалась поверхностными статьями в «Литературной газете» или «Правде», и были как критики, так и писатели (их имена у всех на памяти — Ю. Трифонов, Ф. Абрамов, В. Астафьев, Т. Пулатов, О. Чиладзе...), которые смело указывали на распад общественных связей, на зияющие провалы в историческом сознании и нравственной жизни современников — говорили это с такой пронзительной болью, что пренебрегать их выводами было невозмож-

но! Так что отнюдь не сплошная «аморфность» и «обедненность»...

Чувствую, что я уже спорю с книгой, которая в общем мне дорога и интересна. Но, может, тем и интересна, что с ней можно живо побеседовать, порассуждать, подискутировать?

Анатолий Бочаров пишет, к примеру, о романе, который с таким трудом, после многих лет редакционного выкручивания рук автору, наконец, появился в журнале в 1980 году. Речь идет о «После бури» Сергея Залыгина. Критику в этом, как он выразился, «краскистом романе» видится всего больше «авторская склонность к умозрительному дискутированию», холодность, рассудочность повествования... Но что если многоопытный Бочаров просто невнимательно «прочитал» роман? На мой взгляд, эта вещь, с середины 80-х годов оттесненная более горячими публикациями, так и осталась до сих пор непрочитанной до конца, непонятой. По мне, там что ни глава, то богатство идей, колоритнейшие характеры. Это интеллектуальный роман о трагедии мысли, не уверенной в историческом процессе, роман о судьбах революции, интеллигенции, культуры. Нет, жанровая природа залыгинского романа иная, совсем не та, что в «Хождении по мукам». Вопреки Бочарову, полагающему, что Залыгин шел следом, я вижу эти два романа, полемически противостоящими один другому! Благодаря Залыгину прекрасная романная традиция Платонова и Замятина не прервалась в нашей литературе 70-х и начала 80-х годов.

В книге Анатолия Бочарова так получается: хотя он и утверждает, что проза застойных лет не сумела пробиться к глубоким откровениям о человеке и обществе, его конкретные анализы говорят, что были книги, достигающие серьезных успехов в социально-художественном постижении мира и современности. Это у него читается в таких отличных, доказательных главах, как «Притча — миф — парабола», «К ядру и по касательной» (особенно в главе о притче). Традиционная социально-психологическая проза затруднялась углубляться в те извечные, роковые проблемы, которые вполне способны поднять проза мифологическая с ее неограниченными пространственно-временными категориями, выходящими за пределы одного конкретного социума. В таком художественно-образном пространстве многие современные догмы выглядели весьма относительными и просто надуманными. Но литература — как трава (это сравнение было у Ахматовой и в несколько ином контексте у Пастернака): даже если по ней ходят сапогами, она прорастет рядом. Если перед художником закрыть дверь, он пройдет в дом через окно — он уйдет в историю, в миф и притчу, но выскажется по мучающим его проблемам современности, о судьбе революции

и социализма, о природе человека, о добре и зле.

Что же касается обедненного изображения жизненных противоречий, за которое авторитетный критик с грустью упрекает литературу 70-х годов, то как же такой упрек можно отнести к прозе, вершащей социально-психологический анализ действительности усилиями В. Астафьева, Б. Можая, В. Распутина и других талантливых литераторов, сохранивших свое достоинство и не подавшихся соблазнам конъюнктуры! Откуда же и взяться тем произведениям, которые Бочаров анализирует в конце своей книги (глава «В новом историческом контексте»): «Пожар» Распутина, повести Р. Киреева, С. Есина, А. Курчаткина, романы «Дети Арбата», «Исчезновение», «Новое назначение», «Белые одежды»...

Объем литературного материала, освоенный критиком, внушительен. Анатолий Бочаров ведет собственную летопись литературы со своими оценками, критериями, даже некоторыми пристрастиями. Но они не мешают критику оставаться объективным, авторитетным участником литературного процесса.

Он вплотную подходит к труднейшей, на мой взгляд, проблеме-задаче современной критики — к выработке нового масштаба литературно-критического анализа.

Необходимость новой точки зрения на текущий литературный процесс обусловлена по крайней мере двумя фактами современного художественного развития, если оставить пока в стороне факторы внелитературные, социальные. Первое обстоятельство: публикация в нашей стране произведений писателей русского зарубежья 60—80-х годов. Это большой литературный пласт, содержащий десятки романов и повестей, стихотворных сборников и публицистических книг. По существу это — «изгнанная литература», оказавшаяся неугодной деятелям административно-командной системы (книги Солженицына, Некрасова, Владимова, Войновича, Зиновьева и др.). В этих книгах предложены весьма различные взгляды на советскую действительность не только последних трех десятилетий, представлены сложные концепции развития народа и государства на протяжении всего столетия, концепции противоречивые, не всегда доказательные и бесспорные, но серьезные. Отмахнуться от этих свидетельств талантливых писателей, пренебречь ими в анализе отечественного литературного процесса уже невозможно. Тем более что сами деятели «третьей волны» литературы русского зарубежья не отделяют свое творчество от родового отечественного ствола. (Опубликованные не так давно в «Иностранной литературе» ответы «уехавших» на журнальную анкету вызывают доверие.)

Сопоставить нашу «домашнюю» литературу последних трех десятилетий

с произведениями нашей же литературной диаспоры — вот задача, которой придется заниматься нашей критике в ближайшие годы. В сфере анализа окажутся, конечно, и произведения «загнанные», то есть написанные в 60—70-е годы и напечатанные спустя двадцать — тридцать лет (романы и повести В. Гроссмана, А. Рыбакова, Б. Ямпольского, А. Бека, В. Дудинцева и др.). Анатолий Бочаров на последних страницах своей книги включает эти произведения в анализ художественного процесса, но задача пока что только обозначена, а не решена в достаточной мере.

Второе обстоятельство, определяющее новые условия работы и творческих поисков нынешней критики: возвращение в сегодняшнее общественное сознание великого наследия художественно-философской мысли русского Серебряного века (начала XX столетия). Речь идет действительно о новом масштабе художественно-исторического сознания и осмысления судьбы и пути России в нашем беспокойном веке.

И даже если просто обратиться к давно известным, этапным произведениям русской культуры завершающегося столетия — к романам «Петербург», «Жизнь Матвея Кожемякина», «Жизнь Клима Самгина», «Мы» и «Чевенгур» — вни-

мательно их перечитать, то и тут открывается возможность более глубокого осмысления путей литературы и страны, — в этих книгах серьезный анализ социально-духовного развития народа и государства, человека и общества, и он не замыкался в отдельные десятилетия, он вырабатывался в перспективе столетий, учитывал многовековой исторический опыт Европы и Азии, опыт человечества.

Пока что о таком масштабе осмысления «литературы и времени» сегодня можно говорить только предположительно. Но нам придется об этом думать — деваться некуда.

Иначе критика опять будет обречена на доморожденные восторги и суету, на провинциальные критерии и пустоватые дискуссии. Здесь понадобятся не эссеистские всплески, не хлесткие фразы, а спокойный, бескомпромиссный анализ, последовательное утверждение эстетических критериев.

Критики, способные подняться до такого уровня анализа, у нас есть.

Критики, реализующей принципы такого анализа, пока нет.

Вл. ВОРОНОВ

Главный редактор **А. А. АНАНЬЕВ.**

Редакционная коллегия: **Г. В. БУДНИКОВ** (зам. главного редактора), **В. В. ДЕМЕНТЬЕВ**, **Р. Т. КИРЕЕВ**, **Н. Д. КРЮЧКОВА**, **А. Н. КУРЧАТКИН**, **В. М. ЛИТВИНОВ**, **А. А. МИХАЙЛОВ** (первый зам. главного редактора), **И. К. НАЗАРОВА** (отв. секретарь), **В. Д. ПОВОЛЯЕВ**, **В. Я. САВАТЕЕВ**, **И. Е. ФИЛОНЕНКО.**

Технический редактор **С. И. Су ров ц е в а.**

Сдано в набор 08.09.—26.09.89. Подписано к печати 26.09.89. А 07939. Формат 70×108^{1/16}.
Высокая печать. Усл. печ. л. 18,20. Усл. кр.-отт. 18,55. Уч.-изд. л. 22,24.

Тираж 385 000 экз. Заказ № 1177. Цена 90 коп.

Адрес редакции: 125872, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 11.

Телефон главного редактора — 214-62-05; заместителей гл. редактора — 214-63-64, 214-79-49, ответственного секретаря — 214-34-44, отдел прозы — 214-71-34, поэзии — 214-74-67, критики — 214-69-37, публицистики — 214-60-24.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда», 125865, ГСП, Москва, А-137, улица «Правды», 24.

В 1990 ГОДУ «ОКТЯБРЬ» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:

Нина БЕРБЕРОВА. **Курсив мой**. Книга вторая;

Игорь ВОЛГИН. **Политический процесс**. Достоевский и современники: жизнь в документах. Книга вторая;

Дмитрий ВОЛКОГОНОВ. **Лев Троцкий**. Политический портрет;

Майя ГАНИНА. **Зимородок — синяя птица**. Роман;

Сергей ДОВЛАТОВ (Нью-Йорк). **Иностранка**. Повесть;

Федор КОЛУНЦЕВ. **Свет зимы**. Роман;

Владимир КОРМЕР. **Наследство**. Роман. (Первая эмиграция и инакомыслие 60-х гг.);

Любомир ЛЕВЧЕВ. **Убей Болгарина**. Главы из романа;

И. ПОЛЯК. **Песни задрипанного ДПР**. Повесть;

Марк ПОПОВСКИЙ. **Жизнь и житие Войно-Ясенецкого, архиепископа и хирурга**. Документальное повествование.

А. ДЕНИКИН. **Очерки русской смуты**. Главы из пятитомной книги;

Записки народной артистки СССР Нонны МОРДЮКОВОЙ **«Вот так и живем»**. (Часть вторая);

Стихи Б. АХМАДУЛИНОЙ, К. ВАНШЕНКИНА, П. ВЕГИНА, Г. ГОРБОВСКОГО, И. КАШЕЖЕВОЙ, Ю. МОРИЦ, Д. САМОЙЛОВА, В. ЦЫБИНА и других известных и молодых поэтов.

Из литературного наследия: дневники, письма, воспоминания А. БЕЛОГО, М. БУЛГАКОВА, С. ВОЛКОНСКОГО, Б. ЗАЙЦЕВА, В. КОРОЛЕНКО, Б. ПАСТЕРНАКА, А. РЕМИЗОВА, В. С. СОЛОВЬЕВА, В. ХОДАСЕВИЧА, М. ЦВЕТАЕВОЙ.